

Ж О В Ы И
М И Р

9



1988

|| 9 ||

Ж О В Ы И М И Р

|| 1988 ||



НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 9

Сентябрь, 1988 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Ельчик-бельчик, притча	3
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Небеса над горами едины, стихи. Перевел с аварского Яков Козловский	18
ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ — На блаженном острове коммунизма, рассказ. Публикация и подготовка текста Н. Асмоловой. Вступительное слово Сергея Залыгина	20
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА — Невидимый полет, стихи	38
ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ — Факультет ненужных вещей, роман. Продолжение. Публикация К. Ф. Домбровской-Турумовой	40
ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫХ — Никогда не расстаться, стихи	98
ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ — На маяк, роман. Предисловие Е. Гениевой. Перевела с английского Е. Суриц	100

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

СЕРГЕЙ МАРКОВ — Баллада о столетье, стихи. Публикация Г. П. Марковой. Вступительное слово Е. Храмова	135
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Е. СЕРГЕЕВ — Несколько застарелых вопросов	142
АЛЕКСАНДР ГАНГУС — На руинах позитивной эстетики. Из истории одного термина	147
АЛЕСЬ АДАМОВИЧ — «Честное слово, больше не взорвется», или Мнение неспециалиста. — Отзывы специалистов	164

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

К 160-летию со дня рождения Л. Н. Толстого

БОРИС МАЗУРИН — Рассказ в раздумья об истории одной толстовской коммуны «Жизнь в труд». Подготовка текста А. Б. Рогинского	180
--	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

- С. С. АВЕРИНЦЕВ — Византия и Русь: два типа духовности. Статья вторая 227

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- М. ЧУДАКОВА — Без гнева и пристрастия. Формы и деформации в литературном процессе 20 — 30-х годов 240

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Политика и наука

261

Андрей Василевский, Цвейг против насилия.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- С. Н. СЕМАНОВ — О некоторых обстоятельствах публикации «Тихого Дона» 265

КОРОТКО О КНИГАХ:

Александр Зорин.— Виктор Василенко. Облака. Стихи. Виктор Василенко. Птица солнца. Стихотворения. Русский сонет. Сонеты русских поэтов начала XX века и советских поэтов. ◆

Павел Басинский.— В. Каверин. Литератор. ◆

Сергей Бурин.— Иван Краснов. Джон Рид: правда о Красной России 270

- КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 272

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

★

ЕЛЬЧИК-БЕЛЬЧИК

Притча

Ельчик-бельчик сначала не был Ельчиком-бельчиком. Он был икринкой. Ма-а-ахонькой икринкой, с пшениное зернышко величиной и желтенькой, как пшениное зернышко. Таких зернышек-икринок, неглубоко прикопанных в донном песке и в гальке, было очень много. И в одном таком зернышке, свернувшись кружочком, спала рыбка. Ма-а-ахоньякая рыбка. Потом ей тесно стало спать кружочком. Она начала распрямляться. Слабенькая, тонюсенькая пленка икринки лопнула, и у рыбки высунулся наружу хвост. А раз хвост появился, значит, надо им что-то делать. Рыбка шевельнула хвостиком, уперлась в дно родной речки, оттолкнулась и всплыла. Но воды много было, глубоко было, и рыбе не подняться бы вверх, не осилить течение — да икринка-то зачем? Будто надутый шарик, завязанный на голове рыбки, она поднимала ее выше, дальше, и рыбка почувствовала, как ей стало легко и тепло.

Она еще ничего не видела, потому что голова ее, а значит, и глаза были залеплены пленкой икринки. Не знала рыбка и того, что вместе с нею со дна реки поднялась и уплыла на прибрежную отмель пыльно в воде клубящаяся стайка таких же, как она, рыбок. Ничего еще не видя, не слыша, рыбки уже чувствовали страх и, похожие на серебристых мушек с одним крылышком, металась туда-сюда по отмели. Иные из них выскакивали на поверхность воды, тогда казалось, что пошел мелкий-мелкий дождик и дождевики эти покрывали воду пугливыми кружками. Иные рыбки-мотыльки сослепу выбрасывались на камешки, на берега, на водяную траву или на застрявшую в воде коряжину и обсыхали на солнце, делались искрами, и береговые птички — трясогузки, кулики и зимородки — склевывали их, питались ими.

Но вот маленькие рыбки стерли об воду остатки надоевшей икринки и, увидев в первый раз в жизни свет, солнце, родную реку, заплясали, залескались от восторга, без конца повторяя: «Как прекрасна жизнь! Как прекрасно солнце! Как прекрасна наша река!» Ельчики — сестры и братья, никогда до того не видевшие друг друга, стали знакомиться, давать друг другу имена. «Как тебя зовут?» — спросили они маленькую веселую рыбку. «Ельчик!» — радостно ответила рыбка. «Мы все ельчики!» — ответили братья и сестры. — «Какое твое имя, скажи?» Ельчик задумался. И тут он увидел рядом с собой в светлой воде, а ельчики живут только в светлой, прозрачной воде, беленькую-беленькую рыбку, догадался, что это его тень, и радостно закричал: «Бельчик! Бельчик!»

«Ельчик-бельчик! Ельчик-бельчик!» — радостно закричали рыбки и всей семьей поспешили на отмель, к водяной траве, где много было всякого корму: и личинок, и семечек травяных, мошки и комары

там падали на воду. Ельчик-бельчик метался по воде, выпрыгивал наверх, ловил мошек, собирал с травы личинок и на верхосытку отыскивал возле берега, за камешком или в заливчике травяное семечко и долго держал его во рту, будто конфетку-леденец. Такое было сладкое семечко.

Питался Ельчик-бельчик с восхода солнца и до захода солнца. И очень быстро рос. Кто хорошо ест, тот быстрее растет и становится сильным, понял Ельчик-бельчик.

И он старался расти быстрее и стать сильным. Поэтому часто отделялся от родной стайки, не слушался маму-ельчиху и папу-ельца, которые зорко стерегли детей, не позволяли удаляться в траву, в коряги и к большим камням, под которыми спал разомлевший в теплой воде налим и копался в песке речной бычок-подкаменщик — за большую голову, за неуклюжее туловище, за лохматые плавники его презрительно называли пищуженцем.

Однажды Ельчик-бельчик отбился от родной стайки, позабыл про маму-ельчиху и про папу-ельца да и пошел путешествовать по реке. На пороге Ревуне побывал, хотел пройти меж камней дальше, но вода здесь так мчалась, пенилась, кружилась, так ревела и содрогалась, что Ельчик-бельчик побоялся всего этого, полюбовался пестрыми харюзками и нарядными, как лесные красные лилии, ленками, подивился тому, как они резво тут плескались, лезли в самую струю, под водяной шум, в бой порога, шевеля на лепестки цветов похожими плавниками, крича друг другу: «Хорошо!» Позавидовал им Ельчик, погрузил о том, что он не может здесь жить, так же вольно резвиться, да и подался вниз по реке — искать корм да чтоб побольше увидеть всяких диковин и изведать разных приключений.

Ниже порога он и заметил, как из-под большого бурого камня клубами вырывается мутная вода, кто-то под камнем пыхтит, роется, гребет плавниками и рылом дно реки.

«Ты кто?» — остановившись за камнем, спросил Ельчик-бельчик. «Проваливай!» — послышалось в ответ. Голос был скрипучий, недобольный. «Ладно уж. Жалко уж и сказать», — обиделся Ельчик-бельчик. «Работаю. Корм добываю. Отвяжись и не мешай!» «Хорошо-хорошо!» — согласился Ельчик-бельчик и, увидев в мутной воде плывущую личинку жучка-бокоплава, раскрыл рот и проглотил ее. «Я работаю, как шахтер, в земле роюсь, — рассердился бычок-подкаменщик, — личинку вот выкопал, а ты ее слопал! Воровать, молодой человек, стыдно! Так ты тунеядцем сделаешься, однако». «Ой, какой вы, дяденька пищуженец, сердитый», — сказал Ельчик-бельчик. «Не сердитый я. Труженик я. Кормилец-поилец. У меня тоже дети есть. Хор-рошенькие такие, пучеглазенькие, пузатенькие... — Вспомнив про детей, подкаменщик сразу подобрел, крыльями смиренно зашевелил, во рту прополоскал, всю грязь из жабр вымыл, подышал ими, отряхнулся и миролюбиво уже сказал: — А по реке больно-то не шляется. Здесь, знаешь, сколько всевозможной твари? И все хотят когонибудь поймать и слопать. Сунься вон в протоку, там в траве речной пират — щука-подкоряжница — так и ждет, кого бы схватить и заглотить. Под листиками кувшинок ребята-окушата дежурят. Эти бандой окружат да как погонят, так дай бог ноги. Они с хохотом, улюлюканьем охотничают, как на футболе. Да это все, брат, страхи не страхи. Тайменей видел?» «Не-эт». «Как же это ты не видел? Никому не говори, что не видел. Им чтоб почтение и трепет вокруг. Огромные они, краснобокие. Будто генералы в лампасах. А хвост у них!.. Оборони и помилуй нас водяной!» — закрестился всеми плавниками подкаменщик. — Будто лопатой вдарит тайменей по воде — сразу кверху брюхом всплывешь! Тайменям все нипочем: хоть ондатра, хоть белка, хоть змея по воде плыви, птица ли какая — догонит, спапает, только на зубах хрустнешь! Да вон они! Вон они! Наелись, в затишье

идут отдохнуть. Прощай, брат! Берегися...» И подкаменщик шустро под камень стриганул, мигом закопался, мутная вода веревочкой взвилась за его хвостом, и сделалось все шито-крыто.

А мимо оробевшего Ельчика-бельчика, лениво работая землянично-алыми плавниками, проплыли две огромные, в полбревна величинной, рыбины. Были они осыпаны по туловищам серебром медалей и золотом орденов, спины их могучие были темны, лишь чем-то туго набитые животы были нежными, бабьими, и они бережно несли их, боясь ушибиться, не касались дна, скользили в воде хозяйски свободно, надменно, повелевающе. Ну а хвосты — не соврал пищуженец — всем хвостам хвосты! Будто подкрашенный руль корабля, крылатый, закругленный на концах. Чуть шевельнулся хвост — и один таймень мигом оказался рядом с Ельчиком-бельчиком. Приостановился таймень, глянул на новожителя круглым, свинцом налитым взглядом и сказал сотоварищу по речной команде: «Мал еще. Пусть подрастет. И тогда... Хо-хо! В службу пойдет аль скушан будет». Генерал-таймень подмигнул Ельчику-бельчику и, чтоб припугнуть его, не иначе, хлестанул хвостом так, что Ельчика-бельчика вышибло наверх, и он, кружась листочком в воздухе, летел, летел, пока обратно в воду не упал.

Генерал-таймень пошутил, конечно, да Ельчику-то-бельчику не до шуток. Никак не мог он перевернуться на живот, упереться в воду и уйти вглубь. Так и плыл на боку, беспомощный, беленький, а над рекой кружился коршун-скрипун, выматривая добычу — большую или мертвую рыбу, птенца, отбившегося от табуна или выпавшего из гнезда, мышку, обшаривающую речную траву в поисках корма. Коршун-скрипун увидел Ельчика-бельчика, спикировал вниз, притормозил над водой и схватил его когтями.

«Все! Конеч! — подумал Ельчик-бельчик. — Доигрался, добаловался!.. Мама! Папа!» — закричал он. Но мама-ельчиха и отец-елец были далеко, караулили детей своих, кормились вместе с ними, и не слышали они Ельчика-бельчика.

На этот раз спас Ельчика-бельчика случай. Коршун-скрипун увидел, что над водой бьются, черным ворохом клубятся горластые вороны и никак не могут схватить большую, едва шевелящуюся рыбину. «Ха! Растяпы! Орать только, базарить!» — презрительно проскрипел коршун и, разжав когти, ринулся за большой рыбиной, подцепил ее острыми когтями и, крича воронам: «Фигу вам! Фигу вам!» — унес добычу в лес голодным, зевастым коршунятам, дожидавшимся папу в высоком гнезде.

Ельчик-бельчик, задохнувшийся, раненный острыми когтями коршуна-скрипуна, долго падал с неба и, когда шлепнулся в воду, ни хвостом, ни плавником пошевелить не мог. Вода кружила и несла его куда-то. Он хотя и не шевелился и едва дышал, но радовался врачующей его воде, родной реке, радовался, что остался жив, и давал себе слово: никогда больше не отбиваться от родной стайки, всегда слушаться маму-ельчиху и папу-ельца и вообще жить смиренно, служить примером родному коллективу.

Обессиленного и раненого Ельчика-бельчика принесло в тихую протоку, затянуло под круглый лист кувшинки. Ельчик-бельчик вошел под листом кувшинки, пробуя со спины опрокинуться на брюшко и плавать, как полагается всем здешним рыбам.

Любопытная трясогузка села на качающийся лист, заглянула в воду и застрекотала: «Рыбка! Рыбка! Раненый ельчик. Где его папа? Где его мама? Надо помогать ельчику! Надо помогать...» «Как ему теперь поможешь?» — сказал задумчивый зимородок, сидевший на самом кончике ивового прутика. Зеленый, всегда нарядный, на елочную игрушку похожий, он нагнул прутик до самой воды, смотрел в нее, охотился на букашек и малявочек, добывал пропитание детям. Ему было не до Ельчика-бельчика. Долговязый куличок-перевозчик,

бегая по берегу, тонко причитал: «Тити-вити, тити-вити!» — что значило: помогите! помогите! Чайка-почекутиха, пролетая над протокой, покосилась и сказала: «Вот и помогите, раз вы такие добрые. Не то я его съем и тут же задом выплуну — чтоб не вольничал».

Никто не мог и не хотел помочь Ельчику-бельчику. Спасайся сам, выздоравливай сам, раз не слушался папу с мамой.

Вечером на протоке открылась охота. Веселые беспощадные окуни бандой окружали и гоняли обезумевших мулявок. Где-то в траве, меж коряжин, раз-другой плеснулась и кого-то поймала подкоряжница-щука. Проплывая веселой, жадной компанией мимо Ельчика-бельчика, хваткие, насытившиеся окуни притормозили, в философские рассуждения пустились: «Доходит парняга! А все отчего? Веселой жизни захотел!» И, как таймени-разбойники, во всю пасть: хо-хо-хо да ха-ха-ха! «Подрастай, — говорят, — мы тебе объясним, что такое се ля ви... Хо-хо-хо!.. Да он еще по-французски не волокет, робя! Научим! Объясним глыбокий смысл жизни...»

Уж солнце на закат ушло, уж все успокаивалось на протоке, когда из травы молча, незаметно выплыло — и не выплыло, а возникло что-то похожее на сучковатую корягу. У коряги было плоское рыло, широченный рот, носище с загибом, сапогом, тупой, покатый лоб, змеиные, в упор пронзающие глаза и пестрое хвостатое тело. «Щука это, подкоряжница!» — догадался Ельчик-бельчик и понял, что теперь уж ему совсем конец пришел.

Но подкоряжница была сыта, сон ее уже одолевал, дремота брала, и, зевнув пастью, до горла усаженной шильями зубов, она протяжно, и лениво, и складно молвила: «Фи, мы, малявка, сыты! Мне и рот-то открывать ради такого октябренка не хотца» — и пошла было в траву, под коряги, на покой, да вспомнила, кто она такая, надо ж страху нагнать на всех обитателей протоки, чтоб не дремали попусту, чтоб дрожмя дрожали до утра, и в такой узел воду завязала, так вдарила хвостом, что все рыбины и их детишки сыпанули в разные стороны, кто над водой, кто в воде, кто и на берег в панике выметнулся. Птицы с испугу взнялись, вороны заорали, чайка-почекутиха, пролетающая над протокой, вскрикнула: «А, чтоб ей пусто было, этой подкоряжнице!» Сделав круг над тем местом, где унялась и заснула под корягой нажравшаяся хищница, и увидев, что никакой поживы от нее не осталось, чайка-почекутиха всех пернатых обитателей берега успокоила: «Спите с миром, братья! Подкоряжница дрыхнет, таймени отдыхают» — и, опустившись на плоский камень, сама осела на подогнувшиеся лапы, замерла в чуткой дреме. И снился ей рассветный час на земле, пробуждение неба за лесом, река, усыпанная рыбой, и двое неуклюжих, на капусту похожих чайт, уснувших под кустами на другом берегу и готовых заорать на утренней зорьке, потребовать пропитания. «Обжоры мои ненаглядные!» — умилялась чайка-почекутиха, сонно распускаясь пером и телом.

Ельчика-бельчика ударом щучьего хвоста выбило из-под листа кувшинки и легкой волной вынесло на речную струю. Здесь, в прохладной, свежей воде, ему сделалось полегче, он опрокинул себя со спины на брюшко, увидел большой рыжий камень и решил проситься на квартиру у труженика-подкаменщика.

«Можно к вам?» — спросил Ельчик-бельчик. «Кого это черти несут на ночь глядя? — посышалось из-под камня. — А, это ты? Ну давай устраивайся за камнем. Утром твою семью искать будем, а то пропадешь!..»

Бычок-подкаменщик нашел стайку ельцов на плесе. И какое-то время Ельчик-бельчик жил совместно с братьями и сестрами, норovil плавать ближе к маме-ельчихе и папе-ельцу, в середине стайки

держался. Хватит, натерпелся страху и лишений. Но и здесь, в родной семье, заметил Ельчик-бельчик, жизнь была беспокойная, страху полная. Со всех сторон маленьких, беленьких и веселых рыбок ельчиков караулили опасности. Сверху норовили их схватить и унести чайки, скопы, вороны, коршунье. В траве их поджидали водяные крысы, хищная щука-подкоряжница, шайки окуней. Но самый строгий контроль за жизнью ельцов осуществляли водяные генерал-таймени. Они их пасли.

Все лето генерал-таймени держались возле стаи ельцов, и тот из рыбьего племени, кто был слаб или болен, изнемогал от давящего гнета или в поисках корма отбивался от семьи, становился их законной добычей. Всякий недисциплинированный, порядок нарушающий или желающий порезвиться, в сторону сигающий член семьи так же безвозвратно и навсегда исчезал во чреве пастухов. Генерал-таймени даже и труда особого не употребляли, чтоб догнать отщепенца, глушить хвостом негодника. Они просто открывали ненасытную пасть, делали вдох — и рыбка сама, сложив крылышки, покорно укачивалась в огненно-пылающий кратер тайменного рта, исчезала в бездонной и ненасытной утробе. И нельзя было держать пастухов впроголодь, томить ожиданием — озверелые, они врывались в стаю, глушили и сжирали тогда правого и виноватого, больного и здорового.

Ельчику-бельчику казалось, что мать-ельчиха с отцом-ельцом имеют тайный и давний союз с конвойной силой, они как бы нечаянно, невзначай, ненароком приносили в жертву некоторых детей своих, но чаще собратьев по речному племени. Без видимой причины папа-елец с мамой-ельчихой опрометью бросались вперед, начинали метаться по плесу, и задремавшие, слабые сердцем ельчишки с испугу стригали в сторону, в пену, в темень и оттуда уже не возвращались.

Иногда мама-ельчиха и папа-елец приводили стайку на теплое мелководье, на кормную травочку, начинали прыгать, резвиться, ловить комариков, поденков, пугать стрекоз, уснувших на вершинках трав, высунувшихся из воды. Обрадовавшись стайке, доверившись рыбьему коллективу, со всех сторон на шум и плеск спешили из укрытий малые рыбы дети — сорожки, пескарики, гальяны, языки и голавлики, даже тиховодные карасики и подлещики из протоки тоже шлепались лепешками об воду, круглые пузырьки от удовольствия пускали: «Хорошо-то как! Весело всем вместе!..»

Тем временем мама-ельчиха и папа-елец все сваливались, сваливались к плесу, уводили за собой в глубину семью, обнажая отмель, кипящую от резвой рыбьей мелочи, как бы снимая с нее белое, искрящееся покрывальце. На отмели неожиданно возникали генерал-таймени. Они так страшно носились по мелкой воде, что их острые плавники торчали наружу, огненными резаками пластами воду, как сталь, лопаты хвостов ахали пушками. Вода мутилась. Волны схлестывались меж собой, все кругом кипело, брызги металлическими осколками летали, словно от взрывов мин и снарядов. Рыбок било, подбрасывало, катило на отмели, засаживало в коряжник. Будто сенокос начался на реке и в протоке, только вместо скошенной травки пластами плавали оглушенные рыбы и всякая разная водяная тварь.

Генерал-таймени и вели себя, словно коровы на сенокосе. Они лениво плавали по отмели, сгоняли рылом и хвостом в кучи оцепеневших рыбок и горстями пожирали их. А вокруг по-шакальи действовали, шустрили новость откуда набежавшие помощнички-стервятнички — окуни, ерши, ленки, голавли, даже язи приворовывали на стороне, и два облака, белое — из чаек, черное — из ворон, кипели, катались над плесом, пьяно кричали, горланили, торжествовали, пируя и пользуясь дармовщиной. Даже лохматые, на капусту похожие чайта суетились на воде и бестолково вертели головами, гакая и еще не понимая, из-за чего поднялся содом на реке. Однако рыбешку-

другую ухватывали клювом и тоже возбуждались от дармового корма.

Щука-подкоряжница, на что уж шакалка и хватчица, не пустившая из гравы покусочничать своих шустрых щурят, сокрушенно трясла головой, на конце которой, в твердой губе, болталась блесна, ввечеру оторванная ею со спиннинга наезжего рыбака: «Что деется! Что деется! Форменное изменшество... Хаптурой это при моей прабабке называлось — поминальной едой, где всякому дармоеду раздолье». «А нынче халтура! — поддакнул вьюн, высунув узкую головку из мягкого, теплого ила. — Надо кон-фэ-ренцию по разоружению собирать, иначе все погибнем!..» «Кон-фэ-рэн-цию, — передразнила вьюнка боевая подкоряжница. — Это значит: я вынай зубы?! Таймени, судаки и жерехи свои стальные челюсти в утиль, на протезы сдавай, так? Окуни и ерши, всякие протчие добытки колочки состригай, мри полноценный кадр с голоду, так? Кто же в реке жить останется? Ты? Пескарье? Ельцы! Гальян! Сорожняк! Карась-шептун! Лещи ко-сопузы! И разная сорная рыба. Кто ж вас, блевотников, гонять-то будет? Аэробикой крепить ваш мускул? Сообразилкову вашу развивать? Охранять, наконец, границы священного водоема нашего? Упреждать и спасать от нашествия нашего вечного врага — рыбака? И как быть с хватательным инстинктом, ему ж тыщи лет. Пропагандом хотите прожить? Боевым и божецким словом сознательность у рыбака-врага пробудить? Так? Так, я спрашиваю? У-ух, пацыхвисты гребанья, недое-ден-нья!»

Не дослушав речь в иступление впавшей щуки-воительницы, вьюн сконфузился и в мягкий ил шильцем всунулся. Подкоряжница же, разгорячившись, хлобыстнулась всем телом об ряску, оглушила в ней двух лягушек, кулика с кочки сшибла и в водяных зарослях скрылась.

Ельчик-бельчик, заслышав шум и громкую речь речного начальника, решил полюбопытствовать: что там, в протоке, происходит? Может, уму-разуму поучиться у великих руководителей водоема? Поплыл через отмель на протоку Ельчик-бельчик. А там генерал-таймени закусывают, облизываются. «Ну что ты сделаешь! — хлопнул один из них себя по дородному пузу плавником. — Опять этот оглоед! Ты чего тут делаешь? Подглядываешь! Фискалишь! Ты зачем нам кушать мешаешь?» Генерал-таймень торпедой метнулся за малой рыбкой, ухватил ее за хвост и, ловко, натренированно перебирая скобами повелевающего рта, начал разворачивать Ельчика-бельчика головой на ход — так белую галушку-вареник отправлял когда-то обжора, хмельной кум Грыцько в свое бездонное брюхо.

Но в это время на берег реки спустилась деревенская старуха — мыть и полоскать длинные полосатые половики — и одним половиком так хлестнула по воде, что таймени приняли это за грохот взрывчатки, которой тут, в подпорожье, не раз баловались сплавщики и разный бродячий народ, да и метнулись в глубь вод, потому что храбры они были лишь в воде, среди рыб, которые все подряд были меньше их ростом и слабее силой.

Ельчик-бельчик, лишившийся половины изящного, хрупкого хвостика, помятый пастью тайменя, едва правясь на боку, приплыл к родной стайке.

«И что с тобой, беспутным, делать? — задумались мать-ельчиха и отец-елец. — Оставить здесь, так эти благодетели сегодня же подберут тебя и проглотят. А знаешь что, сын наш? Там вон в протоку впадает ручей Ворчун, он начинается со светлого, холодного, прозрачного родника. Ты рыбка светловодная, нащупай струйку, ножом просекшую стоячую воду протоки, поднимись до самого ключика, постой там, подумай об своем поведении, подлечись в здравнице. Водяной бог даст, и поправисси. Да смотри! — крикнули родители вслед почти на боку ковыляющему в воде Ельчику-бельчику. — Не забы-

вай, что ты маленькая, беззащитная рыбка, подкоряжницы берегись, окуней стерегись, крысиные засидки стороной оплывай...»

Ельчик-бельчик по холодной свежайшей струйке воды дошел до устья ручья Ворчуна и много дней правился вверх по течению, питаясь в пути наплывающей мошкаррой, водяными козявками, потом настолько окреп, что и паута поймал, а слепней, мух и тлю разную, падающую в воду, брал запросто.

Один раз он увидел хлопающую крыльями по воде бабочку, его взял азарт, и он ухватил бабочку за крыло, пытался утянуть ее в воду. Но бабочка так хотела жить, так отчаянно билась, что оторвала клочок крыла, прибилась к берегу, выползла на него, обсохла и, неуклюже вихляя раненым крылом, улетела. «Так же вот и мне оторвали полхвоста. Одно верхнее перышко осталось. Что же это за жизнь такая? В чем ее смысл? Или везде такое се ля ви, как глаголят окуни?»

Но Ельчик-бельчик был еще юн, дела его шли на поправку, долго думать о смысле жизни он не мог, не умел, да ему и не хотелось этого. Слишком много было кругом завлекательного, интересного. В первую голову его интересовали птицы. Каких только не было в гуще ручья птиц! Как только они ловко не прятались и как только они не пели! И всякая птица пела с удовольствием, всякой своя песня нравилась. Иногда они роняли с кустов в воду белые жидкие капли, и Ельчик-бельчик, думая, что это червячок или гусеница, бросался на них, хватал ртом и потом долго отплеывался. «Фу, какая бяка! И как не совестно мазать ручей?»

Светлый ручей ему очень нравился. Он был говорлив, дружески ласков, весь в зарослях смородины, черемухника, ивы. По берегам его росли яркие, на угли похожие цветы — жарки, гордо и празднично светились марьины коренья — дикие пионы, и всюду голубенькие платочки незабудок, ситец беленьких росянок, синие пятна колокольчиков.

И в воде было много занимательного, интересного и привлекательного.

Под перекатами, на быстрине и в шиверах кормились харюзки, мгновенно исчезающие при любой опасности. И ручей-то узенький, и деваться в нем вроде бы некуда, а вот поди ж ты — научились хитрые рыбки и здесь спасать себя. «Сложна жизнь! Ох, сложна! И напряженна», — думал Ельчик-бельчик, поднимаясь все выше и выше по течению и дивясь разнообразностям природы.

Наконец он достиг истока ручья и подивился его красоте. Ручей возникал из-под скалы. Как бы выдавленная камнем, вода выступала сразу же по всему его подножию, лениво тут шевелилась, ходила кругами, образуя ненаглядное озерцо с песчаным дном и промытым до блеска камешником. По округе озерца уже образовалась растительность: дивные кругом цветы, зонтичные травы, кустарник кучерявился, вербы, склоняясь, гляделись в воду, и две из них до того загляделись, что и упали в озеро, разломившись в корне с братним стволом, но и в воде осилившись, приподнявши вершинку, они росли космато, сорили семенем.

Озерцо кишело рыбьей мелкотой. Ельчик-бельчик вспомнил, что у людей-ловцов это называется детский сад. И решил, что ему, маленькой, чистой рыбке, к тому же израненной и варварски искалеченной тайменями, самое здесь место, никто его за вторжение в здравницу не осудит и дезертиром из ельцовых рядов не посчитает.

Ельчик-бельчик стал плавать в озерке и наслаждаться жизнью. На ночь он сплывал по ручейку в тень, под размытый бережок, прятался в черных корешках черемух, где и обнаружил укрывшихся хариусов, пескарей и даже старого знакольца — подкаменщика — узрел, который, впрочем, не узнал Ельчика-Бельчика и на радостное

приветствие его не ответил. Когда же Ельчик-бельчик напомнил ему о встрече и обо всех происшествиях, какие с ним вышли, пищуженец только буркнул: «Это был мой папа» — и тут же скрылся под камнем, не желая болтать попусту.

Минуло сколько-то дней и ночей. Ельчик-бельчик считать не умел и потому не знал никаких сроков. Жизнь шла хорошая. Ельчик-бельчик совсем поправился, сделался резвым, и хотя без нижнего крылышка хвоста прыгать и ловить мошек было трудно, жизнь заставила его много тренироваться, чтобы быть ловким, легким и добывать себе пищу. Но чем он здоровей и ретивей становился, тем чаще к нему подступало неведомое чувство. Он видел во сне и наяву родную просторную реку, а не тенистый затаенный ручеек, начинающийся пусть и в красивом, но чужом озерке. Он вспоминал стайку ельчиков — своих братьев и сестер, папу-ельца вспоминал, маму-ельчиху. И ему хотелось броситься вниз по ручью, пройти протокою, очутиться в родной, пусть и опасной реке, соединиться с родною семьею.

«Еще маленько покормлюсь, полечусь в целительных этих водах и подамся я из санатория домой — хорошо здесь, а все ж чужбина», — решил Ельчик-бельчик.

Но тут появилась она — прекрасная, скромная, серебром чешуек украшенная, по серебру пояском подпоясанная Белоглазка. Она одиноко стояла под скалой, чуть в сторонке от резвящейся рыбой ребятни, и с наслаждением дышала целебной водой, как бы и не замечая совершенно Ельчика-бельчика.

Он неуверенно приблизился к Белоглазке, кивком всего тела в почтительном поклоне поприветствовал ее, и она ему ответила снисходительным кивком изящного хвоста, чуть повела крылышками цвета промытого камешка, хвост у нее походил на еще не раскрывшийся с ночи подснежник-прострел.

«Что я, инвалид и калека, могу значить по сравнению с такой красавицей? — загоревал Ельчик-бельчик. — Как и всякая красавица, она к тому же недотрога, и если в реку выйдет, все ельцы за нею ухаживать сплывутся, может, какой кавалер покорит ее капризное сердце, а мне уж водяной бог, видно, счастья не сулил...»

Без дальнего намека, просто так, за компанию Ельчик-бельчик предложил Белоглазке свои услуги: не может ли он быть ей полезен? Не ознакомить ли ее с местными условиями жизни? Не помочь ли чем?

«Да-да! Вы можете быть мне полезны и помочь обязаны, как мужчина, как рыцарь...» И тут прекрасная Белоглазка поведала горькую свою рыбью историю.

Весной, идя на икромет и ничего не видя в мутной воде, ее родная стая целиком и полностью угодила в сеть. И Белоглазка угодила. Быть бы ей послонной в деревянной вонючей бочке, но чайки-вертухайки кормились возле рыбаков, выдергивали из сети рыбок, воровали, точнее сказать, какая-то чайка, скорее всего почечутиха, выкрала и ее, Белоглазку. Но кто-то или что-то обжору-воровку напугало, или она позвать хотела подругу, раскрыла рот и выронила смятую, почти безжизненную Белоглазку в воду. Теряющую серебряную чешую, со слепленными жабрами, с открытым ртом и смятыми крылышками Белоглазку утащило в затопленные кусты, где она и отдышалась маленько, не была найдена хищниками и, по совету благородного трудяги-подкаменщика, подалась на излечение в этот исцеляющий ручей. Она достаточно поправилась, восстановила здоровье, и одно только томление и забота гнетут ее постоянно: весной она не отметала икру. Это бремя невозможно дальше носить. Она, рыбка зоркая и чуткая, давно заметила одинокого, тоже нуждающегося в утешении ельца и подумала, что вот тот мужчина, ко-

торый еще способен ценить женщину, готов на благородство, на самопожертвование, на создание прочной совместной семьи.

«Всегда готов! Всегда готов! Всегда!..» — запрыгал, заплескался Ельчик-бельчик в светлом озерке. «Ах, как мы все устали от лозунгов! — поморщилась Белоглазка. — Так хочется конкретных дел!» И стала толковать Ельчику-бельчику о том, что создание семьи не шутка, что современные ветреные мужчины не понимают, точнее, не всегда понимают всю ответственность свою: плодят детей, бросают жен по рекам, а это способствует распространению такого бедствия, как сиротство. Безнадзорные дети мрут от голода и неустойчивости, становятся легкой добычей чайки-почекутихи, ворья-воронья или хотя бы той же щуки-подкоряжницы — она не постыдится, глазом не моргнет, любое дитя, в особенности беззащитного сироту, мгновенно сожрет.

Но Ельчик-бельчик не слушал наставлений своей благочестивой, к морализаторству, как и все современные эмансипированные женщины, склонной подруги. «Как прекрасен этот мир!» — пел он и прыгал. Белоглазка дополнила: «Мир прекрасен еще и тем, что в нем есть место братству и не перевелись в реках и озерах такие чуткие и благородные рыцари, как вы...»

От таких речей Ельчик-бельчик даже присмирел, строже сделался и молча последовал за Белоглазкой под скалу. Там, в тени нависшей скалы, на крупном песке Белоглазка, мучаясь, уронила и рассеяла по дну щепотку мелкой икры. Ельчик-бельчик, тоже мучаясь никогда еще не испытанным наслаждением, покрыл эту икру двумя ниточками белых молок. Сделавшиеся мужем и женой, Белоглазка и Ельчик-бельчик долго и сосредоточенно закапывали оплодотворенную икру мелкой галькой и песком.

Опустошенные, усталые, справив назначенное им природой родительское дело, едва шевеля плавниками, они сплыли по ручью в подмытый берег, спрятались в корешках, чтоб постоять здесь, отдышаться, набраться сил и продлить совместную жизнь.

Но что-то не давало покоя Белоглазке, она тревожилась, выплывая из-под берега на струю, процеживала воду алыми жабрами, пробовала ее и наконец отчаянно закричала: «Это он! Это он, негодяй!..» — и отважно бросилась вверх по течению, муж ее, Ельчик-бельчик, — следом.

По речке вилась и размывалась серая муть, ельчики застали под скалой бычка-подкаменщика, занимающегося нехорошим, прямо сказать, лихим, разбойным делом: он лопушистыми трудовыми крыльями разгребал песок и гальку, ртищем вбирал икру Белоглазки.

— Ах ты, воруга-пищуженец! Да как же тебе не стыдно?! Как не совестно?.. — закричали разом Белоглазка и Ельчик-бельчик, отважно бросаясь на подкаменщика.

Тот забилась в каменную щель и оттуда бубнил оправдания:

— Не вор я, не вор. Трудяга я. Бес меня попутал, дорогие мои товарищи водяные. Мне тоже захотелось вкусенького. Не все начальству икру лопать, подкоряжнице или тем же генерал-тайменям. Им все, стало быть, можно? А я работай, работай, а харч каков?!

— У тебя голова есть? — закричала Белоглазка.

— Ну есть.

— Зачем она тебе?

— Я ей ем.

Возле пищуженца блудили, подкармливались ершишки, растопыривая от сладости свои колючки.

— А вы-то, вы-то, шпана водяная! Уж не прозеваете! Ни стыда ни совести у вас, у бродяг! — рассердился Ельчик-бельчик.

— Ерши, значит, не рыба? И че мы сделали? Украли? Сторожа нет. Икра бесхозна. Никто за нее никакой ответственности не не-

сет. Приперлись, понимаешь, в закрытый водоем санаторного типа да еще и права качают! Коли обдристиали чистое дно вонючей икрой своей — караульте! Кроме того, когда полагалось икру метать? Весной! Где отметать? В реке! Не берите нас на понт, мы законы знаем и кой-чего в политике понимаем! Лямурчики развели! Пролобовались, промиловались!.. Срока исполнения своей задачи пропустили! В план не уложились!.. Мы вас, полюбовников, за нарушение кодекса природы так отгешем, что всю жизнь на лекарства работать будете! Бога водяного молитесь, чтоб сюда подкоряжница не явилась. Она тут мигом наведет порядок! Она себя абы-хы-сыс называет!

И пищуженец осмелел, толкаться давай, выступать:

— Во! Во! Правильно вам колючие блатняги влили! Правильно! Не лезь в привольное место, ковды спецпропуска нету...

— А у тебя есть? А у тебя есть?

— У меня тоже нету. Но я тут отхожие помещения чищу, всякую вредную тлю, червя и клеца выедаю.

— Икоркой на верхосытку не гребуешь?!

— Говорят вам, икра бесхозная, не ко времени и не в положенном месте выметана. Да как же теперь судить меня за это?..

— Да ты, дебил водяной, неподсуден из-за своей умственной отсталости и древнущей мужицкой жадности,— съязвили ерши. И, не найдясь, чего им ответить, от греха, от шайки блатных подалеже залез бычок под камень, на прощание сказав паре ельчиков:

— Извините. Больше не буду.

— Кончай демагогию!— растопырились еще пуще ерши.— Не вилай хвостом! Каждому по труду, от каждого по потребности! Слышал?

— Да слышал, слышал. Еще в школе на тихой протоке. Подкоряжница там учительствовала. Безграмотная, тупорылая, но имеет диплом об окончании академии общественных наук! Хилософ я, говорит, хилософ-практик. На общественных началах могу теорию сохранения жизни в протоке преподавать и за идейную чистоту рыбьих рядов бороться. Тогда ты, елец, не только икры, остатков хвоста лишишься.

Белоглазка и Ельчик-бельчик решили не покидать свое маленькое нерестилище и поочередно дежурили возле него. Вот-вот должны были появиться дети из той икры, которую не успели сожрать пищуженец, скрывшийся от позора, и благняги-ерши.

Однажды на светлом озере поднялось волнение, шум, гам, замесались бедные мульки, не зная, куда деваться. Птицы запищали жалобно, и ельчики поняли: уставшая от ленивой, сытой жизни в стоячей воде на протоке, по холодненькому ручью в свежую водицу пожаловала подкоряжница. Наводя ревизию, приела она по пути потерявших бдительность харюзков, птенцов, какие из гнезда выпали, подобрала, лягуху долго во рту, как цветочек зелененький, таскала, петь пыталась: «Раз попалась, пташка, стой, не вертухайся!» — мышонка — для острастки, не иначе — пришибла и даже есть его не стала.

Рыбки тучей залезли под скалу, дрожня дрожат, жмутся друг к дружке. Подкоряжница всплыла на самый верх, перья распустила, пасть очертила, разом две целебных ванны принимает — водяную и солнечную. Пасть у нее сплошь в ценном металле — серебре, золоте, меди, свинце, даже в вольфраме. Зимой рыбаки просверлят лунки и удят на протоке окуньков, сорожек, ершиков. Подкоряжница в засидке находится, караулит жертву, и как только рыбак поволокет на мормышке иль на блесне рыбешку вверх, она шасть из-под коряги, цап рыбешку вместе с мормышкой — и ваша не пляшет! Хохочет подкоряжница, издевается над рыбаками, зубастую пасть, изукрашенную металлом, из лунки показывает.

Рыбаки лаются от неистовства, норовят подкоряжницу пешней оглушить, по льду галошами топают, одного контуженного на войне рыбака припадок хватил. Едва откачали.

И здесь, на родниковом светлом озере, подкоряжница блаженствовала вроде бы, но одновременно и воспитывала рыбе поголовье, к справедливому порядку население приучала.

— Кто в спецводоем без путевки, без направления из оттудова,— показывала она рылом вверх,— дикарем аль бо по несознательной дурусти и политицкой отсталости загерся, тот дело будет иметь с органами абы-хы-сыс!— Подкоряжница, рогоча, хлопала себя плавником по резиново надутому брюху.

Рыбака увидит подкоряжница, дразниться начинает:

— Имай! Имай! Может, чего поймашь!— И тут же прыгать да хриплым с похмелья голосом петь любимую песню примется:— Мы поймали два тайменя, один с хрен, другой помене!..

— Водяной ты!— крестились хвостами спрятавшиеся под скалой бедные рыбки.— Никакого в ней страху. Разве можно господина рыбака так гневить? Он же ж рассердится и нас переглушит всех, в сумке унесет, сварит и съест..

Подкоряжница особенно люто ненавидела почему-то рыбаков в шляпах, в темных очках, в иностранной снаряде, с японскими спиннингами, шведскими катушками и советскими блеснами.

— Хо-хо-хо! Интернационалист явился! Унутренний эмигрант. Рыбки ему социалистической захотелось, революционному населению принадлежайшей. А этого не хочешь?— хлопала она себя плавником по отверстию, расположенному в конце брюха, почти в районе хвоста.

— Я тебя, скабрзницу, счас выволоку! Счас-счас! Я мокрель в Карибском море ловил. Акулу в Персидском заливе! Рыбу-пилу у берегов Африки. И чтоб с такой выжигой из гнилой протоки не совладать?!

— Мокрель он ловил! Акулу капитализма! Ты вот акулу, выросшую в водах социализма, излови! Здесь вон нефть кругами ходит, лесом дно реки устелено, машинные колеса, банки, всякое военное железо на дне валяется, и гондоны, и утопшие пьяные трудящиеся плавают и совсем не морально, а натурально разлагаются. Браконьер сетки мечет, бреднем гребет, острой целится, порошком травит, динамитом глушит! А мы живе-ом! Друг дружку жуем, повышая тем самым бдительность на водоеме, отбор происходит естественный — остаются самые выносливые, смекалистые, пронирыливые. Плевать они хотели на рыбаков-краснобаев и на защитников природы. Мужество, нравственность! Способность к самопожертвованию во имя будущего идеала. Мы во вновь открытые, развивающиеся водоемы икру на размножение отправляем. Бер-ри! Плодись! Множь рыбе поголовье, мы добрыя!

И кабы подкоряжница выступала, как люди, стоя на трибуне и не брыкаясь, нет, она все время носится, вертится, вроде бы схватить блесну норовит, но все это она делает коварно, с умыслом: то под затонувшую корягу занырнет, в щелястом камне просмыгнет, то почти на вербу выметнется,— и блесну за блесной садит рыбак в дерево, пластает лески, уродует спиннинг. Когда впавший в горячку рыбак обнаружит: все блесны потрачены, крючки обломаны, лески изорваны,— удрученно глянет он на светлые воды, и который заплачет, а который, матерясь, отправится домой.

Подкоряжница уж никогда не удержится, заулюлюкает вслед, запоем любимую песню «Мы поймали два тайменя...», наставления выдаст:

— Рожа твоя безыдейная! Ты мырни, мырни в озеро-то! Там горы металлу! Блесны и крючья всех стран и континентов украшают наш спецводоем! А в протоку? А в реку? Соображай, милый!

Но дооралась и подкоряжница! Допрыгалась!

На озерце появился старичок в кирзовых сапогах, в добела изношенном железнодорожном кителе и картузе и тоже целится рыбки на ушицу изловить. Огляделся старичок, высморкался, ловко этак подметнул леску и на самодельную мушку выхватил одного глупого харюзка, другого. Подкоряжница выплыла из-под вербы, смотрела, смотрела на эту работу и, не выдержав искушения, бросилась за харюзком, волочимым дедом, оторвала его, вместе с мушкой заглотила.

— Ах ты, клятая-переклятая! Рыло твое ненасытное!— заругался дед.— Вот я тебя изловлю, тогда узнаешь, как шырмачить.

И с этими словами дед достает из мешка складной самодельный спиннинг с самодельными блеснами.

— Хо-хо!— схватилась за живот подкоряжница.— Налимов тебе ловить туполобых этакой снастью! А я ловушки всех стран и континентов прошла, в карасине выжила, водяным академиком сделалась, сама имаю кого хочу, меня ж никто поймать не сможет!

— Ниче, ниче,— успокаивал ее старичок.— Попытка не пытка, как говорил один почтенный товарищ. Не изловлю, дак натренируюсь.— И давай дед тренироваться, блесну забрасывать.

Подкоряжница бесится, бегаёт, прыгает, вьется. Выдохся старичок, замертво на траву упал, глаза закрыл, больше не могу, говорит, сил нету, уработался.

— То-то!— нравоучающе молвила подкоряжница и увидела, что возле вербы, упавшей в воду, раненая рыбка бьется.— Ну отдыхай, стахановец, сил набирайся, а я покудова подзакушу, шибко промялась.— И с ходу, с лету цап раненую рыбку да и в укрытие с нею, под вербу. Пока уходила в тень, поудобней устраивалась, рыбку проглотила и почувствовала, что вроде бы горло, пусть и луженое, чем-то царапнуло, да и в животе, в кишках какой-то непорядок, посторонний предмет как бы беспокоит. Осмотрелась подкоряжница, видит, изо рта ее проволока свисает и дальше — леска, миллиметровая.

«Живец!— ахнула подкоряжница.— На живца попалась!.. Когда и наживил ловкач старый? Ах, мать-перемать!»— задергалась, забушевала подкоряжница.

Дед к вербе торопится, колесит на кривых ногах и назидает:

— Тиха, милашка, тиха! Ковды попалась, дак дурака не валяй!— И махом на берег подкоряжницу выхватил.

— Это не по правилам!— заорала, запрыгала в траве подкоряжница.— Паровозник! Браконьер! Враг природы!

— А ты дак друх?!

— Конечно, друг. Я водоем очищала от больных и дебильных рыб, мускул им я укрепляла, умственность развивала, в страхе их держала, от вашего брата — варваров-рыбаков — остерегала...

— Ты вот че,— снисходительно обратился дедок-рыбак к подкоряжнице, вытирая чистой тряпичей руки.— Ежели не угомонишься, орать будешь и рыпаться, получишь успокоительный наркоз.— И вынул из мешка топор с крепким стальным обухом.

— Ох, только не наркоз!— взревела подкоряжница.— Прощайте, товарищи рыбы! Закончен мой боевой путь. Завершена достойная героическая жизнь! В протоке остались мои дорогие щурята, они вам еще покажут! Будьте бдительны!— И с этими словами подкоряжница уснула навсегда, открыв широко свою богатую пасть, украшенную мормышками, блеснами, похожими на вставные золотые зубы, какие и положено иметь руководящей личности.

Ельчику-бельчику сделалось грустно. «Вот она, наша жизнь рыба!»— вздохнул он и вспомнил, как подкоряжница митинговала, когда обманула рыбака в темных очках и в шляпе. И рыбы хором

славили подкоряжницу, пели ей гимны: «Мы восхищены вашим бесстрашием в борьбе с вечными и заклятыми нашими врагами — рыбаками».

Подкоряжница распустила хвост и плавники, с удовольствием слушая похвалы в свой адрес, но и фыркала тоже, водой бурлила: «Либералишки сопливые! Они, видите ли, восхищены. А что вы сделали для защиты отечества нашего рыбного? Союза нерушимого? Червячков только жрать! Хвостом вертеть! А я борись!..» Подкоряжница вдруг рассердилась да как начала гонять по озеру рыбий хор. Под психическую атаку незаметно сотню малявок съела, харюза под камень загнала, у Ельчика-бельчика чуть навовсе хвост не отяпала.

И все же жалко подкоряжницу. Сварливая, прожорливая, неуважительная, а все хозяйка.

Ушел старый рыбак с родникового озера и унес в мешке подкоряжницу. Унялось волнение. Рыбки малые выплыли из укрытий, начали кормиться. Пестренькие харюзки, как всегда, резвились и играли, делая свечки над водой, не забывая, впрочем, подобрать с воды трепещущего поденка или другого мотылька какого, мошку, комарика. Раненый хариус маялся под скалой, выплыть пробовал. Ласточки-береговушки стригли крыльями небо. Мир и покой царили вокруг.

Ельчик-бельчик и Белоглазка неотлучно стерегли свое маленькое нерестилище, и, покрутившись возле него, как всегда, пьяные от свежей воды, матерно выругавшись, убежали чумазые ерши по речке в протоку, где меж топляков, в мутной, засоренной воде им легче было чего-нибудь спереть да и подрасть с мирными гражданами здешних вод, похулиганить полное раздолье.

Вот и вынырнула со дна горсточка мушек-мулявок. Много икры съели пищуженец и ерши, часть пропала неоплодотворенной или по неопытности некачественно прикопанной, однако молодые родители посчитали и это удачей. Опыт жизни, как и сама жизнь, не так прост, и первая попытка создания семьи могла вовсе кончиться крахом, ныне это сплошь да рядом, да и метали они икру все же не в положенный срок, не на положенном месте.

Дождавшись, когда малявочки прозрели и начали кормиться самостоятельно, Ельчик-бельчик и Белоглазка покинули их в хорошем сохранном месте, надеясь, что здесь, в санаторных условиях, хоть сколько-то из них перезимуют и сохранятся.

Родители спустились в реку. Ельчик-бельчик и Белоглазка были совершенно уже здоровые, способные любить, спасаться и добывать еду.

Наступила осень.

Обнажился лес. Листья сносило ветром в реку, былинки сухих трав падали на воду, и кружило, кружило, несло их куда-то. Все, что жило, плодилось, цвело летом, обрело крылья, голос, умолкало теперь, осыпалось семенем, отмирало до корешков и успокаивалось в корешке. Птицы объединились в большие стаи, чтоб покинуть родимые края. Рыбы тоже сбивались в стаи, чтобы совместно отжировать на обильном осеннем корму и уйти в ямы на зимовку.

Сборище ельчиков, похожее на серую, в середине даже темную грозовую тучу, сосредоточилось на протоке. Здесь еще сохранились опечки и обмыски, не занесенные топляком, грязью и не заросшие водяной дурниной. Почти не двигаясь, стояли, прижавшись чуткими брюшками ко дну, устеленному мелкой галькой и песком, белые серебристые рыбки. Что их гнало сюда, в это место? Зачем? Почему? Что объединяло их? Древние законы? Привычка? Тяга к братству? Все это отгадано людьми лишь частично — маленькие рыбки ельчики, как и многие рыбы, брали на зиму немножко балласта. Они подби-

рали со дна мелконькие, с дробинки величиной, камешки или крупные песчинки, заглывали их. Нагрузившись балластом, они еще несколько дней стояли на чистых отмелях, и какое-то грустное, недвижимое, может быть, и торжественное чувство владело ими. Наверное, перед тем как впасть в полуспячку, сделаться совсем беззащитными, утратившими даже инстинкт самосохранения и страха, они молились рыбьими словами своему рыбьему богу и просили его о том, чтоб он сохранил их души и тело, продлил их жизнь...

Над ними настывал и застекливал реку осенний прозрачный лед. На лед ложилась белая изморозь, трещины ходили по нему, стекло льда со звоном лопалось, содрогалась вода, содрогались обитатели реки от режущего, душу пронзающего звука. Ельчики, колыхнувшись луговой, иньём прихваченной травкой, нарушали строй, готовы были броситься врассыпную, но увидев, что родители их, мамы и папы, стоящие впереди на почтительном отдалении, никуда бежать не устремлены, тоже успокаивались, плотнее прижимались друг к другу.

Из деревни могли спуститься рыбаки, пробить пешнями и топорами тонкий лед у входа в протоку и на выходе ее в реку да и перегородить впереди и сзади рыбной стаи протоку мелкочейными сетями, которые и называются ельцовками. Поставив сети, насторожив погибельные ловушки, люди станут бегать по льду, хрюпать по нему колотушками, топорами, сапогами, и очнувшиеся рыбки в панике засуетятся в воде, устремятся в реку из тесной протоки, засадят сети телами своими почти в каждой ячейке.

Но не было бы счастья, да несчастье помогло — в деревне не осталось мужиков-добытчиков, сгнили сети на чердаках, да и сама деревня погнила, едва дышала несколькими трубами.

Эта опасность миновала. Но сколько же кругом других напастей. Вверх по реке стоят маргариновый, дрожжевой и каустиковый заводы, льнокомбинат там стоит, на окраине райгородишка межраймашремонт находится, несколько свино- и скотокомплексов, какая-то пропарка, какие-то трубопроводы и просто трубы, пускающие грязь, пар и горячую воду, школы, дома, санатории — все-все они испражняются в реку всяческой дрянью, неиссякаемой нечистью.

Ах, если бы знал человек, как он грязен, вонюч, необходим, так, может, и постыдился бы себя, исправился бы, стал вести себя поопрятней и милосердней. Да где там!.. До милосердия ли ему? Веселится, пляшет и поет человек, дожирая остатки безумного пиршества на земном столе, любуясь на себя уже не в зеркале, а в лужи грязные глядя. Скоро ему не только наслаждаться нечем будет, но и напиток на земле воды не найдется, в небо за нею полетит на жутко грохочущих кораблях. Сдохли раки в родной реке, совсем почти не осталось светолюбивых гальянчиков, пескарей, харюзки и ленокки в ручье спасаются. Но зимою ручей промерзает до дна, его наледью толсто покрывает — задохнешься, поневоле надо отстывать в гнилой и душной воде.

Меньше и меньше ельцов в реке. Теряют резвость таймени. И только подкоряжница со щурятами, окуни, сорожняк да ерши по привычке к новой обстановке. Пахнет у них дурно изо рта, керсином их икра воняет, и сами они помойкой отдают, уже и варить их рыбаки не решаются, но ловят просто так — для утешения души, в утеху сердцу, наслаждаясь самим процессом рыбалки и отдыхом «на воле».

В мир приходит заосенью. Тишина и умиротворенность на опустелых полях. Земля наряжается в белое, чистое. Прозрачно и покойно вокруг. Улетели на юг тревожные птицы. Ушли звери в темные крепи. Боровая птица в теплых ельниках и сосняках схоронилась. Медведь перестал куролесить по тайге, залег и успокоился в берлоге. Генерал-таймени тревожно подремывали в глубинах, по-за камнями.

Легли на ямы крест-накрест и оцепенели до талой весенней воды кое-где еще сохранившиеся осетры, белуги, стерляди, большая рыба-кит скрывалась в океане, боясь китобоев с беспощадными гарпунами, акулы задумались о проблемах нынешней жизни и всеобщем разоружении, угрожающем изгнанием их из всех мирных вод. Ушли в далекие моря молодые косяки кеты, чавычи, горбуши и всякой разной прихотливой рыбы. Аж в Саргассово море, висясь и изгибаясь, спешат угри. В неизведанной и человеку еще не доступной толще южного моря плавают задом наперед рыба с двумя сердцами и без единого глаза, и кто-то еще там, в глубине, есть, невиданный и неведомый, но тоже, как и всякая тварь водяная и земная, совершив годовой круг, торопится на отдых или в тепло из северной части родной планеты, и пробуждается, готовится к гону, икромету, брачным песням, дракам, к любовным делам население южной ее половины.

А в яме Родной реки, названной так людьми, покинув мелкую протоку, плотным сонным косяком стояли белые, тихие рыбки — ельцы. В яме было чисто, глухо, сонное марево окутало воду под толстым покровом льда. Лишь к полудню проникало сюда пятнышко, и рыбы понимали, чувствовали в немой глубине, что там, в миру, все в порядке, ничего никуда не сдвинулось, не развеялось и хоть самое малое тепло, малый проблеск жизни и света небесного обнадеживают всякую тварь сущую на будущее.

Едва выпутавшись из морозного тумана, не успев проморгаться и обогреть мир божий, солнце тут же меркло, затягивалось серой мути морозного дыма до следующего позднего пробуждения.

Покрытые кисельным слоем слизи, предохраняющей от полного остывания тельца в холодной воде, почти слипшись боками воедино, стояли в глубине сонных вод, жались друг к дружке, чешуйками чувствовали друг друга и ощущали себя роднее всех родных существ в земном пределе добрый и веселый Ельчик-бельчик, умная и ласковая Белоглазка.

Природа-мать, смилуйся над ними.



РАСУЛ ГАМЗАТОВ



НЕБЕСА НАД ГОРАМИ ЕДИНЫ



Россия, ты когда-то не с цветами
Нагрязнула в пределы наших гор.
Поныне скалы схожи со щитами,
И в них гнездятся пули до сих пор.

И на Кавказ поручиком не ты ли
Отправила поэта для того,
Чтобы в бою чеченцы зарубили
Или аварец застрелил его?

Но был убит он не слугой корана,
А подданным твоим он был убит...
Мне снится сон в долине Дагестана,
Что я поэта павшего мюрид.

В моей груди его пылает рана.
И плачу я. А выстрел все гремит.

Звучит из тумана...

Клубится вокруг аравийская пыль,
И нет ни одной по соседству вершины.
Лежишь под могильной плитой, Шамиль,
Кавказа вдали ты, у края Медины.

На камне поблекшем не в силах прочесть
Я имя твое.

И звучит из тумана:

«Не камень в пустыне, а память и честь
Хранят мое имя в горах Дагестана.

На подступах к Мекке лишь кости мои
Лежат у дороги в сыпучей могиле,
А сердце мое — там, где вел я бои,
Где скальные выси мне крепостью были.

Увенчан мой череп здесь белой чалмой,
А мысль моя там, где тропа в поднебесье
Льнет к гребням Гергебля, повитым зимой,
Где руку поныне держу на эфесе.

Здесь мерно верблюжий плывет караван,
Звенит колокольчик в метущемся прахе,
А там я, как прежде, касаюсь стремян,
И видят меня в Ахульго и в Хунзахе.

Здесь в саване, раб я господний, лежу,
А там — еще в гордом обличье и блеске
Вновь с войском по звездному мчусь рубежу
При всех газырях, в неизменной черкеске.

Со мной здесь прощальной молитвы слова
И плакальщиц-жен неподдельные слезы,
А там обо мне не смолкает молва,
Сверкая, как будто полночные грозы.

Здесь четки со мной, покаянье и сон,
А там — моя явь, не подвластная тлену.
Не я ль обессмертил плеяду имен
Кавказских наместников, знавших мне цену?

Здесь был оклеветан посмертно не раз
В безгласной дали от аварских селений,
А там моя слава на целый Кавказ,
А там мои восемь смертельных ранений!»

* * *

Шамиль отвагу не давал в обиду.
И нашивали, чтобы ведал срам,
В горах на зад трусливому мюриду
Клок войлочный, как повелел имам.

Эй, стихотворцы робкого десятка,
Когда бы славный здравствовал приказ,
То к заднице пришит был для порядка
Клок войлочный у каждого б из вас.

* * *

Когда дружбы ты верен заветам,
То хотел бы я знать, для чего
Ты настраивал струны при этом
На пандуре врага моего?

Небеса над горами едины
И для ворона и для орла.
Но ни разу их вместе вершины
Не видали, хоть вечность прошла.

Перевел с аварского ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ.

ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ



НА БЛАЖЕННОМ ОСТРОВЕ КОММУНИЗМА

Рассказ

Трудно говорить о своих ушедших товарищах, о людях близких, близких не только лично тебе, но и миллионам других людей.

Именно поэтому и трудно, что их знают все, а знание всех — это факт значительный. Он тем более значителен, что рядом с тобой — живые свидетели той, ушедшей жизни, ее поклонники, ее и ценители и хулители, прижизненные и послежизненные лстыцы.

Многих авторов читаю я сейчас, чьи статьи, статьи полемические, заметки и воспоминания о людях, ушедших давно и недавно, еще ни разу не устроили меня, если этого человека, личность эту я тоже знал, и знал близко, а может быть, душевно близко. Как же быть, как поступать в таких вот случаях, когда надо, когда должно сказать о человеке, но теряешься — как это сделать?

Я думаю, прежде всего другого нужно дать посмертное слово ему самому. Опубликовать его письма, его наброски, связанные с ним документы и материалы. Владимир Тендряков оставил после себя большое литературное наследие, оно, конечно, будет издано, уже издается, а «Новому миру» нельзя оказаться от этого дела в стороне, никак нельзя уже только по той одной причине, что Тендряков многие годы был автором нашего журнала. Таких причин наберется и еще немало, и, продолжая публикацию его рассказов¹, мы не только отдаем долг ему лично, но и общественности нашей, которая должна еще и еще раз убедиться, что во все времена находились писатели, которые умели называть вещи только своими именами, а иначе — не умели. Слово которых, может быть, и будет оттеснено когда-нибудь другим, более изысканным и более умным, более всеведущим словом, но и тогда оно не потеряет значения первооткрытия или хотя бы останется честной, безоглядной попыткой к первооткрытию. Это слово еще и еще поразит нас своей бескомпромиссностью, отсутствием всякой боязни с кем-то не поладить, заметить чью-то лысину, чью-то хромоту, чье-то косноязычие, полным отсутствием желания скрыть свою собственную мысль — пусть даже откровенно субъективную, неоправданную, которую история не подтвердит, но все равно остановится на ней как на мысли первой в своем роде, дерзкой и характерной для ее автора.

Так, кажется мне, должно быть между нами, живыми, до тех пор, пока характер умершего, его облик, его стиль остаются для нас интересными, нас захватывают и волнуют.

Первое слово — ему первому, а потом уже и воспоминаниям о нем.

Сергей ЗАЛЫГИН.

¹ См. «Новый мир», 1988, № 3.

Слепая Фемида изощренно пошутила, предоставив Хрущеву расправиться со Сталиным. Судьей палача стал человек, которого Сталин считал шутом.

Сталина я видел всего лишь раз в жизни — 7 ноября 1945 года, проходя среди многих и многих людских тысяч по Красной площади мимо Мавзолея. Помню: поразили меня его маленький рост — вдавлен в трибуну по самую фуражку с твердым околышем — и бескостно-дряхлый жест дедовской руки, вызывавший вулканический рев обезумевшей от восторга площади. Разумеется, и я обезумевше вопил вместе со всеми...

Хрущева же я видел и слышал много раз, издали и достаточно близко, хотя лично, увы, не беседовал, не был допущен до рукожатия.

Одна встреча, право же, стоит того, чтоб поведать о ней. Я тогда удостоился чести провести день в коммунизме. Да, да, в том усиленно обещанном, шумно прославляемом коммунизме, попасть в который никто из здравомыслящих граждан нашей страны давным-давно уже не рассчитывает.

1

15 июля 1960 года. Мне позвонили из правления Союза писателей: — Просим зайти завтра в течение дня. Очень важное дело.

А так как Союз писателей, надо отдать ему должное, делами меня не обременял, тем более важными, то я послушно заехал на улицу Воровского. Там мне вручили конверт с праздничного вида билетом на лощеной бумаге, заставили расписаться.

В билете значилось, что товарищ Тенков В. Ф. с супругой приглашаются на встречу руководителей партии и правительства с деятелями науки и культуры, просьба прибыть в 9 часов утра. На обратной стороне билета — схема маршрута: по Каширскому шоссе, поворот на сто двадцатом километре, к совхозу «Семеновскому»...

— Место в машине для вас оставить? — спросили меня.

Я пожелал остаться независимым:

— У меня своя машина.

У меня был выдавший виды «Москвич», который я мыл в году раза по два — по вдохновению или ради какого-нибудь исключительно случая вроде техосмотра. Встреча с правительством — случай тоже из ряда вон выходящий, и я мысленно дал себе слово помыть машину.

Но не сдержал его: в тот день домой вернулся ночью, а утром встал, когда стрелки часов перевалили за восемь, где уж тут мыть машину, сломя голову надо нестись, чтоб если и опоздать, то не безбожно.

Я влез в свой единственный светлый костюм, вместе с женой сбежал к своему неумытому «Москвичу», ринулся через Москву к Каширскому шоссе.

Тише едешь — дальше будешь, поспешишь — людей насмешишь... У меня вечные нелады со столь мудрыми остережениями, а потому на выезде из Москвы коварно спустил баллон. И я, скинув свой светлый, но удушающе плотный, жаркий, что мужицкая поддевка, пиджак, кляня норовистую машину, правительственную затею, самого себя и ни в чем не повинную жену, принялся на солнцепеке менять заскорузлое от грязи колесо. А мимо по шоссе скользили, отливая безупречной полировкой, черные «ЗИЛы» и монументальные «Чайки» — еще не примелькавшаяся новинка тех лет, — все они, разумеется, спешили туда, куда спешил и я.

Наконец колесо поставлено, багажник захлопнут, руки наспех вытерты тряпкой — вперед! Я выжимал из своего неумытого все, что тот мог дать, не особенно считался с дорожными знаками, выскаки-

вал на левую сторону, держа наготове пригласительный билет на лощеной бумаге. Если только милиция остановит, сразу под нос обезоруживающий документ: смотрите, спешу не к теще в гости, вам надлежит не осуждать, а хвалить меня за рвение. Шоссе было густо заставлено милицией, чуть ли не на каждом километре посты, но, должно быть, они по слишком откровенному нахальству, с каким я нарушал правила, догадывались о приготовленном для них лощеном билете и лишь провожали меня осуждающими взглядами. И уж только когда я совершил вовсе недопустимое — у железнодорожного шлагбаума по левой стороне обошел черные лимузины и бесцеремонно подставил бок «Чайке», — ко мне подошел представитель милиции с погонями подполковника и скорбно-осуждающим лицом. Он даже не попросил у меня водительские права, даже не спросил меня, куда это я так рвусь, даже лощеный билет, увы, не понадобился. Подполковник всего-навсего укоряюще сказал:

— Нельзя же так. Можете аварию устроить. Нехорошо.

И затронул лучшие струны моей души, заставил искренне устыдиться. Я и дальше продолжал гнать своего неумытого, но старался уже не нагличать.

Неожиданно я почувствовал, что шоссе вокруг меня пусто, трясется впереди лишь расхлябанный грузовичок — ни черных лимузинов, ни гордых «Чаек» с золочеными хвостами... И я понял, что переусердствовал — проскочил заветный поворот, указанный на обратной стороне билета. Пришлось разворачиваться...

Стандартный кирпич на обочине, запрещающий произвольный проезд, нитка асфальта через поле к раскинувшейся хвойной купе.

Наш «Москвич» оказался в очереди машин перед четырехметровым сплошным забором, выкрашенным в стандартную солдатски-зеленую краску.

Молодцеватые военные с голубыми околышами и петлицами заулыбались, когда после сияющих «ЗИЛов» и «Чаек» подрулил я. Через опущенное стекло было слышно, как один пронизательно заметил другому:

— Гляди — частник приехал!

Я показал им приготовленный билет, они мне с подчеркнутой вежливостью откозыряли, и я въехал под сень соснового леса, недоуменно оглядываясь — где же тут можно приткнуться? Узенькая — на ширину одной машины, не больше — асфальтовая стежка привела к асфальтовому пятаку, и к нам двинулся молодой человек.

Он был высок, плечист, гибок, он не шагал по земле, он скользил по ней, темный костюм на нем, облегающий широкую грудь и тонкую талию, лишь на локтевых сгибах собирался в скупые, почти музыкальные складки. И голова его курчавей, чем у Пушкина и Василия Захарченко, и лицо правильное, мужественное, способное выражать лишь открытую доброжелательность. Он без всякого содрогания положил свою сильную руку в немнущемся рукаве с высовывающейся ослепительной полоской манжеты на ручку давно не мытой дверцы, с силой распахнул ее, пророкотал моей жене:

— Здравствуйте. Добро пожаловать. Прошу вас.

И жена, смущенная его великолепием, его рыцарской услужливостью, вылезла из неумытого «Москвича» на священный асфальт. Встречающий с силой захлопнул дверцу, небрежно махнул мне рукой:

— А ты поезжай! Поезжай дальше.

Вот те раз!..

Впрочем, моя особа всегда почему-то вызывает недоверие у швейцаров и официантов. Швейцары меня стараются не пустить за порог, официанты же меня с ходу предупреждают, что пиво в их заведении стоит дороже, чем в пивном киоске напротив.

Однако недоразумение сразу раскрылось, наш встречающий рассыпался в извинениях и все же настойчиво предложил ехать дальше.

Жена, только что ступившая на землю обетованную, вновь залезла в машину, и мы покатали по узкой дорожке — дальше, в глубь леса.

Неожиданно лес оборвался. Мы выехали за ворота, мимо военных с голубыми петлицами — в поле, под ослепительно синее небо, на жестокий солнцепек. По обеим сторонам дороги на обочинах тесно стояли машины, и я понял, что пересек границу, где царствует дух гостеприимства и доброжелательности, вновь попал в места с волчьими законами, где рви — не зевай!

«ЗИЛы» и «Чайки», «Чайки» и «ЗИЛы», сияющие черные лаком, светлым, промытым стеклом, горящие начищенным никелем. Возле каждой машины развалился на солнышке шофер. Все они, как и их машины, похожи друг на друга, стандартны — тучные, распаренно-красные, ленивые. Даже на расстоянии чувствую их презрение к себе — странный тип, забравшийся в столь ослепительное общество на потасканном и до безобразия неопрятном «москвичишке».

Подавленный их сановитым презрением, я ехал и ехал, растерянно и безнадежно приглядываясь — не откроется ли в сиятельных рядах щель, куда можно втиснуться. Нет, не открылась. Я проехал с добрый километр, пока сплошные шеренги машин не кончились, не открылось чисто-поле. И тут-то я развернулся и поставил своего неумытого на то место, какого он был достоин, — на самых задворках великолепного становища.

Я закрыл машину, переглянулся с женой:

— Пошли?

— Пошли.

И пошли мы, солнцем палимы, вновь вдоль блистательных рядов, под презрительными взглядами вельможной шоферни. Набравшее лютюю силу солнце, взгляды, светлый костюм, в котором, пожалуй, можно и зимой гулять без пальто, с каждым шагом все больше и больше накаляли меня. Сначала тихо, затем все громче и громче я начал кипеть, проклиная все на свете — яркий день, безоблачное небо, сытых олухов на обочине, затею со встречей у черта на куличках. И пот стекал по спине под светлым пиджаком, и хотелось пить...

Дорога впереди пересекала мелкий овражек, за мостиком с легкими перильцами уже маячили ворота в зеленом заборе, военный возле него. Еще немного... Но как хочется пить!

Совсем неожиданно прямо из-под мостика выскочил — эдакий ванька-встанька! — человек в соломенной шляпе, застыл в недоуменной стойке, спросил тенорком:

— Вам куда?

— Как — куда? — удивился я. — Сюда! — кивнула на ворота.

Объяснение не очень-то вразумительное, но на большее я был уже не способен. Однако...

— Пожалуйста! — Соломенная шляпа с готовностью нырнула под мост.

До ворот оставалось каких-нибудь пятнадцать шагов, когда я вдруг похолодел под своим жарким пиджаком.

— Послушай, а билет?..

Билет остался в машине у ветрового стекла.

Военные откозыряли, участливо выслушали меня, пожали офицерскими погонами:

— Не можем.

— Вы понимаете, что только идиот стал бы рваться сюда без билета. Он у меня есть — поверьте. А топать туда и обратно по такой жарнице — сдохнем.

— Верим. Сочувствуем. Но не можем.

Я видел, что они верят мне, и сам прекрасно их понимал — впустить меня, пока я не махну перед ними кусочком лощеной бумаги, значит свершить самое тяжкое преступление, какое только для них возможно, значит признать ненужность и бессмысленность своего

существования. И я стоял перед военными запаленно жалкий, потный, убитый, решал — не плюнуть ли мне на всю эту затею, не совершить ли рейд по солнцепеку, не развернуть ли своего неумытого носом к дому... Право же, военные были славные ребята — сочувствовали.

Вдруг один из славных ребят взгляделся в сторону, махнул рукой, властно крикнул:

— А ну сюда!

Подкатила странная машина, пожалуй, даже более странная, чем мой «Москвич», — дряхлая «Победа» и тоже давно не мытая, пропыленная. За ее рулем сидел уныло носатый человек наглядно иудейского вида.

— Возьмешь этих товарищей, довезешь до их машины, привезешь их обратно. Ясно?!

— У меня кардан...

— Тебе сказано: свозишь товарищей туда и обратно! Ясно?.. Садитесь, пожалуйста.

И мы, преисполненные благодарности, влезли в душную, пыльную, пахнущую чем-то кислым «Победу». Едва тронув с места, носатый начал брюзгливо жаловаться:

— У меня кардан разваливается... И на одной подвеске езжу... До гаража не доберусь...

Мы слушали, виновато молчали, но ехали мимо выстроившихся парадных машин, мимо возлежащих шоферов.

Билет упал с ветрового стекла вниз, и пока я его поднимал, «Победа» вместе с носатым водителем бесследно исчезла.

И снова мы, солнцем палимые, — мимо, мимо... Как хочется пить! Пригласительным билетом прикрываю накаленную макушку. Я уже никого не кляню, не ругаюсь, киплю в себе, боюсь взорваться.

Наконец-то заплетающиеся ноги доносят нас к мостику с перильцами — уже теперь близко!

Из-под мостика бодренько выскакивает человек в соломенной шляпе — Сивка-Бурка, вещая Каурка:

— Вам куда?

Меня прорвало:

— А ты чего — не видишь? Второй раз мимо проходим! Зачем тебе только деньги платят!

Плечи Сивки-Бурки опустились, руки упали, морщинистое лицо смятенно вытянулось под шляпой.

— А что вы обижаетесь? — Тонким тенорком с жалобной беззащитностью: — Ведь я же на работе.

И нырнул под мост.

Я сегодня второй раз почувствовал угрызение совести: в самом деле, виноват ли он, если приходится зарабатывать хлеб такой странной службой — под мостом? А потом я здесь гость у высоких хозяев, значит, барин, мне легко его обложить по-барски...

Но особо рефлексировать некогда, мы уже приблизились к запахнутым воротам. Я взмахиваю волшебным билетом — сезам, откройся! — мне почтительно козыряют, и мы перешагиваем заповедную черту.

На нас сразу ложится благостная тень. И шум хвои над головой. И прохладный, смолистый, ласково обнимающий воздух. Иной мир.

Я хочу пить, я умираю от жажды...

Едва я мысленно произнес эти слова, как сразу же, словно по щучьему велению, увидел перед собой бегущий среди деревьев ручей, прямо в нем, утопая в струях ножками, — стол, под столом из воды торчат горлышки бутылок — боржом, эссендуки, ситро, на выбор. За столом дородная, краснощекая, улыбчивая девица в жестко

накрахмаленном кокошнике звенит тонкими фужерами, разливая воду, и пузыри мечутся за отпотевшим стеклом.

Я ринулся к столу, встал за спиной еще одного жаждущего, готовый с привычной воинственностью отшивать тех, кто полезет без очереди. Но сказочная боярышня уже тянет мне наполненный фужер, улыбается.

Вода холодная, впитавшая родниковую свежесть ручья

— Ох, спасибо!.. Если можно — еще.

— Пожалуйста.

И новый запотевший фужер, и новая улыбка.

— Спасибо...

— Вам еще?

— Хва-атит.

Я лезу в карман за мелочью, на меня все смотрят с насмешливыми, но вовсе не обидными улыбками — то-то простота.

И я понял, куда я попал. Какие тут деньги! Здесь все бесплатно — смолистый воздух, охлаждающая влага, доброта румяной девицы в кокошнике и журчание ручья.

2

В глубоком детстве, еще до школы, мы услышали фразу: «Коммунизм на горизонте!»

Горизонт, как известно, — кажущаяся, но не существующая линия, которая неизменно удаляется при приближении. Мы шли к коммунизму, коммунизм удалялся от нас.

А что, собственно, это такое — коммунизм? Как он должен выглядеть?

Мы всегда скудно жили — плохо питались, некрасиво одевались, очереди в магазинах и коммунальные многосемейные, удушающе тесные квартиры были нормой нашего быта, а потому и возжеленный коммунизм нам представлялся не иначе как некий жирный кусок, которого с избытком хватает на всех — ешь не хочу!

Карл Маркс высмеивал такое потребительское понимание, называл его коммунизмом ложки. Он бросил миру формулу: «От каждого — по способностям, каждому — по потребности». Подозрительно благостна она и туманна. И нет никого, кто более толково бы объяснил коммунизм. Последователи ограничивались лишь заверениями о пришествии: «На горизонте!»

Нужно ли удивляться, что неискушенное большинство определяет для себя коммунизм по внешнему, но весьма зримому признаку: существуют деньги в обиходе — нет его, коммунизма, будут трижды проклятые деньги похерены — пришествие совершилось.

С меня не взяли денег за минеральную воду, не возьмут их и за торжественный обед, который несомненно ждет меня впереди. Кошелек в моем кармане сегодня — самая не нужная для меня вещь.

3

— Если вам хочется выкупаться, то пожалуйста...

Какой-то старожил коммунизма, прибывший сюда на полчаса раньше меня, успевший уже оглядеться и освоиться, произнес эту фразу.

Черт возьми! Предложения рождаются раньше, чем возникают желания. Я вдруг почувствовал, насколько липко мое тело, как разъедает кожу соль, какое бы наслаждение окунуться сейчас, но...

— Кто же знал, что на встречу с правительством следует захватывать с собой плавки.

— Э-э, не беспокойтесь, там дают плавки... с поклончиком. Вот по этой дорожке выйдете на берег озера, увидите в стороне две бу-

дочки — купальни, мужская и женская... И в лодочке ежели желаете покататься, тоже пожалуйста.

Внимание к личности столь велико, что ничего не остается как покориться — для собственного же блага и удовольствия.

Атлетически сложенные юноши, эдакие простецкие, на русский лад, Аполлоны и Меркурии, выкручивали и раздавали мокрые плавки. Впрочем, тут таки произошла досадная неувязочка — плавков на всех желающих, однако, не хватило, мне достались трусы, только что кем-то использованные, но зато добросовестно выжатые.

Просторный пруд раздвинул сосновый лес, берега натуральные, с травкой, с осокой, не забраны в казенный камень. Правда, вокруг широкого пруда — асфальтированные дорожки, скамеечки и деревянные стойки, услужливо предлагающие бамбуковые удочки. И рыбаков на сей раз что-то не видно...

В прошлую встречу деятелей культуры и правительства на берегах водоемов через каждые десять — пятнадцать шагов застывшие рыбаки с удочками. Константин Георгиевич Паустовский, сам вдохновенный рыбак, рассказывал мне, как он по простоте душевной подсел к одному и без задней мысли полюбоществовал:

— Как клюет?

Рыбак молчал и взирал на неподвижный поплавок с каменным лицом.

— А на что вы тут ловите? На мотыля или на червя?

Ни слова в ответ... И тут-то до Паустовского дошло: рыбака интересует не та рыбка, что плавает в воде, и, должно быть, ему дана строгая инструкция — в разговоры не вступать.

Сейчас берега свободны, инструктированных рыбаков нет, а гости не интересуются удочками.

У купальни оживление, и вокруг меня все знакомые лица, я словно попал в некий филиал Московского отделения Союза писателей. Алексей Сурков вытряхивает из штанины муравья и, морщась, жалуется:

— Ест поедом, сатана, словно озверевший критик.

— Наберитесь терпения — он правительственный, — осмеливаюсь посоветовать я.

Сурков смеется. Когда он не выполняет высокие секретарские обязанности, с ним можно шутить, и даже вольно.

Чуть в стороне, сосредоточенно посапывая, не спеша облачается искупавшийся Леонид Леонов. А в воде под берегом происходит встреча — Валентин Катаев, нагоняя волну, плывет на круглую, как плавающая луна, широко улыбающуюся физиономию Доризо и громко сетует:

— Стоило ехать за сто с лишним километров, чтоб узреть эту надоевшую на улице Воровского рожу!

Погруженный в воду Николай Доризо улыбается в ответ с приятной, обезоруживающей невозмутимостью.

На отдалении сидит налитой розовым соком человек — при галстукке, в белоснежной сорочке, отутюженных брюках, волосы сухие, значит, не купался и, похоже, не собирается, просто отдыхает. Совсем еще недавно он был скромным сотрудником «Комсомольской правды»... Алексей Аджубей, зять Хрущева! Мы как-то однажды нечаянно познакомились, даже чокались за столом за здоровье друг друга, сейчас старательно смотрим в разные стороны. Он, мнится мне, ждет, что я непременно уловлю — уж постараюсь! — его взгляд и услужливо поздороваюсь. Но он здесь хозяин, я же — гость, его долг замечать и привечать. И я, нарядившись во влажные правительственные трусы, лезу в воду, так и не замеченный Аджубеем, делая вид, что в свою очередь не замечаю его.

И вот я, освеженный, всем довольный, гуляю под сенью сосен, встречаю знакомых, с одними чинно раскланиваюсь, с другими оста-навливаюсь поболтать.

Все предупредительно вежливы друг с другом, на лицах разлита тихая пасхальная благодать, каждый подавлен кротостью, готов забыть обиды, любить врагов, «Христос воскрес» да и только. Вот-вот дойдет — Эренбург облобызает Грибачева, а я со слезами умиления обнимусь с Кочетовым.

Однако нельзя долго пребывать в состоянии некой блаженной невесомости, когда от умиротворения «в зубу дыханье сперло», невольно переводишь дух и опускаешься на грешную землю. Я вдруг представил, что так вот гулять по асфальтовым дорожкам, под хвойной тенью придется целый день, до вечера, до обещанного обеда и торжественных речей. И невольно зашевелилась крамольная мыслишка: «А в этом коммунизме того... скушноовато, право».

Но еще не появилось правительство. Оно-то должно внести какое-то разнообразие.

4

Это была уже вторая встреча с правительством. На первую я не удостоился чести быть приглашенным, а жаль — она потрясла очевидцев.

Хрущев тогда во время обеда, что называется, стремительно заложил за воротник и... покатил «вдоль по Питерской» со всей русской удалью.

Сначала он просто перебивал выступавших, не считаясь с чинами и авторитетами, мимоходом изрекая сочные сентенции: «Украина — это вам не жук на палочке!..» И острил так, что, кажется, даже краснел вечно бледный до зелени, привыкший ко всему Молотов.

Затем Хрущев огрел мимоходом Маризэту Шагинян. Никто и не запомнил — за что именно. Просто в ответ на какое-то ее случайное замечание он крикнул в лицо престарелой писательнице: «А хлеб и сало русское едите!» Та строптиво оскорбилась: «Я не привыкла, чтоб меня попрекали куском хлеба!» И демонстративно покинула гостеприимный стол, села в пустой автобус, принялась хулить шоферам правительство. Что, однако, никак не отразилось на ходе торжества.

Крепко захмелевший Хрущев оседлал тему идеюности в литературе — «лакировщики не такие уж плохие ребята... Мы не станем цацкаться с теми, кто нам исподтишка пакостит!» — под восторженные выкрики верноподанных литераторов, которые тут же по ходу дела стали указывать перстами на своих собратьев: куси их, Никита Сергеевич! свой орган завели — «Литературная Москва»!

Альманах «Литературная Москва» был основан инициативной группой писателей, формально никому не подчинялся, фактически был полностью подчинен, как и все печатные издания, капризам цензуры, тем не менее пугал независимостью. Казакевич, общепризнанный инициатор, на этот раз почему-то избежал особого внимания, весь свой монарший гнев Хрущев неожиданно обрушил на Маргариту Алигер, повинную только в том, что вместе с другими участвовала в выпуске альманаха.

— Вы идеологический диверсант! Отрыжка капиталистического Запада!..

— Никита Сергеевич, что вы говорите?.. Я же коммунистка, член партии!..

Хрупкая, маленькая, в чем душа держится, Алигер — человек умеренных взглядов, автор правоверных стихов, в мыслях никогда не допускавшая какой-либо недоброжелательности к правительству, — стояла перед разъяренным багроволицым главой могущественного в мире государства и робко, тонким девичьим голосом пыталась возражать. Но Хрущев обрывал ее:

— Лжете! Не верю таким коммунистам! Вот беспартийному Соболеву верю!..

Осанистый Соболев, бывший дворянин, выпускник Петербургского кадетского корпуса, автор известного романа «Капитальный ремонт», усердно вскакивал, услужливо выкрикивал:

— Верно, Никита Сергеевич! Верно! Нельзя им верить!

Хрущев свирепо неистовствовал, все съежились и замерли, а в это время набежали тучи, загремел гром, хлынул бурный ливень. Ей-ей, сам господь бог решил принять участие в разыгрывавшейся трагедии, неизобретательно прибегая к избитым драматическим приемам.

Натянутый над праздничными столами тент прогнулся под тяжестью воды, на членов правительства потекло. Как из-под земли вынырнули brave парни в отутюженных костюмах, вооруженные швабрами и кольями, вскочили за спинами правительства на ограждающий барьер, стали подпирать просевший тент, сливать воду — на себя. Потоки стекали на их головы, на их отутюженные костюмы, но парни стойчески боролись — самоотверженные атланты, поддерживающие правительственный свод. А гром не переставал греметь, а ливень хлестал, и Хрущев неистовствовал:

— Прикидываетесь друзьями! Пакостите за спиной! О буржуазной демократии мечтаете! Не верю вам!..

Хрупкая Алигер с помертвевшим лбом стояла вытянувшись и уже не пыталась возражать.

Гости гнулись к столам, поеживались от страха перед державным гневом и от струек воды, пробивающихся сквозь тент,— атланты оберегали только правительство. И смущенный Микоян услужливо угощал ближайших к нему гостей отборной клубникой с правительственного стола. И Соболев неустанно усердствовал:

— Нельзя верить, Никита Сергеевич! Опасения законные, Никита Сергеевич!..

Жена, дама в широкополой шляпе, с ожесточенным лицом дергала мужа за рукав и нашептывала. И муж вял, обиженно засуетился:

— Ведь я, Никита Сергеевич, имею право на уважение, но вот никак... никак не могу добиться, чтоб мне дали... гараж для машины.

Жена с удовлетворенностью закивала широкой шляпой.

А гром продолжал раскалывать небо, мокрые атланты возвышались с вознесенными швабрами. Затерянный среди гостей Самуэль Маршак с бледным, вытянутым лицом время от времени сдавленно изрекал:

— Что там Шекспир!.. Шекспиру такое не снилось...

В завершение Соболева от усердия и перевозбуждения... хватил удар. Его уносили с торжественной встречи на носилках, а жена в черных перчатках по локоть бежала рядом и обмахивала пострадавшего мужа широкополой шляпой.

Маргарита Алигер шла к выходу одна, к ней боялись приблизиться — заклемена, прокажена. Лишь Валентин Овечкин догнал ее, подхватил под локоть, демонстративно повел. За ними сразу двинулись влажные атланты... Нет, не опека опальной Алигер их настораживала, а гриб... Овечкин случайно нашел под правительственным деревом крупный белый гриб и не удержался, сорвал его. Одной рукой он придерживал Алигер, в другой нес гриб... Почему гриб? Не камуфлированная ли это бомба?.. Атланты проводили их до выхода.

Дождь прошел, светило солнце.

Через несколько дней по Москве разнесся слух, что поведение Никиты Сергеевича на приеме осуждается... даже в его ближайших кругах.

Да, прошлая встреча у всех свежа в памяти. Сегодня каждый ждет появление Хрущева со жгучим интересом: как-то он поведет себя? не сорвется ли снова? а вдруг да раскаянье толкнет его в обратную сторону — ко всепрощению и любви? Неисповедимы пути твои, господи! От Хрущева всего можно ждать...

5

Уинстон Черчилль якобы, незадолго до смерти узнав о падении Хрущева, выдал миру едва ли не последнюю в своей жизни остроту: «Этот человек всегда стремился перепрыгнуть пропасть в два приема».

Революционные скачки Маркс положил в основу своей теории, мы применили их на практике. Хрущев всей душой хотел резво перескочить пропасть между существующим социализмом и сказочным коммунизмом. Раз! — и догнать сытую Америку по мясу и молоку! Два! — оставить ее далеко позади в неприглядной реальности, самим оказаться в сказке! Был отдан приказ: режь скот, чтоб было больше мяса! Не учтено лишь то, что этот скот надо сначала вырастить. Великая страна взвилась в прыжке, но пропасть не преодолела — свалились. Конфуз? Да нет, боже упаси! Снова прыгаем в изобилие, на этот раз кукуруза — опора...

Мне рассказывали: в Мурманской области — территория чуть меньше Англии и больше Болгарии — в редких закрытых от ветра горами долинах, на солнечных склонах, на каких-то пяти тысячах гектаров высаживали холодоустойчивые сорта картошки и капусты. И тут Хрущев потребовал выделить пятьсот гектаров на кукурузу!

— Так все равно же не вырастет, Никита Сергеевич, — осмелились возразить ему.

— А вдруг да вырастет. Какой тогда будет политический резонанс!

А вдруг да... Расчет прыгуна, свято верящего, что и посреди пропасти существует опора.

Государственному руководителю часто свойственна заурядность мышления. Великие мысли, прозорливые открытия никогда не рождаются сразу в миллионах голов, массовых озарений не существует в природе. Великие мысли и открытия возникают у тех, кто способен мыслить намного глубже других, у своего рода чемпионов разума и проницательности. И надо время, и немалое, чтобы заурядно мыслящие массы поняли и приняли то, чего достигли чемпионы человеческого мышления. Прошло более двух столетий, пока открытие Коперника стало общепризнанным.

Но государственный политический деятель занимается-то вопросами текущей жизни, сталкивается с задачами, требующими, как правило, немедленного решения. Он не может ждать сотни, пусть даже десятки лет, чтоб быть понятым. А потому политический руководитель вынужден прибегать к общепризнанным шаблонам, к элементарным понятиям, духовно соответствовать некой усредненной заурядности в человеческом обществе. Как это ни обидно, но ум и проницательность среди высоких политических деятелей, тех, кто возглавляет людей, руководит жизнью, — скорей исключение, а не нормальное явление.

Наполеона, скажем, не назовешь дураком, но как бесплоден был его ум! Он не принес ничего, что пошло бы на пользу человечеству. А бесплодный, безрезультативный ум — какой в нем прок, он не имеет преимуществ перед глупостью.

Авраам Линкольн и Джон Кеннеди, прежде чем проявить себя более здравомыслящими в сравнении с простым обывателем, сперва

подделывались под обывательское шаблонное мышление, угождали ему, а как только поднялись над ним, были убраны.

Тот же Черчилль прославился хитростью, изворотливостью, остроумием, обрел славу глубокомысленного политика, но как часто он действовал с поразительным тупоумием и не подозревал об этом. Откроем наугад его мемуары. Вот, к примеру, он с серьезной важностью повествует... Май 1942 года. Почти вся Европа проглочена гитлеровцами, немецкие войска в глубине России. Именно в это время Черчилль, с одной стороны, и Молотов по поручительству Сталина, с другой, встретились в Лондоне для переговоров. Они договариваются, как победить грозного и опасного противника?.. Да нет, они торгуются: кому будут принадлежать прибалтийские государства и Восточная Польша? С истовой недоверчивостью друг к другу делят кусок шкуры еще не убитого, напротив, могучего и опасного медведя. И делают это столь упоенно, что вопрос, как убить медведя, не представляется им существенным. «Помимо вопроса о договоре,— небрежно бросает Черчилль,— Молотов приехал в Лондон, чтобы узнать наши взгляды по поводу открытия второго фронта. Ввиду этого утром 22 мая я имел с ним официальную беседу». И все! Небрежно, мимоходом — сие не стоит внимания. Поведение смехотворно глупейшее, особенно на фоне последующих трагических событий — немцы, чью шкуру столь страстно делили, с новой силой ударили по России, захватили шестисоттысячную группировку под Харьковом, продвинулись до Кавказа и Волги. И вот спустя много лет осведомленный Черчилль многозначительно, без какой-либо иронии повествует: делили, делали дело,— то есть пребывает в прежней глупости.

Глупость легко перерастает в аморальность. Черчилль, узнав от Сталина, что коллективизация в СССР достигнута ценой уничтожения и ссылки десяти миллионов — шутка сказать! — «маленьких людей», не ужасается и не осуждает, а благостно оправдывает: «Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их страдания, но оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благословлять имя Сталина». Воистину блаженны нищие духом, не ведают они, что творят. Хрущев тут оказался куда проникательней — на такие слова у него не повернулся бы язык.

Да, сам по себе Хрущев был безрасчетно, упоенно глуп, глуп с русским размахом, но, право же, он принципиально ничем не отличался от других видных политиков, страдал их общей бедой. И конечно же, его вседержавная самонадеянность нравственно калечила общество — воспитывала лжецов, льстецов, жестоких, беспардонных прохвостов типа «рязанского чудотворца» Ларионова, делающих карьеру на чиновном разбое.

Но вот что странно — бывают же такие поразительные парадоксы в истории! — именно экзальтированность Хрущева и помогла совершить смелый прогрессивный переворот в стране. Хитроумный политик сэр Уинстон Черчилль не принес столько пользы Англии, сколько принес Никита Хрущев многонациональной Стране Советов одним своим выступлением на XX съезде партии!..

Однако мы увлеклись рассуждениями, а тем временем появились сами гостеприимные хозяева...

6

Члены правительства без торжества, без предупреждения, вдруг оказались на асфальтовой дорожке под соснами. Улыбающийся добродушно Хрущев — в легком пиджаке, в вышитой украинской рубашке, стянутой у шеи цветным шурком, прозванной в обиходе «анти-семиткой». Трясущийся от дряхлости Ворошилов в штатской шляпе. Микоян с навешенным носом над траурными, не тронутыми сединой усами. И уже нет плакатно примелькавшихся Молотова и Кагановича,

высоких участников прошлой встречи. Осмелились не угодить, и Хрущев их погнал вон. Нет, не упрятал за колючую проволоку, не расстрелял в подвалах, как это делал Сталин в компании тех же молодых-кагановичей, а просто спихнул с Олимпа — черт с вами, живите на пенсионном содержании! Вместе с ними слетел Шепилов — «и примкнувший к ним». Презрительная оговорочка вскрывала политическую худородность данной фигуры. Худороден?.. Вполне возможно, только не для таких, как я. Этот худородный командовал культурой страны — указывал и направлял, возносил и ниспровергал, карал и жаловал. Почему-то именно он у меня вызывает минорный мотив: «Куда, куда вы удалились?..»

Правительство появилось, и сразу вокруг него возникла кипучая, угодливая карусель. Деятели искусства и литературы, разумеется не все, а те, кто считал себя достаточно заметными, способными претендовать на близость, оттирая друг друга, со счастливыми улыбками на потных лицах начали толкучечку, протискивались поближе. Пыхтел, топтался, выдерживал толчки тучный Софронов, блестела под солнцем голая голова Грибачева, сутулился от почтительности и семеняще выплясывал все тот же Леонид Соболев, получивший не только гараж — как убоги были их семейные мечты! — но и специально для него созданный Союз писателей Российской Федерации. То с одной стороны, то с другой вырастал Сергей Михалков, несравненный «дядя Степа», никогда не упускающий случая напомнить о себе.

По правую руку Хрущева прорвался украинский композитор Майборода, вскинул вверх плоскую, широкую, лоснящуюся физиономию, закатил глаза и залился сладкоголосо:

Дываюсь я на небо
Тай думку гадаю...

Хрущев, добродушно расплываясь, подхватил неустойчивым баритончиком:

Чому я не сокил,
Чому не летаю...

А к нему лезли и лезли, заглядывали в глаза, толкались, оттирали, теснились и улыбались, улыбались... Все это были люди солидные, полные, осанисто-степенные. Повстречай каждого из них на улице или в коридоре учреждения, представить невозможно, что столь барственная особа способна на такие мелкие телодвижения.

Здесь тенистый остров коммунизма, в его тесных границах монаршее внимание имеет лишь чисто моральное значение — заметил, помнит, назвал твою фамилию, пожал руку, приятно! Но завтра все окажутся за пределами этого счастливого острова, в океане, где качает и опрокидывает, где всегда кто-то тонет, кого-то выбрасывает наверх, надо быть сильным и сноровистым, чтоб удержаться на волне. И каждый, кто сейчас пробился поближе, прикоснулся к всеильной руке, рассчитывает унести в себе частицу самодержавной силы. Толкотня, кружение, оттирание, щеки, раздвинутые в улыбке, — смотр рыцарей удачи!

Я стоял в стороне, всматривался в умильную карусель и вдруг... Вдруг через головы толкущихся я встретился с направленным прямо на меня — могу поручиться! — взглядом Хрущева. Он только что подпевал Майборде: «Чому я не сокил, чому не летаю...» — только что добродушно улыбался, и лицо его, чуточку разомлевшее от жары, было отдыхающим, право же, выражало удовольствие. Только что — секунду назад, долю секунды!.. Сейчас я через головы, на расстоянии видел уже совсем иное лицо — не размякшее, не отдыхающее, а собранное, напряженное, недоброе. Оно даже казалось изрытым от усталости, а взгляд, направленный на меня, — подозри-

тельно-недоверчивый, почти угрожающий. Так могут смотреть только на врага.

Он никогда не видел меня раньше, знать не знал меня в лицо, не имел никаких оснований считать меня врагом. Но тем не менее...

Причин пугаться у меня не было, я прекрасно понимал, что плотная стена угодников и кусок пространства в десять шагов — надежная защита. Я не опустил глаза, продолжал с удивлением вглядываться в преображенное лицо Хрущева.

Наша встреча взглядами едва ли продолжалась секунду. Чья-то лысина заслонила от меня главу государства, а когда я вновь его увидел, Хрущев уже добродушно улыбался, разговаривая с кем-то.

Ну и ну!.. Улыбается, шутит, подпевает, вид отдыхающего человека — не верь глазам своим: он напряжен внутри, настороженно собран, полон подозрительности. И я невольно пожалел его: «А трудно же, оказывается, тебе, Никита Сергеевич. Так играют не от хорошей жизни».

Даже жена, стоявшая рядом со мной локоть к локтю, не заметила этой переглядки. Правда, я тут же сказал ей, она на минуту заинтересовалась и... сразу же забыла. Не столь уж и важный случай, чтоб придавать ему какое-то значение.

А я не мог забыть. Мы ушли от этой карусели, бродили по тихим дорожкам, раскланивались со знакомыми и снова наткнулись на осажденное правительство. Я опять останавливался и подолгу смотрел на добродушного, веселого Хрущева, ждал — встречу с ним взглядом, хотел, чтоб все повторилось, убедило меня: мне не пригрезилось.

Но Хрущев уже не замечал меня больше.

7

Все, кто сегодня был приглашен на остров коммунизма — и те, кто не осмеливался подойти близко к правительству, и те, кто, толкаясь и оттесняя друг друга, кружился возле него, как мухи вокруг банки с вареньем, — принадлежали к интеллигенции, наиболее заметной в стране.

Интеллигенция... Люди, профессионально занимающиеся умственным трудом, то есть имеющие прямое отношение к тому, что, собственно, и является высоким отличием человека, — к разуму. Казалось бы, эта часть рода людского должна признаваться в обществе как наиболее значительная, пользоваться неизменным всеобщим уважением. Увы! К интеллигенции всегда было настороженное, а часто и вовсе неприязненное отношение. Именно от нее-то обычно исходят идеи и взгляды, противоречащие привычным шаблонам, смущающие обывателя, осложняющие деятельность государственных руководителей.

Ленин не любил либеральную интеллигенцию, не доверял ей, считал ее прислужницей буржуазии. «...влияние *интеллигенции*, — писал он в 1907 году, — непосредственно не участвующей в эксплуатации, обученной оперировать с общими словами и понятиями, носящейся со всякими «хорошими» заветами, иногда по искреннему тупоумию возводящей свое междуклассовое положение в принцип внеклассовых партий и внеклассовой политики, — влияние этой буржуазной интеллигенции на народ опасно».

Став во главе государства, он уже с откровенностью бросает интеллигенции: «В вашей дряблости мы никогда не сомневались. Но что вы нам нужны — этого мы не отрицаем, потому что вы являлись единственным культурным элементом». То есть была интеллигенция прислужницей — и оставайся ею. В конце жизни Ленин часто с горечью говорил, как ему не хватает истинных интеллигентов-единомышленников.

Сталин прислужничество сделал основой существования нового государства: низший по службе безропотно, безоглядно, бездумно подчинялся высшему, этот высший еще более высшему, и так до конца, до венчающей вершины, на которой восседала никому не подчиненная, всех подчиняющая личность — сам Сталин. Наиболее характерной фигурой в обществе стал некий службистский Янус с ликом диктатора в одну сторону и лакея в другую.

И только тот, кто непосредственно занимался созидательным трудом, лишен был каких бы то ни было диктаторских прав. Если ты пашешь поле, сам пашешь, а не руководишь на расстоянии пахотой, диктовать, приказывать тебе просто некому. Если ты пишешь книгу, создаешь музыкальное произведение, решаешь научную проблему, ты при всем желании не можешь стать диктатором. Только переложив пахоту, книгу, музыкальное произведение, научные изыскания на кого-то другого, ты получаешь возможность превратиться в диктатора. Творческое созидание исключает диктаторство, но от лакейского положения оно не освобождает. Ты приказывать не можешь — некому! — а тебе — почему бы и нет. А если ты вдруг окажешься недостаточно покорным, проявишь строптивость, то почему бы к тебе не применить насилие вплоть до изоляции в лагерях со строгим режимом, избиений, пыток, расстрела, наконец.

Сталин превратил интеллигенцию в безропотную прислужницу, покорно выполняющую — чаще тупо, очень редко даровито и изобретательно — правительственные заказы от создания новых бомбардировщиков до «философского» обоснования великой научной ценности сталинских работ по языкознанию.

И вот теперь тесная, потная карусель, клубок тел — это кружатся интеллигенты сталинского времени. А Хрущев со свитой, столбовая ось этой карусели, — сталинские чиновники, Сталиным поднятые, Сталиным вскормленные и воспитанные янусы с двойными лицами диктаторов и лакеев.

Хрущев не представлял себе иного устройства, кроме того, какое было при покойном Сталине. Хрущев искренне считал, что мир расколот враждой и ненавистью, что государство ежедневно, ежечасно должно укреплять свою мощь, блюсти железную дисциплину подчиненности, сохранять абсолютизм власти... Генеральная линия партии в годы сталинизма была безупречно правильной, но...

Он вскормлен Сталиным, воспитан Сталиным, а потому лучше кого бы то ни было знает, сколь тягостно и чревато опасностями это воспитание. На его глазах хватали виднейших государственных деятелей и ставили к стенке... Добро бы просто к стенке, а то рвали ногти, ломали кости, отбивали почки, грубо измывались, подлеише унижали, прежде чем спровадить на тот свет. Сам Хрущев многие годы ждал своего часа, засыпал ночью, не надеясь увидеть утро, шел на прием к Сталину и не рассчитывал вернуться обратно. Жил и ждал, ждал и дрожал. Вскормлен и воспитан, но благодарности к воспитателю не испытывал.

Генеральная линия партии во время Сталина была безупречно правильной, только сам Сталин не прав — претила жестокость, мутило от безвинно пролитой крови. Хрущев ничего из сталинского не собирался менять — пусть останется все как было! — но Сталина следует осудить и выбросить из истории. Трудно даже представить более нелепое решение. Уж раз бывший вождь был полновластным диктатором и отдавал неверные приказания, которые усердно исполнялись, то почему партия и страна тогда должны жить и действовать правильно? Или он никакой не диктатор, его власть ничего не значила, не за что осуждать и развенчивать, или был диктатором — осуждай, но уж вместе с тем путем, на какой толкала его несправедная власть. Одно с другим тесно связано...

Но если б Хрущев мог как-то связывать причину со следствием, частное с общим!.. К счастью, он был младенчески прост: хочу — и баста, никакая логика мне не указ! Простота в не меньшей степени, чем ум, может быть отважной. Хрущев решительно ниспроверг на XX съезде Сталина: сгинь, нечистый! Тоже прыжок сломя голову...

Не случись этого, нам до сих пор бы внушали: идем по сталинскому пути! «Черные вороны» рыскали бы по улицам наших городов, пыточных дел мастера усердствовали бы в застенках, и наверняка продолжалась бы агрессивно-остервенелая внешняя политика, ни о каком мирном сосуществовании не могло быть и речи. Не исключено, над планетой проросли бы грибы термоядерных взрывов, человечество вымирало бы от радиоактивности. Кто знает, как все-таки велика роль случая в истории, той пресловутой «бабочки Брэдбери», меняющей облик будущего.

Воистину хвала случаю! Хвала простоте, ее отважному носителю Никите Сергеевичу Хрущеву! Народы всех континентов должны вспоминать о нем с благодарностью!

Но если сам Хрущев простодушно не считался с элементарной логикой, то другие-то этого не могли себе позволить. Поведение Сталина осуждено — прекрасно! Однако сказал «господи», скажи и «помилуй»...

Джинн выпущен из бутылки, бродят дрожжи сомнений. На обсуждение книги Дудинцева к московскому Дому литераторов собралось столько беспокойных читателей, что пришлось вызвать наряд конной милиции — явление небывалое! А в дружественной Венгрии вспыхивает бунт, приходится прибегать к вооруженному подавлению, срочно менять правительство, ставленное в свое время Сталиным.

В прошлую встречу Хрущев сорвался на прямую ругань, а сейчас он знает, что здесь у него в гостях интеллигенты, и не только такие, кто униженно лезет к ручке. И вот мимолетний взгляд из-под маски гостеприимного хозяина...

Я нескромно подглядел, что у царя Мидаса длинные уши.

8

Солнце за кронами сосен подалось к закату. Нас четверо — художник Орест Верейский и наши жены, — углубляемся в пустынные боковые дорожки. Здесь должен быть не только обихожженный лес, наверняка где-то стоит и дача правительства. Пока мы не замечали и следа каких-либо построек. Я тянул в сторону нашу маленькую компанию: «Разведаем. Делать-то все равно нечего».

Далеко приглушенные голоса, сдержанное праздничное брожение. А тут безмятежно стучит дятел. Отрешенная тишина, хочется говорить вполголоса.

Из боковой аллейки появился прохожий, идет нам навстречу. И мы замолчали, невольно испытывая смущение — идущий навстречу человек нам хорошо знаком, зато нас он, разумеется, знать не знает. Как держать себя в таких случаях: пройти мимо, сделав вид, что не узнали, — противоестественно, но естественно ли здороваться, не будет ли это принято за подобострастие, не получим ли мы в ответ безразличный взгляд и оскорбительно-вельможный кивок? Извечная рефлексия русского интеллигента, раздираемого самолюбивыми противоречиями по ничтожному поводу. Встречный приближается и здоровается первым. Без вельможности. Леонид Ильич Брежнев.

В глубине леса раздаются выстрелы. Нет, мы не вздрагиваем и не переглядываемся недоуменно. Маниакальная мысль — не покушение ли? — не приходит нам в голову. Явно какое-то праздничное развлечение. Не спеша идем навстречу выстрелам, провожаемые стучком невспугнутого дятла.

Поляна среди леса. Две кучки зрителей. Прямо на траве — несколько стульев и два стола, на одном лежат ружья, другой весь заставлен затейливыми фарфоровыми безделушками — призы за удачную стрельбу. Возле столов — Хрущев, Мжаванадзе и еще какие-то лица, мне совсем незнакомые.

На расстоянии сотни шагов почти незаметные, поросшие травой землянки, из них в воздух вылетают тарелочки одна за другой через равные промежутки времени. Они разлетаются от выстрелов высоко-го, холено-полного молодого человека.

Молодой человек отстрелялся, положил ружье, удалился с горделивой и независимой осанкой. Должно быть, он близок к Хрущеву настолько, что может вести себя в его присутствии свободно, без смущения и раболепства. Зато Мжаванадзе явно не по себе. Он старается быть поближе к хозяину и в то же время боится оскорбить излишней близостью, сохраняет неустойчивое расстояние в полтора шага, отрывисто хохочет. Он сейчас очень похож на алкаша, попавшего в чистую компанию, жаждущего, но не очень надеющегося, что ему поднесут спасительную стопочку.

Хрущев хозяйским жестом указывает Мжаванадзе на стол:

— А ну-ка!

И Мжаванадзе с готовностью хватает со стола ружье.

В синее небо летит тарелочка. Бац! — вдребезги! Новая тарелочка... Бац! — вдребезги!.. Еще, еще, еще... Мжаванадзе с веселым лицом, выражая всем телом предельную вежливость, осторожненько положил ружье на прежнее место. Ему уже протянули приз — фарфоровую статуэтку, густо покрытую позолотой. Он прижимает ее к паху.

Хрущев решительно стягивает с себя пиджак.

А в стороне из тесной кучки зрителей раздаются замечания откровенно насмешливые: мол, держись, посыплются сейчас черепки. Я с любопытством оглядываюсь — интересно, кто это позволяет себе так вольно высказываться в адрес главы государства? Узнаю среди зрителей тяжеловесную Нину Петровну, понимаю, что тут собралось семейство Хрущева. Эти могут себе позволить.

В расшитой «антисемиточке», расставив короткие ноги, розовые уши настороженно торчат — Хрущев наизготовке с ружьем.

Взвивается в небо тарелочка. Бац — мимо! Тарелочка падает к земле. Вторая... Бац — мимо!.. Бац! Бац! — тарелочки целы... Оцепенел с прихатым к паху позолоченным призом Мжаванадзе.

Только одну тарелочку из десяти разбил Хрущев. Он положил ружье и сел на стул...

Полные плечи обмякли, руки повисли, отполированная голова опущена, уши, невинно-розовые, обиженно торчат в стороны — неутешно мальчишеское во всей рыхлой фигуре. Право, так и хочется подойти, погладить по лысой макушке: «Брось, лапушка, горевать. Эка беда, на другом сноровку покажешь».

А в стороне безжалостно посмеиваются:

— Настрелял уток — не унести.

И стоит перед убитым Хрущевым Мжаванадзе, прижимает к паху золоченый приз, мнется и не знает, куда смотреть. Вот уж кому не позавидуешь...

И вольные шуточки со стороны семейства.

Вдруг Хрущев встает. Тело его, только что обмякшее, становится сбитым, движения скупые, лицо не в шутку сурово, и розовые уши торчат уже не обиженно, а почти угрожающе.

Шуточки со стороны не прекращаются, но Мжаванадзе вышел из столбняка, облегченно распрямылся, с преданной собачьей надеждой смотрит, как Хрущев берет ружье.

Рукава «антисемиточки» подтянуты, ноги расставлены, тяжелым корпусом вперед, голова склонена — бычок посреди дороги, объезжай кругом!

Летит тарелочка... Выстрел! Осколки осыпаются на землю. Выстрел!.. Осколки!.. Выстрел! Выстрел! Выстрел!.. Черт возьми! Возможно ли это? Лишь одна тарелочка падает целой на траву.

Хрущев победно кладет ружье.

Я не знаю, было ли тут холопское жульничество. Не знаю, каким способом выбрасываются в воздух тарелочки. Можно ли за несколько минут сделать так, чтоб они сами по себе разлетались в воздухе, да еще согласованно с выстрелами. Но если это и ловкий лакейский фокус, то в него всей душой поверил и сам Хрущев.

Он положил ружье и прошелся... Просто взад-вперед возле столов. Плечи его играли, грудь и живот, соперничая, рвались вперед, голова вздернута, походочка с радостным содроганием, как у плясуна, входящего в круг, на расстоянии чувствовалось, что каждый мускул под тугим жирком, каждая жилочка возбуждены. Нужно быть воистину гениальным актером, чтоб столь нешаблонно, столь доподлинно разыграть победное счастье — и плечами, и животом, и ногами, ушами даже! Ой нет, так вести себя может лишь человек, который действительно переполнен торжеством, хотел бы, да не в силах его скрыть — распирает!

Родственники со стороны продолжали острить, ничуть не пораженные и не восхищенные удачей, а я, признаться, стоял озадаченный.

Да и теперь этот маленький случай для меня — необъяснимая загадка, почти что чудо. И единственное объяснение, какое могу дать, — недужинность характера Хрущева. Он, не откажешь, обладал сокрушающим напором и мужицким неуступчивым упрямством. Его борьба со Сталиным — доказательство тому. Уже мертвый и развенчанный вождь всех народов отчаянно сопротивлялся. Его выгаскивали из Мавзолея, но он снова в него ложился. Его старались убить умолчанием, а Сталин напоминал о себе тысячами своих бронзовых, мраморных, гипсовых копий, стоящих по городам и во всям страны, географическими названиями, глухим ропотом поклонников. Однако Хрущев выкинул Сталина из Мавзолея, выкорчевал по стране его памятники, стер его имя с географических карт, не испугался миллионного ропота поклонников. Попробуйте отказать этому человеку в характере!

Сейчас он с детской непосредственностью радовался одержанной победе — разбил-таки тарелочки, доказал свою сноровку! Ай да я!

К нему сразу же бросились с фарфоровым призом. Он с серьезной важностью, не без величия, как и подобает государственному мужу, принял его и... бросил взгляд на приз Мжаванадзе. А Мжаванадзе ликовал, Мжаванадзе весь лучился — слава те, господи, пронесло! — умильно заглядывал в глаза Хрущеву...

И улыбка сползла с лица Мжаванадзе, он перехватил взгляд хозяина и опустил глаза к своему призу, который обеими руками стеснительно прижимал к стыдному месту: ей-ей, случилась небольшая оплошность — на затейливой фарфоровой статуэтке Мжаванадзе явно больше позолоты... Хрущев изучающе разглядывал не принадлежавший ему приз.

И Мжаванадзе вскинулся, с готовностью протянул:

— Сменяемся, Никита Сергеевич.

Нет, я ничего не придумываю ради красного словца, все было именно так, как я рассказываю, прошу верить. Да, да, Хрущев сменялся, взял приз Мжаванадзе, на котором оказалось больше позолоты. И оба были явно довольны этим обменом.

Тут по всему лесу загремело радио:

— Дорогие гости! Просим вас к столу! Дорогие гости! Просим вас!..

И все потянулись к большому полосатому тенту, растянутому среди сосен. Под ним тесно стояли длинные столы.

Я там был, мед-пиво пил...

Чтоб не упрекнули в голословности, прилагаю сохранившийся документ — карточку меню.

Обед:

Икра зернистая, расстегаи
Судак фаршированный
Сельдь дунайская
Индейка с фруктами
Салат из овощей
Раки в пиве

Окрошка мясная
Бульон с пирожком

Форель в белом вине
Шашлык
Капуста цветная в сухарях.

Дыня
Кофе, пирожное, ассорти, фрукты

с. Семеновское, 17 июля 1960 года.

Стеснительно не упомянуты напитки.

Знатоки утверждают, что в прошлый раз стол был куда обильнее и утонченнее.

Документальная реплика



Н. С. Хрущев и И. В. Сталин. Январь 1936 года. Мог ли он думать?

Март 1974 г.

Публикация и подготовка текста Н. АСМОЛОВОЙ.

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

★

НЕВИДИМЫЙ ПОЛЕТ

* * *

В цветастом наряде в обнимку с бедой
Сидела подруга. А рядом
Летали поденки над грязной водой
И хвастались черным нарядом.

И я говорила ей странную речь
О том, что сама я — поденка,
О том, что мне жизнь неприлично беречь,
Когда она вся — похоронка.

О том, что не стану минуты считать,
Которыми так не богата.
О том, что мне надо летать и летать,
С восхода летать до заката.

Что нужен мне только мой черный наряд,
Прозрачные черные крылья,
Которые сладкую легкость творят
Над зарослями чернобыля.

Подруга в ответ мне роняла слова
Об отдыхе, счастье и смысле —
И, может, была уж не так не права,
Да разные доли нам выпали.

Она переборет и эту беду,
Немного усилий осталось,
И встретит в каком-то туманном году
Спокойную, умную старость.

А мне лишь поденкой, поденкою быть
И в завтрашнем дне не продлиться,
А мне только траурным промельком слыть
Над мутной водою столицы.

* * *

Плывет за ночной синевою
Видение — символ тоски:
Ложатся в снега под Москвою
Сибирские наши полки.

Сняв с подпола памяти крышку,
По синим мгновеньям иду,

Но вижу родного братишку
Опять в сорок пятом году.

Восставший из синих оврагов,
Под минами он уцелел,
Овеян мистерией стягов,
От мирных забот захмелел.

Братишка, красавец, залетка,
 Все мысли твои об одном:
 О том, как красива пилотка
 Над чистым мальчишеским лбом;

...А дальше — все дали закрыты,
 Все мимо на милой Руси,
 И рядом все те, кто зарыты,
 И милости ты не проси.

О том, как начищена лихо
 Твоя боевая медаль;
 О том, что отхлынуло лихо,
 Открылась в сиянии даль.

А над головою белесой,
 Над миром твоим молодым,
 Над будущим — синей завесой
 Отечества сирого дым.

* * *

Русская профессия — изгнанник —
 Мною не освоена досель,
 Ибо не для Ванек, не для Манек
 Нынче сладкий зов чужих земель.

И в Сибирь нелепо сибирячку
 Высылать, коль здесь не ко двору...
 Потому и не порю горячку,
 Всем как есть довольна на миру.

Но порой, блуждая черным лесом,
 За собой не ведая вины,
 Я смотрю с невольным интересом
 На тропу свою со стороны,

Где, по чьей неведомо указке,
 Через буреломы, через мхи
 Отмечают след, как в страшной сказке,
 Камешками белыми стихи.

* * *

Под грузом небылиц
 Воспоминанья зыбки.
 В них — сотни разных лиц
 И ни одной улыбки.

Я мимо прохожу,
 Они меня не видят.
 В том радость нахожу —
 Ведь, значит, не обидят.

И тем стократ острее
 Сам смысл существования,

Что средь толпы людей
 Не стою я вниманья.

Не стою суеты,
 Родимая сторонка,
 Я — выплеск немоты,
 Я — бабочка-поденка.

А счастье мне дает
 С завидным постоянством
 Невидимый полет
 Над видимым пространством.



ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

★

ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ*

Роман

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I

Он умер и сейчас же открыл глаза. Но был он уже мертвец и глядел как мертвец.

Гоголь.

Эти дни потом Корнилов вспоминал очень часто. Все самое непоправимое, мутное, страшное, стыдное в его жизни началось именно отсюда.

Была суббота, он отпустил рабочих раньше времени, сбегал с косогора, окунулся несколько раз в ледяную воду Алмаатинки, фыркающая и сопя, растерся докрасна мохнатым полотенцем, потом в одних трусах вбежал в гору и веселый, свежий залетел в палатку, оделся, поставил чайник, сел и раскрыл очередной номер «Интернациональной литературы». В повести, которую он читал, жили обыкновенные, похожие на всех и очень не похожие ни на кого люди, произносились обыкновенные слова, совершались обыденные поступки — но все это каждодневное и будничное звучало тут совершенно необычно, и Корнилов никак не мог ухватить, в чем же тут дело.

Так, сидя перед плиткой, он прочел одну страницу, другую и задумался. И вдруг его ровно что-то толкнуло. Он вскинул голову и увидел Дашу. Она стояла и глядела на него, платок у нее сбился набок.

— Вас дядя зовет, — сказала она.

— А что такое? — спросил он, вскакивая (уже много времени спустя он понял, что в те дни в нем попросту жило предчувствие беды и, увидев Дашу, он сразу понял — вот беда и пришла).

— Не знаю, ему из города позвонили, — ответила Даша. — Он вернулся из конторы и сказал: «Беги». А вас все время не было.

Корнилов простоял еще с секунду, соображая как и что, потом осторожно положил книгу на раскладушку, выключил плитку и сказал: «Ну, пошли».

Но всю дорогу не шел, а бежал. Однако как вошел к Потапову, так сразу и успокоился. Все здесь было, как всегда. Горела лампа «молния». На полинявшей клеенке возле орденоносного самовара стояли бутылки и стопки. Рядом с повеселевшим хозяином сидели двое — лесник с лешачьей бородой и завязанным горлом (угостили из кустов утиной дробью) и бравый, весь в кудельках усач бригадир со строительства. Все они уже выпили и глядели орлами. «Так-таки-так» — чеканили дряхлые жестяные часики с огненным видом Бородина, «так-таки-так» — и этот стрекот успокаивал больше всего.

— А вот и наша ученая часть подошла, — сказал хозяин с таким

Публикация К. Ф. ДОМБРОВСКОЙ-ТУРУМОВОЙ.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

видом, как будто только ученой части этой компании и не хватало,— садись, садись, ученый, сейчас мы тебя тоже наделим. — Он поднял бутылку, поглядел на просвет и слегка поболтал ею. — Молодая хозяйка,— крикнул он весело,— что ж ты плохо потчуеть своих любимых-то? Видишь, на доньшке только и осталось! Она ведь за эти черепки душу отдает,— обернулся он к гостям,— теперь нам и театров не надо: черепки посвыше. Так, Дашутка, а?

Гости что-то весело загудели, а на столе появились графин и стопки.

— Вот это уж по-нашему,— согласился Потапов. — Видишь? Тебе в графине. — Он налил стопку всклянь и бережно, двумя бурыми, заскорузлыми пальцами поднял и поднес ее Корнилову. — Попробуй-ка, Владимир Михайлович,— сказал он почтительно,— она у меня особая, на лимонной корочке. Дух чуеть? Пей на здоровьице. Целебная!

Говорил Потапов дружески, смотрел на Корнилова с легкой доброй усмешечкой, а все-таки что-то непонятное все вздрагивало и вздрагивало в его голосе, и Корнилов сказал, что пить ему не хочется: только что поел.

— Ну как же ты отказываешься от моего доброго? — спокойно удивился хозяин. — Нет, так у нас не полагается. Пожалуйста уж, не обижай. (Корнилов посмотрел на него и выпил.) Ну вот и на здоровьице,— похвалил Потапов. — А теперь закуси. Эх и селедочка! В роте тает! С лучком! Как в «Метрополе»! Есть такой ресторан у вас в Москве? Есть, я знаю! Нас в осьмнадцатом как пригнали с фронта, в нем пшенкой и селедкой кормили. Как жрали-то! Видишь, когда еще о метро заговорили.

— Вы меня звали? — спросил Корнилов.

— Звал, звал,— добродушно ответил Потапов. — Вон Дарью спысал. Не знаю только, где она столько пропадала. Перво дело — ну-ка выпей еще с селедочкой!.. Вот так, молодец! Перво дело — поднести хотел, а второе — требуешься ты мне, друг милый, на пару слов. Ты что? Один, без начальства? Они в Алма-Атах?

— Да, а что?

— Да вот находку без них сделали. Меч Ильи Муравца нашли. Дождь шел, размыл бугор, он и вылез из глины. Расскажи-ка,— кивнул он леснику.

Лешачья борода дотронулась до горла и просипела:

— Очень замечательный меч. Клинок погнулся маленько, а рукоятка вся цела: пальмы!

— Он при вас? — спросил Корнилов.

— Не. Обьездчик увез. Завтра к обеду обещал завезти. У него сын в пединституте на историка учится. Он вот, я вам скажу, какой!.. — Он повернулся было к Корнилову, но тут Потапов махнул на него рукой.

— Ну что ты тут будешь разобъяснять,— сказал он досадливо,— вот возвратится его хозяин, тогда и будет разговор. — Он вынул из кармана старинные часы с вензелем, открыл, посмотрел и сказал: — Ну, товарищи дорогие, давайте еще по одной... и... а ты посиди-ка,— тихо приказал он Корнилову.

Все быстро выпили и вышли в сени. Там они еще поговорили о чем-то своем, закурили, крепко ругнули кого-то, и вдруг ржанула лошадь, хлопнули ворота — это ускакал лесник. Потапов еще постоял немного на дворе, потом вернулся в комнату, прямо прошел к столу, сел и взглянул на Корнилова.

— Так вот,— сказал он,— арестовали Георгия Николаевича.

— Что-о? — вскопчил Корнилов и вдруг понял, что вот именно этого он и ждал.

— Тише, не ори! Сядь! Да, арестовали. Зачем-то он на Или очутился, то ли бежать хотел, то ли что. Там его и забрали. Квартиру

уж без него опечатывали. Целый баул бумаг увезли. Вот.—Сказал и замолак.

«Зачем он мне это говорит? Провоцирует? Угрожает? Пугает? Предупреждает?» — все это одновременно пронеслось в голове Корнилова.

— А откуда вы это...? — спросил он.

Потапов неприятно поморщился.

— Значит, знаю, раз говорю,— ответил он неохотно.— Позвонила одна. Их вместе на Или забрали. Ее-то в городе ссадили, а его в тюрьму провезли. Вот такие дела.

«Угрожает? Провоцирует?» Но взглянув на печальное и какое-то потухшее лицо Потапова, Корнилов понял: нет, не провоцирует и не угрожает, а просто растерян, боится и не знает, что делать.

— Господи Боже мой! — сказал он подавленно.— Вот еще беда.

И тут вдруг прежний злой, колючий огонек блеснул в глазах Потапова. Он даже усмехнулся.

— Вот,— сказал он с каким-то болезненным удовлетворением.— Вот ты и замолаки. И все мы так начинаем молиться, когда нам узел к жопе подступит. До этого нам, конечно, ни Бог, ни царь и ни герой — никто не нужен. Все своею собственной рукой! А Бог, оказывается, маленько нас поумнее. Да, побашковитее нас! К-эк саданет нам камешком по лбу, так мы и лапти кверху! — Он помолчал и вздохнул.— Так вот загремел наш хранитель, загремел, только мы его и видели! Теперь жди, тебя скоро вызовут.

— Зачем?

— Как это зачем? — удивился Потапов.— Для допроса! Начнут спрашивать, что, как, за что агитировал.— Он посмотрел на Корнилова и вдруг подозрительно спросил: — Да ты что? Верно, ничего не знаешь? Тебя никуда не вызывали, а? Стой! Вот ты одноё в город ездил, сказал, что в музее сидел, а Зыбин приезжал и говорит: «Не знаю, чтоб он в музее сидел, наверно, по бабам, черт, блукал, не видел я его там!»

— Да неужели вы верно думаете, что я что-то знал и не рассказал бы Георгию Николаевичу,— удивился и возмутился Корнилов.

— Ну, положим, если бы ты сказал, то знаешь, где сейчас был бы? — строго оборвал его Потапов.— Как это так ты рассказал бы? По какому такому полному праву ты рассказал бы? А подписка? А храни государственную тайну? А десять лет за разглашение? Это ты брось — рассказал бы! — Он еще посидел и решил: — Ну, раз не вызывали, значит, жди, вызовут.

— Да,— невесело кивнул головой Корнилов,— теперь-то уж точно вызовут. Слушай, Иван Семенович, налей-ка мне еще.

— Ну! Только закусывай. Вот сало, режь. А если вызовут, не пугайся. Пугаться тут нечего. Это не какая-нибудь там фашистская гестапа, а наши, советские органы! Ленинская Чека! Говори правду, и ничего тебе не будет, понимаешь: правду! Правду, и все! — И он настойчиво и еще несколько раз повторил это слово.

— Понимаю,— вздохнул Корнилов.— Всю правду, только правду, ничего, кроме правды, не отходя ни на шаг от правды. Ничего, кроме правды, они от меня и не выпишут сейчас, Иван Семенович. Как бы они там ни орали, и ни стучали, и ни сучили кулаками.

— Ты это что? — несколько ошалел Потапов.— Ты того... Нет, ты чего не требуется, того не буровь! Как же это так орать и стучать? Никто там на тебя орать не может. Это же наши, советские органы. Ну, конечно, если скривишь что...

— Нет, кривить я больше не согласен,— усмехнулся Корнилов,— хватит! Покривил раз!

— Это когда же? — испугался Потапов.

— Не пугайся: давно. То есть не так уж давно, но до Алма-Аты еще. Теперь — все.

Он сидел перед Потаповым тихий и решительный. Он действительно не боялся. Просто нечем его уже было запугать.

— Ты знаешь, сколько я тогда напел на себя? — усмехнулся он. — Страшно вспомнить даже! Да все, что он мне подsunул, то я и подмахнул. Говорит: «Вот что на тебя товарищи показывают: слушай, зачитаю». И зачел, прохвост! Все нераскрытые паскудства, что накопились за лето в нашем районе, он все их на меня списал. Где какой пьяный ни начудил, все это я сделал. И все не просто, а с целью агитации. И флаг я сдернул, и рога какому-то там пририсовал, и витрину ударников разбил, все я, я, я! А он сочувствует: «Ну, теперь видишь, что на тебя твои лучшие дружки показали. Ведь они с головой зарыли тебя, гады. Так слушай моего доброго совета, дурья твоя голова: разоружайся! Вставай на колени, пока не поздно, и кайся. Пиши: виноват во всем, но все осознал и клянусь, что больше этого не повторится. Тогда еще свободу увидишь. Советская власть не таких прощала. А нет — так нет, от девяти грамм свинца республика не обеднеет. Если враг не сдастся — то его уничтожат. Знаешь, чьи это слова?» Вот больше от этих слов я и подписал все.

— И ты ничего этого...? — спросил недоуменно Потапов.

— Господи! Да я и близко в тех местах не был. Меня летом вообще в Москве не было.

— Но как же так ты все-таки поверил? Дружков своих ты знал...

— А как же я мог не поверить? — засмеялся Корнилов. — Никак я не мог не поверить. Ведь он же следователь, а я арестант, преступник. Так как же следователь может врать арестанту? Это арестант врет следователю, а тот его ловит, уличает, к стенке прижимает. Вот как я думал. А если все станет вверх ногами, тогда что будет? Тогда и от государства-то ничего не останется! И как следователь может так бандитствовать у всех на глазах днем, при прокуроре, при машинистках, при товарищах? Они же заходят, уходят, все видят, все слышат. Нет, нет, никак это мне в голову прийти не могло. Я так и думал: действительно меня оклеветали и я пропал. Вот единственный добрый человек — следователь. Надо его слушать. А что он на меня кричит, это же понятно: и он мне тоже не верит, слишком уж все против меня. — Он вздохнул. — Беда моя в том, Иван Семенович, что у меня отец был юристом и после него осталось два шкафа книг о праве, а я их, дурак, все перечитал. Но ничего! На этого прохвоста я не в обиде! Научил он меня на всю жисть. Спасибо ему.

— Да, — сказал Потапов задумчиво. — Да! Научил! А вот: «Если враг не сдастся...» — это Максим Горький сказал?

— Горький!

Потапов вздохнул.

— Острые слова! Когда Агафья, жена Петра, ходила к следователю, он их первым делом высказал. И в школе Дашутку тоже на комсомольском собрании этими словами уличали. Да, да, Горький! Ну, значит, знал, что говорит, а?

— Знал, конечно.

— Да! Да! Знал!

Потапов еще посидел, подумал и вдруг быстро встал.

— Постой, там ровно кто ходит. — И вышел на улицу. — Это ты тут? — услышал Корнилов его голос. — Ты что тут? А вот я тебе дам курятник! Я дам тебе несущек посмотрю! А ну спать!

Он еще походил, запер ворота, потоптался в сених, вернулся и неторопливо, солидно сел к столу. Вынул трубку, выбил о ладонь, набил и закурил.

— Так выходит, что ты и сам запутался и следователя своего запутал, — сказал он строго и твердо, тоном человека, которому наконец-то открылась истина. — За это, конечно, тебя следовало наказать по всей строгости, ты свое и получил, но сейчас у нас не враг наро-

да Ягода, а сталинский нарком Николай Иванович Ежов, он безвинного в обиду никогда не даст. Так что ты это брось!

— Да я уж бросил,— вздохнул Корнилов и встал.— Ну, я пошел, Иван Семенович. Мне завтра рано вставать. Спасибо за угощение.

Потапов неуверенно посмотрел на него.

— Постой-ка,— сказал он хмуро.— Ну-ка сядь, сядь. Вот Дашка к вам бегала, а у вас там кого-кого только не перебывало. Ты язык широко распустил, а у нее и вовсе ветер в голове. Недаром ее на комсомоле прорабатывали. Вот дядю Петю поминают, а что мы про него знали? Приехали и взяли, а за что про что — кто ж нам объяснит, правда?

— Правда, святая правда, Иван Семенович,— подтвердил Корнилов.— Нет, Даша ничего у нас никогда не говорила. Это и я скажу, и все подтвердят. Ну, пока.

И уже за воротами Потапов догнал его снова.

— Тебя директор твой будет спрашивать,— сказал он, подходя,— так ты вот что, ты до времени до поры эти наши тары-бары сегодняшние...

— Ясно,— ответил Корнилов,— понял.

— Да и вообще ты сейчас поосторожнее насчет языка...

— И это тоже понял, раз мы с тобой об этом чуть не час говорили, то, значит, уж оба кандидаты — вон туда! Если только, конечно,— он усмехнулся,— один из нас, кто пошустрее, не догадается сбежать до шоссе и остановить попутку в город.

— Все шуткуешь? — невесело усмехнулся Потапов и вздохнул.

— Шуткую. Иван Семенович. Шуткую, дорогой. Незачем уже и бежать. Поздно!

Вернувшись, он снова попробовал читать, но только пробежал несколько строк и отбросил журнал. Повесть только раздражала, и все. Он лег на раскладушку, накинул одеяло и закрыл глаза. «Мне бы ваши заботы,— подумал он зло,— показали бы вам тут Карибское море и пиратов. Вот то, что выпить нечего, это жаль, конечно. А впрочем, почему нечего? Сколько сейчас? Двенадцать. У Волчихи самый разгар». Он прикрутил лампу и вышел. Ночь выдалась лунная и ясная. Все вокруг стрекотало и звенело. Каждая тварь в эту ночь работала на каких-то своих особых волнах. Почти около самого его лица как мягкая тряпка пронеслась летучая мышь. Он проходил мимо старого дуба, а там постоянно пищало целое гнездо этой замшевой нечисти. Большое окно под красной занавеской у Волчихи светилось. Он условно стукнул три раза и вошел. Хозяйка сидела за столом и шила. Он сказал ей «здравствуйте пожалуйста» и перекрестился на правый передний угол. В этой избе и в десятке подобных же это всегда действовало безотказно. На столе стояла бутылка, тщательно обернутая в газету.

— Это, случайно, не для меня? — спросил Корнилов.

Хозяйка подняла голову от шитья и улыбнулась. Была она в сарафане и с голыми плечами и выглядела совсем-совсем молодой (ей недавно стукнуло двадцать девять). Эдакая крепкая черноволосая украинка.

— И для вас всегда найдется,— сказала она дружелюбно и звонко перекусила нитку,— а это вон для Андрея Эрнестовича. — И кивнула головой на угол.

Корнилов обернулся. У стены на лавке, там, где около ведер, прикрытых фанерками, испокон веков стояли два позеленевших самовара, сидел старик. Высокий, худощавый, жилистый, с аккуратной бородкой клинышком. На носу у него были золотые очки, а на плечах одеяло.

— Ой, извините, отец Андрей,— учтиво всполошился Корнилов. — Я вас не заметил. Здравствуйте!

— Здравствуйте,— ответил отец Андрей и поднял на Корнилова голубые с льдинкой глаза.

Отец Андрей работал в музее инвентаризатором. Но до сих пор Корнилову говорить с ним не приходилось. Месяца за два до этого директор задумал учесть музейные коллекции. Дело это было нелегким: неразбериха в музее царила страшная. Экспонаты откладывались, как осадочные породы, слоями, эдакими историческими периодами.

Первый — самый спокойный, тихий слой.

Семиреченская губернская выставка 1907 года.

Фотографии земства, старые планы города Верного, XVIII век, договоры с ордами, написанные арабской вязью, с белыми, черными и красными печатями на шнурочках, муляжи плодов и овощей.

Второй слой.

Губернский музей 1913 года.

Сапоги местного завода, открытки всемирного почтового союза «ул. Торговая в городе Верном», образцы полезных ископаемых, набор пробирок с нефтью.

Третий слой.

Музей Оренбургского края.

Вот это уже сама революция: перемешанный, разнородный, взрывчатый слой — окна РОСТА «Долой Врангеля», штыки, ярчайшие плакаты с драконами, объявления, похожие на афиши,— красная, зеленая, синяя бумага, а внизу вместо фамилии премьера игривым кудрявым шрифтом — «Расстрел». Газетные подшивки. И тут же золоченая лупящаяся мебель с лебедиными поручнями, коллекция вееров, золотой фарфор, чучело медведя с блюдом для визитных карточек в лапах.

Четвертый слой.

В нем сам черт ногу сломит: где что, что к чему, что зачем — никто не разберет. Стоит, например, на чердаке забитый досками ящик, и что в нем — одному алаху ведомо: не то жуки, не то иконы. На хорах в одном углу окаменелости, в другом — старое железо, и опять-таки — что это за железо, что за окаменелости, откуда они, никто не знает. Но это слой мирный, относящийся к двадцатым и тридцатым годам. Он оседал незаметно — ящиками, посылками, актами передач. Вот — четыре слоя, и поди разберись в них во всех. Тогда директор — человек решительный, острый и быстрый — задумал навести порядок по-военному — одним махом. Он запросил особые ассигнования, нанял десять работников-инвентаризаторов, прикрепил к ним Зыбина для консультации и фотографа для документации и заставил их писать карточки. Так появились в собрании очень удивительные люди: инвентаризаторы.

В первые дни на них ходили смотреть все отделы. Самому молодому из них недавно стукнуло шестьдесят, и он неделю назад отряхнул от сана через газету. К этому сословию, презираемому и осмеянному всеми агитами и стенгазами, директор, старый профессиональный безбожник, таил какую-то особую слабость. Общался он с батюшками уважительно, кротко, с постоянной благожелательностью и из всех выделял вот этого отца Андрея, того самого, что сейчас сидел в одеяле. «Вы с ним, ребята, обязательно поближе познакомьтесь,— советовал он Корнилову и Зыбину.— Вы больше такого попа уж никогда не увидите. Академик! Умница! Таких попов наши агитбригады вам никогда не покажут! Где им!»

— А как вас сюда, отец Андрей, занесло? — спросил Корнилов неловко и покосился на его плечи.

— Вы про то, что я в этой хламиде-то сижу? — засмеялся отец Андрей.— Так вот видите, конфузия вышла какая. В темноте задел за сук, чуть весь рукав не сорвал. Спасибо Марье Григорьевне, добрая душа, видите, пришла на помощь.

— Я вам и все пуговицы укреплю,— сказала Волчиха,— а то они тоже на одной живульке держатся.

— Премного буду обязан,— слегка поклонился отец Андрей.— Я тут, товарищ Корнилов, у дочки живу. Вроде как на дачке. Она агрономом работает. А сегодня директор послал меня с запиской к бригадиру Потапову. Акт какой-то он должен прислать, а мне надлежало помочь его составить. Да вот беда, что-то целый день хожу по колхозу и не могу поймать. Кто говорит, что здесь он, кто говорит, уехал. Вы ведь на его участке, кажется, работаете? Не видели?

— А домой к нему вы не заходили? — спросил Корнилов не отвечая.

Отец Андрей поморщился.

— Подходил я под вечер. Да, признаться, не решился зайти.

— А что...

— Гости там были.

«Значит, мог слышать и наш разговор»,— подумал Корнилов и спросил:

— А Георгия Николаевича вы нигде не встречали?

— Нет. А что?

— Да куда он делся — не пойму... Поехал в город вчера, обещал сегодня к полудню вернуться, и нет его. Правда, приехала к нему тут одна особа...— Про особу вырвалось у Корнилова как-то само собой и противно, игриво, с ухмылочкой, он чуть не поперхнулся от неожиданности.

— Да уж пора, пора ему,— сказал отец Андрей.— В его-то годы у меня уже была большая семья — трое душ. Правда, тут — канон. Тогда духовенство женилось рано.

— До принятия сана,— подказал зачем-то Корнилов.

— Совершенно верно. До посвящения. Значит, знаете. Ну а теперь времена-то, конечно, не те.

— Да, времена не те, не те,— тупо согласился Корнилов.

Хозяйка положила шитье на стол, вышла в сени и сейчас же вернулась с бутылкой водки.

— Деньги сейчас платить будете? — спросила она, беря снова френч и осматривая обшлага.

— Зайду завтра расплачусь. За все,— ответил Корнилов.

— Только тогда не утром. Утром я в город поеду,— сказала хозяйка.— Что-то плохо, отец Андрей, дочка о вас заботится. Вон все пуговицы на одной нитке.

— Дочка у меня замечательная, Марья Григорьевна,— с тихим чувством сказал отец Андрей,— работящая. С пятнадцати лет на семью зарабатывала, я уже и тогда был не кормилец. И муж у нее великолепный. Спокойный, выдержанный, вдумчивый. Читает много. Сейчас он зимовщиком на острове Врангеля, так целую библиотеку с собой захватил. Вот ждем, в этом месяце должен в отпуск приехать.

— Вот вы уж с ним тогда...— сказал Корнилов, мутно улыбаясь (словно какой-то бес все дергал и дергал его за язык).

Отец Андрей улыбнулся тоже.

— Да уж без этого не обойдется. Но у него душа меру знает. Как выпил свое — так все! А дочка, та даже пиво в рот не берет. Юность не та у нее была. Не приучена.

— А вы?

— А я грешный человек — на Севере приучился. Я там в открытое море с рыбаками выходил — так там без этого никак нельзя. Замерзнешь, промокнешь, застынешь — тогда спирт первое дело. И растереться и вовнутрь.

— А в молодости так и совсем не пили? — посомневался Корнилов.

— Водку-то? Помилуй Бог, никогда! — очень серьезно покачал головой отец Андрей.— Теплоту, что оставалось, верно, допивал из

чаши. Теплота — это по-нашему, по-поповскому, церковное вино, кагор, которым причащают. Так вот, что в чаше оставалось, то допивал, а так — Боже избави! А сейчас, после Севера, грешу, ох как грешу! Достать тут негде — так вот я к Марье Григорьевне и повадился. Спасибо, добрая душа, не гонит.

— А что, я не человек, что ли? — спросила хозяйка серьезно. — Я хорошим людям всегда рада. Только от вас, отец Андрей, да и услышишь что стоящее. От вас да вот их товарища. Тот тоже ко мне заходит.

«Ах вот куда Зыбин нырял, — подумал Корнилов. — Однако надо идти выспаться. Директор завтра вызовет обязательно. Он меня терпеть не может. Ну что ж? Скажу — ничего не знаю, ничего не слышал, днем работал, а вечером пил с отцом Андреем».

— Хозяюшка, — сказал он, — а что, если мы с отцом Андреем вот здесь у вас по стопешнику и опрокинем, а?

— Я уж сказала, хорошим людям всегда рада, — опять-таки очень серьезно ответила Волчиха, — я сейчас соленых огурчиков из кадки принесу. Вот ваша одежда, отец Андрей. — Она подошла к шкафу, вынула стопки, тарелку. Стопки поставила на стол, а с тарелкой вышла в сени. Отец Андрей надел френч, подошел к зеркалу и одернулся.

И оказался стройным, аккуратным, почти по-военному подтянутым стариком. Он посмотрел на Корнилова и подмигнул ему. И вдруг с Корниловым произошло что-то совершенно непонятное. На мгновение все ему показалось смутным, как сон. Он даже вздрогнул. «Боже мой, — подумал он, — ведь все как в той повести. Правда и неправда. И есть и нет. Да что это со мной? И зачем я тут? В такой момент? С попом? С шинкаркой этой? Или я уже действительно тронулся?»

Ему даже подумалось, что все — стол, две бутылки, одна в газете, другая так, мордастая баба-шинкарка, поп во френче — все это сейчас вздрогнет и расслоится, как колода карт. Такое у него бывало в бреду, когда он болел малярией. И вместе с тем, как это бывало у него иногда перед хорошей встряской, выпивкой или баней, он почувствовал подъем, легкое головокружение, состояние обморочного полета. И еще порыв какого-то чуть не горячего вдохновения. Он встал и подошел к зеркалу. Нет, все было, как всегда, и он был таким, как всегда, серым, будничным, неинтересным. Ничего на земле не изменилось. И его возмут, и тоже ничего не изменится. По-прежнему этот поп будет жить с шинкаркой и трескать ее водку.

Он откупорил бутылку и налил себе и попу по стопке.

— Ну, батюшка, — сказал он грубовато, — за все хорошее и плохое. Ура!

— За плавающих, путешествующих и пребывающих в темницах, — серьезно и плавно, совсем по-церковному, не то произнес, не то пропел отец Андрей. — Марья Григорьевна, берите-ка стопку! При таком госте сейчас все должны пить.

Потом заговорили о жизни. Все трое были уверены, что никому из них она не удалась, но каждый относился к этому по-разному: Корнилов раздраженно, Волчиха безропотно, а отцу Андрею такая жизнь так даже и нравилась.

— Да, рассказывайте, рассказывайте байки, — грубо усмехнулся Корнилов. — Так мы вам и поверили. У меня нянька была, — повернулся он к Волчихе, — вот ее спросишь: «Нянь, а ты пирожные любишь?» «Нет, — отвечает, — няня только черные сухари любит».

— А ведь, — отец Андрей улыбнулся, — она правильно отвечала, я тоже черные сухари люблю больше, чем пирожные. Эх, товарищ дорогой, или как вас там назвать, ведь вы еще не знаете, что такое черный хлеб, самая горбушечка — ведь вкуснее ее ничего на свете нет. Этому вас еще не научили.

— А вас давно этому научили? — прищурился Корнилов.

— Меня давненько, спаси их, Господи. И по совести скажу: хорошо сделали, что научили, спасибо им. Вот брожу по земле, встречаюсь со всякими людьми, зарабатываю этот самый черный хлеба кус горбом, тяжело зарабатываю, воистину в поте лица своего — эту работу у вас я как по лотерейному билету получил, через месяц ей конец, — и радуюсь! И от всей души радуюсь. Хорошо жить на свете! Очень хорошо! Умно установлено то, что у каждого радость точно выкроена по его мерке. Ее ни украсть, ни присвоить: другому она просто не подходит.

— А когда, отец, вы губернаторским духовником были, вы тоже думали так?

— Нет, тогда не так. Но тогда я еще не знал вкус черного хлеба.

— А чувствовали себя как? Хуже?

— Хуже не хуже, а, как бы сказать, обреченнее. По-поповски. Ни горя, ни радости. Течет себе река и течет. И все по порядку. Родничок, верхнее течение, нижнее течение — и конец: влилась в море и канула.

— Обедни каждодневно служили, наверно?

— Иногда и другим поручал, грешен.

— Грехи прощали?

— Прощал. Много что прощал. Да все прощал! И грабеж, и убийство, и растление, и то, что мой духовный сын по толпе велел стрелять, — все, все прощал: «Иди и больше не греши». — Он поднял на Корнилова спокойные серьезные глаза. — А это хорошо, что вы сейчас иронизируете. Это действительно и смеха и поруганья достойно.

— Как же так, батюшка? — удивилась Волчиха. Она уже успела украдкой незаметно поплакать над долей (просто два раза догрозилась до глаз — сняла слезы) и теперь сидела, похожая на снегиря-пуховичка, — тихая, печальная, пригожая.

— А вот так, дорогая, — ответил отец Андрей ласково, — что не смел я никого прощать. Откуда я взялся такой хороший да добрый, чтоб прощать? Как, скажи, простить разбойника за убийство ребенка? Что это, моего ребенка убили? Или я за это прощение отвечать буду? Нет, потому и прощаю, что поп я. А с попом и разговор поповский. Никто его прощенье всерьез и не понимает. Милость Господня безгранична — вот и изливай ее не жалея. Милость-то, конечно, безгранична, да я-то с какого края к ней примазался? Я разве приказчик Богу моему? Вот смотрите, наша хозяйка-ларешница отсидела три года за чужую вину. Подсыпался к ней однажды бухгалтер: дай да дай выручку на два дня. Она и дала. Только его, негодая, и видела. А я его знаю! Он человек набожный! В церковь ходил аккуратно, два раза у меня на тайной исповеди был! Теперь попятится здесь, обязательно в третий раз придет: «Отпустите грех. батюшка». Ну и как я ему отпущу? Сидела она, а прощу я? И он мне за это отпущение еще из ворованных денег, поди, пятерку в ладонь сунет? Что же это за прощение будет? Чепуха же это! Полный абсурд!

Волчиха вдруг быстро поднялась и вышла из комнаты.

— А Христос? — спросил Корнилов и налил себе и отцу Андрею еще по полстакана. — Как же Христос всех прощал?

— Спасибо, — сказал отец Андрей и взял стакан в руки, — ну, это уже последний. Вот о Христе-то и идет разговор. Христос — Владимир Михайлович, так вас, кажется, по батюшке? — Христос мог прощать. Недаром мы его именуем искупителем. Ведь он Бог. Тот самый, что един в трех лицах божества, так почему же он, будучи Богом, то есть Всемогущим, не мог простить, не спускаясь с неба? Даже не простить, а просто отпустить грехи, вот как мы, попы, отпускаем не злом с места. Умирать-то, страдать-то ему зачем? Вы думали об этом? Конечно, не думали: для вас и Христос, и Троица, и Господь Бог Отец, отпустивший сына на казнь, и Сын, молящий Отца перед

казнь: «Отче, да минет меня чаша сия»,— все это мифы, но смысла какой-то таят эти мифы или нет? Мораль сей басни какова?

— Христос не басня,— сказал Корнилов,— я верю, был такой человек. Жил, ходил, учил, его распяли за это.

— Ну вот, значит, уже легче. В Христа-человека вы, стало быть, верите. А я верю еще и в Христа! В Бога-Слово. Вот как у Иоанна: «Вначале бе Слово, и слово бе Бог». А если все это так, то мораль сей басни проста: даже Бог не посмел — слышите, не посмел — простить людей с неба. Потому что цена такому прощению была бы грош. Нет, ты сойди со своих синайских высот, влезь в подлую рабскую шкуру, проживи тридцать три года и проработай плотником в маленьком грязном городишке, испытай все, что может только человек испытать от людей; и когда они, поизмывавшись над тобой вволю, исхлещут тебя бичами и скорпионами — а знаете, как били? Цепочками с шариками на концах! Били так, что обнажались внутренности. Так вот, когда тебя эдак изорвут бичами, а потом подтянут на канате да приколотят — голого-голово! — к столбу на срам и потеху, вот тогда с этого проклятого древа и спроси себя: а теперь любишь ты еще людей по-прежнему или нет? И если и тогда ты скажешь: «Да, люблю и сейчас! И таких! Все равно люблю!» — то тогда и прости! И вот тогда и действительно такая страшная сила появится в твоём прощении, что всякий, кто уверует, что он может быть прощен тобой, — тот и будет прощен. Потому что это не Бог с неба ему грехи отпустил, а распятый раб с креста его простил. И не за кого-то там неизвестного, а за самого себя. Вот какой смысл в этой басне об искуплении.

— И значит, теперь,— спросил Корнилов,— вы можете прощать, а не отпускать?

— Да, теперь, пожалуй, я могу и прощать! Только вот пакость-то: когда я это право заслужил, то оказалось, что в нем никто не нуждается.

Корнилов сидел пошатываясь и смотрел на отца Андрея. Что-то многое зарождалось в его голове, но он не мог, не умел этого высказать.

— И как, вы все грехи можете прощать? — спросил он. — Или только те, которые перенесли на себе? Вот, например, вас, наверно, не раз продавали, так Иуду вы простить можете?

Отец Андрей посмотрел и улыбнулся.

— А почему нет? Ведь кто такой Иуда? Человек, страшно переоценивший свои силы. Взвалил ношу не по себе и рухнул под ней. Это вечный урок всем нам — слабым и хлипким. Не хватай глубины большую, чем можешь унести, не геройствуй попусту. Три четверти предателей — это неудавшиеся мученики.

— А Христос что ж, не понимал, кого он вербует в мученики? — неприятно осклабился Корнилов. — Ну знаете, тогда далеко ему до нашей техники подбора кадров. Те тоже дадут порой промашки, но так... — Он покачал головой. — Подумать только, какую компанию он себе собрал. Петр отрекся, Фома усомнился, а Иуда предал. Трое из двенадцати! Двадцать пять процентов брака. Да любой начальник кадров слетел бы за такой подбор. Без права занятия должности. Вот Петр: ведь только случайно и он не стал предателем. Ну как же? Его тогда какая-то девка из дворца правителя признала: «Э, да ты тоже из них?» А что он ей ответил? «Знать я его не знаю, ведачь не ведаю, и дела мне до него никакого нет». И так три раза: «нет, нет и нет». Ну а что, если бы кто из власть предержащих тут был и эти девкины слова услышал? Он сразу бы прицепился: «Как ты говоришь? Этот? Вот эта самая борода? А ну подойди-ка сюда, уважаемый. Так вы что? Оба из одной компании, стало быть? Ах нет? И не видел и не слышал? А что же она говорит? Наговаривает? Ах негодяйка! И этот врет? И этот тоже? Ах они клеветники! Ах гады, ну постой, я их

всех!.. Взять! Этого самого безвинного! В холодную его! Раздеть до низиков! Он думает, что он у тещи в гостях! Врешь! Запоешь! Вспомнишь! Как еще!» — Корнилов с большой экспрессией исполнил эту сцену. — Ну вот и конец вашему Петру. А ведь помните, что Христос о нем сказал: «Ты камень, и на камне этом я возведу храм свой!» Хорош камень! Впрочем, и храм у вас тоже получился хорош! Ну ладно, с этими двумя, в общем-то, понятно — а вот куда Пилата денете? Судью, руки умывающего? Который и на смерть осудил, и в смерти как бы не виноват. Потому что, если общественность вопит «распни, распни!», то что тогда судьбе остается как и правда не распинать? Так вот с этим-то председателем воентрибунала что нам делать? Тоже прощать? За чистоплотность? Не просто, мол, распял, а руки перед этим вымыл? Не хотел, мол, но подчинился общественности. Ах, какое смягчающее обстоятельство! Так что, войдет он в царствие Божие или нет?

— Без всякого сомнения, — ответил отец Андрей. — Если судья вдруг почувствовал на своих руках кровь невинного — он уже задумался. А если он начал думать, то уж додумает до конца. Помните, как Мармеладов Раскольникову говорит: «Распни меня, распни, судья праведный, но распни и пожалей, и я тогда руки тебе поцелую...» Да и что мы знаем достоверного про Понтия Пилата — проконсула иудейского?

Обратно шли уже сильно подвыпившие. Отец Андрей размахивал руками и говорил:

— Да, Христово ученье это самое: «Несть Элина, несть Иудея» — неоригинально! Все это уже было! Да! С этим приходится согласиться! Но только в каком смысле, дорогой товарищ Корнилов? Только в одном! В том-то и лихость таких истин, что они всегда были с нами, и изречь их не великая мудрость, а вот умереть за них... Но вот что философы не больно хотели умирать...

Они шли покачиваясь, кричали, и на них даже редкие колхозные собаки и те уже не лаяли. А над садами и горами плыла полная черная южная ночь. Тучи закрыли небо. Парило, как перед грозой. И было тихо-тихо; не стрекотали кузнечики, не пели сверчки, не кричали в длинных влажных травах, похожих на водоросли, крапчатые болотные птахи, только внизу, как отдаленный железнодорожный переезд, все грохотала Алмаатинка. Этот раздувшийся к ночи ледяной поток (весь день таяли снеговые шапки) ломал горы и катил валуны.

Перед тем как выйти из дому, Марья Григорьевна — мягкая, теплая, податливая — набросила на голые плечи черную шаль с розами, но когда Корнилов хотел обнять ее, то наткнулся на жесткую, напружиненную руку попа. «Вот чертов поп, — подумал он, — а ведь ему больше шестидесяти».

— Вот у меня, — продолжал отец Андрей, — сейчас лежит книга. Ваш директор дал почитать. «Переписка апостола Павла с философом Сенекой Христианствующим». Слышали такого — Анней Луций Сенека? Так вот, с Христианствующим.

— Ну а что же особенного?

— А то особенное, дорогой товарищ Корнилов, что не был этот господин христианствующим. Подделка это все. Он о Христе и не слышал. Как, конечно, и о Павле. А услышал бы — обоих вздернул на крестах и не охнул. Но веление века он понял правильно. Вот поэтому он и Христианствующий. Нельзя было в то время услышать шаги командора и не стать христианствующим.

«„Услышать шаги командора“, — подумал Корнилов. — Наверно, собака, стихи пишет вроде попа Ионы Брихничева» — и сказал:

— А не могли бы вы как-нибудь попроще? А то не совсем понятно, о чем вы вообще?

— Я говорю вот о чем. Республика во время Сенеки умерла. Вер-

нее, не то уже умерла, не то еще только умирала — этого толком никто не знал, потому что никто не интересовался. На свет лезли упыри и уродцы. И назывались они императорами, то есть вождями народа. Оглянуться было не на что. Ожидать было нечего. Настоящего не существовало. Сзади могилы и впереди могилы. «Третье поколение уже рождается в огне гражданской войны». Это Гораций о прошлом Рима. «Волки будут спать на площадях и выть от голода в пустых чертогах» — это о будущем Рима. Но то был еще золотой век. Август. Принципат. Расцвет искусств. А после уже действительно пошла тьма и безысходность. И юрист Ульпиан объяснил причину этого так: «Что нравится государю, то имеет силу закона, потому что народ перенес и передал ему свои права и власть». И Сенека понимал: раз так, надо опираться не на народ — его нет, — не на государя — его тоже нет, — не на государство — оно только понятие, — а на человека, на своего ближнего, потому что вот он-то есть и он всегда рядом с тобой: плебей, вольноотпущенник, раб, жена раба. Не поэт, не герой, а голый человек на голой земле. Вы понимаете?

— Ну, я слушаю, все слушаю, — ответил Корнилов.

— Ибо человек, если так на него взглянуть, не только самое дорогое, но и самое надежное в мире. Вот последнее-то, кажется, товарищ Сталин себе уяснил далеко не полностью!

«Вот выдает, — подумал Корнилов, — зачем это он так? При ней?» Но неожиданно для себя сказал:

— Я слышу речь не мальчика, но мужа, она с тобой, отец, меня мirit.

— Спасибо! И безо всяких лишних слов спасибо! — серьезно ответил отец Андрей. — Да, Сенека это понял и за это у позднейших отцов церкви получил прозвание Христианствующего. Но не Христа! Теперь вот о Христе. Лет за тридцать до этого на другом конце империи бродил по песчаным дорогам Иудеи плотник или строитель, говорят еще, что он делал плуги, нищий проповедник с кучкой таких же бродяг, как и он. Они хоть не сеяли и не жали, но урожай собирали — то есть попросту попрошайничали. Что соберут, то и поедят, где их тьма застанет, там и заночуют. Все беспрекословно слушали своего вожака — нрав у него был вспыльчивый, яростный, но отходчивый. А вообще имел характер ясный и простой. Образован не был, хотя греческий и знал (иначе как бы он говорил с Пилатом?). А проповедовать умел, и его заслушивались. Говорил картинно, хотя и сухова-то, просто и четко, с великим жаром убежденности. Был очень осторожен, и заставить его проговориться было невозможно. И хотя всем было ясно, что он отрицает все — императора, власть императора, богов императора, мораль императора, — за язык поймать его не удавалось. Вести из Рима просачивались скупой, и что делалось в империи — никто не знал, да и что было этим рыбакам да ремесленникам до высокой политики? Философские же и исторические сочинения, так сказать, книги века, конечно, доходили и в эту тьму тараканью, но этот плотник или строитель их никогда не развертывал. Зато яснее, чем все эти поэты, философы, ораторы и государственные умы, он понимал одно — мир смертельно устал и изверился. У него нет сил жить. Выход один — надо восстановить человека в его правах. Но знал он и еще одно — самое главное! За это придется умереть! И не так умереть, как умер Сократ, среди выдающихся учеников, не так, как кончал с собой римский вельможа в загородной вилле, то открывшая, то вновь перевязывая жилы, — а просто нагой и наглой смертью. А вы понимаете, что такое крестная смерть? — спросил отец Андрей, вдруг останавливаясь. — *Masmea min hazluy* — длинные гвозди креста, а? Понимаете?

— Что, очень больно? — как-то даже всхлипнула Марья Григорьевна, и Корнилов почувствовал, что она прильнула к отцу Андрею, а тот, сминая, нарочито больно придавил ее к себе.

— Ну зачем вы это завели? — спросил Корнилов досадливо.

— А крестная смерть значит вот что, молодой человек, — продолжал отец Андрей. — Вот легионеры с осужденными добрались до места. Кресты там уже торчат. «Остановись!» С осужденных срывают одежду. Их напоили по дороге каким-то дурманом, и они как сонные мухи, их все время клонит в дрему от усталости. На осужденных накидывают веревки, поднимают и усаживают верхом на острый брус, что торчит посередине столба. Притягивают руки, расправляют ладони. Прикручивают. Прикалывают. Работают вверху и внизу. На коленях и лестницах. Кресты низкие. Высокие полагаются для знатных преступников. Вокруг толпа — зеваки, завсегдатаи экзекуций и казней, родственницы, Глашатаи. Все это ржет, зубоскалит, шумит, кричит. Женщины по-восточному ревут, рвут лицо ногтями. Солдаты орут на осужденных. Кто-то из приколачивающих резанул смертника по глазам — держи руки прямее. Нелегко ведь приколотить живого человека, поневоле заорешь. Наконец прибили. Самое интересное прошло. Толпа тает. Остаются только кресты да солдаты. И там и тут ждут смерти. А она здесь гостя капризная, привередливая. Ее долго приходится ждать. Душа, как говорит Сенека, выдавливается по капле. Кровью на кресте не истечешь — раны-то ведь не открытые. Тело растянуто неестественно — любое движение причиняет нестерпимую боль — ведь осужденный изодран бичами. Часа через два раны воспаляются, и человек будет гореть как в огне. Кровь напрягает пульс и приливает к голове — начинаются страшные головокружения. Сердце работает неправильно — человек исходит от предсердной тоски и страха. Он бредит, бормочет, мечется головой по перекладине. Гвозди под тяжестью тела давно бы порвали руки, если бы — ах, догадливые палачи! — посередине не было бы вот этого бруса, осужденный полусидит-полувисит. Сознание то появляется, то пропадает, то вспыхивает, то гаснет. Смерть разливается от конечностей к центру — по нервам, по артериям, по мускулам. А над землей день — ночь — утро. День, вечер, ночь, утро — одна смена приходит, другая уходит, и так иногда десять суток. Служат здесь вольготно, солдаты режутся в кости, пьют, жгут костры — ночи-то ледяные. К ним приходят женщины. Сидят обнявшись, пьют, горланят песни. Картина.

— Да, картина, — сказал Корнилов неодобрительно, — и вы, видеть, мастер на такие вот картины.

— Христу повезло. Он умер до заката. Страдал, однако, он очень. Он изверился во всем, метался и бредил: «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» И еще: «Пить». Тогда кто-то из стоявших обмакнул губку в глиняный горшок, надел ее на стебель степной травы, обтер ему губы. В горшке была, очевидно, обыкновенная римская поска — смесь воды, уксуса и яиц: ее в походах солдаты пили. Тогда, вероятно, сознания у него уже не было. Один из воинов проткнул ему грудь копьем. Потекла кровь и вода — это была лимфа из предсердия. Так бывает при разрыве сердца, а в особенности в зной при солнечном ударе. Вот так умер Христос. Или, вернее, так народилось христианство.

Он остановился, вобрал в себя полной грудью воздух и сказал:

— То есть так произошло искупление, друзья мои. Человек был снова восстановлен в своих правах.

— Чтоб наш любимый вождь через две тысячи лет мог сказать: «Самое дорогое, что есть на свете, — это человек», — ответил Корнилов.

— Ах, как он неосмотрительно сказал это, — покачал головой отец Андрей. — Ах, как неосмотрительно. И не ко времени!

Что они потом говорили и где были, Корнилов помнит очень плохо. Кажется, вдвоем они провожали Марью Григорьевну. Кажется, потом Марья Григорьевна проводила их. Затем как будто бы они шли вдвоем с отцом Андреем и тот ему о чем-то толковал. Отрезвле-

ние наступило внезапно. Впереди вдруг вспыхнул прямой зеленый луч фонарика, ослепил его и осветил высокую, тонкую женскую фигуру на тропинке. Голос из этого луча позвал:

— Владимир Михайлович...

— Даша! — крикнул он, бросаясь вперед, и сразу же стало опять темно. Пропал ли отец Андрей сейчас же или все время был с ними третьим, но стоял в темноте — он так и не помнит и потом тоже выяснил не с полной точностью. Во всяком случае, голоса он больше не подал.

— Дядю сегодня увезли, — сказала Даша из темноты.

— Что? Как? — крикнул Корнилов и стиснул ее руку.

С этой минуты все, что он говорил ей и слышал от нее, он помнит в каких-то отрывках, словно в скачущем луче фонарика. То свет, то темнота. Он хорошо помнит, что она сказала:

— Постучался один военный. Очень вежливый. Поздоровался. Попросил поехать с ним на час. Сказал, что потом доставит обратно. Я ждала, ждала, потом пошла к вам.

— Я ничего не знал, — быстро ответил он зачем-то, а потом добавил: — Это, наверно, по поводу Зыбина. Ведь его тоже...

Она вцепилась ему в руку.

— Как?

— Да вот так, — ответил он.

Потом они стояли, молчали, подавленные всем этим, и вдруг он обнял ее за плечи и сказал:

— Ничего, ничего, все образуется! — И в эту минуту ему действительно стало казаться, что все образуется. Что все так не важно, что об этом не стоит и думать. Потом Даша вдруг заплакала. Просто уткнулась ему в грудь и заплакала тихо, горько, как маленькая. А он гладил ее по волосам как сильный, старший и повторял: «Ничего, ничего».

И спросил:

— А бумажку какую-нибудь он показывал?

Оказалось, нет, не показывал. Просто военный сказал: «Я вас попрошу только на час, а потом сам вас довезу до дома...» И дядя как-то незаметно вздохнул и ответил: «Ну что ж, едемте!» И поглядел на нее, будто хотел что-то сказать, но так ничего и не сказал. Просто снял пиджак, оделся и вышел за военным. А на дороге, под горой, стояла, светила лиловыми фарами машина, и за рулем сидел шофер. Вот так все и случилось.

— Да, — сказал Корнилов, — да, это уже случилось. Ну что ж, пойдемте ко мне.

И опять он был совершенно спокоен.

Когда они вошли, он повернул выключатель. Зажегся свет.

— Вы смотрите, починили-таки электростанцию! — удивился он, и хотя это было совершеннейшим пустяком, он почему-то очень обрадовался. Подошел к столу, отодвинул стул и сказал Даше просто и обыденно: — Садитесь, пожалуйста! Не убрано у меня, конечно, и грязюка страшная, но...

— Ничего, ничего! — ответила она так же обыденно, по-школьному и — вот странность — улыбнулась!

И он тоже улыбнулся.

Отчаянность и беспощадность, как крепкое вино, били ему в голову.

— Ничего, как увезли, так и привезут, — сказал он бодро и твердо. — Вот что с нами-то будет...

Она воскликнула:

— С вами?!

— С нами, — кивнул он головой, — со мной, с Зыбиным.

— А его не... — Она сидела выпрямившись и смотрела на него блестящими, большими от слез глазами (в комнате было очень светло).

— Нет,— ответил он,— нет, его-то не отпустят, он ведь не ваш дядя. Нет, нет, нас если берут, то уж совсем. Придут с ордером, возьмут, и тогда, как говорится, отрывай подковки!

Ему доставляло какое-то жестокое удовольствие и сознавать и говорить это.

— Как, как? — переспросила она.— Отрывай...

— Подковки, подковки,— повторил он, улыбаясь,— так дед-столяр говорит. Ну тот старик, что был как-то у вас в гостях вместе с директором.

Даша все смотрела на него.

— А за что? — спросила она.

Он рассмеялся.

— Милая, да это вы их спросите. И знаете, как на этот вопрос они вам ответят?

— Как?

Он опять улыбнулся и махнул рукой.

— Даша, Даша,— сказал он с какой-то страдальческой нежностью,— какая вы еще маленькая.

И такой у него был ласковый и хороший голос, когда он произносил вот это «маленькая», что она невольно улыбнулась сквозь слезы. Он подошел и обнял ее за плечи.

— Вот слушайте, что я вам сейчас скажу,— произнес он, наклоняясь над ней.— Дядя ваш, может быть, уже сейчас дома. Но придете, не говорите ему, что вы были у меня.

— Почему?

— Ну просто не надо, и все. Слушайте дальше. Его привезут, и он, наверно, с час будет молча ходить по комнате. Потом выпьет водки. Много. Наверно, стакана полтора. Потом подзовет вас и скажет, чтоб вы никому не рассказывали о том, что его куда-то увозили. «А то пойдут лишние разговоры. Зачем? Не надо»,— скажет он. Вы ему должны ответить: «Хорошо, дядя». «И Корнилову ни-ни»,— скажет он. И вы опять ответите: «Хорошо». Вот и все. А дядя ваш, вот вы увидите, как он изменится с этой ночи. К лучшему, к лучшему, Дашенька! Будет ласковым, тихим, общительным, только, пожалуй, один на один начнет еще больше на вас цыкать, чтоб вы не распускали язычок. Гости у вас начнут появляться всякие, компании одна веселей другой.

— Дядя всегда любил гостей,— сказала Даша, словно защищаясь от чего-то. Она сейчас смотрела на него почти испуганно.

— А это не то, не то! — отмахнулся Корнилов.— Не тех гостей он любил. Вы теперь совсем новых увидите. Таких, которых раньше он и близко не подпускал, называл сволочами, трепачами, элементом.

— Я не понимаю вас,— сказала Даша жалобно.— Я ничего не понимаю, что вы такое говорите. Вы мне объясните, пожалуйста.

А он все ходил по комнате, и веселая злость захлестывала его все больше и больше.

— Впрочем, он, может быть, будет и совсем другим — гостей тогда вы больше вообще не увидите. Он делается угрюмым и неразговорчивым. Кроме работы, ничего не захочет знать. В компанию его не затанешь, скажет: «Ну их всех! Надоели!» Но это вряд ли. Очевидно, все пойдет так, как я вначале говорил.

— Как?

— Очень весело и шумно.

— Вы очень страшно говорите,— сказала Даша жалобно.

— Да, страшно. Да ведь все то, что сейчас происходит, это очень страшное и, главное, непонятное, ну то есть я-то этого понять не могу, а другие-то все понимают. Вот, например, Георгий Николаевич, вы ведь, кажется, хорошо к нему относитесь? Этот все, все понимает. До точки. И не только понимает, но и объяснить все может. Своими

словами! А своих слов у него сколько угодно, и все они как на подбор хорошие.

— Почему вы так говорите?

— А потому, что слышал, как вам он пел про изменников и предателей. Лежал рядом в кладовке и заслушивался. Очень современные мысли товарищ высказывал! Очень! Эх, много бы я дал за то, чтобы послушать, как он там-то с ними разговаривает! Нелегко им придется.

— Вы правда так думаете? — спросила Даша.

— Клянусь последним днем творенья! Следовательно ведь может только орать и материться. А тут они в один голос с ним вдруг запоят. Кто кого перепоеет! Знаете, как волк с лисой спорил о том, кто больше медведя любит?

— Ну зачем вы так? — огорчилась Даша. — Он такой хороший.

— А мы что, плохие? Мы ведь тоже ничего себе. Одна только беда — не понимаем мы многого. Вот Зыбина посадили, и вы не понимаете, как, за что и почему, а вот если бы вас посадили бы или меня, он сразу понял бы и почему и за что. Он ведь историю французской революции на зубок знает! Он столько вам умных да красивых слов выскажет о том, что никому на свете верить нельзя, кроме него, конечно. Он — сама истина. А вот видите — оказывается, и истине этой кто-то взял да и не поверил.

— А вы радуетесь? — спросила Даша горько.

Корнилов с разбегу остановился и посмотрел на нее.

— Радуюсь? — повторил он как бы в раздумье, печально и вдруг согласился, кивнул головой. — Да, пожалуй, я радуюсь. Горько радуюсь: ведь и меня ждет то же самое! Возьмут, привезут куда надо и спросят: «А почему ты медведя не любишь?» И ничего не поделаешь — не люблю! Ох как не люблю его, мохнатого! А ведь это смертный грех — не любить медведя! А вот Зыбин любит! Только сейчас ему другие люди — тоже языкастые — объясняют, что он еще недостаточно медведя любит, что он еще недостаточно идеологически, недиалектично его любит. А любить медведя не так — это страшный грех. Медведя надо любить не за то, что он мохнатый и столько людей подрал и пожрал — нет! это Боже избави! — а за то, что он рвет и ревет: «Помните, самое ценное на свете — человек». — И Корнилов засмеялся длинно, оскорбительно, глумливо.

— А что, разве не так? — спросила Даша.

— Чепуха! Бред собачий! «Дрянь и мерзость всяк человек», — сказал Гоголь, вот это точно! Так оно и есть! Тряпка рваная больше стоит, чем человек! Навоз и то удобрение, и то его не бросают зря. А меня вот взяли и однажды ночью за шиворот из того дома, где я родился, выбросили. Даже вещей как следует собрать не дали! Три дня на ликвидацию дел — и лети, буржуй, воробышком! За что, почему, как? Никто не объяснял! «Высылка без предъявления обвинений» — есть у нас такая юридическая формула. С тобой не говорят, тебя не спрашивают, тебе ничего не объясняют, потому что объяснять — нечего. Просто кто-то, кто тебя и не видел никогда, решил по каким-то своим шпаргалкам, что ты опасный человек. И вот тебя взяли за шиворот и выбросили. Ходи по какому-нибудь районному центру и не смей поднимать глаз. На тебя взглянут, а ты поскорее глаза в сторонку, голову пониже и бочком, бочком мимо. А самое-то главное — не смей никому говорить, что не знаешь, за что тебя забросили сюда. Должен знать! Обязан! И переживать свою вину тоже обязан! А главное — каяться должен! И вздыхать! Иначе же ты нераскаянный. Ничего не понял. А знаете, как теперь допрашивают? Первый вопрос: «Ну, рассказывайте». «Что рассказывать?» — «Как что рассказывать? За что мы вас арестовали, рассказывайте». — «Так я жду, чтобы вы мне это рассказали». — «Что? Я тебе буду рассказывать? Да ты что? Вправду ополоумел! Ах ты вражина! Ах проститутка! А ну-ка встань!

Как стоишь? Как стоишь, проститутка?»— там это слово особенно любят. «Ты что, проститутка, стоишь, кулаки сучишь? В карцер просясь? У нас это скоро! А ну рассказывай!»—«Да что, что рассказывать?»—«Что? Мать твою! Про свою гнусную антисоветскую деятельность рассказывай! Как ты свою родную советскую власть продавал, вот про что рассказывай!» И матом! И кулаком! И раз по столу! И раз по скуле! Вот и весь разговор.

— Нет, вы шутите? — спросила Даша.

Он усмехнулся.

— За такие шуточки сейчас знаете?.. Шучу? Нет, это не я шучу. Это еще кто-то с нами шутит, и бес его знает, до чего он дошутится. Но до чего-то до своего он обязательно дошутится. До собачьего ящика себе, кажется, дошутится! В это я верю! Ну да ладно, что об этом говорить. Так вот, любопытствую я очень, что им сейчас на эти самые вопросы отвечает Зыбин? Опять что-нибудь про французскую революцию? Он мастер на это! А вот что я-то запою... Даша,— воскликнул он вдруг,— что с вами, дорогая? Ну я же вам сказал, вернется, вернется ваш дядя. Он им совсем не нужен. Мы, мы им нужны: я, Зыбин.

Она вдруг встала и подошла к нему.

— Если вас возьмут, Владимир Михайлович,— сказала она твердо,— тогда я не знаю, что со мной и будет. Вот так и знайте.

И сама обняла его за шею.

Глава II

Он ожидал чего-то страшного и немедленного: то ли обыска, то ли ареста, то ли вызова в органы. Но о нем словно забыли. Даша больше не показывалась. Директора телефонограммой вызвали в военный округ, и он не вернулся. Из музея не звонили. Только приехал кассир и раздал рабочим деньги. И под конец Корнилов не выдержал — он пошел к леснику, забрал у него меч Ильи Муромца (он оказался обыкновенной бутафорской шпагой), и Потапов, хмурый и иронически брезгливый, довез его на колхозном «газике» до музея. «Ну, с легким паром до будущих веников»,— сказал он на прощанье, и это была единственная шутка, которую Корнилов услышал за эту неделю (о разговоре с Дашей Потапов, видимо, ничего не знал).

В кабинете директора сидел ученый секретарь: лохотный молодой человек, недавно переброшенный в музей из политпросвета. Когда Корнилов вошел в кабинет, лицо ученого секретаря сразу посуровело и стало напряженным, как футбольный мяч. Но Корнилов как будто ничего не заметил — он поздоровался и передал находку. Молодой человек так в нее и вцепился.

— Что? Откопали? Ну наконец-то показались осязаемые научные результаты! Докладную приготовили?

Он раньше преподавал историю в пятых классах, потом заведовал отделом музеев в наркомате, но ровно ничего не понимал ни в истории, ни в раскопках.

Корнилов терпеливо все ему объяснил, а от докладной отказался.

— Я ведь не специалист по древнерусскому оружию,— сказал он.— Вот уж вернется товарищ Зыбин...

И тут ученый секретарь даже подскочил в кресле.

— То есть это как же он вернется? — спросил он скандализированно.— Зыбин арестован органами.

— Что-о? — У Корнилова это получилось почти искренне.

— А вы разве не знали? — изумился ученый секретарь.— То есть как, совсем ничего?..

— Ну откуда же,— пробормотал Корнилов.— Откуда? Я ведь в го-рах был. Он сказал, что директор вызывает, может задержать на несколько дней. Я решил: послали в командировку.

— Как, как? — оживился ученый секретарь.— Задержать? В коман-

дировку? И это он вам так сказал? Обязательно расскажите это следствию.

Корнилов простодушно развел руками.

— Так меня никто ни о чем не спрашивает.

Секретарь подумал и решил:

— Вот что, поезжайте сейчас же обратно. У вас тут больше никаких дел нет?

— Дел-то нет, но я хотел...

Ученый секретарь поморщился и сказал резко и отдельно:

— Знаете, я бы вам очень посоветовал сейчас ничего не хотеть и никого не видеть. Поезжайте обратно. А этот меч что? Он найден уже без него? Ну и отлично! Всего доброго!

Корнилов пошел, но на пороге остановился.

— А за что арестован Зыбин? Неизвестно?

— Как то есть неизвестно? — строго и холодно отбросил вопрос секретарь. — Он арестован как враг народа.

Тон был твердый и исчерпывающий.

— А-а,— сказал Корнилов и вышел.

Через час, трясясь на маленьком голубом автобусе — такие ходят по пригородам,— он вспоминал: а ведь Зыбин был с этим фруктом приятелем. Вместе пили, вместе куда-то ныряли и один раз даже вместе в милицию попали.

Автобус осторожно пробирался по горному шоссе. Утренние горы поднимались спокойные, ясные, в матовом серебре и сизом сорочьем оперении. «Как он их любил! — подумал Корнилов и впервые почувствовал, что Зыбина ему все-таки жаль.— Да, отрывай подковки. А если все бросить и уехать к шаху-монаху?! Деньги же в кармане! Нет, правда, вот сойду сейчас и поеду обратно! А Даша? Да что мне Даша?..»

— Колхоз «Горный гигант», конечная остановка,— сказал громко шофер и вышел из кабины.

«Ну что ж,— подумал Корнилов и поднялся тоже,— ехать так ехать! Так, кажется, сказал попугай, когда кошка тащила его за хвост из клетки. Будем ждать».

Ждать, однако, не пришлось. На следующий же день его вызвали в контору к телефону. Звонили оттуда. Лейтенант Смотряев поздоровался, назвал себя и спросил, свободен ли он завтра, и если свободен, то не может ли вот в такое же время, ну, чуть позже, чуть пораньше, зайти в Наркомат внутренних дел в двести пятую комнату. Пропуск будет выписан. Голос у лейтенанта был такой, что можно было подумывать: никакого значения своему звонку Смотряев не придает и тревожит Корнилова только потому, что так уж положено. Вот это Корнилову почему-то не понравилось больше всего. Вечер он провел у грустной Волчихи (отец Андрей как ушел тогда, так и не показывался), а утром минута в минуту уже стучал в комнату двести пять. Чувствовал он себя очень неважно. Уж самое здание на площади всегда убивало его своей однотонностью, безысходностью и мертвой хваткой. Было оно узкое, серое, плоское и намертво зажимало целый квартал. Но внутри все было как в дорогом отеле: светлые лестницы, красные дорожки на них, запахнутые окна, холлы и даже пальмы. В комнате двести пять сидели и скучали два великолепных парня. Смотряев оказался молодым, хотя уже и порядком потяжелевшим лейтенантом. У него были голубые воловьи глаза с поволокой. Он был на редкость румян, белокур и белозуб. А китель сидел на нем как влитой. Через расстегнутый ворот выглядывала свежайшая белая майка. На соседе же напротив и кителя не оказалось — одна голубая шелковая майка. Корнилову они оба очень обрадовались. Ну еще бы — свежий человек! Археолог! С гор! Если бы он знал, горный человек, до чего нудно сидеть в такое прекрасное солнечное утро над

бумагами. Из окна — оно открыто прямо в детский парк — так и тянет сосной! Вон солнце залило всю комнату! А шуму-то, шуму! Ребята визжат! Качели скрипят! Оркестр играет! Затеяники в рупор орут! А ты вот сиди тут! И ничего не попишешь — такая работа. Тут оба сразу посерьезнели и начали расспрашивать Корнилова о раскопках. Потом про музей. Потом про золото. Затем Смотряев к слову очень складно рассказал об одном огромном кладе, зарытом запорожцами лет триста назад возле его родного города.

— Но жив еще один казачий есаул, — сказал он, — вот этот, говорят, точно знает, где зарыт клад. Сын его на коленях умолял открыть место, но старик притворился чокнутым, и все! И наш классный руководитель тоже чуть не помешался на этом кладе. Соберет нас, бывало, и начнет: «Триста пудов валюты, вы сочтите, ребята, сколько это тракторов и локомотивов!» И каждый год нас таскал землю рыть. Рыли мы, рыли, а ничего, кроме старой шашки, не нашли. Но старик упорный был! Фанатик! Все равно, говорит, не уйдет! Загоню я его! Всем учреждениям рассылаю письма под копирку. Из школы все уйдут, а он сидит в канцелярии, печатает.

— Ну уж это, правда, того... — сказал тот, в шелковой майке.

— Вроде бы! Ну а под конец совсем рехнулся. В прошлом году был я у родителей, зашел к нему. Живет на самой окраине у какой-то ларешницы. Детей своих нет, так ходит играть на чужой двор в городки. Пчел у него три колоды собственные в саду. Целый день с ними возится. Заговорил я с ним про клад. Он только рукой машет: «А-а! Глупость! Ничего нет!» «А как же вы искали?» Молчит. Заговорили о политике. «Не интересуюсь». — «Да как же? Вы ведь историю преподавали?» — «А что мне история? Вот живу, пенсию получаю, а если какая-нибудь власть найдет мое существование излишним — так она сразу меня и уничтожит». Вот и весь его разговор. А ведь был революционер. Каторгу отбывал. Только февральская освободила.

«Да ведь ты небось к нему в этой форме и приперся», — подумал Корнилов.

— Меньшевичок, наверно, — отозвался тот, в майке. — Они под старость совсем обалдевают. Читают газеты и думают, что это все про них.

— Нет, он и газеты не читает. Выписывает «Вестник палеонтологии», и все.

— Палеонтология, палеонтология... постой, это...

Тут на столе зазвонил телефон.

— Младший лейтенант Суровцев слушает, — весело гаркнул в трубку тот, в майке. — Есть, товарищ капитан! — Он вынул из ящика стола какую-то папку, запер ящик на ключ, подергал, ключ спрятал в кармане и сказал Смотряеву: — Ну, это, значит, опять до ночи. Так я к тебе забегу. До свиданья, товарищ Корнилов. Я вам тоже хотел кое-что рассказать. У меня одна древняя книжка есть, «Феатр истории». И такое вот круглое «Ф» с перекладной. Это что такое — феатр? Театр?

— Театр.

— Да ровно книга-то не театральная. Все про этих царей да цезарей.

Он ушел, а Смотряев вздохнул и сказал прочувствованно и задумчиво:

— Да, Иван Петрович Шило — мой классный руководитель. Ничего не скажу — хороший был преподаватель, многим мы ему обязаны. Старой школы человек. Знаете, «сайте разумное, доброе, вечное...». Вот Иван Петрович такой был. — Он сунул Корнилову коробку «Казбека». — Курите? Нет? Счастливым человек! А я вот не могу! Так вот, у меня будет с вами один маленький разговор, или, вернее, даже обмен мнениями. Но сначала я бы хотел, — он наклонился над столом, вынул из ящика папку и открыл ее, — кое-что вам...

Но тут опять зазвонил телефон. Смотряев снял трубку, послушал и сказал:

— Да! Да! Да! Нет! Слушаюсь, товарищ майор. Иду! — И слегка дотронулся до плеча Корнилова. — Пройдем к майору.

И захватил с собой папку.

У майора и фамилия оказалась подходящая — Хрипушин. Хрипушин сидел за столом, сцепив на настольном стекле большие квадратные пальцы, и неподвижно смотрел на них.

— Здравствуйте, — сказал он, еще помолчал, посмотрел на Корнилова и прибавил: — Садитесь!

Они сели. Каждый на свое место. Смотряев прошел к письменному столу и уселся сбоку, Корнилову же показали столик у стены. Майор, не спуская с Корнилова глаз, достал портсигар, выбрал папиросу, звонко щелкнул и закурил.

— Я хочу задать вам несколько вопросов, — сказал он. — Какого вы мнения о Зыбине?

Корнилов добросовестно подумал.

— Да ведь я его только по работе и знаю, — сказал он.

— А что по работе знаете?

— Ну что? Он мой начальник. Директор его хвалил, — ответил Корнилов.

— Это за что же?

— Ну, за эрудицию, за работоспособность, за дисциплинированность.

— Так ведь он горький пьяница! — воскликнул Хрипушин и возмущенно посмотрел на голубоглазого Смотряева.

— Да, зашибает, зашибает мужчина, крепко зашибает, — добродушно подтвердил и Смотряев.

— А напившись, несет черт знает что! — раздраженно крикнул Хрипушин и грозно взглянул на Корнилова.

Тот молчал.

— Ну, несет?

Корнилов слегка развел руками.

— Не знаю.

— То есть как же вы не знаете? — грозно удивился Хрипушин.

— Не пил с ним и не знаю.

— Вы что же, трезвенник? — усмехнулся Хрипушин.

— Нет.

— Так что же?

— Ну просто с Зыбиным пить не приходилось.

— Почему? Объясните! Не доверял он вам? Сторонился?

— Да нет как будто...

— Так почему?

— Не получалось как-то...

— Как-то! И он ни разу не предложил выпить?

— Нет.

— И в свою компанию не звал?

— Нет.

— Хм! — Хрипушин вынул снова портсигар и открыл его. — Курите?

— Нет.

— Не пьете, не курите, насчет женщин тоже, кажется, не шибко? Ну правда, что с такого человека спрашивать? Но вы ведь вот только что сказали: в свою компанию он меня не звал. Значит, какая-то компания у Зыбина была и вы про нее знаете, так?

— Да нет, не так, товарищ майор, — искренне ответил Корнилов. — Я же только ответил вам на ваш вопрос, приглашал ли Зыбин меня в свою компанию, — нет, не приглашал.

— А куда тогда он вас приглашал?

— Да никуда не приглашал. Сидели мы, правда, однажды с ним как-то за одним столом. Но там было много посторонних. Так это и компанией не назовешь. Это когда мы продали костный материал Ветзооинституту.

— О Ветзооинституте мы с вами еще поговорим,— многообещающе взглянул на него Хрипушин.— Так, значит, вы сидели за одним столом, пили нарзан и молчали как убитые, так?

— Нет, зачем же, наоборот, много разговаривали о работе, но ведь вас же не это интересует.

— А что нас интересует?

— Ну, очевидно, вас интересуют его настроения, так я про них ровно ничего не знаю.

— И никаких антисоветских высказываний вы, его ближайший сотрудник, работая бок о бок с этим убежденным врагом, от него не слышали?

— Нет, конечно. Почему он со мной должен откровенничать? Мы не были близки.

— А близкие люди, по-вашему, ведут меж собой антисоветские разговоры?

Это был вполне бесполезный разговор — толчение воды в ступе. Ни черта лысого тут не могло получиться. Это понимали все трое. Корнилов смотрел на Хрипушина и видел его насквозь. Тот, кто сидел перед ним, был бездарной и скучной скотиной, выуженной ловцами душ человеческих, вернее всего, со дна какого-то вуза, где он вяло перетаскивался с курса на курс. Его приметили и вытащили за душу, распахнутую настежь, за любовь к искренним разговорам и исповеди в кабинете профкома, за способность все понимать и все считать правильным, за то, что среди студентов у него была масса собутыльников и ни одного друга. К тому же он был мускулист, горласт и на редкость бессовестен. Если бы кто-нибудь к тому же его назвал еще аполитичным, он, конечно, искренне обиделся бы, но он был действительно глубоко аполитичен, и аполитичен по самому строю души, по всей сути своего сознания и существования. То есть он был, конечно, аполитичен в том специальном готтентотском смысле этого слова, когда человек считает справедливым только такой строй, который нуждается в таких людях, как он, выделяет их, пригревает и хорошо оплачивает. Все остальное, что несет этот строй, такие люди принимают автоматически, но преданы-то они действительно не только за страх, но и за совесть, и поэтому враги существующего порядка вещей и их враги. В этом Хрипушин действительно не гнал. Врагов он ненавидел и боялся. Эта-то особенность, конечно, учитывалась и ценилась паче всего. Но кроме того у него, наверное, были и другие какие-то качества, делающие его пригодным для той работы, которая заглатывает человека целиком, без остатка и возврата, а дает взамен не так уж и много — повышенное жалованье, ускоренную пенсию, удобную квартиру, особый дом отдыха, а главное — пустоту и молчаливый страх вокруг, страх, в котором непонятным образом смешалась обывательская боязнь, мещанское уважение и нормальная человеческая брезливость.

— Так-так,— сказал Хрипушин, поднялся из-за стола и прошелся по кабинету,— так-так! Занятно! Значит, близкие люди ведут меж собой антисоветские разговоры. Ну вот что! — Он вплотную подошел к Корнилову.— Что нам тут валять дурака? Вы же советский человек. Так мы все здесь считаем. Прошлое прошло и кануло, а ваше настоящее у нас перед глазами. Вы советский человек, Владимир Михайлович?

— Спасибо,— ответил Корнилов растроганно,— вы абсолютно правы! Я гражданин Советского Союза и я...

— Ну вот видите! — радостно воскликнул Хрипушин. — Видите! Помогите же нам, Владимир Михайлович, вы же знаете, в какое время мы живем. Около нас несколько месяцев бок о бок работает враг. Самый настоящий, умный, энергичный, хорошо замаскированный враг. И свою подрывную работу проводит очень умело.

— Да, — убито кивнул головой Корнилов. — Если так, то на редкость умный и хорошо замаскированный.

— Ну вот видите! Но вы сумели его разглядеть, понять его, да?

— Да, да! Теперь-то и я его понял. Он мне же, негодай, говорил то же самое, что и вы.

— Что такое? — Хрипушин обрадованно вцепился ему в плечо. — Что он говорил?

— Говорил: «Вы, Володя, знаете, в какое время мы живем? Надо быть бдительным».

— Да? Вот как? — отшатнулся от него Хрипушин. — Интересуюсь, по какому же поводу он вам так говорил?

В кабинет мягко постучались, и сейчас же, не ожидая ответа, вошел человек в глухой всенной форме. Он был плечист и низкоросл; у него были мясистые африканские губы и курчавая шевелюра. А глаза, не в пример Хрипушину, у него были острые, быстрые, мышинные и не бежали, а сверлили. Он слегка кивнул Корнилову, улыбнулся Смотряеву, спросил нарочито почтительно Хрипушина: «Разрешите присутствовать?» Дождался разрешения, прошел к столу и встал около стены.

— Ну, поводов было много, — ответил Корнилов, — события на Западе, речь Вождя, арест нашего завхоза.

— Ну и что он конкретно говорил про аресты? — спросил Хрипушин.

— Говорил, во всем виновата наша идиотская болезнь благодушия. Вот проглядели преступника. Надо быть бдительным.

— Кому же он так говорил? — с интересом спросил губастый, взял со стола дело и начал перелистывать. Дело было толстое, с закладками, с жирными красными пометками и отчерками на полях.

— Мне он говорил, директору, бригадиру Потапову, много кому.

— Ну а еще что он говорил? — спросил губастый, продолжая листать дело.

— Рассказывал о французской революции.

— Ну? О французской? — весело изумился губастый, нашел что-то отчеркнутое, показал Хрипушину и снисходительно улыбнулся. Хрипушин тоже прочел, кивнул головой и вперился в Корнилова. — Как-то не совсем естественно это у вас получается, — сказал губастый, отрываясь от дела. — Прочел Зыбин статью в газете о врагах народа, сказал «надо быть бдительным» и сразу же начал рассказывать о французской революции. Франция-то Францией, а что про врагов-то народа он говорил?

— Он говорил о том, как трудно распознать врага. Вот, говорит, Азеф был руководителем боевой организации — это самое святое свярых, что было у эсеров, а оказался предателем. Так он говорил.

— И все? — спросил Хрипушин, а губастый опять нашел что-то в деле и поднес Хрипушину. Тот прочел, нахмурился и впился глазами в Корнилова: и чего ты, мол, туман нагоняешь? и так все ясно.

«Ну и дураки, — подумал Корнилов в ответ, — на что покупаете. Да этой штуке в обед сто лет».

— Ну и все, — ответил он даже резковато, — больше никаких разговоров не было.

— Вы вот что... — Хрипушин ударил пальцем по столу и начал было медленно подниматься, но тут губастый ласково спросил:

— И он никогда не заикался о своем желании перейти китайскую границу?

И Хрипушин сел опять.

— А зачем бы он мне стал бы говорить об этом? — искренне удивился Корнилов. — Чем бы я ему мог помочь?

Тут губастый быстро вынул из кармана блокнот, что-то написал и сунул Хрипушину. Тот прочел, кивнул головой, некоторое время они оба сосредоточенно листали дело. Потом Хрипушин сбылся на Корнилова, помолчал и сказал:

— Ну ладно. Сегодняшнее ваше показание мы записывать не будем. Это не показание даже. Через несколько дней мы вас вызовем опять и потолкуем. Постарайтесь быть к этому разговору более подготовленным, а сейчас... Товарищ лейтенант!.. — И он сделал какое-то приглашающее слабое движение рукой по направлению Корнилова.

— Да, да, — поднялся Смотряев, — нам тоже нужно товарища Корнилова на пару слов. Идемте, товарищ Корнилов, поговорим.

— Так вот какое дело, — сказал светловолосый и светлоглазый лейтенант Смотряев, усаживая Корнилова напротив. — Вы сейчас беседовали с майором, но я хочу, чтоб вы знали: не майор вас вызывал, вызывали мы, а майор просто захотел попутно с вами побеседовать вот об этом Зыбине. Но у нас-то к вам дело совсем иного порядка... Я вам рассказал про своего старого учителя, так вот...

Кабинет, в котором они сидели, был таким маленьким, что в нем только и умещался стол и пара стульев. Не кабинет, а бокс, таких боксиков много в любом помещении наркомата, судов, прокуратуры, следственных корпусов. Зато окно, распахнутое в тополя, казалось огромным. Тополей было много, целая аллея тополей — весь внутренний двор и тюрьма, которая помещалась в этом дворе, были обведены такими аллеями.

«Интересно, — подумал Корнилов, — то ли это окно. То окно было самое крайнее, мы доходили до забора и оказывались прямо против него. Когда прогулки были днем, там сидела высокая блондинка. Она нам казалась красавицей. Впрочем, все женщины тогда нам казались красавицами — машинистка или секретарша. Да, правильно: это то самое окно. Что ж она тут делала?»

Он украдкой заглянул в него, но бокс помещался на четвертом этаже, и двора он не увидел. «Когда она появлялась, мы громко кашляли, вздыхали, хмыкали, смеялись. Конвой кричал: «Разговорчики!» — и тогда она смотрела на нас и украдкой нам улыбалась».

— Так вот, — сказал Смотряев и закрыл окно. — Я вспомнил этого старика сегодня не случайно. Вот уже месяц как лежит у нас материал на другого старика. Вы догадываетесь, о ком я говорю?

Корнилов пожал плечами.

— Нет.

— Ну о вашем сослуживце — Андрее Эрнестовиче Куторге. Что? Неужели вы его не знаете?

«А ведь здорово получается, — пронеслось в голове у Корнилова, — когда Зыбина забрали, днем я работал, а весь вечер просидел у Волчихи, и вот поп свидетель».

— Не только знаю, — сказал он, — но недавно проработал с ним целый вечер.

Смотряев прищурился.

— И пили небось?

— Был грех, — вздохнул Корнилов.

Смотряев расхохотался.

— Ну, ну! И я, наверно, видел его там же, где и вы. Вы у той красивой украинки были? Ну, ну! И я как раз там с ним познакомился. Приехал к приятелю, горючее у нас кончилось. «Стой, говорит, пойдем за подкреплением». Вот мы и завалились. И смотрим, сидит за столом старичок, выпивает и грибочками закусывает. Очень он мне

тогда понравился. Очень! Лицо такое спокойное, достойное, борода как на иконе. Разговорились. Он мне сразу: «Я служитель культуры — поп». — «А вы, говорю, какого-то писателя мне напоминаете». — «А я, говорит, и есть писатель, я, товарищ лейтенант, вот уже десять лет обдумываю одну книгу». — «Какую же?» — «О страданиях Христа». — «Ну за это, говорю, у нас сейчас издательства деньги не платят». — «А мне, говорит, их денег не надо, я хлеб себе всегда зарабатую. Я и лесоруб, я и рыбак, я и землекоп, я, если надо, и крышу поправлю и печь сложу». Очень он мне тогда понравился. А через месяц поступает ко мне этот самый милый материалец. Взгляните-ка.

Он раскрыл папку, достал из нее двойной тетрадный лист и протянул Корнилову.

— Тут, видимо, двое работали. Писал один, а печатал-то другой, напечатано-то грамотно.

«Как был до советской власти музей собором, — прочитал Корнилов, — так собором он и остался. И теперь в нем попов даже больше, чем раньше. Собрали их со всего города и отвели им ризницу — они сидят там и не работают, а за милую душу распивают и говорят: «Ну чем же нам это не жизнь?» И такое им доверие, что какой экспонат им не по нраву, он сразу же и уничтожается. Он же нигде не отраженный. Что ж, не понимает всего этого директор? Нет, он отлично все понимает, но молчит и допускает».

— Ну что за чепуха! — воскликнул Корнилов.

— Читайте, читайте, — улыбнулся Смотряев, — это пропустите, а вот тут читайте.

«Самый же злостный и заядлый из всей этой святой компании — бывший губернский архиепископ Куторга. Он у всех на виду занимается антисоветской деятельностью. Клевещет на советскую действительность, на наш колхозный строй. Говорит: «Строили, строили, а есть нечего, зерно выдают на трудодень по граммам». Рассказывает анекдоты про товарища Сталина и его славных соратников. А про себя заявляет такое: «Что я тогда при губернаторе пил-ел — так это как в сказке. И я этим жидам и босикантам, что я такую жизнь потерял, я с того света приду мстить. Я еженощно служу про себя литургию и всех их предаю анафеме».

— Господи, да наоборот, как раз наоборот. Это он ту жизнь проклинал, а этой он, наоборот, доволен! — воскликнул Корнилов.

— Вот, — сказал Смотряев удовлетворенно и отобрал лист у Корнилова, — вот этого мы от вас и ждали. Для этого и потревожили. Видите, какое дело: каждое такое письмо у нас на особом учете. Получив его, мы обязаны дать свой отзыв и либо расследовать, либо закрыть дело, но чтоб закрыть, обязательно нужен другой документ. Вот получив это письмо и обсудив его, мы так и поступили. Вызвали Зыбина, сняли с него свидетельские показания о Куторге, а потом со спокойным сердцем отправили все это в архив. То есть дело потушили. Так оно было до прошлой недели, а сейчас Зыбин сам арестован. Значит, то, что раньше было оправданием, стало обвинением. Понимаете теперь, зачем мы вас позвали?

— Нет, — покачал головой Корнилов. Он верно ничего не понимал.

— Ну как же? — мягко упрекнул его светлоглазый, светловолосый лейтенант Смотряев. — Если начнется оперразработка, то моментально будет установлена личность автора письма. Это дело несложное. Вызовут его как свидетеля, снимут показания, и анонимка превращается в материал. Тогда старик пропал. Дело будет вести товарищ Хрипушин и его заместитель товарищ Нейман, вы их обоих сегодня видели. Пару нужных свидетелей они всегда подберут. А мы вот чувствуем, что Куторга — старик правильный, хороший, никакой он преступной деятельностью не занимается. Просто сидит и пишет свое Евангелие — и все. Понимаете теперь, почему мы к вам обратились? Нам нужно честное, совершенно беспристрастное показание челове-

ка, который заслуживает доверия. Стойте, стойте, никакой лжи! Если старик виноват действительно, распускает язык — ну что ж? Ничего не попишешь. Шило, как говорится, в мешке не утаишь. Так нам и напишите — грешен! Все равно найдется такой советский человек, который известит органы об этом, сейчас всякий покажет все что знает. Если же нет, если старик правильный, мы надеемся на вас. Вашего показания будет достаточно.

Он помолчал и спросил отрывисто:

— Вот вы о чем с ним говорили? Политики касались?

— Ни в коем случае. Толковали о земной жизни Христа.

Корнилов улыбнулся.

— И хозяйка это слышала?

— Да, и хозяйка. А о советской власти он как раз говорил очень хорошо. Спасибо, говорит, что она избавила от лжи.

Смотряев довольно рассмеялся и даже руки потер.

— Ну вот видите, как хорошо, что мы вас вызвали. Вы готовы подписать такие показания? Отлично! Спасибо! Но не сейчас, конечно. Сейчас мы ничего записывать не будем. Ведь тогда все-таки была случайная встреча. Видел он вас впервые, так что мог и не раскрыться. Кроме того, мы вызовем хозяйку, и у нас будет второе показание. А вас мы попросим вот что: встретьтесь с этим отцом святым еще раз. Выпейте, посидите, поговорите толком — он старик компанейский, поговорить любит. Заведите речь хотя бы о том же господе нашем Иисусе Христе. Ну а потом мы вас вызовем и составим протокол. И эти ваши сегодняшние показания запишем тоже. Идет?

Лейтенант Смотряев смотрел на Корнилова чистыми голубыми глазами, улыбался, говорил искренне и просто. Чувствовалось, что никакой ловушки в его предложении нет. Просто ему почему-то захотелось спасти старика, и все. «А кто же мог состряпать эту пакость? — подумал Корнилов. — Массовичка, что ли? Да, вероятно, она. И грамотность ее! Ах сволочь. И это, конечно, не единственная ее жертва. Поди, в аресте Зыбина есть и ее капля меда».

— Идет, — сказал он. — Согласен. По какому телефону мне звонить?

И вынул блокнот.

Прошло несколько совершенно пустых дней, кончилась одна неделя, началась другая, страшная тишина окружала Корнилова. Мир, в котором он жил — эти сады и пригорки, — так опустел и обезлюдел, что иногда ему казалось: никакого Зыбина и вообще не было на свете. И люди, к которым он уже привык или привязался, тоже вдруг исчезли. Директор находился где-то далеко. Даша не показывалась, бригадир не заходил. А рабочие копали землю и молчали. Если бы Корнилов был чуть поопытнее, он знал бы, что такое всегда наступает после арестов. Прежними остались только печальная Волчиха да отец Андрей. Он вдруг снова появился у Волчихи. Веселый, довольный, сияющий, с огромным портфелем в руках. Оказывается, какой-то приятель уступил ему на несколько вечеров машинку, и вот он сидел в городе и печатал и только вчера кончил.

— Так не дадите почитать? — спросил Корнилов. Он был уверен, что отец Андрей под каким-нибудь предлогом откажет, но тот, наоборот, даже обрадовался.

— Конечно, берите, — сказал он. — Вот я вам дам второй экземпляр, выверенный. И посмотрите, кстати, слог, а то я по старинке ведь пишу, тяжело и обстоятельно, а теперь, говорят, нужна легкость.

«Ну, вот мне и материал для разговора со Смотряевым, — подумал Корнилов, возвращаясь домой с рукописью. — Больше ничего и не надо». Но его все не вызывали и не вызывали, и он уже не понимал, хорошо это или плохо. И в музее все было спокойно и тихо. В кабинете директора по-прежнему сидел ответственный молодой че-

ловек, и раз в неделю Корнилов отвозил ему рабочие и научные сводки. Он их брал, листал, спрашивал с быстрым смешком: «А коня Ильи Муромца не нашли?» — и прятал бумаги в ящик стола. Но однажды он попросил его подождать — в кабинете было много людей — и, когда все ушли, сказал:

— Вас попросили позвонить. Не позже чем завтра.

И протянул листок блокнота.

Корнилов посмотрел на листок, сказал «разрешите» и подошел к телефону.

— Конечно, конечно, — учтиво всполошился ответственный молодой человек, тихонько встал и закрыл дверь на ключ.

Поднял трубку, однако, не Смотряев, а его сосед по кабинету — лейтенант Суровцев. Корнилов поздоровался и сказал, что вот он случайно оказался в городе и поэтому мог бы зайти сейчас же.

— А книга при вас? — спросил Суровцев.

— Да, — ответил Корнилов.

— Заказываю пропуск, — сказал Суровцев.

Корнилов вдумчиво опустил трубку, постоял, кивнул головой ответственному молодому человеку, застывшему в скромной позе чуткости, понимания и невмешательства, и вышел.

А по дороге остановился и остро подумал: «А не игра ли это с огнем? Ведь вот этот уж уверен, что я там работаю! Надо мне это?» Но труд отца Андрея лежал в портфеле, пропуск был заказан. Суровцев ждал, и единственное, что оставалось сейчас, это идти побыстрее.

Лейтенант Суровцев сидел за столом Смотряева. На нем был серый коверкотовый костюм и яркий галстук.

(О, эти коверкотовые костюмы! О, эти цветастые галстуки! Это микросрез целой эпохи. Тогда только что уступили, продали, променяли, отдали за так японцам Китайско-Восточную железную дорогу, и в магазинах появились неслыханные товары — консервированная соя и тонкие благородные ткани — трико, коверкот. В магазинах за ними давились. На прилавке они испускали нежное, тихое сиянье и были нежны и прекрасны, как копенгагенский фарфор. А через пару месяцев секлись и превращались в тряпку.)

Когда Корнилов вошел, Суровцев поднялся, поздоровался и показал ему на стул.

— Ну вот, — сказал он. — Вы имели дело с лейтенантом Смотряевым, но сейчас он в командировке. Так что пока придется беседовать нам с вами, не возражаете? Ведь речь, как я понимаю, идет все о том же отце благочинном? Да? Отлично! Итак, вы разговаривали? О чем же?

— О суде над господом нашим Иисусом Христом.

— О чем, о чем? — вскинул брови лейтенант Суровцев, и у него даже глаза забегали, как у разыгравшегося кота.

Корнилов повторил.

— Вот сила-то! — засмеялся Суровцев. — И что же он такое говорит? Я ведь эту историю читал когда-то! Это оттуда Иуда предатель?

— Так вот как раз о нем у Куторги целый труд.

— А ну-ка, ну-ка! — Суровцев взял рукопись и стал читать. — Как сказано! — воскликнул он вдруг. — «Когда судья выносит несправедливый приговор, Бог отворачивает от него свое лицо, но если он справедлив хотя на час, то и весь мир становится от этого крепче». До чего же здорово! Это что же, высказыванья тогдашних законодателей?!

— Да, — ответил Корнилов, — вот тут в скобках есть ссылка.

— Ага, ага! — кивнул Суровцев. — Да, да, ссылка! Нет, таких я не слышал. У нас ведь историю права читали, но так, бегло, очень бегло! — Он снова наклонился над рукописью. Дочитал до конца главу, закурил, сказал: «Да...» — и прошелся по кабинету. — А все-таки,

знаете, что мне больше всего понравилось? — сказал он, усаживаясь за стол. — Вот это правило: «Суд, осуждающий на казнь раз в семь лет, — бойня. Да зовутся же члены его членами кровавого синедриона». Да, тут задумаешься, прежде чем осудишь. Знаете, что я вас попрошу? Оставьте-ка мне это дня на три, ведь он вам их не на один день дал, верно?

— Да, конечно, берите, — сказал Корнилов. — Но только в конце концов мне все равно придется их вернуть. Он мне их дал для того, чтобы я поправил стиль.

— Ну конечно, верну, как же иначе! — успокоил его Суровцев. — Ну а еще о чем вы говорили?

— Так вот об Иуде.

— О! Вот это очень интересно! Я ведь знаю только то, что он предатель и вот говорят еще «поцелуй Иуды». Это что же, он подал такой знак при обыске и аресте?

— Совершенно точно. Согласно Матфею он сказал воинам так: «Кого поцелую, тот он и есть. Возьмите его». Иуда очень волновался, трусил, торопился, и у него ничего не оказалось приготовленным, кроме вот этого совершенно бессмысленного: «Радуйся, учитель». «Да, это действительно я», — ответил ему Христос, и тогда его схватили.

— Так-так, — сказал Суровцев, — но тут как раз все понятно. Тут и писать работу, пожалуй, не о чем.

— Так вот пишет Куторга — как раз во всей этой истории кроется какая-то огромная путаница. Ведь Христос-то не скрывался, а выступал публично. Его и без Иуды прекрасно могли схватить каждый день. «Зачем эти мечи и дреколья, — сказал он при аресте, — каждый день вы видели меня, и я проповедовал вам. Что ж тогда вы меня не взяли?»

— Логично, — улыбнулся Суровцев. — То есть, конечно, логично только для Христа. Арестованные часто спрашивают об этом. Им невдомек, что бывают еще оперативные соображения. Ну а в истории с Христом в чем дело?

— Ну и тут, конечно, сыграли роль эти оперативные соображения, — улыбнулся Корнилов, — как же без них? Дело в том, что Христос был очень осторожен. Словить на слове его не удавалось. На самые провокаторские вопросы он давал резкий отпор. Был остроумен и находчив. И вообще следовал в этих случаях принципу: Божье — Богу, кесарево — кесарю. То есть вот земля, вот небо. Землю берите себе, небо оставьте мне, и давайте помиримся на этом. Но, конечно, в семье учеников, с самыми близкими людьми он и о земле говорил иначе. Так вот, чтобы засечь эти разговоры, нужен был кто-то из учеников. И не один ученик, а по крайней мере два. А так как государственного обвинения в то время не было, то без этих свидетелей не только обвинить, но и привести в суд было невозможно. Доставлялся преступник обвинителем, истцом. Так вот таким истцом был Иуда, и в этом случае за что ему платили тридцать сребренников — понятно. Причем и обстановка создана подходящая — уединенное место за городом, пустующее помещение, глубокая ночь, кучка заговорщиков, какая-то смутная тайна, окружавшая этот арест. Но в таком случае должен быть еще один свидетель — тот, который не хватает, не облачает, не приводит стражу, а только молча присутствует. И потом дает показания. И такой человек в деле Христа был, но появился он только однажды секретно на заседании синедриона. Его выслушали, записали и отпустили. Поэтому кто он, мы не знаем. Только это был кто-то из людей, очень близких Христу, — такой близкий, что когда учителя арестовали, а потом поволокли на судилище, он ходил и плакал вместе со всеми. Можно же себе представить, что почувствовал Христос, когда его увидел там и он заговорил. Но тайна так и осталась за закрытыми дверями. Христос ее так и не сумел передать своим ученикам.

— А сам Иуда?

— И Иуда не захотел передать, хотя мог бы. Роль его была иная. Он должен был привести толпу, то есть предать явно и публично. Так от него потребовали его хозяева. Почему он пошел на собственную гибель — неясно. Должно быть, уж слишком сильно запутался. Ведь он был казначеем, то есть самым деловым лицом в свите Христа. Вероятно, он исполнял и какие-то другие поручения. Был связным, ну, или что-нибудь в этом роде, и его поймали. Во всяком случае, менять денежный ящик Христа на тридцать сребреников синедриона, это по старому счету двадцать два рубля золотом, ему явно никакого смысла не было. А синедрион потребовал от него за эти тридцать монет не только голову Христа, но в придачу еще его собственную шкуру и душу. Ведь таким судам нужны иногда свидетели, которые публично предадут других, только губя себя, — то есть через свой собственный труп.

— Да, да.— Суровцев бросил на Корнилова какой-то косой, быстрый взгляд и снова заходил по комнате. Прошелся, встал, снова сел. Вынул из стола сигареты, но курить не стал, а так и забыл их в руке.— Скажите, а Христос о том, втором, никак не догадывался? Или, может быть...? — спросил он.

— Нет, с уверенностью можно сказать, что нет. Только про Иуду он откуда-то узнал заранее, и эта последняя ночь, то есть тайная вечеря, для него была очень томительная. По Куторге, это типичная ночь перед арестом. Тогда Христос испытал все, что приходится испытывать в таких случаях: тоску, одиночество, загнанность, безнадежность, надежду — «а может быть, еще и обойдется как-нибудь», хотя было совершенно ясно, что — уже все! И под конец вот это: «Ну скорее же, скорее! Что вы медлите! Идите же, идите, идите!» И в припадке предсмертного томления он сам торопит Иуду: «То, что задумал делать, — делай скорее». И Иуда уходит.

— А тот, второй?

— А тот, второй, сидит и ждет. Ему ничего не надо делать, никуда не надо идти. Его сами позовут и в свое время, и он покажет, этим его роль и кончится. Но в ту ночь он, конечно, страшно волновался — а вдруг Христос все-таки что-то узнал? И только когда учитель сказал: «Сегодня один из вас предаст меня», он успокоился. Раз один, а не два, значит, не он и Иуда, а один Иуда, значит, все в порядке.

— Слушайте,— воскликнул вдруг Суровцев с настоящим волнением,— а не может быть, что этот второй кто-то посторонний, не из учеников, а так... Ну провел Иуда кого-то на чердак и спрятал, или у дверей поставил, или там занавеской где-нибудь укрыл... Ведь он, говорите, был казначеем, значит, заведовал хозяйством, а они по дворам ходили... И помещение тоже, очевидно, отыскивал он, так что спрятать любого мог. Таких случаев сколько угодно. Так вот не мог это быть посторонний?

И Корнилову показалось, что почти мольба прозвучала в словах следователя, но он помотал головой.

— Увы, вряд ли. В той старой книге, где написано об этом втором — а это иерусалимский Талмуд, изданный в тысяча шестьсот сорок пятом году в Амстердаме,— прямо сказано: «Показали на него два ученика и привели его в суд и обвинили». Ученики! Но ведь мы-то знаем только одного — Иуду. Где же второй-то?

— Да,— сказал Суровцев.— Да, правильно, где же второй? Печальная история.— Он посидел, подумал, улыбнулся.— Вот когда еще были известны оперативные разработки по делам об агитации. Вот когда! — Он еще посидел, еще поусмехался.— Да, чисто сделано! Не подкупаешься! Работали люди! И вот смотрите, как будто все законные гарантии налицо, и суд праведный, и свидетели беспристрастные, а если надо закопать человека, закопают, при всех законах закопают! Вот все говорят: «Суд присяжных, суд присяжных». А кто Катюшу Маслову упек? Суд присяжных. Дмитрия Карамазова кто на каторгу

угнал? Суд присяжных. Кто Сакко и Ванцетти на электрический стул посадил? Присяжные. Классовый суд! Как его ни обставляй, ни ограничивай, он свою власть в обиду все равно не даст. Ну и мы не даем свою — так в чем же дело? — И сказав это, он сразу же заторопился: вынул чистый лист бумаги, положил его на стол и сказал:— Ну что ж, Владимир Михайлович, зафиксируем?

— Что? — испугался Корнилов.— Это?

— Да нет, не этот наш разговор, конечно,— улыбнулся следовательно,— а вот что-нибудь вроде этого: «Считаю своим долгом довести до вашего сведения, что такого-то месяца, такого-то числа во столько-то времени я по вашему поручению беседовал с гражданином Куторгой. Разговор происходил в присутствии гражданки такой-то (тут имя), которая и может подтвердить все мной показанное. Гражданин Куторга рассказывал про свои научные изыскания из области истории церкви, никаких иных вопросов Куторга не затрагивал, о политике не говорил, идеологически вредных высказываний не допускал...» Все! Подпись. Можно еще прибавить, если это правда: «Жизнью своей он доволен, а о советской власти говорил: „Спасибо ей, что избавила меня от лжи“». Вы ведь так в прошлый раз говорили? Согласны?

— Да, конечно,— ответил Корнилов,— только вот нельзя ли убрать это: «считаю своим долгом довести до вашего сведения...» и «по вашему поручению...»?

— А что вас тут смущает? — слегка улыбнулся Суровцев.— Разве это не правда?

— Правда-то правда, конечно,— замаялся Корнилов,— да...

— Никакого «да», Владимир Михайлович,— со строгой благожелательностью отрезал Суровцев.— Ваши показания имеют цену только потому, что мы сами попросили вас помочь нам. Потому мы и доверяем вашим отзывам и показаниям. Иначе все это ни к чему. Неужели вы этого не понимаете?

— Да, но...

Суровцев строго взглянул на него и вдруг рассмеялся:

— Ну и странный же вы человек, Владимир Михайлович, уж не обижайтесь. Очень странный. Опять у вас «но»... Ну чего вы, в самом деле, боитесь? Какое там «но...». Вы ведь не тот первый известный свидетель и не тот неизвестный второй. Вы не ученик и не истец. Вы просто-напросто устанавливаете невиновность человека. Опровергаете донос! Почему это вас смущает, а?

— Да нет, конечно, не смущает. Спасибо.

— Ну, так, значит, и пишем, «считаю своим долгом...». — Суровцев наклонился над бумагой.

Когда донесение было написано и подписано, он встал, положил на плечо Корнилова руку и сказал:

— Меня-то благодарить вам, конечно, не за что. А вот вам-то действительно спасибо! Очень интересный разговор был тут. Есть о чем подумать.

И еще прошла неделя. Сад стоял грустный, мокрый и пустой. Яблоки сняли, бригадира перекинули на другое место. Корнилов уже ждал приказа свернуть работы, а его некому было отдать. «Вот уж приедет хозяин, он тогда распорядится», — отвечал политпросветчик и загадочно улыбался. Неужели, мол, до тебя не доходит? Ведь не глупенький же. А что до него, собственно, должно было доходить? Он именно и вел себя как глупенький. В каждый свой приезд он обязательно звонил Суровцеву, и тот его принимал немедленно. И они сидели в обширном светлом кабинете с картой мира на стене, с окнами в детский парк, пили минеральную и разговаривали. Говорили о всяком: окладах, о том, что пьеса братьев Тур и Шейнина «Очная ставка» — прекрасная, острая жизненная пьеса на самую нужную тему («А кстати, вы не прочли статью Вышинского в «Известиях»?

Обязательно прочтите! Там есть любопытные факты!»). О Зыбине, о раскопках («Так что ж, еще не прислали вам нового человека? Как же вы тогда работаете?!»). Затем переходили к старику («А что старик? Он свое прожил, его не переделаешь. Пусть себе сидит пишет»). И под конец составляли одну и ту же бумагу. Начало ее: «Считаю своим долгом поставить вас в известность...» Конец ее: «...о советской власти отзывался положительно».

Так продолжалось неделю, а потом случилось вот что. Однажды, когда они уже кончали работать, в кабинет с папкой в руках вошел Хрипушин. Он коротко кивнул Суровцеву, прошел к столу и наклонился над Корниловым.

— Ну, порядок! — сказал он, усмехаясь. — Скоро мы этого бабюшку будем в партию принимать, к этому дело идет.

— Что ж? — слегка улыбнулся Суровцев. — Заслужит — и прием.

— Заслужит, заслужит! Я уж по вашим бумажкам вижу, что заслужит! — энергично заверил Хрипушин. Он развязал папку, вынул оттуда «Суд над Христом» и потряс им перед Корниловым. — Вот работка-то! Да, ничего не скажешь: здорово!

— Что здорово? — спросил Суровцев.

— Здорово свою линию поп проводит!

Суровцев что-то хмыкнул, а Корнилов удивленно, ну, конечно, подчеркнуто удивленно, поглядел на майора.

— Какую линию-то? — ответил ему Хрипушин. — А вот какую: что б там ни писали об этом Маркс — Энгельс — Ленин — Сталин, а Христом-то был!

— То есть был человек по имени Иисус, которого евангелисты произвели в звание Христа, — осмелился Корнилов.

— А это уж не важно, это совершенно не важно, — махнул на него огромной лапой Хрипушин, — тут уж кто как захочет, так и поймет. Главное — был! Во-вторых, вот смотрите, как тогда гуманно судили. А мы, чекисты, на эту поповскую гуманность плевали, — вдруг взревел и взорвался он. — Так вот, как того поп хочет, так никогда не будет. А будет так: заслужил — получай! И полной мерой! А третье — самое главное. Вот распыли безбожники Господа Бога нашего, а он на третий день, смертью смерть поправ, воскрес и вознесся.

— Слушайте, так вот как раз этого в рукописи и нет! — крикнул Корнилов. Он действительно был ошеломлен.

— То есть как это нет? — гневно повернулся к нему Хрипушин. — Как это нет, когда черным по белому тут все это и написано. Что вы мне-то голову морочите?! — Он кинул рукопись на стол. — Возьмите это ваше святое Евангелие! Суровцев, отберешь расписку, что материал возвращен.

— Что? — Корнилов вскочил с места. — Я же просто так все это дал, без всякой расписки. Зачем же вы...?

— Как? — Хрипушин повернул к нему свое страшное лицо и посмотрел на него оловянными глазами. — Так вы что, играть сюда к нам пришли?

— Я... — начал было Корнилов.

— Вы что? Материал органам представили или книжку «Роман императрицы»? Лейтенант Суровцев!...

— Да, да, — заторопился и забегал руками по бумагам Суровцев, — мы сделаем, сделаем! Владимир Михайлович, ну такова же форма следственного производства.

— Да что ты с ним объясняешься, что ты объясняешься? — совсем зашелся Хрипушин. — Ты его лучше спроси, кто он! США или советский гражданин? Обязан он или нет помогать органам? Ах ты! — Он стиснул кулаки, и скулы у него налились. — И кончайте эти детективные истории немедленно! А то развели мне богословия на стол листов! Нет так нет, и голову нечего морочить! Но смотри, Суровцев!

Ты у меня смотри, пожалуйста! С тебя весь спрос! — И он стремительно вышел из кабинета.

Несколько секунд оба молчали. Надо сказать, если Хрипушин хотел произвести впечатление, то он его произвел. Саженный вышибала с напружиненными кулаками и холуйским, блестящим, по ниточке пробором посередине, он произвел впечатление! Впрочем, он, может быть, и ничего не хотел производить. Просто, переступая некие пороги, он совершенно автоматически, как актер, входил в нужное состояние. Он вконец развинул себе нервы, и его всегда была истерика. Била, когда он допрашивал арестованного, била, когда прижимал свидетеля, била, когда начинал орать, била, когда кончал орать, потому что понимал — орать сейчас бесполезно.

И еще одно, пришедшее к нему в последние месяцы, — никогда он еще не чувствовал себя так твердо обеими ногами на земле, как сейчас. Он знал, что не зря его вытащили сюда из захолустья и присвоили звание майора, что в мире очень многое переменилось и вот-вот наступит тот долгожданный час, когда Вождь даст наконец на вооружение своим славным чекистам выработанные им совершеннейшие методы ведения следствия, что, исходя из глубокого творческого понимания идеи марксизма и сталинского анализа идеи международной рабочей солидарности, Вождем уже подведена некая непоколебимая теоретическая база под эти новые методы, вернее, под эти новые формы классовой борьбы. И тогда эти аппаратчики, которые сейчас смотрят на него сверху вниз, заткнутся навсегда, ибо потребуются не только наука и формочка, а еще и нечто иное, живое, а не мертвое. А это у него есть, и он готов, а они еще — как сказать, как сказать. Поэтому все эти месяцы он жил в повышенном состоянии, в напряженном и непрерывном ожидании чего-то большого, славного и громкого. И именно поэтому же и заводился он и орал сейчас чаще, чем обычно.

— Ах, как нехорошо вышло, — бесполезно поморщился Суровцев, когда Хрипушин ушел, — и надо же было вам говорить... Ну ничего, ничего. Вот вам бумага, пишите... — Он задумался. — Пишите, значит, так: «Из дела по оперразработке А. Э. Куторги мною, Владимиром Михайловичем Корниловым, получена обратно рукопись на двухстах двадцати четырех листах машинописи «Суд над Христом» как не представляющая оперативной ценности». Подписались. Дата. Все! Давайте сюда! Фу, черт, как все неудачно вышло. Воды хотите? (Корнилов мотнул головой.) Да ничего, ничего! То ли у нас еще бывает. Я скажу вам, почему майор злится: ему самому влетело.

— От кого?

— От начальника. Как раз вчера подполковник меня вызвал с делом. Я ему начал все по порядку. Он полистал, полистал вот «Суд», взял, листика три прочел, потом и говорит: «Ну что же, кажется, верно — ерунда! Сумасшедший дед, и все! Будем, наверно, закрывать — но только знаешь? Не вполне солидно это как-то у нас выглядит. Вот пять донесений и во всех одно и то же: не допускал, не допускал. А что же он допускал? Рассуждение о Божественной литургии, что ли? Да говорили ли они вообще или просто водку пили? А вдруг он просто затаился. Вот мы дело закроем, а тут он и каркнет во все воронье горло — что мы тогда будем делать?» Я молчу, сказать-то нечего. Вот он подумал еще и решил: «Ладно! Подождем еще с недельку — вреда от этого не будет, а оснований прибавится...» Ну и на майора, конечно, поднапер в этом смысле. А майор на нас. Вот и все.

— И надо же было мне высовываться с этими листами, — с горечью сказал Корнилов. — Кто меня просил их вам приносить? Кто тянул меня, дурака, за язык? Ах ты... — И он стукнул себя кулаком по лбу.

— Ну что вы, что вы! — огорчился и взволновался Суровцев. — Ведь это такой великолепный оправдывающий материал! Мы уже име-

ем и отзыв на эту работу! Нет, это вы отлично сделали! А что касается разговора...— он вдруг засмеялся и махнул рукой,— плюньте, честно говоря, плюньте! У нас тысячу таких на дню бывает! Честное слово.— Но, подписывая пропуск, вдруг снова посерьезнел и сказал уже без всякой улыбки: — Только теперь и я уж вас попрошу. Дело действительно идет к концу. Будьте поактивнее. Начните разговор сами и о политике.

Всю эту неделю состояние у Корнилова было преотвратительное. Погода над горами окончательно размокропогодилась. Дожди, дожди, дожди. Алмаатинка вздулась, ревет, катит камни. На месте раскопок серая и рыжая слякоть. Палатка протекает, пришлось перетаскивать койку и подставлять кастрюлю. А тут еще собака повадилась ночью выть — встанешь сонный, швырнешь в нее чем-нибудь — отскочит немного, сядет и опять, подлюка, воет, воет.

А дождик нудит и нудит — день и ночь, день и ночь — мелкий, серенький, косой, такой, что и жить не хочется. На его фоне и происходит черт знает что. Но всего неприятнее была все-таки встреча с Линой. Она зашел к ней в институт, приотворил дверь кабинета, позвал, и она сразу же выскочила, ослепительная, светлая, радостная, он чуть не вскрикнул: какая она! А она увидела его и сразу потухла. И ничего у нее не нашлось для него, кроме: «Ах, это вы, Владимир Михайлович». Так, стоя в коридоре при полуоткрытой двери, они и поговорили — о раскопках, о горах, о дождике, о яблоках — не надо ли помочь достать. Он может! Нет, спасибо, ничего не надо! Потом он заикнулся о Зыбине, и она быстро сказала: «Знаю — говорили. Ну что же? Не виноват — разберутся, выпустят...» Вот так. Вот и все. Он ушел, а настроение у него после этого было такое, что хоть сейчас в Алмаатинку.

И отца Андрея он тоже видел только один раз, и то на три минуты. Рядом под бугром стоял колхозный «газик», и там сидели его дочка и кто-то из правления. Отец Андрей залетел за рукописью. Взял ее, спросил: «Прочли? Понравилось? Нет? Ну потом, потом!» — и скатился с бугра, старый смешной попик в широкой поповской шляпе, плаще, похожем на рясу, в сапогах и глубоких калошах.

Вот все это — мелкое, пасмурное, несурзное, ноющее, как больной зуб, — донелся, до болезни развинчивало и просто выпихивало со света Корнилова. И он понимал: от этого не сбежишь, не спрячешься, оно всюду и всегда с тобой, потому что оно и есть — ты. И еще мучило сознание — ну куда, зачем он сунулся? Кто его тянул за язык? Захотелось спасти батюшку? Так, спаситель, спаси сначала себя самого. И вот теперь его вызывают, приказывают что-то писать, дополняют, поправляют, кричат, угрожают, а он должен вертеться и оправдываться. Почему? Ради какого дьявола? И сколько же тогда он стоит со всеми его клятвами, и что он вообще понял на этом свете? А самое-то главное — что ему сейчас делать с собой? Напиться? Он и напивался: напился у Волчихи раз, напился у нее два. Ребята какие-то за водкой пришли, гармошку принесли, он на ней поиграл слегка. Они его на свадьбу начали звать, он отказался. А потом так надрался с рабочими, что его два дня рвало желчью и он не мог головы оторвать от подушки — все кружится, все болит, ничего не хочется и на все наплевать. Поднялся он только на третий день. У порога его снова вытошнило — и стало сразу легче: он поднял голову, обтер рот прямо ладонью, рука дрожала, он сам весь дрожал, и пошел. Шел и шатался, но до «Голубого Дуная» все-таки дошел. Там было полным-полно, над бочкой орудовала пухлая розовая буфетчица — ни дать ни взять подарочная баба с чайника из магазина сувениров. Он слепо через толпу пошел на нее и заказал сразу шесть кружек пива. Кто-то донес их до свободного стола. Он сидел и пил не отрываясь. Одна кружка, другая, третья — все они рядком стояли на столе. Люди смотрели на него и сочувствовали. А подначивать — никто не подначивал, потому что

все понимали. Потом он встал и пошел. А на половине пути вдруг тучи прорвало и хлынуло солнце. Сразу все кругом заперестрело, заблестало, застрекотало, зачирикало. Стало светло, тепло, горячо, просторно. Он опустился под куст. Посидел, подумал, сходил куда-то. Стало совсем ладно. А солнце грело, светило, слепило, валило его на траву — и как упал, заснул, он совсем не помнит.

Проснулся вечером и сразу же вскочил. Он был весь как воздушный — не то он есть, не то его и нет вовсе. Все стало легким до обалдения. Легко он вознесся на гору, легко сунул голову в палатку и застыл. Перед столом сидел отец Андрей в очках и писал.

— Андрей Эрнестович! — воскликнул он восторженно. — А я-то...

Отец Андрей повернулся и посмотрел на него. Взгляд у него был, как пишут беллетристы, влажный. Значит, уже того...

— А я ведь записку вам пишу, — сказал он. — Пришел, смотрю, вас нет, а все открыто, разбросано. Как же так можно? Тут и костюм новый, и патефон, и «лейка». И все валяется. Велосипед на улице. Сейчас в горах вон сколько народу съехалось, стянут, и поминай как звали. Вот решил подождать, пока не придете. Ну что вы, а?

Корнилов рывком подскочил к нему, схватил его за плечи, обнял и даже всхлипнул — такую нежность сейчас почувствовал он к этому старику, так было хорошо, что он пришел.

— Ну, ну, — сказал отец Андрей, улыбаясь. — Что это с вами? Небось опять перебрали? У Волчихи?

— Нет, не у Волчихи, — ответил Корнилов, с умилением рассматривая его сухое иконописное лицо, острую бородку, милые мелкие и тонкие морщины, — нет, не у Волчихи, Андрей Эрнестович, а со своими ребятами. Рассчитывал их вот и...

— Ну они и обрадовались! Свои-то не все ухнули? На хлеб-сахар осталось? Ну и ладно! Небось голова болит?! Идемте, подправлю.

— К Волчихе, отец Андрей?

— Нет, не к Волчихе, уважаемый товарищ Корнилов, — гордо произнес отец Андрей и слегка откинул голову, — а в мою собственную резиденцию. Да-с! Я теперь холостяк! Дочка на свиданье с мужем в Сочи уехала! А я, значит, сам себе голова. Вот и пошли ко мне. Покажу я вам свою келью под елью. Только «лейку» забирайте, забирайте. А то доброму вору все впору.

Своей кельей под елью отец Андрей называл зимнюю застекленную террасу. Она была очень длинная и выдавалась, как выдвинутый спичечный коробок. Бог его знает, кто и зачем строил такие дачи. Первое, что бросилось Корнилову в глаза, это книжные полки. Они тянулись из конца в конец и от низу до верху. Он посмотрел: комплекты «Нового мира» и «Красной нови», перевязанные бечевкой, собрание сочинений Чехова (приложение к «Огоньку»), полное собрание Ленина, разрозненные толстые тома сочинений Маркса и Энгельса и много переводной беллетристики двадцатых годов — пестрые бумажные обложки с броскими рисунками тушью и карандашом.

— А где божественное? — спросил Корнилов.

— Вот мое божественное, — сказал отец Андрей и подвел его к небольшой полке над письменным столом. Там стояли сплошь медицинские книги, в том числе несколько учебников по акушерству.

Он недоуменно посмотрел на Куторгу.

— И это приходилось! — кивнул ему головой Куторга. — Все приходилось! На то и Север! Золотая Колыма, как ее там называли. Я ведь в лагере особые фельдшерские курсы окончил. Но это, конечно, пустяк, как там вывих вправлять или банки поставить, руку перевязать, это я и раньше умел, а вот то, что я пять лет со знаменитым, можно сказать, с мировым светилом проработал, ему ланцеты да пинцеты подносил — вот это уж не пустяк! Я, если хотите знать, полостные операции делал! А один раз в рыбацьем поселке аппендикс прямо

тут же на столе вырезал, только стол приказал отпарить да отдраить ножом добела, и вся дезинфекция.

— И без наркоза? — удивился Корнилов.

— Ну, было у меня кое-что, но так, почти символическое. Вообще-то я в ту пору больше на спирт полагаюсь. Сразу подношу полную жестяную кружку и приказываю: «Пей духом, ну!» — выпил и на стол. Ну, конечно, не живот потрошил, но, бывало, даже пальцы вылуцивал. Вы что же, не верите! Эх, не желаю я там вам побывать, но если побываете да живым выйдете, о! Многие тогда в жизни поймете. Хорошо, я пойду по хозяйству, а вы тут пока книжечки посмотрите, это все дочкино приобретение, мои, говорю, только эта полка, там-то есть что посмотреть.

Когда он вернулся, Корнилов стоял у письменного стола и вертел в пальцах бронзовый бюстик.

— Что такое, Андрей Эрнестович? — спросил он. — Откуда это? Отец Андрей посмотрел на него.

— Часть письменного прибора, — ответил он, — привинчивалась к чернильнице. Ну и что вы любопытного скажете об этом, а?

Это был бюст Дон Кихота. Он, пожалуй, ничем существенным не отличался от образа, созданного Доре и после него повторенного сотни раз художниками, карикатуристами, скульпторами, оперными и драматическими актерами. Та же лепка сухого благородного лица, те же усы и бородка, тот же самый головной убор. Но этот Дон Кихот смеялся; он высовывал язык и дразнил. Он был полон яда и ехидства. Он торжествовал. Он сатанински торжествовал над кем-то. И был он уже не рыцарем печального образа, а чертом, дьяволом, самим сатаной. Это был Дон Кихот, тут же на глазах мгновенно превращающийся в Мефистофеля. И тогда становилось ясно, что совсем не шлем у него на голове, а капюшон и под ним рога, что у него бесовский острый подбородок и усы, как у адского пса.

— Ну так что вы скажете? — спросил отец Андрей.

Корнилов все смотрел на бюст.

— Ну что ж, и такое может быть решенье, — сказал он наконец. — И против него нечего возразить.

— Какое? — спросил отец Андрей.

— А вот какое: рыцарь бедный, Ян Гус, Дон Кихот, Франциск Ассизский... — он съел какое-то имя, — ну еще кое-кто. Что они принесли в мир, зло или добро? Кто ж это поймет! Не пытаются ли они мир добром и жалостью? Ведь вслед за ними, их добром идут убийства, сумасшествия, за святым Франциском — святая инквизиция. За Гусом — гуситские войны, нищета. Одним словом, после мучеников всегда идут палачи. Так как вы приобрели эту вещь?

Отец Андрей подошел и сел рядом.

— От отца досталась! Отец был у меня, Владимир Михайлович, замечательный человек, можно сказать, история русской общественной мысли! Журналист, поэт-шестидесятник. И превеликий грешник! Вот я его грехи, наверно, и замаливаю. В «Отечественных записках» писал. Герцену письма слал. К Чернышевскому в Астрахань ездил. Все хотел спросить: что ты высидел в вилюйском остроге, мученик? Какая последняя истина там тебе открылась? Слышите — последняя! Страшные вопросы! Но не задал он их, не задал! И кроме разговора с Ольгой Сократовной, ничего у него не получилось. Вернулся и запил. Он ведь страшно пил! Не запойно, но страшно. Напьется и ревет. Именно ревет, а не плачет. От этого еще сравнительно молодым и погиб. Я его еле помню. Атеист он был ярый. Впрочем, может быть, и не атеист, а богоборец — такие тоже тогда бывали. Мать, как только отец умер, этого черта на чердак выбросила, а я уже после революции копал грядку под капусту и откопал его. Вот с тех пор он у меня и стоит и стоит, прижился.

— Да, — сказал Корнилов, — да!

Он вздохнул и поставил бюст на место.

— Нехорошо что-то мне все эти дни, Андрей Эрнестович.

— А что такое?

— Не знаю...

— А это у вас не...? Как говорится... Не зубная боль в сердце?

— Это та, от которой, по Хайне, отлично помогают свинцовые пломбы и зубной порошок Бертольда Шварца? Нет, не она.

— А что же тогда?

— Не знаю. То есть знаю. Конечно, знаю. Напьюсь, может быть, скажу. А потом, ведь это же анахронизм. Ну, вот эти пилюли-то, анахронизм! Где я их возьму? Это благородному Вертеру подходит, а не нам. Для нас мышьяк, пятый этаж, чердак, петля! Вот это точно наше. Как по-вашему, отец?

Отец Андрей нахмурился.

— А как по-моему? По-моему, единственный грех, который Бог не прощает христианину,— это самоубийство. Самоубийцы извергнуты на веки веков из лона милосердия Господнего. Их ни отпевать, ни хоронить в освященной земле нельзя. Вот на кладбище для скотов, туда пожалуйста — стащат, выроют яму, бросят и закидают землей. И все! Лежи!

— Да? — вздохнул Корнилов.— Жестокий же у вас Бог, очень жестокий. И никакого прощенья, значит? Здорово! Дайте-ка мне еще раз вашего черта! Смеется, подлый! Он так и вашему отцу-атеисту в лицо смеялся? А кстати, как он умер-то?

Отец Андрей поднял бутылку и налил стаканы.

— Повесился. На чердаке.

Они выпили одну стопку, налили другую. Отец Андрей начал рассказывать о Севере. Рассказывал он хорошо, артистически акал, и Корнилов все время смеялся. Особенно ему понравилась история артельной стряпухи — баронессы Серафимы Барк. Руки у нее были шершавые, как кора, но в некоторые дни она надевала браслеты и золотой перстень с печатью. Однажды при нем она рыбацким матом пуганула здоровенного верзилу — пришел за водкой — и тут же повернулась к отцу Андрею и объяснила по-французски: «Это ужасно, как приходится обращаться с этим народом, но, увы (hélas, hélas), иного языка он просто не в состоянии понять. Теперь он понял, что это решительный отказ, повернется и уйдет». И действительно верзила ушел.

— Кстати, с этой бабкой Фимкой большой конфуз вышел,— сказал отец Андрей,— какой-то институт лет пять назад организовал фольклорную экспедицию. Искали по всему Поморью старых сказителей. Но где ж найдешь? Нету! Кто-то по дурости, что ли, или по озорству, не знаю уж как, и направил их к бабке Фимке. Она и напела им десятка два песен. Прямо по Авенариусу шпарила, есть у него такая книга «Былины в обработке для детей среднего возраста». У тех инда глаза на лоб полезли. Вот это материал! День и ночь сидели. Все валики исписали, ведро водки выдули! Бабка употребляла! Уехали. Снова приехали. Тут она им сказки по Сахарову са-амые что ни на есть озорные преподнесла! На Севере этого добра ведь хоть отбавляй! Те опять все валики исписали. А на самый последний день при прощанье она им после шампанского и тостов и поднесла, кто она такая и откуда,—озорная была старуха, прости ее, Господи. Так начальника экспедиции чуть удар не хватил! Он, как клушка, закудахтал! «То есть как же так? Как-как? Смольный! Да это же государственные деньги! Ведь эт-то, эт-то...» Вот тебе и это! — Отец Андрей рассмеялся и махнул рукой.

«А что, если бы он узнал, куда я хожу с его рукописью?» — подумал Корнилов и вдруг брякнул:

— А ведь меня туда вызывали.— Он мгновенно ошалел, потерял-

ся и, не зная, что сказать, еще настойчивее повторил: — Туда! Туда! Вот туда! — И наподобие ученого секретаря потыкал пальцем в потолок.

Отец Андрей взглянул на него, опрокинул стопку в горло и затряс головой.

— Ч-ч-черт! — прошипел он. — И крепка же окаянная! Градусов на семьдесят, пожалуй! — Он перевел дыханье и встал. — Ну что ж, Владимир Михайлович, все там будем! «Се предел, его же не перейдешь». Стойте-ка, я вот за огурчиками сбегаю.

Странно, но на Корнилова этот почти голый спирт как будто и не подействовал. Необычайная трезвость и ясность вдруг сошли на него. Он сидел и думал.

«Все это, конечно, хорошо, и поп, и его вишневка, и то, что я сказал, — все хорошо, но вот дальше-то что? Вот скоро вернется директор. Я разочтусь, уеду, уйду, и вот им всем нос! А Даша? А Лина? А Зыбин? Ну, Лину, конечно, к дьяволу, но вот Даша».

И он стал думать, как он встретится с Дашей и что он тогда ей скажет. Думать об этом было приятно, и он даже улыбнулся.

Отец Андрей пришел и принес тарелку с огурцами.

— Вот пробуйте, — сказал он, — личное мое производство! А они всех вызывают, они и меня вызывали.

— Как? — ошалел Корнилов. — И вас?

— И меня. Вы кушайте, кушайте, пожалуйста! Да, вызывали. Ну а что я могу знать? Георгий Николаевич в музее — вот, — он поднял руку к потолку, — а я — вот. — Он опустил руку до пола. — Кто я такой? Поп! Отставной козы барабанщик! А Георгий Николаевич — персона грата! Провел он раз с нами инструктивную беседу, как карточки записывать, вот и все, только я его и видел. Так я сказал, и они даже и записывать не стали.

— А кто вас допрашивал?

— Допрашивал! — усмехнулся отец Андрей, покачал головой и вздохнул. — Слова-то, Господи, какие! Меня не допрашивали! Допрашивают подсудимых! Со мной раз-го-ва-ри-ва-ли! А разговаривал со мной лейтенант Голиков. Вас не он вызывал?

— Нет, не он.

— Ну, конечно, их там много! Вон ведь какое здание! Ну что ж? Меня к одному, вас к другому, меня про одно, вас про другое — вот, пожалуй, правда и выплывет.

— Какая правда-то? — нахмурился Корнилов. — Как, по-вашему, за что Зыбина взяли?

Отец Андрей улыбнулся и пожал плечами.

— Ну все-таки, за что?

— Не знаю, Владимир Михайлович, и даже не интересуюсь. Мирская власть — хитрая механика. Таких людей, как ваш шеф, чаще всего берут не за что-нибудь, а для чего-нибудь.

— Как, как?

— Ну, или во имя чего-нибудь. Чтоб не мешал, значит. Власть что-то задумала, а он не согласен и мешает. Или способен помешать. Ну, вот его загодя и убирают по принципу: «Лучше нам, чтоб один человек умер за людей, нежели чтоб весь народ погиб». Вот по этому принципу и берут.

— Что это такое?

— Да опять-таки Евангелие. Знаменитая одиннадцатая глава от Иоанна. Ну что ж, с точки зрения мирской власти, это вполне логично.

— Здорово, — поглядел на него Корнилов и вдруг взбеленился: — «Лучше нам!» А кто это «вы»? Хотел бы я хоть на минуту взглянуть на ваше светлое лицо! Просто узнать, от чьего имени и во имя чего вы сейчас бандитствуете, благодетели! Хотя да, да! — махнул он рукой. — «Несть власти аще не от Бога» — у вас ведь на все есть цитаты! Эх вы, отцы, отцы! — Он мутно улыбнулся, помолчал, покачал голо-

вой.— Но вот в одном вы правы. Если человек опасен — его уничтожат. Чик — и нет. Значит, кто-то кому-то доказал, что Зыбин опасен, вот и все. Но я другое не понимаю — вот вы? Вы ведь тоже опасная личность, из бывших, а вот сидите, водку пьете со мной, сочинение мракобесное пишете, и вас не трогают. Почему? Есть причина, а?

— Хм! — усмехнулся отец Андрей. — Это с каких же пор я стал опасной личностью? Что я поп, мракобес, вредный элемент — это все так. Но вредный, а не опасный! Прошу вас заметить! Я ничем и никому не грожу. Меня упразднили, и все! И вот я уже не вреден, а полезен. Потому что работаю. Лес валяю, в море хожу, за отца, за праотца спину ломаю. А что же делать-то? Пить-есть надо! Ну не хмурьтесь, не хмурьтесь, вижу я, как вас моя поповская беспринципность возмущает. Ну не буду больше. Да и вообще, что это мы с вами затеяли? Вот вы скажите лучше, как вам мое сочинение-то понравилось?

Корнилов сжал граненый стакан так, что у него занемели пальцы.

— Понравилось, — сказал он тихо, а в глазах у него все прыгало. — Очень понравилось! И не только мне, а и товарищу Суровцеву.

— Это что же за товарищ Суровцев? — спросил отец Андрей, разрезая огурец.

А Корнилов все набирал и набирал высоту. Он уже парил над всем. И ему нужно было с этой высоты выплеснуть все, что его переполняло, перехлестывало через край. Он по-настоящему уже изнемог.

— Не знаю кто, — сказал он, усмехаясь, — следовательно или оперативник, ну, в общем, сидит в большом доме и специально интересуется вами.

— И он попросил у вас рукопись? — мирно спросил отец Андрей.

— Зачем попросил? Я сам ее принес. Как только получил от вас, так и принес. Он меня вызвал и спросил: «Кто такой Куторга?» Я сказал: «Поп». «А чем он сейчас дышит?» — «Сидит над книгой о Христе». — «Это какая же такая книга?» — «Могу, если угодно, принести». — «Принесите». Я принес. Он взял, спрятал в стол, а через неделю позволил: «Придите заберите свое евангелие». Я пришел и взял. Вот и все.

Он выплеснул все это разом, в холодном ожесточении, почти в горячке, боясь остановиться, упустить хоть полсекунды, потому что если упустил бы ее, остыл, то больше ничего и не сказал бы. А сейчас он говорил и говорил и не мог остановиться. Ему не только это хотелось рассказать, ему хотелось еще и дальше рассказывать. Рассказывать о себе и о своей нелепой, смешной жизни, про то, где он родился, как и на кого учился, как его неудачно в двадцать один год женили, и про все остальное тоже рассказать — про отца с матерью, про старшую сестру, про ее мужа — крупного военного, как они его любят, о нем хлопочут, посылают ему посылки и бандероли, а ему ничего не надо, только бы его оставили в покое, только бы не трогали! Да, да, в покое, в покое! Затем ему не терпелось, просто необходимо было рассказать про своего первого следователя и как он его, подлец, тогда купил. Он стал бы говорить про это даже и тогда, если бы отец Андрей возмутился, прервал его, сказал бы, что порядочные люди этак не делают, — кто позволил ему носить его рукопись в этот дом? О, тогда бы он просто забил бы его словами! Он бы тогда клокотал от возмущенья! Эх, Андрей Эрнестович, Андрей Эрнестович! Губернаторский исповедник! Какой же из вас, к дьяволу, отец духовный, если вы даже в этом не разбираетесь?

Но отец Андрей смотрел на Корнилова как-то очень обыденно, и Корнилов ничего не сумел прочесть в его прямом взгляде. Он просто наткнулся на него и стих.

— Мирская власть! — сказал отец Андрей задумчиво. — Что ж тут попишешь? А поставь нас на их место, мы бы за пару месяцев все пустили ко дну. А тут, видите, плывет, плывет кораблик. — Он помолчал, подумал, постукал пальцами по столу. — А то, что вы показали мое сочинение, — это правильно. Теперь они успокоятся. Поп и есть

поп, и нечего с него спрашивать! Вот только из музея, пожалуй, турнут! Ну да Бог с ними.

— Ну! — возмущился Корнилов. — Что вы, Андрей Эрнестович! Зачем вы так говорите?! Да наш директор никогда не согласится.

— Согласится директор, согласится, — чуть улыбнулся отец Андрей. — Почему, спрашивается? Понятно почему: чтоб не работал мракобес в культпросвете. Ну что ж? Не в первый раз и не в последний! Я к таким концам давно уже приучен! Ладно! Работы я не боюсь! Вон взгляните на мою ладонь! Нет, пощупайте, пощупайте! Как дерево, правда? Еще месяц, и наступит самый мой сезон — поеду наниматься в лесосовхоз. А в этом деле я уж не поп, а профессор! Ну-ка давайте выпьем за эту мою профессию. Берите стопку. Да, впрочем, что нам стопка! Подождите, я стаканы принесу!

— Мирская власть, — сказал отец Андрей, отфыркнулся и отодвинул пустой стакан, — она ведь вещь хитрая. Ее не поймешь, у нее тысяча одно соображение. В этом смысле история с Пилатом очень показательна! Ведь и до сих пор не разбираешься, как он относился к Христу. Мнения об этом разошлись, можно сказать, диаметрально. Вот и вы: «Председатель воентрибунала! — осудил и руки вымыл! Так что ж? Значит, хоть и распял, а не виноват?» А я бы вот, представьте, не смеялся. Я бы понял, что и такое бывает тоже! Потому что хитрая, хитрая вещь — мирская власть! Вот власть духовная — та много проще. А в истории Христа с этой стороны так все даже очень просто. Не понравился Христос — его схватили, судили, осудили, убили, вот и все. Хотя осудить было тоже нелегко.

— Нелегко?

— Поначалу даже очень нелегко. Потом уже пошло проще, а вначале все чуть совсем не сорвалось. Ведь сразу к лжесвидетельствам не приступишь, нужен какой-то разбег, отчаянность! И на следствиях тоже не сейчас же начинают орать — надо какое-то время, чтоб привыкнуть к подследственному, так сказать, наглядеться на него в досталь. А тогда было все в тысячу раз сложнее. Вот послушайте, с какой речью обращается председательствующий к свидетелям. — Отец Андрей подошел к письменному столу, открыл папку и вынул оттуда тетрадный лист. — «Может быть, вы говорите предположительно, по слухам, с чужих слов и не знаете, что, прежде чем мы примем ваше показание, мы испытаем вас раскаянием и исследованием. Помните, что если дело идет о деньгах, то деньгами все и может быть куплено, но вот в этом деле кровь невинного и кровь всех неродившихся потомков его до скончания веков будет лежать на лжесвидетеле, ибо не зря о Каине сказано Господом: „Голос кровей брата твоего Авеля вопиет ко мне“. (Слышите? „Кровей“, а не „крови“! „Кровей всего неродившегося потомства Авелева“). Затем и был создан Адам единственным, чтоб научить тебя — погубивший единую душу губит весь мир, а спасший невинного спасает все человечество. Ибо если человек с одного своего перстня снимет тысячу отпечатков, то все они будут одинаковы, а Бог с одного Адама снял облик всех людей, и так, что хоть они равны, ни один не похож на другого. Вот поэтому ты и должен считать: весь мир был сотворен единственно ради того, кто сейчас стоит перед нами и чья жизнь зависит от твоего слова». Вот такое напутствие. После этого и начинается опрос свидетелей, и подходят они по одному. А обстановка такая: глубокая ночь (пегух кричал второй раз, значит, все происходило от второго до третьего часа), горят медные семисвечники, помещение огромное, каменное, пустое, половина его всегда во тьме. Семьдесят два судьи на полу на подушках, два полукружья, лицами друг к другу, чтобы каждый видел глаза другого. В центре три секретаря — один записывает речи подсудимого, два других — показания свидетелей. Один — обвинительные, другой — защитительные. Ну ясно, что лжесвидетели при такой обста-

новке сбиваются, путаются. «Многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства эти не были достаточны»,— говорится в Евангелии от Марка, то есть ни один из свидетелей не подтвердил полностью слова другого. Но вот выступили порознь два свидетеля, показания которых как будто бы совпадали.

— Это Иуда и тот, другой?

— Не знаю, может быть, и они. Ведь все, что касается этого ночного судилища, очень неясно. Кто мог знать, что там происходило? Суд тайный, посторонних не было, а обвиняемого уже тоже нет— казнили. Так вот, выступили два свидетеля и оба показали, что Христос поносил храм. Более страшного преступления вообще нельзя было представить, но и эти показания были отведены. По Марку, Иисус будто бы сказал: «Я разрушу сей храм рукотворный и чрез три дня воздвигну другой, не руками построенный». У Матфея же это звучит иначе: «Я могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». О! Видите, какое противоречие!

— Нет, не вижу,— сказал Корнилов,— по-моему, это одно и то же.

— Ха! По-вашему! Плохой же вы юрист. Громадное расхождение! Вы подумайте-ка: «Я разрушу этот храм». Этот! Страшно определено — то есть вот этот самый, о котором мы сейчас говорим. Тут стоит определительный артикул. Тот, в котором хранится скиния завета — святая святых народа израильского,— храм Соломонов. И воздвигну другой — нерукотворный! Это, позвольте спросить, какой же? Твой собственный? Храм Иисуса? Сына Иосифа и Марии? Того, у которого братья Яков, Иосиф, Иуда, Симон и еще сколько-то сестер? Какой же храм своего имени ты нам сулишь построить, пророк, вместо этого Соломонова — таков смысл показанья первого свидетеля.

— Ну а второй что показал?

— А второй показал: «Я могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». По смыслу, конечно, не могу, но мог бы — наклонение сослагательное, но неважно! Вот какой я, мол, сильный. Какой храм? Определительного артикула нет, значит, любой! А ведь их множество. Ведь все храмы Божии! Так ты в три дня можешь построить нам синагогу? Ну и хвастун же ты, строитель! Сколько денег, наверно, зря с дураков содрал. Рассмеялись и отошли. Вот и все. Так что объединить оба показания не удалось. Обвинения захлебнулись. Иисуса надо было отпустить.

— Куда? Обрато к возлюбленным ученикам Его? К Петру? Фоме и Иуде? — Корнилов и сам не понимал почему, но то, что его признание не произвело на отца Андрея, кажется, ровно никакого впечатления — он просто выслушал да и заговорил о другом,— как-то очень больно ударило его по нервам. Лучше бы уж выругался, или ударил, или прогнал, а то получается так, что иного от Корнилова и ждать было невозможно.

— А что вы Петра-то так невзлюбили? — усмехнулся отец Андрей.— Он ведь как-никак был единственный, кто не покинул учителя, остальные, как сообщает Марк, «оставив его, все бежали». Вот вы знаете, почему вся эта печальная история кажется мне совершенно достоверной? Уж слишком все тут по-человечески горько и неприглядно. Разве это апостолы? Разве это мученики? Больше того, да разве это христиане? Ведь христианин должен

На смерть идти, и гимны петь,
И в пасть некормленного зверя
Без содрогания смотреть.

Или, как сказал святой Игнатий, «я пшеница Божия и пусть буду измолота зубами зверя, чтоб стать чистым хлебом Господним». А тут что? «Даже атаман разбойников, предводитель шайки негодяев, и тот никогда не бывает предан своей сволочью, если только он сам не предавал их». Это Порфирий, лютей ненавистник Христа и христианства, сказал об апостолах! Да разве вы первый иронизируете

насчет Петра? «Как может быть фундаментом церкви тот, который, из уст какой-то жалкой рабыни услышав слово «Иисус», так смертельно перепугался, что трижды нарушил свою клятву?» Это тот же Порфирий. А сам Христос? Помните? «Разбудив их, начал ужасаться и тосковать и сказал им: — Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И еще: «Отче, все возможно Тебе, прinesi сию чашу мимо меня». А на кресте: «Или, или, лама савахфани, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня», — а в некоторых рукописях и того резче: «Зачем ты унижаешь меня». А потом эта мольба: «Жажду!» И добрые палачи суют ему губку с уксусом. Где, в каких житиях вы найдете подобное? Недаром же другой ненавистник, Целий, тот уж прямо ехидничает: «Если уж он сам решил принять казнь, повинаясь отцу, так что ж звать его на помощь и молить об избавлении: «Отец, да минует меня чаша сия»? Почему он не стерпел на кресте жажду, как ее часто переносит любой из нас?» А тот же Порфирий еще добавляет: «Все эти речи недостойны не только сына Божьего, но даже просто мудреца, презирающего смерть». Увы, все это так. И ответ только один: «Се — человек!» И ничего с этим человеком евангелисты поделать не смогли! Не посмели!

— А хотели?

— Ну конечно хотели! «Трижды и четырежды, — пишет Целий, — передельвали они первую запись Евангелия, чтоб избежать избличения!» Да! Самого страшного из избличений — избличения в правде. И все-таки это вот немощное, мятущееся, бесконечно человеческое, болящее вычеркнуть не посмели! И Бог — немощный и слабый — все равно остался Богом! Богом людей. Понимаете? Да нет, где вам понять!

— Да нет, понимаю, — серьезно заверил его Корнилов. — И вот знаете, что мне сейчас вспомнилось? Лессинг писал где-то, что мученик — самая недраматическая фигура в мире. Об нем и трагедии не напишешь. У него ни поступков, ни колебаний, ни переживаний — одно терпение. Его мучают, а он терпит, его искушают, а он молится. Тьфу! Тоска! Но вернемся к нашим баранам. Значит, свидетели зашились?

— Так зашились, что приходилось отпускать подсудимого. Но, как говорится, не для того берут, чтоб отпускать. Председательствующий обращается к Иисусу с закланием. «Заклинаю тебя Богом живым, — говорит он, — скажи нам, ты ли Христос, сын Божий?» О! Это уже крупнейшее нарушение закона. С таким закланием можно было обращаться только к свидетелям. Если бы Христос теперь отрекся или ответил на вопрос председателя как-нибудь эдак невнятно, двусмысленно — его обязаны были отпустить. Но он чтит дело своей жизни больше самой жизни, больше матери, сестер и братьев, закона и храма, и в этот самый страшный момент его жизни он не посмел! — слышите, просто не по-смел! — это дело предать. Ведь скажи он только: «Нет, я совсем не тот, за кого выдали» — и все! Синедрион победил. Семьдесят два судьи, а за ними стража, свидетели, секретари, служки, в общем, человек сто, вся орава их торжественно выводит его на площадь. На ту самую площадь, где он проповедовал, ставят перед толпой и учениками и провозглашают: «Мы судили сего человека и нашли, что он чист. Он никогда не выдавал себя за Христа, он не обещал вам от себя царство Божье. Он только по своему уму и разумению толковал вам пророков, а вы его не поняли». И все. И Христа нет. В мире ничего не состоялось. История прошла мимо. А он знал, что такое искушение когда-нибудь наступит и надо его преодолеть смертью, но умереть осмысленно и свободно, не как Сенека христианствующий, а как сын человеческий.

— А что ж, по-вашему, Сенека умер не свободно?

— Может быть, и свободно, да не так. Он скорее не умер, а сбежал. Для Сенеки смерть была освобождением от компромиссов. А в них-то Сенека ох как был грешен! Вот осознав все это, он и на-

писал однажды такое. Очень красивое. Он умел писать красиво. «Куда ты ни взглянешь — ты везде увидишь конец своих мучений. Видишь эту пропасть? В глубине ее твоя свобода. Вот искривленное дерево — низкое и уродливое — твоя свобода болтается на нем. Видишь это море, реку эту, колодец этот? На дне их твоя свобода». Но Иисус и так всю жизнь чувствовал себя совершенно свободным, свободным, как ветер, как Бог, Евангелие донесло до нас это ощущение. «Вот человек, который любит есть и пить вино», — говорили о нем другие. «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, и имели с избытком», — говорил он о себе сам. Жизнь для него была радостью, подвигом, а не мученьем. И вот именно поэтому на вопрос председателя он не смог ответить «нет», он ответил «да». Евангелисты передают его ответ по-разному, но, в общем, он сказал это как-то очень просто, односложно, лишь бы поскорее отделаться. Порфирий упрекает его за это. Ему кажется, что в такой решающий момент человек должен вырасти со скалу, разразиться громом и молнией, глаголом сжечь сердца судей. «То ли дело, — говорит он, — Аполлон Тианский! Как он обличал императора Домициана!» Но Христос не Аполлон, он истомился и измаялся смертельно, его тошнило от всего, что происходило, он хотел в этот момент только одного: скорее, скорее, скорее! Может быть, он боялся даже, что не выдержит и рухнет. Но и судьи тоже торопились. «Итак, ты сказал». Председательствующий рвет свою одежду до пояса. Это все равно что переломить судейский посох. «Повинен смерти», — говорит он. «Повинен смерти», — подтверждает семьдесят один. Конец. «И поднялось все множество их и повело к Пилату». В дело вступает Рим — проконсул Иудеи Понтий Пилат.

Он, видимо, никогда не считался человеком первого сорта. Он происходил из богатой самнитской семьи. Ведь самниты — это так называемые союзники, а не римляне. У них и гербы разные: у римлян — волк, у них — бык. Если помните, были даже три союзные войны, и тогда быки стадом шли на волков. Но это было и прошло. Теперь Понтий Пилат, во всяком случае в Иудее, чувствовал себя римским патрицием, белым человеком в дикой восточной стране. Характер у него был деятельный и энергичный. Таких в Риме в ту пору звали homo novus, новый человек то есть, в этом прозвище нечто непередаваемое — пренебрежительное, этаким легким щелчок по носу. Нувориш, выскочка, мещанин во дворянстве, «из грязи в князи». Евсевий пишет, что Пилата прислал в Иудею Сеян — был такой свирепый негодяй у Тиберия. Потом его, разумеется, тоже казнили. Так вот, этого Понтия Пилата Сеян как будто назначил проконсулом именно за его ненависть к евреям. Очень может быть. Во всяком случае, такого тирана Иудея еще не знала. «Взятничество, насилие, казни без суда, бесконечные ужасные жестокости» — так, по Филону, писал о Пилате царь Агриппа Первый Тиберию. Что ж? Так оно, вероятно, и было. Но Христа казнить он все-таки не хотел. Почему? Вот отсюда и начинается путаница. Христианские писатели страшно все усложнили. Тут мне припоминается давний разговор с одним академиком. Он мне сказал: «А что ж, батюшка, в нем вы находите непонятного? Вот уж где воистину никакой загадки нет. У нас, например, в нашем просвещении такими пилатами хоть пруд пруди. Это типичный средний чиновник времен империи. Суровый, но не жестокий, хитрый и знающий свет. В вещах малых и бесспорных — справедлив и даже принципиален, в вещах масштабом покрупнее — уклончив и нерешителен. А во всем остальном — очень, очень себе на уме. Поэтому хотя и понимает истину, но при малейшем тумане начинает крутить, умывает, так сказать, руки. В случае с Христом это проявилось особенно ясно. Вот и все». Ну тут, как я сейчас понимаю, академик был не совсем прав. Действовали еще и особые причины.

— И какие же?

— Ну, первая та, что я уже назвал. Терпеть он не мог этих грязных иудеев. А так как и иудеи платили ему тем же, то все и запутывалось окончательно. И в этих хитросплетениях Пилат порой даже терял голову. Он, человек хитрый и трезвый, все время жил в таком запале, что порой забывал обо всем. И был в такие моменты вздорен и не умен. Бык, осаждаемый шакалами! Где мог — унижал, кого мог — уничтожал! У Луки есть такое место: Христу рассказали однажды о галилеянах, кровь которых Пилат во время богослужения смешал с жертвами их. И Христос спокойно ответил: «Что ж вы думаете, эти галилеяне грешнее других?» Видите, как коротко и просто! За что про что перебил невинных, об этом и вопроса нет, перебил, и все! Самое обыденное дело. Такое обыденное, что оно и разговора не стоит. Но благодарное население хоть убивать-то себя и давало, а все брало на заметочку и посылало в Рим «вопли». И когда они попадали в руки императору, Пилат получал нагоняи. От него требовали объяснений. Тиберий был опытный администратор и много шума из ничего терпеть не мог. Да! «О, род рабов!» Да! Люди — льстецы, рабы, трусы и предатели, но и с ними нужно уметь обращаться. У меня они вот не орут, даже когда я их душу. Почему же орут у тебя, проконсул?

— Это Тиберий, кажется, ввел кары и казни за каждое оппозиционное слово?

— Он, он! 58, пункт 10. Закон пятнадцатого года! «Критика действий императора приравнивается к оскорблению величия Римского народа». За это сразу же секли башку.

— Хорош опытный администратор!

— А чем же плох? Идеалист, конечно, но далеко не единственный в истории. Их и через две тысячи лет не очень поубавилось. Как бы там ни было, кончил Пилат плохо. По одним источникам, покончил с собой при Калигуле. По другим — его казнил Нерон, по третьим — его сослали в Швейцарию, и он там утонул в Люцернском озере. В Альпах есть вершина, которая называется Пилат. В Великую Пятницу — день суда — на ней появляется огромная тень и все моет, моет руки. Вот там, в Швейцарии, году в двенадцатом я и видал мистерию — представление Страстей Господних. Зрителей было тысяч десять. Все происходило под открытым небом в альпийской долине. Луга и снежные вершины! И под ними движется шествие: легионеры, разбойники и большая белая фигура — Христос. Тогда я вспомнил Шекспира! Хроники его! Вот кто мог бы написать трагедию о Христе! И знаете? Почти ничего не пришлось бы присочинять. Все уже есть у евангелистов. Образы, характеры, обстоятельства, бессмертные диалоги, где одной строчкой сказано все. Если бы еще кое-что заимствовать из некоторых апокрифов. Вот послушайте.

П и л а т : Ты царь иудейский?

И и с у с : Это ты сам спрашиваешь или повторяешь, что тебе сказали другие?

П и л а т (усмехаясь и пожимая плечами): Да разве я иудей? Это твой народ, твой первосвященники привели тебя сюда ко мне. Что ж ты сделал? Ты царь?

И и с у с : Если бы царство мое было от мира сего, то разве мои подданные допустили, чтоб я был схвачен и предан тебе?

П и л а т (настойчиво): Но ты все-таки царь?

И и с у с : Это ты так говоришь. Я же говорю: я пришел в мир, чтобы установить истину.

П и л а т (с брюзгливой усмешкой): Истина, истина! А что такое истина?

И и с у с : Она то, что с неба.

П и л а т (усмеяется): И поэтому ее на земле нет, так?

Иисус: Ты же видишь, что делают на земле с людьми, говорящими истину! Их предают таким, как ты.

Пилат: Откуда ты? (Иисус молчит.) Почему ж ты молчишь? Ведь я могу и распять и отпустить тебя.

Иисус: Вот видишь — ты можешь, а у тебя не было бы власти на это, если бы тебе она не была послана свыше! Что ж! Ты не виноват, судья! Грех на тех, кто привел меня к тебе.

Пилат (думает и что-то решает): Идем!

(Выходит из помещения во двор, наполненный народом, и садится на «судилище» — мраморное кресло судьи, стоящее на возвышении. Воины выводят за ним Иисуса. Шум.)

Пилат: Вот ваш царь.

(Взрыв криков: «Смерть ему, смерть! Распни его, распни!»)

Пилат (нетерпеливо): Тише! Вы! Послушайте! Вот вы его доставили ко мне как возмутителя народа. Я при вас его допрашивал, исследовал все обстоятельства и не нашел его виновным. Я послал его к Ироду — и он тоже не нашел его виновным. Так вот я его накажу и отпущу. (Негодующие крики.) Стойте! Идет Пасха. У вас обычай, чтоб я отпускал одного из узников по вашему выбору. У меня сейчас находится Варавва. Он осужден за убийство во время мятежа. Кого же нам отпустить? Разбойника или Иисуса, называемого Христом?

Крики: Варавву! Варавву! Распни его! Смерть ему!

Пилат (кричит в запале): Что ж? Царя ли вашего я распну, несчастные?

(К Пилату подходит один из первосвященников, говорит тихо, едко и внушительно: «У нас нет царя, кроме кесаря, проконсул! Если ты отпустишь его, ты не друг кесаря. Всякий, называющий себя царем, враг кесаря, проконсул».)

Крики: Распни его, распни! Варавву, Варавву!

Пилат (выйдя из себя, почти безнадежно): Но какое зло он вам сделал?

Крики: Распни его! Распни!

(Пилат молча смотрит на толпу. Потом делает знак, служанка вносит сосуд и полотенце.)

Пилат (моет руки): Я не виноват в крови этого праведника. Смотрите и решайте сами.

(Вой толпы. Воины уводят Иисуса. В это время к ним подходит первосвященник.)

Первосвященник: Эй, разрушающий храмы и в три дня созидающий их вновь! Вот спаси теперь сам себя, сойди-ка с креста!

(Смех толпы и крики: «Да будет распят! Да будет распят! На нас его кровь! На нас и детях наших!»)

— Вот примерно как это звучит, если изложить рассказ евангелистов драматически. Я ввел только ремарки да очень неясное место насчет того, что есть истина, дополнил по апокрифическому Евангелию Петра. Итак, иудеи Пилата не любили. Они писали и писали в Рим, плакали и плакали и наконец все-таки доплакались. Пилата отозвали. Понятно, какое ожесточение до этого развивалось с обеих сторон. Так вот, первая причина колебаний Пилата. Он просто не хотел никого казнить в угоду иудеям. Но было и второе соображение. Уже государственное. Дело-то в том, что Христос — или такой человек, как Христос, — очень устраивал Пилата. Удивлены? А ведь все просто. Два момента из учений Христа он уяснил себе вполне. Во-первых, этот бродячий проповедник не верит ни в революцию, ни в войну, ни в переворот; нет, человек должен передумать себя изнутри, и тогда все произойдет само собой. Значит, он против бунта. Это первое, что подходит Риму. Второе: единственное, что Иисус хочет разрушить и все время разрушает, это авторитеты. Авторитет синедрона, авторитет саддукеев и фарисеев, а значит, и может быть,

даже незаметно для самого себя, авторитет Моисея и храма. А в монолитности и непрерываемости всего этого и заключается самая страшная опасность для империи. Значит, Риму именно такой разрушитель и был необходим. А это еще и умный разрушитель. Он отлично знал: когда хочешь разрушить что-то стародавнее и сердцу милое, никогда не говори — я пришел это разрушить, нет, скажи, что ты хочешь укрепить, поддержать, подновить, заменить подгнившие части, и когда в это поверят и отойдут, тогда уж твоя воля, пригоняй людей с ломами и давай! Круши, ломай! Вот знаменитое начало Нагорной проповеди: «Не нарушать законы я пришел, а исполнить»; а вот конец: «Вы слышали, сказано древними: «ненавидь врага», а я говорю, любите врагов, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих и гонящих вас». Здорово? А все вместе это называется «скорее погибнет земля и небо, чем потеряется хоть одна йота из закона». Ну какая же тут йота? Тут уже все полетело. Теперь представьте себе состояние мира в то время и скажите: разве эти заповеди в устах галилеянина не устраивали Пилата? Ведь это за него, оккупанта, предписывалось молиться и любить его. И разве Пилат — человек государственный, знающий Восток и страну, которую он замирал, — не понимал, что это и есть та самая сила, на которую ему надлежит опереться? А что Христос именно такая сила — это он чувствовал. И смутно чувствовал он и другое: всякая кротость — страшная сила. Вы не помните, кто это сказал?

— Толстой, наверно?

— Нет. Достоевский. Он в последние годы много думал о Христе, только не знал, как же с ним поступить, и проделывал с ним разные опыты. То оставлял ему кротость и любовь, а бич и меч отбирал, и получался тогда у него Лев Николаевич — князь Мышкин — личность не только явно нежизненная, но и приносящая горе всем, кто к нему прикасался; потом возвращал ему меч, а все остальное отбрасывал — и получился Великий инквизитор, то есть Христос, казнящий Христа. Но Пилат в этом отношении был куда реалистичнее и Достоевского и его инквизитора: Христа он понимал таким, каким он был, и такой Христос ему подходил.

— А значит, революционную, разрушительную силу проповеди Христа он даже не подозревал?

— А кто тогда мог что подозревать? И много позже никто в ней не мог разобраться. Через сто лет Плиний Младший пытался было уяснить себе, что это такое, но ничего, кроме «дикого суеверия, доведенного до абсурда», в нем так и не увидел. Так он и написал императору Траяну. А Тацит выразился и того чище: «ненавистные за их мерзости люди, которых чернь назвала „христианами“». И дальше (дело идет о пожаре Рима): «они были уличены не столько в поджоге, сколько в ненависти к роду человеческому». Цитирую по памяти и поэтому не совсем точно. Так вот как думали и писали о христианах утонченнейшие, умнейшие, светлейшие умы человечества, и уже через много лет после казни Иисуса. Но Пилат так не думал. Он знал: этот бродячий проповедник Риму очень нужен. Его слушают, ему верят, за ним идут. Он способен создать новую космополитическую религию, приемлемую для власти. Ошибся он или нет — и до сих пор неясно. Мнения об этом разошлись резко. Так вот — вторая причина, но была еще и третья: какого дьявола они его пугают и шантажируют? Почему он должен исполнять роль синагогального палача? У них отнято *jus gladii*, право меча, так вот они хотят снести неудобную им голову его руками. Руками римского патриция! Да иди они к Вельзевулу! А сколько они ему гадали! Работы по строительству водопровода и то сорвали! Они ведь свиньи, им чистая вода ни к чему — они и в луже прополоскаются, а он им хотел провести иорданскую воду! Не дали! Подумать, изображение Цезаря, боевые римские знамена — и то не позволили внести в Иерусалим! Не позволили, и все! Даже ци-

ты пришлось убрать из Иродова дворца — на них, видите ли, портрет императора. И все им сходит с рук. И он же оказался виноват — не сумел к ним подойти. Да кто они такие? Рабы! Грязные восточные собаки! Лжецы и предатели! И вот он — сама персона императора, первый человек страны — должен по их приказу и показу казнить этого несчастного только потому, что он нужен ему, Пилату, и именно за это ненавистен им. И ничего не поделаешь — придется! Ах, если бы он был хотя бы Галлионом! Знаете, кто это? Родной брат Сенеки. Проконсул Ахайи. Его резиденция была в Коринфе, и вот что там однажды случилось. Это место я наизусть помню: «Напали иудеи единодушно на Павла и привели его перед судилищем, говоря, что он учит чтить Бога не по закону». Слышите, совсем как в истории с Христом. Но то был Галлион, и вот чем это окончилось. «Когда же Павел хотел говорить, Галлион сказал: «Иудеи, если бы была обида или злой умысел, то я бы слушал вас, но когда идет спор об учении, об именах и законе вашем, то разбирайтесь сами, я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. И все эллины, схватив ябедника — «начальника синагоги», били его перед судилищем, а Галлион не препятствовал». Великолепная сцена и великолепный патриций: «Разбирайтесь сами»; но вот так сказать Пилат не мог, не посмел просто. Палестина была не Греция. Иерусалим не Коринф многоколонный, а он не Галлион, а попросту Понтий Пилат, homo novus. И поэтому когда он услышал это страшно: «Если ты отпустишь его, ты не друг кесаря», он сдался, вымыл руки и казнил. Вот как мы с вами! Дорогой мой друг, — отец Андрей схватил Корнилова за плечо, — вот вы говорите: они вас вызвали и забрали у вас мою рукопись. Потому, мол, забрали, говорите вы, что не хотят они меня распинать. Значит, вы там с теми же пилатами говорили. С теми же несчастными пилатами, от которых ровно ничего не зависит. С убийцами и резниками во имя чужого Бога! С бедным Иудой, которого и простить даже невозможно, потому что не за что! Ибо не они все виноваты, а те ничтожества, что сидят за семью стенами и шают им шифровки: «Схвати, суди, казни!»

— Ох, — сказал Корнилов, морщась от дурноты и звенящей боли в висках, — о ком это вы?

Отец Андрей нависал над ним большой, костлявый, с сухим табачным лицом и совершенно круглыми дикими глазами, такими огромными, что в них хоть провалиться.

И опять Корнилову показалось, что все это сон, что сейчас что-то дрогнет, двинется, прорвется тончайшая радужная пелена, на которой все это изображено, и он проснется в своей постели. Стоит только захотеть.

— Про кого я говорю? — спросил отец Андрей грозно и тихо. — Вы понимаете про кого! Про этих двух. Про румяного карлика и полоумного Моисея. Про двух вурдалаков этих я говорю.

«Ну сон, — думал Корнилов, — ну скверный, пьяный сон, сейчас это прорвется, и я проснусь».

И пробормотал:

— Ну что вы говорите, отец Андрей, — какой такой карлик? Какой Моисей? Налейте-ка лучше мне еще.

И тут отец Андрей вдруг заплакал. Сел, уронил голову на руки и тихонечко, тихонечко, по-ребячески заплакал. Это окончательно привело Корнилова в себя. «Ничего, — подумал он, — дача пустая. Ночь. Никто ничего не слышит. Ничего!»

— Отец Андрей! — позвал он тихонько.

Поп вздохнул, медленно поднял голову и вдруг пристально посмотрел на Корнилова. Глаза у него опять были обычные, стариковские и только блестели от слез.

— Эх, милый вы мой, — сказал он горько и просто. — Сколько раз я эту историю рассказываю, никто ничего в ней не понимает. Ниче-

го! И вот вы тоже ничего не поняли. А ведь она проста. Очень проста. Но за нее умирают или предают! — Еще с минуту он с непередаваемой горькой улыбкой смотрел на Корнилова, а потом слегка вздохнул, подвинул графин и сказал: — Ну что ж! Верно, выпьем еще по одной! На прощанье!

На другой день Корнилов проснулся как от толчка, сел, огляделся. Черт! Так и есть, валялся поверх одеяла в башмаках! Позор, позор! Этак иногда рухал на койку («костями») Зыбин, а он его ругал: «Что за свинство, уж лень даже и разуться!» Да, но ведь утром Зыбин-то вскакивал как встрепанный, и бежал на раскопки, и весь день был на ногах, а он вот проснулся и сидит, и башка-то у него разламывается, и ничего-то ему на свете не надо, только бы никто не трогал. Часы, конечно, стали, но интересно, сколько все-таки сейчас времени? Через покорябанное целлулоидовое окошечко сочился желтоватый, как топленое молоко, вялый рассвет. Он встал, морщась и постанывая, дополз до цинкового бачка, жадно выпил одну за другой две кружки и снял клей с запекшихся губ. Как будто немного отлегло. Он сел на табуретку, и вдруг его как будто подбросило! Господи! Ведь он же пропал! Ведь он же попал в то самое, чего боялся! Что же такое было вчера? Этот проклятый поп провалился и вывалил все, что у него было в печенках! И теперь конец попу! И конец ему, если он его покроет! И Корнилову вдруг захотелось сразу же покончить со всем. Полностью рассчитаться. Прийти и сказать: вот вам еще мои показания — последние! Вот вам еще моя подпись — последняя! И оставьте меня за-ради Господа Бога в покое! «Политических разговоров не было!» Все! Не было их!

— И надо же,— сказал он громко,— и надо же было мне, дураку проклятому...

Он встал, умылся, почистил брюки, вылез на дорогу, встал на обочине и поднял руку.

Одна пятитонка прошла — не остановилась, другая легковушка прошла — не остановилась, третья замедлила было ход, но из нее вдруг выглянула пара таких развеселых пограничников, что он сразу же опустил руку.

«Видно уж, не судьба,— подумал он, снова карабкаясь в гору.— Ну и черт с ним. Понадобится — приедут. У них это не заржавеет».

Приехали они за ним, однако, только через неделю. В бодрое, ясное утро прискакал вестовой, соскочил с лошади, лихо козырнул и вручил ему повестку и раскрытую разносную книгу (был как раз обеденный перерыв, и он немного задержался в палатке). «Вот здесь», — сказал вестовой, подавая карандаш.

Он прочел:

«Гр. Корнилову В. М. Предлагается Вам явиться завтра к тов. Смотряеву по делу в комнату № в качестве В случае неявки подвергнетесь приводу».

Бумага была плотная, печать крупная, и вообще как будто и не повестка вовсе, а пригласительный билет на первомайскую трибуну.

— День, час и минуты. Сейчас одиннадцать,— сказал вестовой.

— Ясно,— ответил Корнилов, расписываясь.— Ясно, дорогой товарищ! Я всегда за полную ясность.— Он отдал книгу.— Скажите — явлюсь.

— Это вы сами уже скажете,— улыбнулся вестовой, дотронулся до козырька и вышел из палатки.

А в горах уже наступала полная осень. Дожди вдруг перестали, и необычайная краткость и ясность проступали в природе. Деревья,

вершины холмов, снежные шапки вставали четкие, чеканные, как бы врезанные в воздух. Но только там, вверху, над купами деревьев и сохранялась еще эта ясность. Внизу же все жухло, желтело и гнулось. Садовые мальвы, серые и шершавые, шуршали, терлись друг о друга, и на них было холодно глядеть. Корнилов согнул повестку, сунул ее в гимнастерку и пошел, пошел по холмам — настроение у него было опять отличное. Завтра же он покончит со всем этим и придет в музей за расчетом, и будьте тогда вы все прокляты — раскопки, пьяный поп, Зыбин, все! Вот только, правда, Дашу жалко немного. Но он представлял себе, как утром нежданно-негаданный заявится он к сестре в ее московскую квартиру на пятом этаже. «Принимаете, гражданка, ссыльнопоселенного? Что? Никак и не узнала?» И сестра обомлеет, вскрикнет: «Ой, какой же ты...» — и повиснет у него на шее. А он усмехнется мужественно и грубовато: «Что, плох, сестра? Ты спроси, как я ноги-то унес». И прямо подойдет к телефону обзванивать друзей. Он шел, думал об этом, улыбался, и тут вдруг его позвали. Он оглянулся. Около тополя стояла Даша и смотрела на него. Он радостно вскрикнул и подбежал к ней, и она сама собой потянулась к нему. Они стояли возле ограды дома Потапова. Вот сколько он прошагал по холмам и не заметил этого.

— Дашенька, Дашенька,— повторял он, задыхаясь от какой-то высокой и восторженной нежности, и вдруг схватил ее за руки и завертел.— Ну дайте же, дайте же на себя хорошенько посмотреть! Ну красавица же, ну полная же красавица! И одета как!

На Даше, верно, было коверкотовое пальто, голубой полушалок, а в руках сияющая, как черное зеркало, сумка. Она смутилась, а он вдруг схватил ее, смял, взъерошил и звонко расцеловал в обе щеки:

— Вот вам!

— А я ведь вечером собиралась к вам,— сказала она, осторожно освобождаясь.

— Зачем вечером, сейчас, сию минуту пойдем! — крикнул он.— Мне столько нужно вам сказать!

— И мне тоже,— улыбнулась она.

— Да? Вот бывают совпадения! Так идемте же, идемте!

— Нет, сейчас я не могу. Позже, после восьми, когда дядя уедет в город.

— А не обманете? — спросил он и снова поймал ее за руку.

— Нет, нет, не обману.— И она как-то по-новому улыбнулась.— Вы знаете, меня посылают в Москву.

— Да? — изумился и обрадовался он.— Вот это уж по-настоящему здорово! Я ведь тоже еду в Москву. Вот и будем жить вместе. Я вам все галереи покажу, в театры сходим! Отлично!

— Да! Мне там еще вступительные по мастерству надо будет сдать,— страдальчески взглянула она на него.

— Пустяки! Сдадите! — Ему действительно все сейчас казалось сущими пустяками.— Вот вечером я вам дам такой монолог Лауренсии из «Фуэнте овехуна», что они все закачаются.

— Нет, правда?

— Истинный святой крест,— выговорил он серьезно и перекрестился.

Она что-то хотела ему сказать, но вдруг шепнула: «Дядя!» — и отсочила.

Бригадир Потапов — сейчас в своем черном ватнике он очень походил на солидного жука-навозника, — серьезный и хмурый, зашел со стороны калитки и стал ее отпирать. За спиной у него был мешок, а в нем какие-то ящики.

— Он сегодня яблоки в Москву отправляет,— шепнула Даша.

«Проворен, дьявол», — подумал Корнилов и спросил:

— А как он сейчас вообще?

— Идемте, идемте, он опять сейчас выйдет,— шепнула Даша и

утатила его за кусты.— Вы это зря, Владимир Михайлович,— сказала она вдруг серьезно.

— Что зря?

— Да все зря! Ну что вы тогда мне наговорили? Ну помните? И все это ведь неправда.

— Да что неправда? Что, горе вы мое?

— Ну что дядю кто-то вызывал и что-то ему там предлагал, все это неправда.

— Здорово! — воскликнул он ошарашенно. — Это он вам так сказал?

— Он. И еще он сказал: «Чего он к Волчихе повадился? Ничего у нее там интересного нет. Одна голимая водка!» Эту Волчиху давно бы и из колхоза погнали, если бы не дядя. А она вот как...

В голосе Даши вдруг появились какие-то совершенно новые, по-таповские нотки. На него она не глядела.

— Ну а еще что ваш дядя говорит? — спросил Корнилов.

— А еще он говорит, что вы напрасно связались с этим попом. Он горький пьяница. Наперсный крест с себя пропил. Он всем говорит, что утопил в море, но это он врет — пропил! От него уж и родная дочь отказывалась. («Раз заставили», — ввернул он.) Да никто ее не заставил, а если он такой отец, ну так что ж? И правильно! Он и в тюрьме уже насиделся, и лес в Сибири валил. К нему участковый прошлый год каждый день приезжал на мотоцикле. Сегодня он здесь, а завтра там. Разве он вам товарищ?

— А кто же тогда мне, Дашенька, товарищ-то? — спросил Корнилов мирно. — Зыбин? Так его тоже посадили.

Она молчала. Он схватил ее за руку.

— Дашенька, милая, умница вы моя! Ну что вы мне сейчас наговорили? Что, сами-то вы в это верите? Нет ведь? Не верьте вы ради всего святого этому! Всего этого нет, нет. Ну просто совсем нет на свете. Это люди выдумали, это хмара, затмение, наваждение, стень какая-то, как моя нянька говорила. Дошла стень эта до вас — дядя к вам ее занес оттуда, — вот вы и заговорили на ее языке. А он ведь вам чужой, чужой! Что делать, бывают, бывают, наверно, в истории такие полосы. Планета наша окаянная, что ли, не туда заходит, или солнце начинает светить не так, не теми лучами — но вот сходят люди с ума, и все тут!

Она долго молчала, а потом сказала:

— И еще вам нужно скорее уезжать отсюда.

Он усмехнулся.

— Ну поедем, поедем! Поедем в Москву!

— Нет, не в Москву, — упрямо ответила она, — вам надо не в Москву, а подальше куда-нибудь, туда, где вас никто не знает.

Он посмотрел на нее.

— Вот это блеск! Это что же, опять дядя? Вы, значит, в Москву, а я от Москвы? Здорово! Ну скажите ему, чтоб не тревожился. Я вас там не побеспокою. Так и скажите.

Он повернулся, чтоб отойти, но она вдруг схватила его за руку, кажется, хотела что-то сказать, но слов у нее не нашлось, не нашлось и дыхания, и она только молча привалилась к нему лицом.

— Даша? — спросил он изумленно.

Она молчала.

— Даша.

Она вдруг взметнулась, неловко поцеловала его (так, что поцелуй пришелся в нос) и побежала.

— Даша! (Она все бежала.) Да Даша же! Ну хоть обернитесь!

Она обернулась.

— Я приду, я обязательно приду сегодня, Владимир Михайлович, ждите! Приду! — Она говорила почти шепотом, но он ясно слышал каждое ее слово.

Она не пришла. Он пролежал до рассвета с открытыми глазами, а утром встал и поплелся на шоссе голосовать. И только что сошел с холмов, как увидел Волчиху.

Она стояла на обочине опустив голову и как будто кого-то ждала. Он подошел поближе и тронул ее за плечо. Она подняла голову, посмотрела на него и туго улыбнулась.

— Вот Андрея Эрнестовича провожала, — сказала она, — вещички помогла ему снести.

— Куда ж он уехал? — спросил Корнилов («Вот еще новое дело»).

— Туда, на Север. На Белое море рыбу ловить. Ребята письмо отписали. Пишут, приезжай скорее. Пускай, пускай едет. Он это любит. Пускай. Я радая!

И отвернулась, чтоб не заплакать.

На этот раз в кабинете были оба его хозяина. Суровцев стоял возле открытого окна и глядел во двор. Смотряев растерянно листал какую-то папку и что-то разыскивал. Корнилов вошел. Смотряев отложил папку и, воскликнув что-то вроде «ну вот и он!», «ну и легко на помине!», пошел ему навстречу. В общем, все получилось так, как будто встретились старые добрые знакомые. Корнилов спросил, как отдыхалось в Крыму, Смотряев махнул рукой и ответил, что какой там, дьявол, Крым! Он сейчас из больницы, а не из Крыма. Да как же так? А вот так, очень просто — пожарился два дня на солнышке да и нажил ни больше ни меньше как катаральное воспаление легких. Месяц провалялся, а сейчас с утра температура нормальная, а часам к пяти тридцать семь и пять. Вот и губы обметало.

— Так ты, значит, на бюллетене? — забеспокоился Суровцев. — Ну так и надо лежать, а не ходить.

— Нельзя, — коротко вздохнул Смотряев, — дела! — Он кивнул головой на папку. — Вот берите-ка, Владимир Михайлович, стул, присаживайтесь, и будем разговаривать. — Он распахнул папку. — Ну, мы собираемся докладывать начальству и дело закрывать и только ждали вас. Вы принесли нам что-нибудь новое? Отлично! Давайте!

— Только имейте в виду, это уж последнее, — сказал Корнилов, доставая тетрадку, — он уехал.

— Уехал? — изумился Смотряев. — Как?

— Да вот так. Взял и уехал.

Смотряев помолчал, поглядел на него.

— Но это точно?

Корнилов пожал плечами.

— Во всяком случае, говорят, — я дважды заходил к нему, на дверях замок.

— Вот это здорово! — Смотряев раздраженно захлопнул папку. — Это называется доработались! А более точно ничего не знаете? Как, когда?

Корнилов опять демонстративно пожал плечами. Он чувствовал себя очень твердо.

Смотряев посидел, подумал, похмурился и сказал:

— Ну ладно, давайте, что вы принесли?

— Да черт с ним! Пусть бежит от греха подальше, — сказал вдруг Суровцев от окна. — Он все ведь, кажется, на Север, в Сибирь все укатывает? Ну и скатертью дорога! Там люди занятые, им не до анонимок! Что, не так разве? — обернулся он к Смотряеву.

— Да, с одной стороны, так, — недовольно поморщился он, — а с другой... Но вы хоть последний раз поговорили с ним начистоту?

— Даже и на даче у него был.

— О! Так! Значит, и с дочкой познакомились?

— Дочка сейчас в Сочи.

— А, вот почему старик разгулялся, — засмеялся Смотряев, — понятно! По-нят-но! Ну вы, значит, пили и опять весь вечер прого-

ворили о Господе Боге Иисусе Христе, иде же ни плача, ни воздыханий, так, что ли?

— О всяком мы говорили,— ответил Корнилов сухо, ему уж не терпелось скорее отвязаться.— О Севере он, например, рассказывал, как он там хирургом был, животы и пальцы резал.

— О! Вот это поп! А, Алеша? — весело обернулся Смотряев к Суровцеву.— Вот ведь образованные времена настали! А меня наш деревенский батюшка чуть не утопил. Не заткнул ноздри и р-раз головой в купель. Вытащил, а я уже пузыри пускаю. Бабка меня потом водкой оттирала.

— Наверно, поп-то того...— щелкнул себя по горлу Суровцев.

— Да уж, конечно, не без этого и поп, и отец крестный, и тетя, и дядя, вот и этот премудрый тоже, видать, пьяница хороший.

— Ну тут я с тобой никак не соглашусь,— сказал Суровцев.— Он человек ученый! Академия! Вон какую диссертацию отгрохал.

— Значит, был Христос? — спросил вдруг в упор Смотряев Корнилова.

— Был! — ответил Корнилов.

— Прекрасно! Алексей Дмитриевич,— повернулся он к Суровцеву,— это дело надо кончать.

— Безусловно,— коротко кивнул Суровцев.

— Кончать, но смотри, что получается — вот в этой папке пять докладных, и все они кончаются на один манер: «В течение всего разговора никаких антисоветских высказываний не допускал». А что значит «не допускал»? Просто уходил от разговора? Может быть, потому и не допускал, что не доверял, понял, что его выпрашивают,— ведь и такой вопрос возможен.

— Законен,— вставил Суровцев.

— Да, даже законен. Ведь время сейчас того... острое. Так с чего мы должны верить, что этот поп битый-перебитый, прошедший огонь, и воду, и медные трубы, и волчьи зубы, будет — на тебе пожалуйста! — вывертываться наизнанку. Он ведь не дурак! Он знает, что теперь за длинный язык бывает. Вот поэтому он его и держит за зубами. Пить-то пьет, конечно, а ум не пропивает! Что, может возникнуть такое сомнение? Может, конечно, и что мы на него ответим?

— Я говорил уж об этом Владимиру Михайловичу,— наклонил голову Суровцев.

— Ну и что? — Смотряев посмотрел на Корнилова.— Что вы на это ответили, Владимир Михайлович? Факты-то, факты-то где?

Корнилов открыл портфель и вынул тетрадку.

— Здесь я набросал все очень начерно,— сказал он,— все равно ведь переписывать. У вас для этого есть определенные формы.

— Нам важны не формы, а содержание,— сурово отрезал Смотряев и строго посмотрел на Корнилова.— Что у вас там есть? Показывайте.

«Считаю своим долгом поставить вас в известность о том, что 25 сентября сего года я согласно вашему поручению посетил Андрея Эрнестовича Куторгу. Куторга живет у своей дочери Марии Андреевны Шахворостовой, работающей агрономом колхоза «Горный гигант», в избе, расположенной на территории бригады колхоза. В назначенный день 25 сентября Куторга, зайдя ко мне, сказал, что ввиду того, что дочь его уехала в Сочи встречать мужа, он остался полным хозяином и поэтому желает пригласить меня к себе. Памятуя о поручении, данном вами, я поспешил согласиться. Мы отправились. В избе, предоставленной колхозом агроному Шахворостовой, три комнаты. Куторга занимает одну из них и прилегающую к ней зимнюю террасу. Пока он накрывал стол, я ознакомился с обстановкой квартиры. Мое внимание привлек книжный шкаф. В нем помимо беллетристики находилось собрание сочинений Ленина, «Капитал» Маркса и

«Вопросы ленинизма» товарища Сталина. Тут же были книги по медицине. Они, как объяснил мне тов. Куторга, составляют его личную собственность и доставлены им с Севера, где он одно время работал фельдшером в рыболовецкой артели. Об этом периоде своей жизни Куторга рассказывал охотно. Он вспомнил также, что ему приходилось работать с крупными специалистами и учеными.

— А фамилий ведь не спросили? — с упреком покачал головой Смотряев. — Что ж вы так? Материалы должны быть абсолютно точными и такими, чтоб их можно было в любую минуту проверить по документам.

«Куторга рассказал мне про своего отца, которого он назвал «старым шестидесятником», рассказывал, что он ездил к Чернышевскому за правдой. После этого Куторга поднял тост за советскую власть и лично за товарища Сталина. Он назвал товарища Сталина «великим кормчим, ведущим нас от победы к победе, к конечному торжеству коммунизма». Согласно заданию, полученному от вас, я выразил сомнение и предложил ему некоторые вопросы, на которые он ответил горячо и искренне, а меня назвал маловеком, недостойным той великой эпохи, в которую мы живем».

— И даже так? — остро взглянул на Корнилова Смотряев. — Ну и поп!

«После этого разговор перекинулся на ученые работы Куторги, и все остальное время мы проговорили о Христе. Как я мог уяснить себе, Куторга понимает его историю совершенно реалистически и отвергает всякую мистику. Я ни разу не услышал, чтоб он назвал Христа Богом или Богочеловеком. В этот раз я просидел у Куторги около шести часов, после чего он с фонарем проводил меня до дому. За верность всего изложенного ручаюсь. В. Корнилов».

— А почему «В. Корнилов»? Разве у вас нет псевдонима? — удивился Смотряев.

— Какого псевдонима? — Корнилов удивленно повернулся к Суворцеву, но тот только поморщился и отмахнулся.

— Ну ладно! — Смотряев поднял папку со стола и встал. — Хорошо! Этого, пожалуй, достаточно! Пройдемте к полковнику.

— Посидите здесь, я сейчас...

На какую-то долю секунды Корнилов увидел окно под волнистой кремовой занавеской, секретарский столик под окном, пестрый от всякой всячины — папок, цветов, карандашей, — и над ним что-то молодое, сверкающее, цветастое — голубая кофточка, золотые волосы, чистое лицо, черты тонкие и породистые, как в кинематографе. Потом дверь с мягким придыханием захлопнулась, и Корнилов остался один в коридоре. А коридор был узкий, темноватый, с тусклым поблескивающими зелеными стенами. В общем, ужасный казенный коридор, истинный символ тоски и ожидания. Но ее появление перекрывало все. И он вспомнил, что и тогда еще, во время его первого сидения и позорного провала, когда он подписал все что ни подсовывали, тоже присутствовала такая же женщина. Она легко заходила, легко уходила, заходила снова, спрашивала о чем-то следователя, тот весело отвечал, и они смеялись. Раз она принесла ему билеты на какой-то там знаменитый концерт, он сперва было отказался — «некогда», — но она сказала: «Ну как вам не совестно! Когда же вы это еще услышите?» — и он сейчас же послушно вынул бумажник. Вообще все между ними происходило так, будто подследственного Корнилова вообще нет, а следователь не следователь, а просто отличный человек Борис Ефимович и сослуживица Софа или Мура принесла ему из месткома билеты. А еще посидишь, послушаешь — и вообще покажется, что и следственного-то корпуса особого, секретного, чрезвычайного нет, а есть какое-то добродушнейшее штатское учрежденье с секретаршами, уборщицами, чаями, номерками ухода-прихода

и в нем, как и везде, дела идут, контора пишет, а местком распространяет билеты. Иначе на каком же основании, во имя какого права человеческого и божеского появилась здесь эта женщина? Что ей здесь нужно? Кто у нее здесь работает (работает!)? Муж? Брат? Женить? Ох, как ему хотелось поговорить с ней, но это было даже и физически невозможно — его бы попросту не услышали. И тогда он так и не сумел разрешить это невероятно безнравственное чудо ее появления тут. А потом пришло многое другое, и он совсем забыл о ней. И только сейчас вспомнил все опять. Такая женщина здесь! Ведь это же неспроста, не случайно, это значит, что все в порядке, люди, не шарахайтесь от нас! Вот местком, вот профком, вот стенгазета — все у нас так же, как и у вас.

Хорошо! А фальшивки? А то, что в ваших кабинетах по пять суток не дают спать? А карцеры, эти проклятые пеналы со сверкающими стенами, где вечно — день и ночь, день и ночь — лупят диким светом лампы с детскую голову так, что под конец начинают выходить из углов белые лошади, — это что?

Да что вы, что вы, граждане! Как вам не стыдно даже верить эдакому? Не будьте же обывателями! Мы мирные люди и после работы с семьями ходим в концертный зал слушать знаменитого скрипача. Вот познакомьтесь, пожалуйста, Валя, работница нашего отдела, жена моего товарища. Разве есть тут что-нибудь похожее на то, о чем вы говорите? Валя, а Валя! Ну видите, она же смеется! Что вы, что вы, граждане!

Дверь отворилась, и высунулась голова Смотряева.

— Полковник вас ждет, — сказал он ласково.

Кабинет был огромный, чистый, светлый, с высокими окнами на детский парк. Там играла музыка и кто-то радостно выкрикивал: «И-раз! И-два! Два притопа! Три прихлопа».

Полковник — был он маленьким, тщедушным человечком с бугристым нечистым лицом — сидел на другом конце кабинета за массивным столом. Другой стол — очень длинный и узкий — был приставлен перпендикулярно. По всей длине этого стола тянулась посуда — пепельницы, сухарницы, полоскательницы, вазы, большие овальные блюда; и стульев к нему было приставлено много. За стол тут могло усесться пятнадцать — двадцать человек. «Значит, и тут бывают производственные совещания», — подумал Корнилов.

— Я вас позову, — сказал негромко маленький полковник Смотряеву, и тот склонил голову и вышел.

Полковник подождал, пока закроется дверь, потом встал, взял со стола знакомую Корнилову зеленую папку и подошел к нему.

— Это все ваши показания? — спросил он, листая бумаги.

— Мои.

— И эти?

— И эти тоже.

— Отлично! И вот наконец ваше сегодняшнее показание, так? — Полковник быстро вынул лист и пробежал его глазами. — Значит, вы утверждаете, что этот самый Куторга — человек наш, советский?

Корнилов пожал плечами.

— Судя по его высказываниям, видимо, так.

— Видимо! — усмехнулся полковник. — «Видимо!» Не очень много это «видимо», конечно, стоит, но, во всяком случае, вы все высказывания его на эту тему отразили правильно? Ничего не упустили, не исказили? Нет? Отлично! Тогда я попрошу прочесть вот это. Печерк вам знаком? Кто это писал?

— Куторга?

— Куторга! Читайте!

Корнилов начал читать и после первых же строчек воскликнул:

— Да что он, с ума сошел, что ли?

— Читайте! — повторил полковник и положил на плечо Корнилова маленькую сухую руку. — Читайте!

«В дополнение к моему прежнему показанию могу добавить следующее. 15 сентября по вашему совету я зашел к гр. В. М. Корнилову и зазвал его к себе. Как и в прошлый раз, Корнилов, выпив, начал худить советскую власть и, в частности, Вождя. Так, касаясь известной речи Вождя «Самое дорогое на свете — человек», он оскорбительно смеялся, и иронизировал, и говорил: «Все это ерунда! Человек в нашей стране ценится меньше половой тряпки. Меня вот взяли и выбросили. И даже объяснить ничего не стали». Желая окончательно уяснить его настроение, я позволил себе несколько резких клеветнических высказываний. Гр. Корнилов выслушал их с полным одобрением, поддакивал и поощрял меня к дальнейшему. Из сего я мог заключить, что...» Корнилов хотел перевернуть лист, но полковник положил на него ладонь и спросил почти сочувственно:

— Ну что, довольно? Эх вы! Ведь он же вас погубил, подлец! Взял и снял с вас голову! Мы же теперь вас не выпустим отсюда!

— Да ведь это же вранье! — вскочил Корнилов.

— Сидите, сидите, — брезгливо махнул рукой полковник. И забрал папку. — Какое уж там вранье! И слушали, и поддакивали, и сами трепались.

— Да... — опять вскочил Корнилов.

— Ну хорошо! Ну дадим мы вам с этим типом очную ставку — и что будет? Ну? Да ровно ничего не будет, потому что все ведь правда. Ну с чего бы ему, скажите, на вас наговаривать? Вы что — передрались там спьяну? Или эту бабу не поделили? Зачем ему врать — объясните?

— Очень просто. Он думал, что я его продал, и вот... — Он осекся.

— Ну, ну, — мягко подстегнул его полковник. — Это уж что-то разумное. И вот он спешит вас опередить? Так? Допускаем. Очень, очень возможно. Но, значит, было в чем вам его продавать? Да? Ну, да или нет? (Корнилов молчал.) Да! Да! Да! Было, было, Владимир Михайлович, было, дорогой! А вы нам голову морочили. Да как! Ведь вот верно Хрипушин сказал, что такого попа, как вы его описали, сразу же надо в партию принимать! Мы вам верили, а вы нам врали! Вот такие, как вы, нечестные и малодушные, и сеют недоверие между советским обществом и органами! Учат никому не верить! Ну да что там говорить! Плохо, все очень плохо. — Полковник махнул рукой, взял папку и ушел к себе за стол. Вынул ручку и что-то отметил на листке календаря. Потом набрал какой-то номер и что-то приказал. А затем оба сидели и молчали. «Я верил вам, а вы мне лгали всю жизнь», — как ветерок пронеслось в голове Корнилова. Что это? Откуда? Чье? Железная горсть схватила и закогтила его сердце. Отпустила и снова сжала. И весь он был полон ржавого железа и тоски. И тоска эта была тоже железная, тупая, каменная. Не тоска даже, а просто страшная тяжесть. Все! Сейчас его заберут. Вот так для него и закончится воля — без обыска, без ордера и даже без ареста. Он полез в карман, нащупал семечки, погремел ими и чуть не заплакал. Всего час тому назад он купил эти семечки у старухи на мосту, но такое это уже было далекое, милое, потустороннее. Даша, яблочный сад, раскопки, эти семечки. Боже мой, Боже мой!

Постучали. «Да!» — сказал полковник. Вошли Смотряев и Хрипушин.

— Корнилов, выйдите в коридор, — спокойно приказал полковник и подождал, пока дверь не закрылась.

Он сидел час, другой, третий, на четвертый час двери отворились, и в коридор посыпали люди: военные — кто так, кто в ремнях; девушки-блондиночки с гривками, дамочки в пестрых кофточках; прогрохотали железом трое рабочих, и один на плече тащил лест-

ницу; затем куриными шажками прошелестела строгая благообразная старушка, такая, что ее хоть в президиум, хоть в храм Божий. На секунду перед Корниловым всплыло что-то, и он подумал, что да, женщин здесь не меньше, чем мужчин. Но теперь это уже не удивляло и не трогало. Сотрудники шли и шли — ему было неудобно торчать на дороге, он сидел у стены, — и все они как бы проходили через него. Он встал и ушел к окну. За окном был сосновый парк, играла музыка, кричали дети, скрипела карусель. Минут через пять коридор опустел, и он вернулся на свое место (это было жесткое плоское сиденье, вделанное в стену, чтоб сесть на него, его надо было оторвать от стены; когда человек вставал, оно с шумом захлопывалось). В это время и прошли мимо него трое: чахлый полковник и оба следователя. Полковник говорил что-то не вполне понятное.

«Нет, нет! — говорил он и махал ручкой. — Пороги для меня ничто! Я ее хоть двадцать раз перетащу. Вот мошка — это да!» Они ухнули в стеклянную дверь в конце коридора, и все опять замолкло (там, за стеклом, была лестница, и на лестничной клетке стоял часовой). Примерно через час коридор снова зашумел людьми и опять опустел, снова стояла тишина. Только иногда кто-нибудь из сотрудников, прижимая к груди бумаги, быстро проходил из одного кабинета в другой. Он сидел и смотрел на окно. Это было единственное живое пятно среди этих стен. Он видел, как оно мутнело: из белого и золотистого становилось голубым, потом синим, потом фиолетовым. Когда оно стало совсем черным, через стеклянную дверь вошла медлительная седая дама, похожая на Екатерину Великую, открыла что-то на стене и повернула выключатель. Зажглись голубые незабудки, и зеленые скользкие стены матово залоснились и полиловели. Еще через час кабинеты как по команде опять открылись и выпустили новый поток сотрудников. Но теперь это уже были плащи, коверкот и кожа. А навстречу этому потоку тек, шурша, другой — тоже резиновый, коверкотовый, кожаный. Снова открылись и закрылись кабинеты. Черное окно вдруг вспыхнуло ярким зеленым светом, и Корнилов увидел в нем сияющую призму фонаря и черно-синие чуткие острые листья тополей. Где-то пробило десять, потом одиннадцать. Потом наступила пустота, потом сразу пробило час. Он было вскочил, но его ударило в грудь, он ойкнул, сиденье под ним щелкнуло, и он сел на пол. Все тело разламывалось. Было больно дышать. Ведь он часов двенадцать просидел скрючившись. Он оперся рукой об пол, встал, растянулся, прижался к стене, откинул голову и распыл руки. Так он простоял минут десять, и его отпустило. Он отошел к окну и сел на подоконник. Часовой молча глядел на него через стеклянную дверь. Это был уже не тот часовой, того уже давно сменили. И скоро часовой, коридор, стеклянная дверь исчезли. Что-то большое, горячее, праздничное охватило Корнилова. Он стоял на эстраде, кругом горели прожектора, гремел оркестр, а кто-то махал руками и ликующе скандировал:

— Музыканты, музыку! Музыку и музыку! Музыканты, музыку!

И вдруг с него сорвали сон, как одеяло. Он увидел людей. Они опять шли по коридору одни туда, другие обратно, а над ним стоял Хрипушин и тряс его за плечо.

Со сна он еле шел. Шел и мотал головой, чтоб сбросить тяжесть, тело опять ломало. Хрипушин завел его в кабинет, усадил на диван. Посмотрел, покачал головой: «Хорош, ну хорош!» Позвонил куда-то и приказал принести чаю покрепче.

— Да ты что? — спросил он, наклонясь над ним как-то очень просто, по-человечески. — Заболел, что ли?

— Да нет, ничего.

— Что уж там ничего! Еле сидишь! Я же вижу!

Вошла буфетчица в чепчике, белая, скромная и опрятная, похо-

жая на Гретхен из старой немецкой книжки, поставила на край стола поднос и стала составлять стаканы.

— Вы оставьте,— сказал Хрипушин,— я потом вам позвоню. (Буфетчица кивнула головой и вышла.) Вот бери чай и пей. Пей. Пей, пей, он горячий. Совсем ведь зашелся.— Он прошелся по кабинету.— Умная у тебя голова, да дураку досталась! Что, не так? (Корнилов что-то хмыкнул.) Теперь видишь, кого ты хотел прикрыть? А? Отца благочинного! Вот он и покрыл тебя, как хороший боров паршивую свинью. Ты хотел выказать свое благородство, а ему на твое благородство, оказывается,— тьфу! Плюнуть и растереть. Эх вы! Ну что, скажи, ты хотел этим доказать, ну что?

— Да ничего я...

— Молчи, молчи, противно слушать. Все равно ничего умного не скажешь. Вот бери бутерброды, пей чай и закусывай. Эх и загремел бы ты сейчас лет так на восемь в Колыму, где закон — тайга, а прокурор — медведь. Слыхал такое? Ну вот, там бы на лесоповале услышал. Да ешь ты, ешь скорее. Еще писать будем.

— А что писать-то?

— Как что? — удивился Хрипушин.— Как что? Опровержение всем твоим показаниям. И признание. Простите, мол, меня, дурака. Кругом виноват, больше не повторится. Ну если и после этого ты слюкавишь! Ну если слюкавишь! Тогда уж лучше и в самом деле не живи на свете! Органы раз тебе простили, два простили, а на третий раз главу прочь! Вот так! Ну что ж ты чай-то не пьешь? Пей!

Корнилов поставил стакан.

— Потом допью, скажите, что писать?

Хрипушин неуверенно посмотрел на него.

— Да разве ты сейчас что дельное напишешь? Завтра уж придешь и напишешь. А пока вот тебе лист бумаги, садись к столу и пиши.— Он подумал.— Так! Пиши вот что: «Настоящим обязуюсь хранить, как государственную тайну, все разговоры, которые велись со мной сотрудниками НКВД. Об ответственности предупрежден». Подписывайся. Число. Запомни, в последний раз расписываешься своей фамилией. Теперь у тебя псевдоним будет. И знаешь какой? Овод. Видишь, какой псевдоним мы тебе выбрали. Героический! Народный! Имя великого революционера, вроде как Спартака. Такое имя заслужить надо! Это ведь тоже акт доверия! Давай пропуск подпишу. А теперь вот еще на той повестке распишись. Тоже: «Корнилов». Где-нибудь переночуешь и придешь завтра в одиннадцать как штук! Прямо к полковнику. Вот увидишь, какой это человек. Честно будешь работать — много от него почерпнешь. Он ученых любит. Ну, спокойной ночи. Иди!

Но когда Корнилов взялся за ручку двери, он остановил его опять.

— Ты вот что,— сказал он серьезно, подходя.— Ты в самом деле не вздумай теперь еще финтить. Ведь к кому тебя полковник пошлет, ты не знаешь, так? А без проверки он тебя теперь не оставит. Он десять раз тебя проверит, понял?

— Понял,— ответил Корнилов.

— Ну вот, не прошибись, чтоб опять не вышло такого же! Больше пощады не будет! Иди! Спокойной тебе ночи!

«Овод,— подумал Корнилов, спускаясь с лестницы,— отчего я его сегодня уж вспоминал? Что такое? Вот тут и вспоминал. Ах да, да. «Я верил вам, как Богу, а вы мне лгали всю жизнь». Да, да! Вот это самое, я верил вам, а вы мне лгали».

Он лежал лицом в подушку, и ему было все равно и на все наплевать. Всю дорогу он сидел скорчившись в уголке автобуса и думал: только бы добраться до гор, до палатки, до койки и рухнуть костью. Там у него есть еще бутылка водки. И чтоб никто не при-

ходил, ничего ему не говорил, ни о чем не спрашивал ни сегодня, ни завтра утром, никогда. Ему ничего и никого не было жалко, он ни в чем не раскаивался и ничего не хотел. Только покоя! Только покоя! Его как будто бы уже обняло само небытие — холодные, спокойные волны его. Недаром же Стикс — не пропасть, не гроб, не яма, а просто-напросто свинцовая, серая, текучая река. Он был уверен, что окончательно погубил Зыбина — дал такую бумагу, а потом, после правки полковника, переписал еще раз и подгонял под материалы дела. Но и на это ему было наплевать. Он понимал и то, что теперь его собственный конец не за горами, но и это совершенно его не трогало. Может быть, потому, что болевые способности исчерпались, может быть, потому, что это было неизбежно, как смерть, а кто же думает о смерти?

Пошел дождь, перестал и снова пошел — хлесткий, мелкий, дробный. Под этот дождь он и заснул. Проснулся среди ночи и увидел, что около двери кто-то стоит, но ему никого было не надо, и он затаился — опять закрыл глаза и задышал тихо и ровно, как во сне. И верно заснул. И опять сон был тихий, без видений. Проснулся он уже утром. В целлулоидовое желтоватое окно жгуче било солнце. Перед экспедиционными ящиками, положенными друг на друга, стояла Даша, смотрелась в зеркальце для бритвы и закалывала волосы. Рот ее был полон шпилек. Аккуратно сложенное пальто лежало рядом на другом ящике. Она увидела в зеркало, что он проснулся, и сказала, не поворачиваясь:

— Доброе утро!

Он вскочил с постели и сразу же рухнул опять. Он ничего не понимал: зачем тут Даша? откуда? Но почему-то очень испугался.

— Как вы здесь очутились, Даша? — спросил он.

Она повернулась к нему.

— Я тут и ночевала, — сказала она спокойно, — вот тут спала. — И она кивнула на циновку в углу.

— А, — сказал он бессмысленно. — А!

Сейчас она казалась ему такой молодой и красивой, что прямо-таки обжигала глаза.

— Я вошла, вижу, вы спите, хотела уйти, а вы забредили, застонали, подошла, пощупала лоб, вы весь мокрый. Я подумала: вот случится с вами что-нибудь, и воды подать даже некому.

— А, — сказал он, — а!

Он смотрел на нее и все не мог сообразить, что ему сейчас надо делать или говорить. Он не знал даже, рад он ей или нет.

— А как же дядя? — спросил он бессмысленно.

Она нахмурилась.

— Уехал, — ответила она не сразу.

— Так, — сказал он, — так, значит, я вчера бредил? А что в бреду говорил, не помните?

— Кричали на кого-то и все время «плохо мне, плохо». Два раза дядю помянули, а перед утром затихли совсем. Тут я и заснула.

Он сделал какое-то движение.

— Нет-нет, лежите, лежите. Я сейчас за врачом сбегаю.

Он послушно вытянулся опять. «Что же теперь делать?» — подумал он.

— А куда дядя уехал? — спросил он. (Она покачала головой.) — Что, не знаете? Как же вы тогда к нему ехали?

— Я к вам приехала, — сказала она и взглянула ему прямо в глаза, — попрощаться. У меня уже билет.

С него как будто свалилась огромная тяжесть. И в то же время стало очень, очень печально. «Ну, значит, все, — подумал он. — Она уедет, и ни о чем не придется ей рассказывать».

— Ой, до чего же это здорово! — сказал он с фальшивым оживлением. — Вот вы и вырвались от всех этих дядей Петей и Волчих.

Увидите Москву. Будете учиться. Актрисой станете. Ой, как это здорово.

Она внимательно смотрела на него, а глаза у нее были полны слез.

— Вы правда так думаете? — спросила она тихо.

— Ну конечно! — воскликнул он невесело.

— А вы как? — спросила она и вдруг сказала тихо и решительно: — Я же вас люблю, Владимир Михайлович.

«Ну вот и пришла расплата, — подумал он, — и без промедления ведь пришла, в те же сутки. И нечего уже крутиться и гадать, так или не так. Это все».

— Подойдите-ка сюда, Даша, — сказал он. Он хотел сесть, но только оторвал голову от подушки, как опять страшная головная боль свалила его. Все вдруг задрожало, заколебалось, предметы сошли со своих осей и заструились, как вода, заломило и закислило в висках. И он сразу сделался мокрым от пота. На секунду он даже потерял сознание и пришел в себя от голоса Даши. Она полотенцем обтирала его лоб и чуть не плакала.

— Боже мой, да что это они с вами сделали? — говорила она. — Как же я вас оставлю?.. Надо же доктора вызвать!

— Ничего не надо, — сказал он, морщась от дурноты, — никуда не ходите. Мне тоже кое-что надо вам сказать. Сядьте вот.

Она села.

«Да ну же, ну же, — толкал его кто-то злой и трезвый, притаившийся в нем. — Сейчас же говори все, все. Не скажешь сейчас — уже никогда не скажешь. Ты же знаешь себя, слабак». Он посмотрел на нее и поскорее отвел глаза — не мог! Он глядел на нее, такую хорошую, покорную, целиком принадлежащую ему, и не мог ничего сказать.

«Ну ладно, — подумал он, — ну, положим, ты смолчишь. А вот через два дня тебя вызовут и спросят именно о ней, и как ты будешь вертеться? Говори все сейчас же! Ну, ну, ну!»

— Меня нельзя вам любить, — сказал он сухо, — я не тот человек.

— Неправда, — сказала она. — Вы тот, тот, тот. Это я не та, помните, что я вам наговорила! И еще обманула, не пришла! А вы тот, тот, тот! А все это, — она кивнула на пустую бутылку от водки, — из-за вашей неустроенности. Вас очень больно и ни за что обидели, вот вы... А со мной вы не будете пить. Вот увидите, не будете, вам самому не захочется.

Она выпалила все это разом, не останавливаясь, и он понял: она именно с этим, вот с такими именно словами и шла к нему.

— Даша, милая, я ведь не об этом, — сказал он, морщась.

— А о чем же? — спросила она.

Он промолчал и только вздохнул.

«Ну вот и все, — подумал он, — и конец! Больше я ей уже ничего не скажу. Пропустил нужную минуту».

— Вот меня интересует одна вещь, — сказал он задумчиво. — Откуда берется страх? Не шкурный, а другой. Ведь он ни от чего не зависит. Ни от разума, ни от характера — ни от чего! Ну когда человек дорожит чем-нибудь и его пугают, что вот сейчас придут и заберут, то понятно, чего он пугается. А если он уже ничем не дорожит, тогда что? Тогда почему он боится? Чего?

Она вдруг поднялась с места и набросила косынку.

— Я пошла за доктором, — сказала она, — лежите, Владимир Михайлович, я мигом вернусь. Только не вставайте, пожалуйста.

Она хотела подняться, но он взял ее за руку и посадил опять.

— Почему вы не пришли тогда? — спросил он сурово.

— Я...

Она помолчала, потом тихо сказала:

— Ничего. Это моя вина. Пусть.

— Что пусть? — огрызнулся он.

— Пусть все будет как было. Все равно!

— Да что пусть, Даша? Что было? О чем это вы?

— Я знаю, вы в тот вечер пошли к Волчихе, и она вас напоила,— сказала она тихо.

— Ах вот вы о чем,— горестно усмехнулся он,— да, да, да, я был у Волчихи, и она меня напоила. И не только тогда, вот в чем беда! И я встретил там отца Андрея Куторгу. Бывшего отца благочинного. Вы не знали его?

— Знала.

— Вот и я узнал. И как еще узнал! Все его лекции о Христе прослушал. О Христе и двух учениках. Один предал явно, другой тайно и так ловко, черт, подстроил, что даже имя его до сих пор неизвестно. Первый — явный, Иуда,— повесился, а вот что со вторым было — никто не знает. И кто он — тоже не знает. Ох, сколько бы я дал, чтобы узнать!

Он говорил и улыбался, и лицо у него было тихое и задумчивое.

— Зачем это вам? — спросила Даша испуганно.

— А просто для интереса. Ах, если бы узнать, как он жил дальше, а ведь ничего, наверно, жил! По-божески, остепенился, женился, забыл о своем учителе. Еще, наверно, его во всем обвинял. Говорил небось: «Он и меня едва не погубил. Так ему и надо!» А может быть, наоборот, ходил чуть не в мучениках. Называл учителя «равви», «отче». «Когда мы однажды шли с равви по Галилее...», «и однажды отче сказал мне...» Так, наверно, он говорил. А вешаться ему было незачем, он ведь тайный! Это ведь явные вешаются, а тайные нет, они живут! Так вот меня завтра призовут и спросят о Зыбине — спросят: что вы о нем знаете? И я отвечу: «Ничего не знаю хорошего, кроме плохого. Он меня чуть не погубил». «Отлично. Напишите и распишитесь». Напишу и распишусь.

— Ой, что вы! — вскрикнула Даша.— Как же так?

— А что? — спросил он.

— Так ведь он...

— А так ему и надо. Да, да, он и меня едва не погубил. А впрочем, чепуха, он — сегодня, я — завтра. Какая разница? Ну так что? Что вы мне сейчас говорили?

Она потупилась и молчала.

— Ах, ничего.

— Я люблю вас, Владимир Михайлович,— сказала она и обняла его.— Люблю, люблю! — Она повторила это как в бреду. Видимо, он тоже заразил ее безумьем.

— Да? Великолепно.— Он грубо засмеялся, какой-то бесшабашный веселый черт играл в нем, и ему было все уже легко и на всех наплевать.— Так-таки любите? Здорово! А знаете, говорят, что у того, второго, не явного предателя, была любящая жена. Наверно, так оно и было. Но вот мне интересно, рассказал он ей что-нибудь или нет? Как вы думаете, Даша? Наверно, рассказал, и та сказала: «Слушай, забудь об этом! Нельзя быть таким чутким и мучить себя всю жизнь какой-то чепухой». Вот как сказала она ему, наверно, та, любящая. Потому что любовь, Дашенька, это все-таки, если посмотреть с этой стороны,— преподлейшая штука!

Он умер и сейчас же открыл глаза. Но был он уже мертвец и глядел как мертвец.

(Продолжение следует)

ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫХ



НИКОГДА НЕ РАССТАТЬСЯ



Так явственно со мною говорят
Умершие, с такою полной силой,
Что мне нелепым кажется обряд
Прощания с оплаканной могилой.

Мертвец — он, как и я, уснул, и встал,
И проводил ушедших добрым взглядом...
Пока я жив, никто не умирал.
Умершие живут со мною рядом.



Мы встретимся, мама, на той вон исхоженной улице,
Куда ты так часто ступала ступою небесной,
И мы не обнимемся даже и не поцелуемся,
И мы обойдемся с тобой без взаимных приветствий.

Но «мама» шепну я — и вспыхнет жар-птицею дерево,
И как бы в упор на меня изольется сиянье,
И мигом вернется ко мне все, что было потеряно, —
Потеряно все, но осталось вот это свиданье...

Ах, мама, меня ты коснулась ладошкой убогою,
Зачем же ты в смерть закатилась, как серый клубочек,
В какую-то даль, где лицо сторожит тебя Богово,
Но все же тебя отличает от мертвых от прочих.

Но все же тебя выпускает из склепа подземного,
Чтобы ты спросила, как живы-здоровы соседи,
И сына увидела — спасшегося и блаженного;
Он тем и спасен, что тебя воскрешает из смерти.



О как мне хочется жить! Даже малым мышонком
Жил бы я век и слезами кропил свою норку,
И разрывал на груди от восторга свою рубашонку,
И осторожно жевал прошлогоднюю корку.

О как мне хочется жить, даже малой букашкой!
Может, забытое солнце букашкой зовется?
Нет у букашки рубашки, душа нараспашку,
Солнце горит, и букашка садится на солнце.

Пусть не букашкой буду — роди меня мошкой!
Как бы мне мошкой вольно в просторе леталось!
Дай погулять мне по свету еще хоть немножко,
Дай погулять мне по свету хоть самую малость.

Пусть и не мошкой даже, а блошкой, тлѐю.
Белого света хочу я чуть слышно касаться,
Чтоб никогда не расстаться с родимой землею,
С домом родимым моим никогда не расстаться...

* * *

Сколько лет нам, Господь?.. Век за веком с тобой мы стареем..
Помню, как на рассвете на въезде в Иерусалим
Я беседовал долго со странствующим иудеем,
А потом оказалось — беседовал с Богом самим.

Это было давно — я тогда был подростком безусым,
Был простым пастухом и овец по нагорьям пас,
И таким мне казалось прекрасным лицо Иисуса,
Что не мог отвести от него я восторженных глаз.

А потом до меня доходили тревожные вести,
Что распят мой Господь, обучавший весь мир доброте,
Но из мертвых воскрес — и опять во вселенной мы вместе,
Те же камни и тропы и овцы на взгорьях все те.

Вот и стали мы оба с тобой, мой Господь, стариками,
Мы познали судьбу, мы в гробу побывали не раз
И устало садимся на тот же пастушеский камень,
И с тебя не свожу я, как прежде, восторженных глаз.



ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ

★

НА МАЯК

Роман

Знакомство с творчеством Вирджинии Вулф (1882—1941) в нашей стране происходит с досадным опозданием, хотя литература XX века считает эту английскую писательницу своим классиком. Лишь в 1984 году журнал «Иностранная литература» напечатал ее роман «Миссис Дэллоуэй». Написанный в 1925 году, роман этот вызвал большой интерес и у наших читателей и у критики. Не меньшим успехом пользовался и томик «малой» прозы Вирджинии Вулф, вышедший в 1986 году в серии Приложение к журналу «Иностранная литература»: в него вошли повесть «Флаш» и рассказы.

До этих публикаций читатель получал информацию о Вирджинии Вулф, кстати, далеко не всегда истинную, из вторых рук. Из-за отсутствия русских текстов он был вынужден соглашаться, возможно, подчас и недоумевая, с суждением иных критиков, которые называли Вирджинию Вулф модернисткой, говорили, что ее проза «далека от реальности», а она сама «аполитична» и «до крайности субъективна».

Но вот «Миссис Дэллоуэй», «Флаш», замечательные рассказы «Струнный квартет», «Ненаписанный роман», «Фазанья охота» и другие сделали фактом нашей культуры. И сразу же стало ясно, что их создательница — мастер и психологического рисунка и слова, что она прекрасный знаток классической традиции, причем не только западной, но и русской, о чем совершенно определенно говорят ее статьи о Чехове, Толстом, Тургеневе. Но, что, пожалуй, еще интереснее нам, она во многом и их ученица.

Книги Вирджинии Вулф стоят у истоков литературы нашего столетия, а сама их создательница принадлежит к тем художникам, которые своими поисками, своими художественными, идейными и эстетическими находками определили развитие прозы XX века. Но, с другой стороны, проза Вирджинии Вулф отнюдь не «литературный памятник». Ее книги, созданные в 20—30-е годы, до сих пор созвучны нам, людям, живущим в конце XX столетия. Проблемы женской судьбы, осмысленные в социальном и философском контексте, поиски женщиной своего места в семье, обществе, проблемы брака, воспитания детей, взаимоотношений с мужчиной, вечного единорборства и желанного, но такого трудного союза с ним, жажда самовыражения и прелатствия на этом пути — разве эти темы, к которым Вирджиния Вулф постоянно обращалась в своих романах, повестях, рассказах, перестали интересовать нас?

Об этом и ее роман «На маяк» (1927). Читателям, наверное, будет любопытно узнать, что «На маяк» — произведение отчасти автобиографическое. В мистере Рэмзи, интеллектуале, профессоре нескольких университетов, семейном геспоте, фигуре нервической, раздражительной, легко узнается отец писательницы Лесли Стивен — человек, весьма заметный в английском обществе рубежа веков, видный филолог, литературовед. Да и весь уклад семьи Рэмзи с бесчисленными друзьями и знакомыми, гостящими в доме, многолюдными и шумными трапезами, изысканными литературными беседами напоминал атмосферу, царившую в доме Вирджинии Вулф.

И в то же время «На маяк» — книга категорически необычная. В сущности, это и не роман в традиционном смысле слова: действие практически отсутствует, нет и полноценного, нормального героя, о судьбе которого мог бы вестись обстоятельный, неспешный рассказ, нет и обычного сюжета, хотя есть свой, особый и очень крепко сбитый. Скорее всего Вирджиния Вулф изображает идею, настроение, духовный опыт.

В этой небольшой по объему вещи запечатлен достаточно значительный по своей идейной нагруженности временной период. В первой части описывается вечер сентябрьского дня за несколько лет до войны, но уже в третьей части писательница переносит нас в послевоенные годы, в середину 20-х годов. Всего десятилетие — но в нем первая мировая война, ставшая историческим рубежом, разделившая мир на две эпохи: ту, что приходилась на довоенное время, и другую — послевоенную. Молодые люди, которые, по счастью, вышли живыми из окопов первой мировой войны, оказались людьми уже другого исторического времени. Опустошенность, кровоточащая рана сомнения, разлад с миром, внутренний разлад — следствия и приметы любой социальной ломки, которая касается не только тех, кто стреляет и убивает, но и тех, кто формируется при таких исторических катаклизмах. Треснутые души детей миссис Рэмзи Кэм и Джеймса, неприкаянность, вырванность из привычных связей, правильной, упорядоченной жизни Пола, такого блестящего в начале книги, — воплощение исторического катаклизма, духовно важное всем, кто становится современником подобных социальных сдвигов.

Может быть, из-за этого опыта в мире Вирджинии Вулф все так зыбко, ни один характер, ни одна вещь не пишутся как данность. Подобная художественно-философская позиция продиктовала и заглавие — «На маяк». Миссис Рэмзи, ее дети, муж, гости собираются съездить на маяк, находящийся неподалеку на острове. Поездка, однако, все время откладывается и происходит в самом конце книги, через много лет, когда миссис Рэмзи, как и некоторых ее детей, уже давно нет в живых. Но маяк — лишь формально сюжетный остов повествования. В первую очередь маяк для Вирджинии Вулф — символ сути познания. Неравномерные по силе и яркости лучи, которые маяк направляет в мир, озаряют то один, то другой предмет — и вдруг знакомая фигура, привычное лицо видятся иначе. Из-за этого света, существующего в мире независимо от людей, все мгновенно может сдвинуться с места, изменить очертания, приоткрыть суть.

Мы знакомимся с этим романом через шестьдесят с лишним лет после его создания. Может быть, время этой книги прошло? Но в том-то и обаяние и ценность классики, что она навсегда и обладает удивительной способностью быть созвучной другим эпохам. Сегодня нам важнее общечеловеческий, так сказать, мифологический план этой прозы, на котором и «действуют» настоящие герои книги — дом, женщина, мужчина, творчество.

Одна половина существа Вирджинии Вулф, та, которая принадлежала английской культуре рубежа веков и даже викторианской эпохе, высоко ценила порядок, размеренность, надежность, терпеть не могла беспорядка и разрухи, в чем бы они ни проявлялись. Другая половина ее «я» была в XX веке с его революциями, первой мировой войной, учениями Фрейда и Юнга. И эта половина, отчасти даже бессознательно, восстала против упорядоченности.

Из этой психологической, но и исторической антиномии сознания Вирджинии Вулф родились две ее героини — миссис Рэмзи и художница Лили Бриско. Вирджиния Вулф, столь поэтично изобразившая на страницах своей книги Дом, тем не менее прекрасно отдала себе отчет, что дни Дома сочтены, что на смену любящей, душевно щедрой, жертвенной миссис Рэмзи идет угловатая, эмансипированная Лили Бриско, как, впрочем, и дочь самой миссис Рэмзи Кэм. Иная, центробежная сила руководит поступками этих женщин — прочь от дома, в большой мир. Их идеал уже не семья, не дети. Лили Бриско, несмотря на многие усилия миссис Рэмзи, так и не выходит замуж, но, впрочем, не слишком сокрушается по этому поводу, скорее наоборот, видит в своей независимости явные преимущества.

Она художница, ей подвластна сила, способная вернуть гармонию в мир рушащихся связей. Линии ее полотна могут запечатлеть истину, доступную немногим. Отчасти образ Лили Бриско автобиографический: та же, что и у Вирджинии Вулф, требовательность к своему искусству, то же трудолюбие, те же высокие нравственные требования к творчеству, тот же бесконечный поиск самой верной линии и само-

го верного слова, наконец, та же безграничная усталость, когда полотно или книга закончены.

Смерть миссис Рэмзи в середине книги и последовавшее за ней увядание дома символичны. Такие, как Лили Бриско, принесли с собой в искусство целый новый мир женского видения, женского лиризма. В русской словесности это творчество Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Ну а английскую литературы XX века вообще нельзя представить без армии женщин — романисток, поэтесс, эссеисток: Элизабет Боуэн, Сьюзен Хилл, Айрис Мердок, Маргарет Дрэбл, Женнифер Джонстон, Пенелопы Мортимер, Берил Бейнбридж, Эгны О'Брайен, Мюриэл Спарк.

Правда, рождение нового типа женщины и, соответственно, нового типа отношений шло рука об руку не только с находками, но и с потерями, которые Вирджиния Вулф интуитивно ощущала, что и дала нам почувствовать в своей книге. Мы же, люди конца XX века, столкнулись с ними уже в полной мере.

Парадокс, но и упрямый, доказанный временем и жизнью факт, что чем активнее становилось женское движение, чем больше лозунгов суфражисток, феминисток, хиппи, «новых левых», «металлистов» оказывалось претворенными в жизнь, чем выше были статистические показатели, по которым число женщин — инженеров, ученых, администраторов, директоров предприятий, врачей, рельсопрокладчиц и т. д. приближалось к числу мужчин, занятых в тех же областях, тем более блеклым, невыразительным становился образ женщины — хранительницы домашнего очага, «бегуни».

Что делать? Этот извечный наш вопрос звучит уже гавно. Иные социологи, критики, писатели знают рецепт: в срочном порядке возродить Дом, зажечь в нем спасительное пламя домашнего очага, оградить нашу женщину от «чуждых влияний», убрать из нашего социально-духовного обращения «вседозволенность», откататься от чужой моды. Но можно ли повернуть историю вспять и при этом не понести еще больших нравственных потерь?

Книга Вирджинии Вулф — гимн-эпитафия дому, женщине — матери, жене и тем добродетелям, которые делают жизнь людей полноценной и радостной. Сцена в первой части романа, в которой миссис Рэмзи читает маленькому Джеймсу сказку у окна, — одно из самых высоких изображений материнской любви в литературе XX века. «На маяк» Вирджинии Вулф — книга-предупреждение наших сегодняшних женских судеб, а потому отчасти и предостережение: ведь Лили Бриско, конечно, не случайно остается без семьи, да и семья детей самой миссис Рэмзи рушатся под натиском мира. В книге Вирджинии Вулф мы не найдем ответа на вопрос «что делать?». Да и сама Вирджиния Вулф в начале XX века не представляла себе, какими драматическими могут стать судьбы женщин, какими сокрушительными будут духовные потери. Но эта писательница была наделена гаром слышать внутренние голоса своих героинь, а потому вслушаемся в ее заветы. Может быть, они помогут нам, растерявшимся в нашем светлом веке, строить пока хотя бы наши внутренние дома. А там, глядишь, начнет расти и здание общего дома. Вирджиния Вулф говорила, что женщине надо быть мужественной, помнить, что брак — это каждодневный духовный подвиг, что отношения супругов очень хрупкие, а потому надо учиться взаимной терпимости. И еще: хотя XX век — век интеллекта, Вирджиния Вулф предостерегала от восприятия интеллекта как панацеи. Чаще гораздо более действенной может стать красота. Недаром последнее слово в книге принадлежит художнице Лили Бриско. Впрочем, и это не совсем так. Последнее слово в этом романе принадлежит его главному герою — дому. Ведь только когда Лили Бриско обрела в своих воспоминаниях ушедшую из жизни миссис Рэмзи и все то, что та собой олицетворяла, она смогла завершить полотно. Что ж, вслушаемся в этот наказ.

Хотя современная женщина большую часть времени проводит вне дома, важно, чтобы фундамент дома был крепок, тогда есть уверенность, что женщина принесет в большой мир свое творчество, свои исконные женские добродетели, особую сосредоточенность на проблемах нравственности, природное противостояние насилию, умение обуздывать мужскую агрессивность, мягкость, лиризм, интуицию. Ну а большой мир, он только от этого выиграет, став терпимее и теплее.

I

ОКНО

1

— **Д**а, непременно, если завтра погода будет хорошая, — сказала миссис Рэмзи. — Только уж встать придется пораньше, — прибавила она.

Ее сына эти слова невероятно обрадовали, будто экспедиция твердо назначена и чудо, которого он ждал, кажется, целую вечность, теперь вот-вот, после ночной темноты и дневного пути по воде, наконец совершится. Принадлежит уже в свои шесть лет к славному цеху тех, кто не раскладывает ощущений по полочкам, для кого настоящее сызмальства тронута тенью нависшего будущего и с первых дней каждый миг задержан и выделен, озарен или отуманен внезапным поворотом чувства, Джеймс Рэмзи, сидя на полу и вырезая картинки из иллюстрированного каталога Офицерского магазина, при словах матери наделил изображение ледника небесным блаженством. Ледник оправился в счастье. Тачка, газонокосилка, плеск поседевших, ждущих дождя тополей, грай грачей, шелест швабр и платьев — все это различалось и преображалось у него в голове, уже с помощью кода и тайнописи, тогда как, воплощенная суровость на вид, он так строго поглядывал из-под высокого лба свирепыми, безупречно честными голубыми глазами на слабости человечества, что мать, следившая за аккуратным продвижением ножниц, воображала его вершителем правосудия в горностаях и пурпуре либо вдохновителем важных и неумолимых государственных перемен.

— Да, но только, — сказал его отец, остановясь под окном гостиной, — погода будет плохая.

Окажись под рукой топор, кочерга или другое оружие, каким бы можно пробить отцовскую грудь, Джеймс бы его прикончил на месте. Так выводило детей из себя само присутствие мистера Рэмзи; когда он так вот стоял, узкий, как нож, острый, как лезвие, и саркастически усмехался, не только довольный тем, что огорчил сына и выставил в глупом свете жену, которая в сто тысяч раз его во всех отношениях лучше (думал Джеймс), но и тайно гордясь непогрешимостью своих умозаключений. Он сказал сущую правду. Он всегда говорил правду. На неправду он был не способен; никогда не подтасовывал фактов; ни единого слова неприятного не мог опустить ради пользы или удовольствия любого из смертных, тем паче ради детей, которые, плоть от плоти его, с младых ногтей обязаны были помнить, что жизнь — вещь нештучная; факты неумолимы; и путь к той обетованной стране, где гаснут лучезарнейшие мечты и утлые челны гибнут во мгле (мистер Рэмзи распрямылся и маленькими сощуренными голубыми глазами обшаривал горизонт), — путь этот прежде всего требует мужества, правдолюбия, выдержки.

— Но погода еще, может быть, будет хорошая — я надеюсь, она будет хорошая, — сказала миссис Рэмзи и несколько нервно повернула красно-бурый чулок, который вязала. Если она с ним управится к завтраму, если они в конце концов выберутся на маяк, она подарит чулки смотрителю для сынишки с туберкулезом бедра; прибавит еще газет, табаку, да и мало ли что еще тут валяется, в общем-то, без толку, дом захламляет, и отправит беднягам, которым, наконец, до смерти надоело день-денской только и делать что начищать фонарь, поправлять фатиль и копошиться в крохотном садике, — пусть хоть немного порадуются. Да, вот какво это — месяц, а то и дольше быть отрезанным на скале с теннисную площадку размером? Не получать ни писем, ни газет, не видеть живой души; женатому — не видеть жену, не знать про детей, может, они заболели, руки ноги переломали; день за днем смотреть на эти жуткие волны, а когда поднимается буря — все окна в пене, и птицы насмерть разбиваются о фонарь, и башню качает, и носа наружу не высунешь, не то тебя смоеет. Вот какво это? Как бы вам такое понравилось? — спрашивала она, адресуясь в основном к дочерям. И совсем по-другому добавляла, что надо, чем можно, стараться им помочь.

— Резкий западный ветер, — сказал атеист Тэнсли, сопровождавший мистера Рэмзи на вечерней прогулке туда-сюда, туда-сюда по садовой террасе, и, растопырив костлявую пятерню, пропустил ветер между пальцев. То есть, ины-

ми словами, самый что ни на есть неудачный ветер для высадки у маяка. Да, он любит говорить неприятные вещи, миссис Рэмзи не отрицала; и что за манера соваться, вконец огорчать Джеймса; но все равно она его не даст им в обиду. «Атеист». Тоже — прозвище. «Агеистишка». Роза его дразнит; Пру дразнит; Эндрю, Джеспер, Роджер — все его дразнят; даже Таксик, старикашка без единого зуба, и тот его ткнул за то (по заключению Нэнси), что он сто десятый молодой человек из тех, кто погнался за ними до самых Гебридов, а ведь как бы славно побыть тут одним.

— Вздор, — очень строго сказала миссис Рэмзи. И дело даже не в склонности к преувеличениям, которая у детей от нее, и не в намеке (справедливом, конечно) на то, что она слишком много народу приглашает к себе, а надо бы размещать в городке, но она не позволит нелюбезного отношения к своим гостям, особенно к молодым людям, которые бедны, как церковная крыса, «способностей необыкновенных», муж говорил; от души ему преданы и приехали сюда отдохнуть. Впрочем, она вообще брала под крыло представителей противоположного пола; она не собиралась объяснять почему — за рыцарство, доблесть, за то, что составляют законы, правят Индией, управляют финансами, в конце концов, за отношение к ней самой, которое женщины просто не может не льстить, — такое доверчивое, мальчишеское, почтительное; которое старая женщина вполне может позволить юнцу, не роняя себя; и беда той девушке — не дай Бог такого кому-нибудь из ее дочерей, — которая этого не оценит и не почувует нутром, что за этим стоит.

Она строго одернула Нэнси. Он за ними не гнался. Его пригласили.

Из всего этого как-то надо было выпутываться. Есть, наверное, простой, менее изнурительный путь. Она вздохнула. Когда смотрелась в зеркало, видела впалые щеки, седые волосы в свои пятьдесят, она думала, что, наверное, можно бы и ловчее со всем этим управляться: муж; деньги; его книги. Но зато себя лично ей не в чем упрекнуть — нет, никогда ни на секунду она не пожалела о взятом решении; не избегала трудностей; не пренебрегала своим долгом. Вид у нее был грозный, и дочки — Пру, Нэнси, Роза, — подняв глаза от тарелок после того, как им досталось за Чарльза Тэнсли, только молчком могли предаваться своим предательским любимым идеям насчет другой жизни, совсем не такой, как у нее; возможно, в Париже; повольготней; не в вечных хлопотах о ком-то; потому что поклонение, рыцарство, Британский банк, Индийская империя, перстни, жабо в кружевах были, честно сказать, у них под сомнением, хотя все это и сопрягалось в девичьих сердцах с представлением о красоте и о мужественности и заставляло, сидя за столом под взглядом матери, уважать странную строгость правил и эти ее преувеличенные понятия об учтивости (так королева поднимает из грязи ногу нищего и обмывает), когда она строго их одернула из-за несчастного агеистишки, который погнался за ними — или, если точнее сказать, был приглашен погостить у них на острове Скай.

— Завтра у маяка нельзя будет высадиться, — сказал Чарльз Тэнсли и хлопнул в ладоши, стоя под окном рядом с ее мужем. В самом деле, кажется, он достаточно высказался. Пора бы уж, кажется, оставить их с Джеймсом в покое; пусть бы продолжали беседовать. Она на него посмотрела. Жалкий экземпляр, говорили дети, сплошное недоразумение. В крикет играть не умеет; горбится; шаркает. Злая ехидна, говорил Эндрю. Они раскусили, что ему в жизни нужно одно — вечно туда-сюда прогуливаться с мистером Рэмзи и толковать, кто обосновал то, кто доказал это, кто тоньше всех понимает латинских поэтов, кто «блестящ, но, полагаю, недостаточно основателен», кто несомненно «одареннейший человек в Бейллиоле»¹, кто покамест прозябает в Бедфорде² или в Бристоле, но о нем еще заговорят, когда его Прологомена³ (мистер Тэнсли захватил с собою первые страницы в гранках на случай, если мистер Рэмзи захочет взглянуть) к какой-то области математики или философии будут опубликованы.

Она сама иной раз еле удерживалась от смеха. На днях она что-то сказала

¹ Один из известнейших колледжей Оксфордского университета, основан в 1263 году (основатель — Джон Вейллиол).

² Женский колледж Лондонского университета.

³ Введение (вошедшее в научный обиход слово греческого происхождения).

насчет «несусветных волн». «Да,— сказал Чарльз Тэнсли,— море несколько неспокойно». «Вы промокли насквозь, не правда ли?» — сказала она. «Промок, но не то чтоб насквозь», — отвечал мистер Тэнсли, ощупав носки и ущипнув себя за рукав.

Но, дети говорили, злит их другое. Дело не во внешности; не в повадке. В нем самом — в его понятиях. О чем ни заговоришь об интересном — о людях, о музыке, об истории, да о чем угодно, мол, теплый вечер и почему бы не погулять,— Чарльз Тэнсли — вот что несомненно,— пока как-то так не передернет, не сведет на себя, не принизит тебя, не обозлит этой своей гадкой манерой дух из всего выколачивать, он ведь не уймется. И в картинной галерее он будет спрашивать, они говорили,— как тебе нравится его галстук. А уж какое там нравится, прибавляла Роза.

Крадучись, как холостяки после званого обеда, сразу после еды восемь сыновей и дочерей мистера и миссис Рэмзи разбрелись по комнатам, по своим крепостям в доме, где иначе ничего не обсудишь тишком: галстуки мистера Тэнсли; прохожденье реформы; морских птиц; бабочек; ближних; а солнце меж тем затопило мансарды, разделенные дощатыми переборками, так что каждый шаг отчетливо слышался и рыданье юной швейцарки, у которой отец умирал от рака в долине Граубюндена, подпаляло крикетные биты, спортивные брюки, канотье и чернильницы, этюдники, мошек, черепа мелких птиц и выманивало запах соли и моря из длинных, бахромчатых, повешенных на стены водорослей, а заодно из набравшихся им после купанья вместе с песком полотенец.

Споры, распри, несоответствия взглядов, заскоки — куда от них денешься, да только уж за чем с ранних лет, огорчалась миссис Рэмзи. До чего они непримиримы — ее дети. Мелют вздор. Она шла из столовой, ведя за руку Джеймса, не пожелавшего присоединиться ко всем. Что за бред — сочинять несоответствия, когда, слава Богу, и без того никакой гармонии нет. В жизни хватает, очень даже хватает настоящих несоответствий, думала миссис Рэмзи, останься в гостиной подле окна. Она имела в виду богатых и бедных; высокое и низкое происхождение; и волей-неволей ей приходилось отдавать должное знатности; ведь разве не текла в ее жилах кровь весьма высокого, хоть и несколько мифического итальянского рода, чьи дочери, рассеясь по английским гостиним в девятнадцатом веке, умели так сладостно пришепетывать, так неистово вскидываться, и разве свое остроумие, всю повадку и нрав она взяла не от них? Не от сонных же англичанок, не от льдышек-шотландок; но сейчас ее больше волновало другое — богатство и бедность, то, что она видела собственными своими глазами еженедельно, ежедневно здесь, в Лондоне, когда посещала то вдову, то загнанную мать — сама, с корзинкой в руке, с пером и блокнотом, в который аккуратными столбиками заносила жалованья и расходы, периоды найма и безработицы, надеясь таким манером из обычной женщины, занимающейся филантропией (примочка к больной совести, средство для ублажения любопытства), сделаться тем, что в простоте души она ставила так высоко, — исследователем социальных проблем.

Вопросы это неразрешимые — так ей сдавалось, когда, держа за руку Джеймса, она стояла у окна. Он потащился за нею следом в гостиную — этот молодой человек, над которым все потешались; стоял возле стола, что-то неловко перебирал, чувствовал себя изгоем — она знала, не оборачиваясь. Все они ушли — ее дети; Минта Дойл и Пол Рэйли; Август Кармайкл; ее муж, — все ушли. Вот она и повернулась со вздохом и сказала:

— Вам не скучно будет меня сопровождать, мистер Тэнсли?

У нее разные неинтересные дела в городе; еще надо написать несколько писем; она будет минут через десять; надо шляпу надеть. И через десять минут она явилась с корзинкой и зонтиком, давая понять, что готова, снаряжена для прогулки, которую, однако, ей пришлось прервать на минуточку, оглябая теннисный корт, чтобы спросить у мистера Кармайкла, который грелся на солнышке, приоткрыв желтые кошачьи глаза (и, как в кошачьих глазах, в них отражалось качание веток и ток облаков, но ни единой мысли, ни чувства), не надо ли ему чего.

• Они затеяли грандиозную вылазку, сказала она, смеясь. Отправляются в

город. «Марок, бумаги, табуку?» — предлагала она, остановясь с ним рядом. Но нет, оказалось, ему ничего не нужно. Он пожимал собственное объемистое брюшко, моргал, словно и рад бы ответить любезно на ее угождения (она говорила искусительно, хоть и чуть-чуть нервничала), но не мог пробиться сквозь серозеленую сонь, которая все обволакивала, огнивая слова, летаргией сплошного доброжелательства: весь дом; весь свет; всех на свете, — потому что за ланчем он накапал-таки в стакан несколько капель, которыми и объяснялись, думали дети, ярко-канареечные разводы на бороде и усах, собственно белых как лунь. Ему ничего не нужно, бормотнул он.

— Из него бы вышел великий философ, — говорила миссис Рэмзи, когда они спускались по дороге в рыбацкий поселок, — но он неудачно женился. — Очень прямо держа черный зонтик и странно устремляясь вперед, так, словно вот сейчас, за углом, она встретит кого-то, она рассказывала; история с одной девицей в Оксфорде; ранний брак; бедность; потом он поехал в Индию; немного переводил стихи, «кажется, дивно», брался обучать мальчишек персидскому не то индустани, но кому это нужно? — и вот пожалуйста, как они видели, — на травке лежит.

Он был польщен; его обидели, и теперь его утепало, что миссис Рэмзи ему такое рассказывает. Чарльз Тэнсли воспрял духом. И намекнув на величие мужского ума даже в упадке и на то, что жены должны (против той девицы она как раз ничего не имела, и брак был довольно удачный, кажется) все подчинять трудам и заботам мужей, она вселила в него еще неизведанное самоуважение, и он рвался, если они, скажем, наймут пролетку, заплатить за проезд. А нельзя ли ему понести ее сумку? Нет, нет, сказала она, уж это она всегда сама носит. Да, конечно. Он это в ней угадывал. Он многое угадывал, и особенно что-то такое, что его будоражило, выбивало из колен неизвестно почему. Ему хотелось, чтоб она увидела его в процессии магистерских мантий и шапочек. Профессорство, докторство — все было ему нипочем, — но на что это она там засмотрелась? Человек клеил плакат. Огромное хлопающее полотнище распластывалось, и с каждым мановением кисти являлись: ноги, обручи, кони, сверкая красным и синим, глянцевито, зазывно, покуда полстены не закрыла цирковая афиша; сто наездников; двадцать ученых моржей; львы, тигры... Вытягивая вперед шею по причине близорукости, она разобрала, что они будут «впервые показаны в нашем городе». Но это же опасно, вскрикнула она, нельзя однорукому так высоко забираться на лестницу — два года назад ему отхватило косилкой левую руку.

— Все давайте пойдем! — вскрикнула она, трогаясь с места, будто все эти кони и всадники наполнили ее ребяческой радостью и вытеснили жалость.

— Давайте пойдем, — повторил он слово в слово, но с такой неловкостью их выталкивал, что ее покорило. «Пойдемте в цирк!» Нет. Не мог он этого выговорить как надо. Он не мог этого почувствовать как надо. Отчего? — гадала она. Что с ним такое? Он в эту минуту ужасно ей нравился. Разве их в детстве не водили в цирк? — спросила она. Ни разу, выпалил он, будто только и дождался ее вопроса; будто все эти дни только и мечтал рассказать, как их не водили в цирк. Семья у них была большая, восемь человек детей, отец — простой труженик. «Мой отец аптекарь, миссис Рэмзи. Он держит аптеку». Сам он с тринадцати лет себя обеспечивает. Не одну зиму проходил без теплого пальто. Никогда не мог «соответствовать оказываемому гостеприимству» (так выморочно он выразился) у себя в колледже. Вещи носит вдвое дольше, чем все; курит самый дешевый табак; махорку; вот как старые бродяги на пристани. Работает, как вол, — по семь часов в день; его тема — влияние кого-то на что-то, — они зашагали быстро, и миссис Рэмзи уже не хватывала смысла, только отдельные слова... диссертация... кафедра... лекция... оппоненты... Она слушала вполуха противный академический волапюк, поехавший как по маслу, но говорила себе, что теперь-то ясно, почему приглашение в цирк его вывело из равновесия, бедняжечку, и почему его сразу так прорвало насчет родителей, братьев, сестер; и уж теперь-то она приглядит, чтобы его больше не дразнили; надо все рассказать Пру. Приятней всего ему, наверно, было бы потом рассказывать, как Рэмзи его водили на Ибсена. Он жуткий сноб, это да, и нудный донельзя. Вот

они уже вошли в городок, вышагивали главной улицей, мимо грохали по бульжику тачки, а он все говорил, говорил — про преподаванье, призванье, простых тружеников и что наш долг «помогать своему классу», про лекции, — и она поняла, что он совершенно оправился, о цирке забыл и собирается (и опять он ужасно ей нравился) сказать ей... — но дома по обеим сторонам расступились, и они вышли на набережную, перед ними раскинулась бухта, и миссис Рэмзи не удержалась и вскрикнула: «Ах, какая прелесть!» Перед нею лежало огромное блюдо синей воды; и маяк стоял посредине седой, неприступный и дальний; а направо насколько хватал глаз, сплываясь и падая мягкими складками, зеленые песчаные дюны в колтунной траве бежали-бежали в необитаемые лунные страны.

Этот вид, сказала она, останавливаясь, и глаза у нее потемнели, страшно любит ее муж.

На минуточку она замолкла. А-а, сказала она потом, тут уже художники... В самом деле, всего в нескольких шагах стоял один, в панаме, желтых ботинках, серьезный, сосредоточенный, и — изучаемый стайкой мальчишек — с выраженьем глубокого удовлетворения на круглой красной физиономии всматривался вдаль и, всмотревшись, склонялся; погружал кисть во что-то розовое, во что-то зеленое. С тех пор как тут три года назад побывал мистер Понсфурт, все картины такие, сказала она, — зеленые, серые, с лимонными парусниками и розовыми женщинами на берегу.

А вот друзья ее бабушки, сказала она, скосив украдкой взгляд на ходу, те из кожи вон лезли; сами краски растирали; потом грунтовали и потом еще занавешивали мокрыми тряпками, чтобы не пересохли.

Значит, заключал мистер Тэнсли, она хочет сказать, что картина у этого типа ничемная? В таком духе? Краски негодные? В таком духе? Под влиянием удивительного чувства, которое наливалось во все время пути, назревало в саду, когда он хотел взять у нее сумку, едва не перелилось через край, когда он, на набережной, собирался ей рассказать о себе все, он чуть не перестал понимать самого себя и не знал, на каком он свете. В высшей степени странно.

Он стоял в зальце захудалого домика, куда она его привела, ждал, пока она на минуточку заглянет наверх проведать одну женщину. Слушал ее легкие шаги; звонкий, потом матовый голос; разглядывал салфеточки, чайницы, абажурчики; нервничал; старательно предвкушал обратный путь; решал непременно отобрать у нее сумку; слушал, как она вышла; закрыла дверь; сказала, что окна надо держать открытыми, двери — закрытыми, и если что — пусть сразу к ней (кажется, обращалась к ребенку), — и тут она вошла, мгновенно стояла молча (будто наверху притворялась и теперь должна отдохнуть), — мгновенно стояла, застыв под королевой Викторией в синей перевязи ордена Подвязки; и вдруг он понял, что это — вот оно, вот: в жизни еще он не видел никого так дивно прекрасного.

Звезды в ее глазах, тайна у нее в волосах; и фиалки, и цикламены — ну что, ей Богу, за чушь ему лезет в голову? Ей же минимум пятьдесят; у нее восемь человек детей. Ломкие ветки прижимая к груди и заблудших ягнят, бродит она по цветочным лугам; звезды в ее глазах, в волосах ее — ветер... Он взял у нее сумку.

— До свиданья, Элси, — сказала она, и они пошли по улице, и она очень прямо держала зонтик и шла так, будто кого-то должна встретить сейчас за углом, а Чарльз Тэнсли тем временем чувствовал невероятную гордость; человек, рывший канаву, перестал рыть и смотрел на нее; уронил руки вдоль тела и смотрел на нее; Чарльз Тэнсли чувствовал невероятную гордость; чувствовал ветер, и фиалки, и цикламены, потому что в первый раз в жизни шел с дивно прекрасной женщиной. Он сумел завладеть ее сумкой.

2

— Ехать на маяк не придется, Джеймс, — сказал он, стоя под окном, и сказал так прогивно, даром что из почтения к миссис Рэмзи старался выдавить из себя хоть подобие доброжелательства.

Противный молокосос, думала миссис Рэмзи, и как ему не надоест.

3

— Вот ты завтра проснешься, и еще окажется — солнышко светит, птички поют, — сказала она ласково и погладила мальчика по головке, потому что муж, она видела, своим едким замечанием о том, что погода будет плохая, на него ужасно подействовал. Он спит и видит поездку на маяк, это ясно, и потом — уж достаточно, кажется, сказал муж своим едким замечанием о том, что погода будет плохая, так нет же, противному молокососу надо снова и снова совать ему это в нос. — Погода завтра, может быть, еще будет хорошая, — сказала она и погладила его по головке.

Теперь только и оставалось восхищаться ледником и листать каталог, выискивая какие-нибудь грабли, косилку, такое что-нибудь с ручками, зубьями, что не вырежешь без исключительной ловкости. Все эти юнцы буквально пародируют мужа; скажет он — будет дождь, и они уже сразу: разразится страшная буря.

Но вот она перевернула страницу и вдруг прервала поиски косилки и грабель. Низкое воркотанье, прерываемое только писком засасываемой и вынимаемой изо рта трубки и убеждавшее в том (хоть слов она не разбирала, сидя в гостиной у окна), что мужчины благополучно беседуют, — этот звук, который длился уже полчаса и мирно оттенял другие падавшие на нее звуки — шлепки бит по мячам, выкрики «сколько? сколько?» с крикетной площадки, — звук этот вдруг оборвался; и рокот волн, который обычно стройно струился в лад мыслям или, когда она сидела с детьми, утешно твердил старые-старые слова колыбельной в исполнении природы: «Я опора твоя, я защита твоя», но стоило отвлечься от повседневных дел, сразу совсем не так нежно звучал, но роковым барабаном отбивал такт жизни, напоминая, что остров ведь оседает, того гляди его проглотит море, предупреждал посреди мирной домашности и круговерти, что все зыбко, как радуга, — вот этот-то звук, затененный было и скрытый другими, вдруг поло ударил ей в уши, и она вздрогнула и вскинула взгляд.

Они уже не разговаривали; вот в чем отгадка. Вмиг перестав тревожиться и перейдя к другой крайности, словно вознаграждая себя за зряшное расточительство чувств, с любопытством, холодком, не без некоторого даже ехидства она заключила, что бедняжку Чарльза Тэнсли оставили. А это уж не ее забота. Если мужу нужны жертвы (о, еще как нужны!), она ему с удовольствием жертвует Чарльза Тэнсли, который обидел ее бедного мальчика.

Она еще мгновенно вслушивалась, подняв голову, ловя привычный, ровный, механический звук; и вот услышала нечто ритмическое, распев, то ли речитатив, со стороны сада, где муж метался взад-вперед по террасе, нечто сродни сразу песне и карканью, и тотчас она успокоилась, убеждая, что все идет хорошо. и, глянув в распластанную на коленях книгу, напала на изображение перочинного ножичка о шести лезвиях, который Джеймс мог вырезать, только если будет очень стараться.

Вдруг дикий вопль, как полуразбуженного сомнамбула:

Под ярый снарядов вой!⁴ —

ворвался в ее слух и заставил в тревоге оглядеться, чтоб проверить, не слышал ли кто. Только одна Лили Бриско, убедилась она с удовольствием; ну, это ничего. Но глянув на девушку, стоявшую у края лужка с мольбертом, она вспомнила ей же надо по возможности не вертеть головой — ради картины Лили. Картина Лили! Миссис Рэмзи усмехнулась. С этими своими китайскими глазами и личиком с кулачок замуж ей не выйти; картины ее нельзя принимать всерьез; но она такая независимая, бедняжка, миссис Рэмзи это в ней страшно ценила, и, вспомнив о своем обещании, она снова склонила голову.

4

Он просто чуть мольберт ей не сшиб, чуть не налетел на нее, размахивая руками, вопя: «Смело кидаясь в бой!»⁵ — но, слава Богу, рывком повернул и галопом помчался прочь славно пасть, надо полагать, на высотах Балаклавы.

⁴ Строка из стихотворения Альфреда Теннисона «Атака легкой кавалерийской бригады».

⁵ Строка из того же стихотворения.

Ну как можно быть таким смехотворным и пугающим одновременно? Но куда он этак вопит и размахивает, можно не опасаться; он не остановится, не устанет на ее картину. А уж этого бы Лили Бриско просто не вынесла. Даже вглядываясь в массу, линию, цвет, в миссис Рэмзи, сидевшую у окна с Джеймсом, она невольно следила за тем, чтоб кто-нибудь не подкрался, не застиг ее картину врасплох. Но вот в напряжении всех чувств вглядываясь, впитывая, куда цвет стены и лепящегося к ней ломоноса не обжег ей глаза, она заметила, что кто-то вышел из дому, приблизился; но почему-то по шагам угадала, что это Уильям Бэнкс, и хоть кисть дрогнула у нее в руке, она все же (как было бы непременно, окажись на его месте мистер Тэнсли, Пол Рэйли, Минта Дойл, да кто угодно, в сущности) не швырнула холст плашмя на траву, но оставила на мольберте. Уильям Бэнкс стоял с нею рядом.

Они кваргировали в деревне, и входя, выходя, поздно прощаясь у дверей, вскользь обменивались замечаниями насчет ужина, детей, того-сего, и это сблизало; так что, когда он теперь стоял с нею рядом со своим рассудительным видом (он ей в отцы годился, ботаник, вдовец, пахнул мылом, такой щепетильный и чистый), она тоже осталась спокойно стоять. На ней, он отметил, кстати, превосходные туфли. Ничуть не стесняют ногу. Живя с ней под одной крышей, он замечал, как она дисциплинированна, до завтрака уже уходит с мольбертом, одна, надо думать; вероятно, бедна, и хоть, что и говорить, внешне ей далеко до обольстительной, розовой мисс Дойл, зато у нее голова на плечах, а это, на его взгляд, куда ценней. Вот сейчас, например, когда Рэмзи несли на них, жестикулируя, с воплем, мисс Бриско ведь безусловно все поняла.

Кто-то ошибся!

Мистер Рэмзи на них глянул. Глянул дико, не видя. Обоим стало несколько не по себе. Оба подсмотрели то, что не предназначалось их взорам. Будто вынудили чужую тайну. Потому-то, решила Лили, только чтоб поскорее уйти, чтоб не слушать, мистер Бэнкс, верно, и сказал почти сразу, что, мол, немного свежо и не стоит ли им пройтись. Да-да, отчего не пройтись. Но не без труда она оторвала глаза от картины.

Ломонос был неистово фиолетовым; стена — слепяще белой. Она сочла бы нечестным смазывать неистовую фиолетовость и слепящую белизну, раз уж так она это видела, как бы ни было модно после приезда мистера Понсфурта все видеть бледным, изящно-призрачным, полупрозрачным. И ведь кроме цвета есть еще форма. Все ей так отчетливо, так повелительно виделось, пока она смотрела. Но стоило взять в руки кисть — и куда что девалось. В этот-то зазор между картиной и холстом и втискивались те бесы, которые то и дело чуть до слез не доводили ее, делая переход от замысла к исполнению не менее жутким, чем для ребенка переход в темноте. Вот что ей приходилось претерпевать, и, борясь с незадачей, она себя подбадривала; повторяла: «Да, так я вижу; так вижу» — и прижимала к груди жалкие остатки увиденного, которое злые силы вовсю у нее вырывали. И еще, когда она принималась писать, то к ней, холода, отрезвляя, накатывало другое: бездарь, ни на что не годна, отца держит на Бромптон-Роуд, на задворках, — и невероятных усилий стоило удержаться, не броситься к ногам миссис Рэмзи (слава Богу, не бросалась пока) и сказать — но что же ей скажешь? «Я вас люблю»? Но это неправда. «Я люблю это все», жестом очерчивая изгородь, дом, детей? Глупость, чушь несусветная. То, что чувствуешь, невозможно словами сказать.

И она сложила кисти в этюдник, аккуратно, одну к одной, и сказала Уильяму Бэнксу:

— Вдруг холодно стало. Солнце, что ли, больше не греет? — сказала она, озираясь, и солнце светило достаточно ярко, сочно зеленела трава, дом сиял, охваченный пылким страстоцветом, и грачи ровняли прохладные крики с высокой сини. Но что-то уже шелохнулось, повеяло, скользнуло по воздуху серебристым крылом. Как-никак был сентябрь, середина сентября, половина седьмого вечера. И они побрели по саду привычным маршрутом: мимо теннисного корта, куртины, к тому проему, в густой изгороди, охраняемому двумя пучками

* Из того же стихотворения.

тритом — пламенеющих лилий, — в который синие воды бухты глянули синей, чем всегда.

Их что-то тянуло сюда каждый вечер. Будто вода пускала вплавь мысли, застоявшиеся на суше, вплавь под парусами, и давала просто физическое облегчение. Сперва всю бухту разом охлестывала синь, и сердце ширилось, тело плавилось, чтобы уже через миг оторопеть и застыть от колющей черноты взъерошенных волн. А за черной большой скалою чуть не каждый вечер через неравные промежутки, так что ждешь его не дожدهшься и всегда наконец ему радуешься, белый взлетал фонтан, и пока его ждешь, видишь, как волна за волной тихо затягивает бледную излучину побережья перламутровой поволокой.

Так стоя, оба они улыбались. Обои́м было весело, обоих бодрили бегущие волны; и бег парусника, который устремленно очерчивал по бухте дугу; вот застыл; дрогнул; убрал парус; и, естественно, стремясь к завершенью картины после этого быстрого жеста, оба стали смотреть на дальние дюны, и вместо веселья нашла на них грусть — то ли потому, что вот завершилось и это, то ли потому, что дали (думала Лили) словно на миллионы лет обогнали зрителя и уже беседуют с небом, сверху оглядывающим упокоенную землю.

Глядя на дальние дюны, Уильям Бэнкс думал про Рэмзи; думал про деревенскую улицу в Уэстморлэнде, и Рэмзи шагал один по этой улице, окутанный одиночеством, как своей естественной аурой. И вдруг все было прервано, Уильям Бэнкс вспомнил (подлинный случай), прервано курицей, протершей крылья над выводком цыплят, возле которой Рэмзи остановился, показал на нее тростью, сказал: «Чудно, чудно» — и какое-то странное озарение было тогда в сердце, думал Уильям Бэнкс, и осветило его простоту и сочувствие к малым сим; но дружбе их, кажется, тогда и настал конец, на самой той деревенской улице. Потом Рэмзи женился. Потом, что ни говори, из дружбы ушло главное. Чья тут вина, он не знал, но только открытия сменились повторами. Ради того, чтобы повторяться, они видались теперь. Но в молчаливом своем разговоре с дюнами он доказывал, что привязанность его к Рэмзи ничуть не уменьшилась; и как тело юноши пролежало столетье в торфянике, не утратив алости губ, так и дружба его во всей остроте и силе погребена там, за бухтой, в песчаных дюнах.

Ему это было важно установить ради дружбы, а еще, возможно, чтоб освободиться от смутного подозрения, что сам он засох, очерствел, Рэмзи ведь окружен детьми, он же вдов и бездетен — ему не хотелось бы, чтобы Лили Бриско недооценивала Рэмзи (по-своему великого человека), но она должна понять их отношения. Начавшись давным-давно, их дружба вся ушла в пыль Уэстморлэнда, когда курица распростерла крылья над своим выводком; после чего Рэмзи женился, их пути разошлись, и винить тут решительно некого, если при встречах появилась тенденция повторяться.

Да. Вот так-то. Он замолчал. Повернулся. И когда Уильям Бэнкс повернулся, чтоб возвращаться другим путем, по въездной аллее, перед ним вдруг явственно встало то, чего он не заметил бы, не найди он в песчаных дюнах тела дружбы, со всей алостью губ погребенной в торфянике, — например, Кэм, девчушка, младшая дочка Рэмзи. Она собирала кашку по отко́су. Совершенно невозможная девчушка. Не хотела «дать дяде цветочек», как ни уговаривала няня. Нет! Нет! Нет! Ни за что. Сжимала кулачок. Топала ножкой. И мистер Бэнкс себя почувствовал старым, ему стало грустно, вот он все и свалил на дружбу. Наверное, сам он засох, очерствел.

Рэмзи не богаты, и просто чудо, как они ухитряются со всем управляться. Восемь человек детей! Восемьмерых детей прокормить на философии! Тут еще один, на сей раз Джеспер, прошествовал мимо, птичку, что ли, подстрелить, как небрежно он выразился, на ходу энергично потрянув руку Лили и заставив мистера Бэнкса горько заметить, что ее-то, однако же, любят. Одни расходы на образование чего стоят (правда, у миссис Рэмзи, возможно, имеются кой-какие независимые средства), не говоря уж о бесконечных обновках, которые всем этим «бравым ребятам», рослым, буйным сорванцам, требуются ежедневно. Кстати, он лично не в состоянии разобраться, кто из них кто и в каком они следуют порядке. Про себя он их окрестил на манер английских королей и королев: Кэм Непослушная, Джеймс Беспощадный, Эндрю Справедливый, Пру Краси-

вая — ведь Пру должна быть красивой, куда она денется, а Эндрю — умным. Пока он шел по въездной аллее и Лили Бриско отвечала «да» или «нет» и все его оценки побивала единственным козырем (она влюблена в них во всех, влюблена в этот мир), он взвешивал положение Рэмзи, соболезновал ему и завидовал, словно тот на его глазах сбросил нимб отрешенности и аскетизма, его окружавший в юности, и, распростерши крылья, кудахтая, погрузился в домашность. Конечно, они ему кое-что дали; кто спорит; Уильям Бэнкс бы не отказался, чтобы Кэм всадила цветочек ему в петлицу или вскарабкалась, например, к нему на плечо, как залезла на плечи отца, разглядывая изображение извергающегося Везувия; но чему-то, и старый друг не может этого не заметить, они помешали. А как, интересно, на свежий глаз? Что думает эта Лили Бриско? Ведь нельзя не заметить, наверное, развившихся в нем новых замашек? Чужацеств, даже, пожалуй, слабостей? Удивительно, как человек его интеллекта может так унижаться — ну, положим, это чересчур сильно сказано, — так зависеть от чужих похвал?

— И все же, — сказала Лили. — Подумайте о его работе!

Когда сама она «думала о его работе», всегда она ясно видела перед собой большой кухонный стол. Это все Эндрю. Она его спросила, про что пишет книги отец. «Субъект и объект и природа реального», — сказал Эндрю. И на ее: «О, Господи, да как же это понять?» — «Вообразите кухонный стол, — сказал он, — когда вас нет на кухне».

И вот всегда, когда думала о работе мистера Рэмзи, она воображала кухонный струганый стол. Сейчас он пристроился в развилке грушевого дерева, потому что они вошли уже в сад. И болезненным усилием воли она себя заставила сосредоточиться не на серебристо-шишковатой коре, не на рыбках-листочках, но на фантоме кухонного стола, дощатого, струганого, в глазках и прожилках стола, из тех, что словно кичатся своей прямой и твердостью, который, дрыгнув всеми своими четьрьмя, водворился в развилке грушевого дерева. Разумеется, если ты целыми днями созерцаешь угловатые сущности и променяешь дивные вечера, оправленные фламинговым пушком облаков, серебром и синью, на белый сосновый стол о четырех ножках (чем и заняты изощреннейшие умы), тебя уже, разумеется, нельзя мерить обычной меркой.

Мистеру Бэнксу понравилось, что она его попросила «подумать о его работе». Он про это думает, очень думает. «Буквально без конца, — сказал он. — Рэмзи один из тех, кто лучшую свою работу пишет до сорока». Он внес существенный вклад в философию маленькой книжицей, когда ему было всего двадцать пять; последующее — лишь развитие, повторение. Но люди, которые вносят существенный вклад во что бы то ни было, — все наперечет, сказал он, останавливаясь подле груши, тщательно вычищенный, скрупулезно точный, утонченно беспристрастный. И словно, двинув рукой, он задел груз ее постепенно копившихся впечатлений, все они вдруг опрокинулись и хлынули на нее ливнем чувства. Это — первое. А потом, как сквозь дымку, проступила суть мистера Бэнкса. Это — второе. Ее пригвоздило острою догадки; да это же строгость; и доброты. Я безмерно вас чту (говорила она без слов), вы не тщеславны; внутренне независимы; вы благородней мистера Рэмзи; вы благороднее всех, кого доводилось мне знать; у вас ни жены, ни детей (она порывалась скрасить его одиночество, и секс тут решительно ни при чем), вы посвятили жизнь науке (к сожалению, перед глазами у нее всплыл разрезанный картофельный клубень); от похвал бы вас только коробило; великодушный, чистосердечный, возвышенный человек! Но одновременно ей вспомнилось, что он сюда приволок лакея; сгонял с кресел собак; нудно распространялся (покуда мистер Рэмзи не выскакивал из комнаты, хлопнув дверью) о растительных солях и прегрешениях английских кухарок.

Как же все это согласить? Как судить о людях, как их расценивать? Как все разложить по полочкам и решить — один мне нравится, другой не нравится? Да и что, в конце-то концов, означают эти слова? Она стояла, пригвожденная к груше, а на нее обрушивались впечатления об этих двоих, и она не успевала за ними, как не успевает за разогнавшимся голосом растерянный карандаш, и голос, ее собственный голос, без подсказки провозглашал непререкаемое, без-

условное, спорное, даже трещины и складки коры припечатывая навеки. В вас есть величие, в мистере Рэмзи нет его ни на йоту. Он мелок, эгоистичен, тщеславен; он избалован; тиран; он страшно изводит миссис Рэмзи; но в нем есть кое-что, чего в вас (она адресовалась к мистеру Бэнксу) нет как нет; он отрешен до безумия; отбывает мелочи; он любит детей и собак. У него восемь человек детей. У вас — никого. Но как он недавно явился в двух плащах к миссис Рэмзи, которая решила соорудить ему прическу под горшок? Все это прыжило вверх-вниз, вверх-вниз в голове Лили Бриско, как рой мечущихся каждая сама по себе, но охваченных невидимой сеткой мошек; натекло сквоззь ветви груши, в развилке которой еще витал образ струганого стола, воплощая ее глубокое преклонение перед разумом мистера Рэмзи; мелькало, мелькало, пока не лопнуло от напряжения; ей полегчало; совсем рядом грянул выстрел; и прочь от его раскатов метнулась стайка испуганных скворцов.

— Джеспер,— сказал мистер Бэнкс. И потянувшись за смятым летом улепетывающих птиц, они повернули к террасе и вышагнули из проема в высокой изгороди как раз на мистера Рэмзи, который на них и обрушил трагическое:

— Кто-то ошибся!

Глаза, заволоченные волнением, трагически вызывающие, невозможные, на секунду встретились с их глазами, и в них затлелось узнавание; но тотчас рука метнулась к лицу, чтобы в муках стыда стряхнуть, отвести их нормальный взгляд; словно он умолял их секунду повременить с тем, что, он знал, неизбежно; словно он ясно показывал свою детскую обиду на непрошеное вторжение, но не желал сразу пускаться в бегство, решившись до конца удержать остатки драгоценного чувства, нечистый взрыв которого был источником его стыда и блаженства. Он резко повернул, хлопнув у них перед носом своей внутренней дверцей: и Лили Бриско и мистер Бэнкс, сконфуженно глянув в небо, убедились, что стайка скворцов, пустившихся в бегство от выстрела Джеспера, основалась на кронах вязов.

5

— Даже если завтра погода и будет плохая,— сказала миссис Рэмзи, поднимая взгляд на приближающихся Уильяма Бэнкса и Лили Бриско,— так в другой раз будет хорошая. А теперь,— сказала она, решив, что прелесть Лили составляют ее раскосые китайские глаза на бледном личике с кулачок, но разглядит это только умный мужчина,— а теперь встань-ка, я твою ножку измерю. (Потому что, может, они еще выберутся на маяк, и ей падо взглянуть, не следует ли чуть надвязать чулок.)

Нежно улыбаясь своей восхитительной мыслью — Уильям и Лили непременно должны пожениться,— она взяла чулок из пестрой шерсти, крест-накрест по устью запертый спицами, и приложила Джеймсу к ноге.

— Стой тихохонько, детка,— сказала она, потому что ревнивый Джеймс не желал служить манекеном для сынишки смотрителя и нарочно вертелся; ну и как же ей в таком случае разобраться, длинно ли, коротко ли, спрашивала она.

Она подняла глаза — и что за бес вселился в него, в ее младшенького, ее детеныша? — увидела гостиную, увидела кресла — жуткое зрелище. Их потроха валяются по всему полу, верно Эндрю на днях выразился; ну а какой смысл, спрашивала она себя, покупать хорошие кресла, чтоб они тут гнили зимой, когда дом бросают на попечение местной старухи и он буквально насквозь промокает? Ничего: зато он снимается за бесенок; дети его обожают; и мужу полезно учиться за тридевять земель, а точнее, за триста миль от библиотек, от учеников и от лекций; и для гостей есть место. Коврики, складные кровати, страшные призраки столов и кресел, получивших отставку в Лондоне, здесь получали права; ну, кой какие фотографии и, разумеется, книги. Книжки, она подумала, размножаются почкованьем. И никогда у нее не хватает на них времени. Ох. Даже уж книжки, поднесенные ей, надписанные собственноручно поэтом: «Той, чья участь повелевать...», «Более удачливой Елене наших дней»... — стыдно сказать, она ведь их не открыла. И Крума «О разуме», и Бейтса «Обычаи дикарей Полинезии» («Стой тихо, детка!» — сказала она) тоже ведь не пошлешь на маяк. Рано или поздно, подумала она, дом захиреет до такой степени, что придется на что-то решиться. Хоть бы они ноги научились вытирать и не затаскивали в ком-

наты весь пляж — и то бы уж дело. Ну, крабов не запретишь, раз Эндрю действительно нужно их препарировать, и если Джеспер считает, что из водорослей получается суп, тут тоже никуда не денешься; у Розы — свое: тростники, камни, ракушки: они все у нее одаренные, каждый по-своему. А в результате, вздохнула она, окидывая взглядом гостиную с пола до потолка и прикладывая чулок к ноге Джеймса, — дом с каждым летом ужасней. Ковер выгорает; отстают обои. Уж и не разберешь, что это розы на них. Но, конечно, если все двери вечно настаежь и ни один слесарь в Шотландии не в состоянии наладить засов — что же хорошего? И набрасывать зеленую шаль на раму картины — что толку? Через две недели будет как гороховый суп. Но больше всего ее раздражали двери: буквально все настаежь. Она вслушалась. В гостиной открыто; в прихожей открыто; так и есть — небось и в спальнях открыто; и уж, конечно, открыто окно на лестнице, его-то она открыла сама. Окна надо открывать, двери закрывать — кажется, просто, неужто так трудно усвоить? Вечерами она обходила комнаты горничных, там у них душно, как в печке, у всех, кроме Мари, молоденькой швейцарки, ей лучше ванны не надо, только бы свежий воздух, а дома у них, она сказала, «горы-то какие красивые». Так она сказала вчера вечером, заплаканная, возле окна. «Горы-то у нас какие красивые». У нее, миссис Рэмзи знала, там отец умирал. Оставлял семью без отца. Она сердилась, показывала (как стелится постель, как открывается окно, на французский манер расправляя пальцы), а после слов девушки вокруг нее тихо сомкнулось что-то, как после пролета сквозь солнечный луч тихо смыкаются крылья и стальное сверканье их синевы перетекает в сдержанную лиловость. Она стояла и молчала, ведь что тут скажешь? Рак горла. Вспомнив все это — как она стояла, и девушка сказала: «Горы-то у нас какие красивые», и не было никакой, решительно никакой надежды, — она вдруг почувствовала раздражение и резко сказала Джеймсу:

— Стой тихо. Не балуйся. — И он тотчас понял, что она сердится не на шутку, вытянул ногу, и она ее смерила.

Чулок был короток по крайней мере на полтора сантиметра, даже делая скидку на то, что сынишка Сорли менее рослый, чем Джеймс.

— Коротко, — сказала она. — И намного.

Никто никогда не глядел так печально. Черно и горько, на полпути вниз, в черноте, в глубине, в шахте, бегущей от света, быть может, скопилась слеза; скатилась слеза; воды качнулись — сглотнули ее, затихли. Никто никогда не глядел так печально.

Но, быть может, люди говорили, все дело в ее внешности? Что за этим — за красотой, за блеском? Правда, спрашивали, он пустил себе пулю в лоб, умер за неделю до их свадьбы — тот, другой, прежний, о котором ходили слухи? Или — и нет ничего? Ничего, кроме несравненной красоты, за которой она скрывается, которой ничем не испортить? Ведь что стоило ей в иную минутку, когда речь заходила о великой страсти, несбывшихся мечтах, растоптанной любви, вставить, что и она, мол, через такое прошла, к такому причастна, испытала такое? А она никогда ничего подобного не говорила. Она молчала. Но все равно она всегда знала. Все знала, ничему не учась. Ее простота всегда проникала в то, в чем путались, в чем обманывались умники, прямодушие научило камнем, как птица, устремляться на цель, взмывать, и парить, и пикировать прямо на истину, а это захватывает; это поддерживает, дарит надежду — обманную, быть может.

(«У природы не много той глины, — как-то сказал мистер Бэнкс, слушая ее голос по телефону и удивительно умиляясь, хотя она всего-навсего ему объясняла расписание поездов, — из какой она лепила вас?»¹). Он ее представлял себе на том конце провода — гречанка, синеокая, с гордым носом. Нелепость — с такой женщиной разговаривать по телефону. Будто сразу все грани сошлись на лугах асфоделей, сочиняя это лицо. Да-да, он поедет юстонским, в десять тридцать.

— Но она не больше ребенка думает о своей красоте, — сказал мистер Бэнкс, положив трубку и переходя кабинет, чтоб взглянуть, как идут дела у рабочих, строящих гостиницу на задах его дома. И наблюдая суету среди недо-

¹ Стихотворные строки из романа Томаса Лава Пикона (1785—1866) «Хедлонг Холл».

строенных стен, он думал о миссис Рэмзи. Ведь вечно, он думал, в гармонию ее черт вклинивается что-нибудь невозможное; она нахлобучивает войлочную шляпу; несется в калошах через лужайку вызволять из беды ребенка. Так что, когда думаешь исключительно о ее красоте, приходится учитывать то живое и зыбкое (они покамест грузили кирпич на носилки) и его приплюсовывать к общей картине; а если судить о ее женском характере, остается в ней допустить некую особенность, странность; предположить подспудное побуждение отринуть свою царственность, словно ей надоела ее красота и все, что ей вечно поют, а ей хочется быть, как все, — незаметной. Непонятно. Непонятно. Впрочем, пора было вернуться за стол.)

Снова принимаясь за грубый красно-бурый чулок, странно выделяясь на фоне зеленой шали, наброшенной на золоченую раму, и подлинного шедевра Микеланджело, миссис Рэмзи смягчила свою минутную резкость, взяла сыночка за подбородок и поцеловала в лоб.

— Давай поищем, какую бы нам еще картиночку вырезать, — сказала она.

6

Но что случилось?

Кто-то ошибся.

Оторвавшись от дум, она вдруг осмыслила слова, уже давно отдававшиеся у нее в голове без всякого смысла. Кто-то ошибся. Найдя близорукими глазами мужа, который устремлялся теперь на нее, она продолжала смотреть, пока он не подошел совсем близко (созвучья сложились у нее в голове), и она поняла, что что-то случилось, кто-то ошибся. Господи боже, да что ж там такое?

Он сдался; он дрогнул. Вся его суетность, вся уверенность в собственном великолепии, когда, как стрела, как сокол, стремясь во главе своей рати, он несся долиной смерти, погибли, рассеялись. Под ярый снарядов вой, смело кидаясь в бой, он несся долиной смерти, над краем беды и вот расстроил ряды — Лили Бриско и Уильяма Бэнкса. Он дрогнул; он сдался.

Ни за что, ни за что сейчас нельзя было с ним заговаривать, потому что по некоторым неопровержимым признакам, по тому, как он отводил глаза, как весь съежился, сжался, будто прятался, чтоб ему не мешали вновь обрести равновесие, она поняла, что он разобижен и оскорблен. Она гладила Джеймса по голове; перенесла на него свое отношение к мужу, следя за маневрами желтого карандаша по белой манишке господина из каталога, она думала, как было бы дивно, если б он стал великим художником; почему бы нет? У него такой прекрасный лоб. Затем, подняв глаза на опять проходящего мимо мужа, она с облегчением убедилась, что беда миновала; победила прирученность; вновь завела своей баюкающей напев привычка; а потому, когда на повороте он намеренно остановился возле окна и шутиливо нагнулся — пощекотать голую ногу Джеймса каким-то там прутиком, — она ему попеняла, что спугнул «бедного юношу» Чарльза Тэнсли. Тэнсли надо писать диссертацию, сказал он.

— Джеймсу в свое время тоже придется писать диссертацию, — сказал он с ухмылкой, орудя прутиком.

Джеймс ненавидел отца и оттолкнул этот прутик, которым, в обычной своей манере — смесь серьезности и дурачества, — он щекотал ногу младшему сыну.

Она вот хочет покончить с этим нудным чулком, чтоб уж послать его завтра сынишке Сорли, сказала миссис Рэмзи.

Нет ни малейшей вероятности, что завтра они выберутся на маяк, раздраженно отрезал мистер Рэмзи.

Откуда ему это известно? — спросила она. Ветер ведь меняется часто.

Совершеннейшая неразумность ее замечания, удивительная женская нелогичность взбесили его. Он скакал долиной смерти, он дрогнул, он сдался; а тут еще она не считается с фактами, подает детям абсолютно несбыточные надежды, попросту, собственно, лжет. Он топнул ногой по каменной ступеньке. «Фу ты черт!» — сказал он ей. Но что она такого сказала? Только — что завтра, может быть, будет хорошая погода. Так ведь и правда, может быть, будет.

Нет, если барометр падает и резко западный ветер.

Удивительное пренебрежение к чувствам другого во имя истины, резкий, грубый выпад против простейших условностей показались ей таким чудовищным попранием всех человеческих правил, что, огорошенная, ошарашенная, она склонила голову без ответа, будто безропотно подставляясь колкому граду, мутному ливню. Ну что она такое сказала?

Он молча стоял перед нею. Очень смиренно он сказал наконец, что готов пойти расспросить береговую охрану, если угодно.

Никого она так не читла, как читла его.

Ей и его слова вполне довольно, сказала она. Просто тогда надо сказать им, чтоб бутербродов не делали, вот и все! Они ведь все спрашивают, поминутно к ней прибегают, естественно, за одним, за другим, на то она женщина; каждому что-нибудь нужно; дети растут; часто ей кажется — она просто-напросто губка, напитанная чужими чувствами. И вот он говорит: «Фу ты черт!» Он говорит — будет дождь; говорит — дождя не будет; и ей открывается безоблачное, беззаботное небо. Никого никогда она так не читла. Она знала — она недостойна развязать ремень обуви его.

Уже стыдясь собственной вспышки и того, как размахивал он руками, несясь во главе рати, мистер Рэмзи, довольно глупо, ткнул напоследок голую ногу сына и, словно получив разрешение жены (и до смешного ей напомнив тюленя в зоологическом саду, когда, заглотнув свою рыбу, тот плюхнется прочь, расколыхав всю воду в бассейне), нырнул в линияющий вечер, который лишал уже объемности листья, изгороди и словно взамен одевал гвоздики и розы сиянием, какого в них не было днем.

— Кто-то ошибся, — сказал он, опять принимаясь вышагивать взад-вперед по садовой террасе.

Но как удивительно у него изменился голос! Как у кукушки; которая «июньским днем поет не о том»⁶; будто он пробовал, искал струну для нового настроения и взял ту, что, хоть уже и сорванная, легла под руку. Как же это звучало смешно, «кто-то ошибся», произносимое таким тоном, почти вопросительно, без убеждения, враспев. Миссис Рэмзи невольно улыбнулась, и в самом деле, скоро, бродя взад-вперед по террасе, он эту фразочку пробубнил, обронил — умолк.

Он был спасен, он вновь обрел ненарушимое уединение. Он остановился раскурить трубку, глянул на жену и сына в окне, и как, несясь в скором поезде мимо дерева, и двора, и постройки, поднимаешь от книги взгляд и в них видишь иллюстрацию, подтверждение чему-то на печатной странице и потом возвращаешься к ней подкрепленный, подбодренный, так и он, не видя, собственно, ни жены, ни сына, глянув на них, подкрепился, подбодрился и мог спокойно сосредоточиться дальше на разрешенье проблемы, которая поглощала все силы его блистательного ума.

Да, блистательного ума. Ибо если мышление уподобить клавиатуре рояля, разделенной на столько-то клавиш, либо алфавиту, в котором буквы от первой и до последней выстроены в строгом порядке, — его блистательный ум без труда пробегает по всем этим буквам, пока не доходит, скажем, до **П**. Он достиг **П**. Очень немногие во всей Англии достигали когда-нибудь **П**. Тут, остановясь на минутку подле урны с геранями, он увидел — уже далеко-далеко, как детишек, собирающих ракушки на пляже, дивно невинных, поглощенных смешной чепухой у себя под ногами и решительно беззащитных против происков рока, которые он-то уже раскусил, — жену и сына рядышком, в окне. Они нуждаются в его защите; она им обеспечена. Ну-с, хорошо — а после **П**? Что дальше? После **П** целый ряд букв, из которых последняя едва различима смертному взору и лишь смутно мерцает вдали. Ее достигает единственный в поколении. Однако если добраться хотя бы до **Р** — это уже кое-что. **П** он достиг. Тут он окопался. В **П** он абсолютно уверен. **П** он готов доказать. Но если **П** есть **П**, значит, **Р**... Тут он выбил трубку, несколько раз звонко стукнув по бараньему рогу, служившему урне ручкой, и стал думать дальше. «Значит, **Р**...» Он подобрался, напрягся.

Качества, при которых корабельная команда продержалась бы в бушующем море на шести сухарях и на фляге воды — выдержка, осмотрительность, спра-

⁶ Из детских стихов.

ведливость, преданность, ловкость, — пришли к нему на выручку. Значит, Р... да, так что же такое Р?

Пленкой, как трепетным кожаным веком ящерицы, подернуло его зоркий взор, заслонило букву Р. И в этом озарении тьмы он услышал, как люди говорят: он не состоялся, куда ему — Р, Р ему не по зубам. Так нет же, вперед, к Р. Р...

Качества, которые нужны проводнику, жожаку, вдохновителю отчаянной экспедиции в стылую одинокость полярной ночи, чтоб, не поддаваясь ни отчаянию, ни обманным мечтам, твердо глянуть в лицо судьбе, снова пришли к нему на выручку. Р...

Снова дрогнуло веко ящерицы. На лбу у него взбухли жилы. Герани в урне стали странно прозрачны, и сквозь них проступало — хочешь не хочешь — древнее, очевиднейшее различие между двумя классами людей; с одной стороны — неустанные, сверхупорные, вышагивающие по порядку по всему алфавиту и его затверживающие от начала и до конца; и с другой — одаренные, вдохновенные, разом сглатывающие все буквы — гении. Он не гений; он на это не посягает; но он в состоянии, или был в состоянии, четко вытвердить весь алфавит. А меж тем — завяз на П. Ну так вперед — к Р.

Чувство, которое не обесчестит и жожака, если тот видит, что валит снег и горы канули в муть и, значит, придется лечь и принять смерть до утра, — такое вот чувство нашло на него, разом выцветило глаза и на очередном повороте вдруг превратило его на миг в дряхлого старца. Но нет, он не намерен умирать лежа; он найдет выступ в скале и там, вглядываясь в бурю, не сдаваясь, прорываясь сквозь тьму, он встретит смерть стоя. Никогда ему не добраться до Р.

Он застыл подле урны со стелющимися геранями. Да сколько же человек из тысячи миллионов достигали последней буквы? Разумеется, предводитель обреченной надежды может задать себе этот вопрос и ответить, не подводя соратников-землепроходцев: «Наверно, единственный». Единственный в поколении. Так можно ль его упрекать, что он не этот единственный? Если он честно трудился, отдавая все силы, покамест стало уже нечего отдавать? Ну а славы его — надолго ли станет? Даже умирающему герою позволительно перед смертью подумать о том, что о нем скажет потомство. Слава может держаться две тысячи лет. Но что такое две тысячи лет (иронически адресовался мистер Рэмзи к цветущей изгороди)? В самом деле — что? Если взглянуть с горной вершины на пустыни веков? Эти камни, которые пинаешь ногой, долговечней Шекспира. Ну а его огонек год-другой поблестит, а потом и потонет в более ярком, тот — в еще более ярком. (Он вглядывался в темный, сложный заговор изгороди.) И кто упрекнет предводителя обреченной кучки, которая все же вскарабкалась достаточно высоко и видит пустыни лет, угасание звезд, — кто его упрекнет, если, покуда смерть не сковала совсем его члены, он не без умысла поднимает онемелые пальцы ко лбу, расправляет плечи, чтобы, когда подоспеют спасатели, его нашли мертвого на посту, безупречным солдатом? Мистер Рэмзи широко развернул плечи и очень прямо стоял возле урны.

Кто упрекнет его, если, стоя вот так подле урны, он размечтался на миг о спасателях, славе, мавзолее, который возведут над его костями благодарные продолжатели? Кто, наконец, упрекнет вождя безнадежной экспедиции, если, исчерпав всю отвагу, все силы, он засыпает, не заботясь о том, проснется он или нет, и по легкому колотью в пальцах догадывается, что жив и вовсе не прочь еще пожить, но мечтает о сочувствии, виски, о ком-то, кто немедленно выслушал бы рассказ про его злоключенья? Кто его упрекнет? Кто тайком не порадует, когда герой снимет доспехи, остановится подле окна, глянет на жену и на сына, очень дальних сперва, подплывавших все ближе и ближе, покуда губы, книга, глаза ясно вырисуются перед ним, такие еще дивные, непривычные после пристальности отъединенья и пустыни веков, угасания звезд, и он наконец сунет трубку в карман и склонит перед ней величавую голову, — кто его упрекнет, если он склоняется перед красую вселенной?*

* «Какое чудо природы человек! Как благороден разумом!.. Краса вселенной!» («Гамлет», акт второй, сцена вторая; перевод Пастернака).

А сын ненавидел его. Ненавидел за то, что к ним подошел, остановился, на них уставился; ненавидел за то, что им помешал; ненавидел за преувеличенную возвышенность жестов; за эту его величавую голову, за требовательность и эгоизм (стоит и требует, чтобы им занимались); но всего больше ненавидел он этот трепет, эту натянутость, дрожь, которой рябило ясную гладь их отношений с матерью. Уставясь в сторону, он надеялся его отогнать; ткнув палец в слово, надеялся вернуть внимание матери, которое, он понял с тоскою, сразу отвлечлось на отца. Но нет. Мистера Рэмзи не так то легко было отогнать. Он стоял, он требовал сочувствия.

Миссис Рэмзи, сидевшая привольно, обнимая сына, вдруг вся подобралась, подалась вперед, изогнулась и словно выпустила струю энергии, целый фонтан, и она трепетала, будто все ее силы разом слились в одну, а струя искрилась и билась (покуда сама миссис Рэмзи осталась спокойной сидеть и опять взялась за чулок), и в эту-то драгоценную плодоносность, в этот плещущий источник жизни погружалась роковая мужская скудость, как медный, бесплодный и голый клюв. Он требовал сочувствия. Он не состоялся, сказал он. Миссис Рэмзи сверкнула спицами. Мистер Рэмзи повторил, не отрывая глаз от ее лица, что он не состоялся. Она и слушать не хотела. «Чарльз Тэнсли...» — сказала она. Но ему было этого мало. Он требовал сочувствия. Перво-наперво чтобы его уверили в его гениальности, а затем ввели в жизненный круг, утешили, ублажили, обратили бесплодие в плодоносность и чтобы все комнаты в доме наполнились жизнью — гостиная; за гостиной — кухня; над кухней — спальни, и рядом — детские; чтоб все они ожили, наполнились жизнью.

Чарльз Тэнсли его считает крупнейшим современным мыслителем, сказала она. Но ему было этого мало. Он требовал сочувствия. Чтобы его убеждали, что он нужен; необходим; не только здесь, во всем мире. Сверкая спицами, уверенная, прямая, она создавала гостиную, кухню, пронизывала блеском; приглашала его уютно располагаться, входить, выходить, отдыхать. Она смеялась, она ввязала. Стиснутый ее коленями, Джеймс чувствовал, как вся ее сила устремлялась вверх, навстречу ненасытному медному клюву, безжалостному ятагану, который бил, бил и бил, требуя сочувствия.

Он не состоялся, повторил он. Да что ты, опомнись, ну, посмотри! Сверкая спицами, она обвела взглядом комнату, посмотрела в окно, посмотрела на Джеймса и совершенно его уверила своим смехом, спокойствием, своею уверенностью (так няня, неся свечу темной комнатой, утешает раскапризничавшееся дитя), что все это — на самом деле; полный дом; и кипящий сад. Пусть только он положится на нее, и можно ничего не бояться, в какие бы ни погружался он бездны, в какие бы ни забирался выси, она всегда будет рядом. Так похваляясь способностью опекать, защищать, она уже не узнавала себя; ничего своего не осталось, все было отдано, расточено; и Джеймс, стиснутый ее коленями, чувствовал, как она тянулась вверх вишневым деревом, розовым кипенем, в пляске ветвей и листьев принимая медный клюв, безжалостный ятаган его отца, эгоиста, который бил, бил, бил, требуя сочувствия.

Насытись ее словами, затихнув, как кормленное дитя, он сказал наконец, взглянув на нее, растроганный, обновленный, взбодренный, что он немного пройдется; надо посмотреть, как дети играют в крикет. Он ушел.

Тотчас миссис Рэмзи словно сложилась, как складывается на ночь цветок, вся словно опала, и у нее едва хватало сил, предаваясь блаженной усталости, водить пальцем по строкам сказки Гриммов, и, как нежно бьется до предела растянутая и теперь стихающая пружина, в ней пульсом бился восторг удавшегося творенья.

Каждый удар этого пульса сближал ее с мужем, шагающим прочь, обоих связывал утешеньем, какое дарят друг другу, сливаясь, два разных — один высокий, один низкий — струнный голоса. И все же, когда замер последний отзвук и она вернулась к волшебной сказке, миссис Рэмзи ощущала себя не просто физически опустошенной (так всегда бывало, не сразу, но после), к ощущению усталости примешивалось что-то смутно тоскливое, совсем из другой оперы. Не то чтобы, читая вслух о рыбаке и рыбке, она знала точно, откуда это взялось;

и она бы себе не позволила выразить словами свою неудовлетворенность, когда, перевернув последнюю страницу и услышав, как плоско, зловеще упала волна, поняла, отчего это все: ей не хотелось ни на секунду чувствовать себя выше мужа; и потом, ужасно было неприятно, разговаривая с ним, самой не вполне верить в свои слова. Ну конечно, она нисколько не сомневалась, что все эти университеты и люди без него пропадут; что все эти его лекции, книги необходимы, как воздух; но их отношения, то, что он к ней подходит так, у всех на глазах, — вот что негоже; ведь скажут — он от нее зависит, а им бы знать, что из них двоих он в тысячу раз важнее и то, что дает миру она, с тем, что дает он, не идет ни в какое сравнение. Ну, и еще другое — что она не смогла, не решалась сказать ему правду, например, насчет крыши в теплице, что починка встанет, может быть, в пятьдесят фунтов; и потом — насчет его книг, ведь она побаивалась, как бы он сам не догадался о том, что смутно подозревала она: что последняя книга не лучшая из его книг (это она заключила со слов Уильяма Бэнкса); и приходилось утаивать повседневные мелочи, и дети замечали, а им это вредно, — и все, вместе взятое, отравляло общую радость, чистую радость двух сливающихся голосов, и уже их звук отдавался у нее в ушах, вялый и полый.

Тень легла на страницу. Она подняла глаза. Это Август Кармайкл шаркал мимо, и сейчас, главное, в тот момент, когда ей так неприятно было сознавать несовершенство человеческих отношений; даже лучшие из них — с червоточинной, не выдерживают досмотра, который, любя мужа и с этим своим правдолюбием, она затеяла вдруг; когда она сама была себе неприятна, когда так гадко было на душе от собственных преувеличений и лжи, которые даже мешают честному исполнению долга, — главное, в самый тот момент, когда ей стало вдруг так тяжело, так тяжело после дивного настроения, мистер Кармайкл прошаркал мимо в своих желтых шлепанцах, и черт дернул ее за язык спросить:

— Погуляли, мистер Кармайкл?

8

Он ничего не ответил. Он принимал опиум. Дети видели, они говорили, — у него от опиума на бороде желтые пятна. Возможно. Ей было ясно одно — бедняга несчастен, каждый год приезжает к ним как в прибежище; и однако же каждый год она чувствовала все то же — он ей не верит. Она говорила: «Я — в город. Купить вам марок, бумаги, табаку?» И чувствовала, как его передергивает. Он ей не верит. А все его жена. Она вспомнила, как непристойно жена с ним обращается. Сама она просто обомлела тогда, в этой их жуткой комнатенке на Сент-Джонс-Вуд, когда эта особа выпроваживала его из дома. Он неприбранный; роняет все на пиджак; нудный, как все старики, которым решительно нечего делать; и она его выпроваживала за дверь. Сказала в своем непристойном тоне: «Ну вот, миссис Рэмзи, нам с вами надо покалякать наедине», — и миссис Рэмзи будто собственными глазами увидела бесконечную цепь его унижений. На табак-то ему хоть хватает? Или каждый раз надо у нее кланяться? Полкроны? Восемнадцать пенсов? Страшно, как подумаешь о всех этих мелких уколах, которые он от нее терпит. И вот (ну, разумеется, из-за жены, а то отчего бы?) теперь он к ней плохо относится. Он ничего не говорит. Но что она может еще для него сделать? Ему отведена солнечная комната. Дети с ним милы. Ничем ни разу она не показала, что он ей не нужен. Из кожи, наоборот, лезет, чтоб ему угодить. Не хотите ли марок, не хотите ли табаку? Вот эта книга вам непременно понравится, и прочее. И в конце-то концов, в конце концов (тут она невольно вся в буквальном смысле подобралась, вспомнив, что с ней редко бывало, о своей красоте), — в конце концов ей обычно ничего не стоит понравиться человеку; Джордж Мэннинг, например; мистер Уоллис; знаменитые, кажется, люди, а захаживают же к ней на огонек поболтать наедине. При ней всегда, от этого никуда не денешься, — знамя красоты. Это знамя она высоко поднимает, переступая любой порог; и в конце концов, как ею ни пренебрегай, как ни тяготись ею, красота есть красота. И все всегда восхищаются ею. Ее любят. Она входит в комнаты, где сидят скорбящие. При ней проливаются слезы. Мужчины,

да и женщины, сбрасывают тяжкий груз сложностей и при ней дают себе волю вести себя просто. Ее задевало, что он от нее шарахается. Было обидно. И все же не совсем это так, не совсем то. Главное, неприятно, что именно в тот момент, когда мистер Кармайкл прошаркал мимо в своих желтых шлепанцах, с книгой под мышкой, едва кивнул на ее вопрос, к ее досаде на мужа примешалось чувство, что ей не доверяют; что вся ее эта жажда давать, помогать — сплошное тщеславие. Не для собственного ли удовольствия ей так не терпится помогать, давать, чтоб потом говорили: «Ах, миссис Рэмзи! Милая миссис Рэмзи... миссис Рэмзи вообще...» — и нуждались бы в ней, посылали за ней, ее восхваляли? Не того ли она втайне желает? И потому, когда мистер Кармайкл шарахнулся от нее, пробираясь в укромный уголок, чтоб засесть там за дежурным акростихом, ее не просто оскорбили в лучших чувствах, ей указали на известную мелкость в ней самой и в человеческих отношениях — что они с червоточиной, недостойны, эгоистичны, даже самые лучшие из отношений. Усталая, измученная и, вероятно (щеки впали, волосы поседели), не такая уже отрада для взоров — не обязана ли она сосредоточиться на сказке о рыбаке и рыбке и умиротворить этот комок нервов (остальные все дети как дети) — своего сына Джеймса?

«Опечалился рыбак, — прочла она вслух. — Не хотелось ему идти. Неправильно это было. Но делать нечего, пошел он к морю. Смотрит — а вода в море синяя, серая, темная, уже не зеленая, не ясная, как прежде, но покуда еще спокойная. И сказал рыбак...»

Миссис Рэмзи предпочла бы, чтобы тут муж ее не остановился. Сказал же, что пойдет посмотреть, как дети играют в крикет, ну и шел бы. Но он ни слова не произнес; он глянул; он кивнул; кивнул поощрительно; и двинулся дальше.

Он соскальзывал, глядя на эту изгородь, которая столько уже раз отчеркивала паузу, подводила итог, глядя на жену и на сына, снова глядя на урну с красными никнущими геранями, которые так часто оттеняли ход его мыслей и хранили их на листьях, как попавшие под руку в угаре чтения клочки бумаги хранят наши записи, — глядя на все это, он тихо соскальзывал в размышления по поводу статьи в «Таймсе» относительно числа американских туристов, ежегодно посещающих домик Шекспира. Не будь никогда на свете Шекспира, спрашивал он себя, много ли переменялся бы теперешний мир? Зависит ли прогресс цивилизации от великих людей? Улучшилась ли участь среднего человека со времен фараонов? Является ли участь среднего человека критерием, по которому мерится уровень цивилизации? Нет, вероятно. Вероятно, для высшего блага общества требуется существование рабов. Человек у эскалатора есть непреложная необходимость. Мысль показалась ему неприятна. Он запрокинул голову. Не надо, не надо; лучше найти лазейку и несколько снизить роль искусств. Он готов доказывать, что мир существует для среднего человека; что искусства — лишь побрянушки на человеческой жизни; они ее не выражают. И Шекспир никакой ей не нужен. Сам не зная, зачем ему понадобилось низводить Шекспира и бросаться на выручку к служителю, вечно торчащему при дверях лифта, он сдернул с изгороди листок. Всем этим можно поточевать через месяц юнцов в Кардиффе, подумал он; здесь, на этой лужайке, он только пробавляется, только пасется (он отбросил содранный в таком раздраженье листок), как кто-то, свесясь с коня, набирает охалку роз или набивает карманы орехами, топча наобум поля и луга с детства знакомой округи. Все тут такое знакомое; тот поворот, тот пленень, тот перелаз. Вечерами, посасывая трубку, он может вдоль и поперек обшарить мыслью знакомые стежки и выгоны, кишащие биографиями, и баталиями, и преданьями, и стихами, и живыми фигурами — там воин, а там и поэт; и все отчетливо, четко. Но всегда перелаз, поле, выгон, орешник и живая цветущая изгородь в конце концов выводят его к дальнему повороту дороги, где он спешивается, оставляет на оброти коня и дальше идет пеший, один. Он дошел до края лужайки и глянул вниз, на бухту.

Хочешь не хочешь, а такая судьба у него, такой уж заскок — вот так убежать на узкий край земли, постепенно смываемый морем, и стоять одинокой печальной птицей. Такая уж власть у него, такой дар — вдруг сбрасывать лишнее, скудеть и сжиматься, даже физически себя чувствовать вдруг похудевшим, но,

ничуть не теряя пронзительности ума, стоять на утесе один на один с темно-тою людского неведения (мы ничего не знаем про то, как море слизывает почву у нас из-под ног) — уж такая судьба у него, такой дар. Но поскольку он, спешиваясь, сбрасывает все жесты, условности, всю добычу из орехов и роз и так сжимается, что не то что о славе не помнит, не помнит и своего имени, он сохраняет в своей одинокости зоркость, не терпящую мнимостей, не тешащуюся виденьями, и таким вот манером вызывает он у Уильяма Бэнкса (переменчивого) и Чарльза Тэнсли (раболопного), а сейчас у жены (она вскинула взгляд, смотрит, как он стоит на краю лужка) чувства восхищения, жалости и еще благодарности, как стоящий посреди фарватера бакен, приманивающий волны и чаек, вызывает у веселых матросов благодарность за то, что взял на себя тяжкий долг одиноко означать глубины.

«Но отец восьмерых детей не имеет выбора»... Пробормотал это себе под нос, оборвал свои мысли, повернулся, вздохнул, поднял глаза, нашел взглядом жену, читавшую сыну сказку, набил трубку. Он отвернулся от зрелища людского неведения, и судьбы людской, и моря, слизывающего почву у нас из-под ног, зрелища, которое, будь у него возможность его рассмотреть подетальной, навело бы на какие-то выводы; и вот нашел утешение в пустяках, столь несопоставимых с прежней высокой темой, что готов был перечеркнуть свою радость, от нее отпереться, как будто попасться с поличным на радости в нашем многострадальном мире для порядочного человека кошмарнейшее преступление. Да, положим; он, в сущности, счастлив; у него такая жена; такие дети; через месяц он подрядился молоть разную белиберду перед юнцами в Кардиффе про Локка, и Юма, и Беркли, про истоки Французской революции. Но все это: и удовольствие, которое ему давало все это, собственные фразы, красота жены, восхищение юнцов, знаки признания из Соунси, Кардиффа, Эксетера, Саутхэмптона, Киддерминстера, Оксфорда, Кембриджа, — все приходилось презирать и прятать под фразой «молоть разную белиберду» — ведь на самом-то деле он не осуществил того, что мог бы осуществить. Это маска; скрытность человека, который боится себя проявить, не может прямо сказать: «Вот что я люблю, вот кто я»; что и раздражало Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, и они недоумевали, зачем эта скрытность нужна; зачем ему вечно нужны похвалы; почему человек такой дерзостной мысли в жизни так робок; и удивительно даже, как он одновременно достоин восхищения и смешон.

Выше сил человеческих — проповедовать и учить, предположила Лили. (Она принялась складывать кисти.) Если чересчур высоко вознесешься, уж непременнобрякнешься оземь. Миссис Рэмзи слишком ему потакает. И потом — эти резкие перепады. Он отрывается от своих книг и видит, как мы бьем баклуши и мелем вздор. Вообразите, какой перепад после его возвышенных мыслей, сказала она.

Он направился к ним. Вот застыл, стал в молчанье смотреть на море. Вот снова двинулся прочь.

9

— Да, — сказал мистер Бэнкс, глядя ему вслед. — Страшно досадно. (Лили что-то говорила про то, как он ее огорошивает этими своими резкими перепадами настроения.) Да, — сказал мистер Бэнкс, — страшно досадно, что Рэмзи совершенно не умеет вести себя по-людски. — (Лили Бриско ему нравилась. Он мог говорить с ней о Рэмзи вполне открыто.) Потому-то, сказал он, нынешняя молодежь и не читает Карлейля. Старый злобный брюзга, вскидывался, когда ему подавали остывшую кашу, — и этот еще будет нас поучать? Так, думалось мистеру Бэнксу, говорит нынешняя молодежь. Страшно досадно, если считать, как считает, скажем, он сам, Карлейля величайшим учителем человечества. Лили призналась, что, к стыду своему, со школьных времен не читала Карлейля. Но ей лично мистер Рэмзи даже симпатичнее оттого, что царапину на своем мизинце он приравнивает к мировой катастрофе. Это бы еще полбеды. Но ведь кого он обманет? Он у вас открыто выклянчивает восхищения, лести, своими мелкими уловками он никого не обманет. А претит ей эта его узость, эта его слепота, сказала она, глядя в удаляющуюся спину.

— Чуть-чуть лицемер? — предположил мистер Бэнкс, тоже глядя на удаляющегося мистера Рэмзи, и разве он не думал о его дружбе, и о том, как Кэм не захотела ему подарить цветок, и про всех этих девчонок и мальчишек, и про свой собственный дом, такой уютный, но притихший после смерти жены? Да, конечно, у него остается работа... Тем не менее ему страшно хотелось, чтоб Лили согласилась с ним, что Рэмзи, как он выразился, «чуть-чуть лицемер».

Лили Бриско продолжала складывать кисти, то поднимая глаза, то опускающая. Подняла глаза — мистер Рэмзи шел прямо на них вперевалку, небрежный, рассеянный, отвлеченный. Чуть-чуть лицемер? — повторила она. Ох нет — искреннейший из людей, самый честный (вот он идет), самый лучший; но она опустила глаза и подумала: он слишком занят собой, он тираничен, капризен; и она нарочно не поднимала глаз, потому что только так и можно сохранять беспристрастность, когда гостишь у этих Рэмзи. Едва поднимешь глаза и на них глянешь, их окатывает твоею, как это у нее называлось, «влюбленностью». Они превращаются в частицу того невозможного, дивного целого, каким мир делается в глазах любви. К ним ластится лето; ласточки летают для них. И еще даже восхитительней, поняла она, увидев, как мистер Рэмзи передумал и шагает прочь, и миссис Рэмзи сидит с Джеймсом в окне, и плывут облака, и клонится ветка, — что жизнь, складываясь из случайных частных, которые мы по очереди проживаем, вдруг вздувается неделимой волной и она подхватывает тебя, и несет, и с разгона выплескивает на берег.

Мистер Бэнкс ждал от нее ответа. И она собралась уже что-то сказать в осуждение миссис Рэмзи, что и она, мол, не идеал, слишком властная или что-то в подобном роде, когда все это вдруг оказалось не к месту, потому что мистер Бэнкс был в восторге. Именно так и не иначе, если учесть его шестой десяток и его чистоту, беспристрастность и как бы облекший его белоснежный покров науки. Восторг на лице мистера Бэнкса, смотревшего на миссис Рэмзи, понимала Лили, стоил любви многих-многих юнцов (хотя неизвестно еще, удавалось ли миссис Рэмзи стяжать любовь многих-многих юнцов). Это любовь, думала она, якобы занявшись холстом, профильтрованная, очищенная; не держащаяся за свой предмет; но, как любовь математика к своей теореме или поэта к строфе, призванная распространиться по всему миру, стать достоянием человечества. Вот такая любовь. И миру неизбежно бы пришлось ее разделить, окажись мистер Бэнкс в состоянии растолковать, чем эта женщина так его пленяет; отчего, глядя, как она читает сыну волшебную сказку, он ликует в точности так же, как если б вот сейчас разрешил научную проблему, доказал нечто неоспоримое о пищеваренье растений и тем самым навек одолел варварство и поборол хаос.

Из-за его восторга — а как же еще прикажете это назвать? — у Лили Бриско совершенно вылетело из головы все, что она намеревалась сказать. Чуть-чуть какую-то; что-то насчет миссис Рэмзи. Все бледнело рядом с этим восторгом, этим неммым созерцанием, за которое она была истинно ему признательна; ведь что еще может так утешить, так развязать жизненные узлы, так облегчить, как не эта высшая сила, небесная благодать, и ее не станешь тревожить, пока она длится, как не будешь ломать привольно разлегшийся поперек пола солнечный луч.

То, что люди способны так любить, что мистер Бэнкс способен чувствовать такое к миссис Рэмзи (она его оглядывала в раздумье), в сущности, ведь помогает жить, возвышает душу. Она вытирала старым лоскутом одну кисть за другой, нарочно с особенной тщательностью, таким образом прячась от восхищения, распространявшегося на всех женщин сразу. В сущности, ведь это и ей самой комплимент. Пусть его смотрит. Тем временем можно взглянуть на картину.

Она чуть не расплакалась. Картина была плохая, плохая, из рук вон плохая картина! Ну конечно, все можно бы сделать иначе; цвет — тоньше, бледней; формы — воздушней; так это увидел бы Понсфурт. Но она-то так не увидела. Для нее цвет горел на стальном каркасе; сиял бабочкиным крылом на контрфорсе собора. От всего этого на холсте осталось несколько небрежных разводов. Да никто и смотреть-то не будет; не повесят даже; и опять мистер Тэнсли ей нашептывал в уши: «Женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером»...

Наконец она вспомнила, что собиралась сказать про миссис Рэмзи. Неизвестно, как бы она сформулировала; что-то критическое. На днях ей не очень понравилась некоторая самоуверенность. Разглядывая миссис Рэмзи под углом зрения мистера Бэнкса, она думала, что ни одной женщине не дано так восхищаться другою, как вот сейчас восхищается он; остается только вместе укрыться под шатром, который раскинул над ними обеими мистер Бэнкс. К снопу его лучше она присовокупила свой отдельный, особенный лучик, решив, что миссис Рэмзи неоспоримо прелестнейшая из людей (когда склоняется так вот над книжкой); быть может, самая лучшая; и все-таки, все-таки она не похожа на тот безупречный образ, предлагаемый нашим взорам. А почему не похожа, чем не похожа? — спрашивала она себя, соскребая с палитры горы зеленого и голубого, оказавшиеся на поверку безжизненными комками, и клянясь себе завтра же их одухотворить, оживить, заставить струиться по ее произволу. Да, так чем же она не похожа? Что в ней — зернышко, что в ней — суть, и почему, найдя в углу дивана перчатку, вы по замятому пальцу сразу решите, что перчатка — ее? Скорая, как птица, неотвратимая, как стрела. Своевольная; властная. (Ну, конечно, спохватилась Лили, я имею в виду ее отношения с женщинами, и я же гораздо моложе, и кто я такая — живу на задворках на Бромптон-Роуд.) Распахивает окна в спальнях. Запирает двери. (Она старалась настроиться на лейтмотив миссис Рэмзи.) Вернувшись за полночь, легонько постучавшись к тебе, окутанная старой меховой шубкой (она всегда так оправлена — наспех и, однако, к лицу), она могла изобразить что угодно: Чарльз Тэнсли поселя зонтик; мистер Кармайкл кашляет и сопит; мистер Бэнкс рассуждает: «Таким образом, теряются соли растений». И всех она очень ловко изображала; даже зло передразнивала. А потом, отойдя к окну, якобы собираясь идти — уже утро, вот-вот солнце встанет — и опять отвернется от окна, уже задушевно, хотя и смеясь еще, она убеждала, что всем, всем — ей, Минте, — всем надо замуж, потому что какими бы ни осыпали вас лаврами (миссис Рэмзи ни в грош не ставила ее живопись), какие бы вам ни достались победы (миссис Рэмзи, вероятно, тут свое получила) — тут, погрузнев, затуманясь, она возвратилась к ее креслу, — ясно одно: незамужняя женщина (она легонько потрепала ее по руке), — незамужняя женщина теряет в жизни самое ценное. И дом был полон, казалось, детским сном, бдением миссис Рэмзи; ночниками и тихим посапыванием.

Ах, но, ведь могла возразить Лили, у нее есть отец; есть свой дом; и даже, простите, живопись. Но все это было так мелко, наивно в сравнении с другим. Да, и покуда редела ночь, и белое утро натекало сквозь щель между шторами, и уже подавала голос в саду какая-то птица, она набиралась отчаянной храбрости объявить, что она — исключенье из общего правила; и доказывать: она любит быть одна, сама по себе; она не создана для другого, — с тем чтоб наткнуться в ответ на серьезный, несравненно бездонный взор и непререкаемую уверенность миссис Рэмзи, что ее миленькая Лили, ее Бриска-киска (она вдруг превратилась в ребенка) просто-напросто дура. И тут, помнится, она положила голову на колени миссис Рэмзи и смеялась, смеялась, смеялась, смеялась почти истерическим смехом мысли о том, как миссис Рэмзи царственно вершит судьбы тех, кого решительно не дано ей понять. Вот сидит — серьезная, простая. Вернулось прежнее ощущение — насчет замятого пальца. Ну и в какое такое мы тут проникли святилище? Лили Бриско наконец подняла глаза. Миссис Рэмзи недоумевала, что тут смешного, — все такая же царственная, но уже ни следа своеволия и вместо него — что-то светлое, как прогал, наконец-то открывшийся за облаками, кусочек ясного неба, дремлющего подле луны.

Что это? Мудрость? Знание? Или скорей золотая обманная сеть красоты, улавливающая все наши предположения на полпути к правде? Или в ней упрятан секрет, на котором, Лили несколько не сомневалась, и зиждется судьба человечества? Не всем же мыкаться, вечно перебиваться, как она сама? Но если что-то знаешь — почему не открыть? Сидя на полу, изо всех сил сжимая колени миссис Рэмзи, улыбаясь мысли, что миссис Рэмзи вовек не догадается, отчего она так обнимает ее, она думала, что в покоях сердца и ума этой женщины, сидящей сейчас ближе некуда, как сокровища в царских гробницах, упрятаны тайные начертания, которые, если их разгадать, нас бы всему научили, но их никогда не откроют, никогда не прочтут. Какой же ключ, известный любви или хитрости,

отпирает эти покои? Какое есть средство стать, как смешавшаяся в одном сосуде вода, неотторжимым от предмета твоего обожания? Достигает ли этого тело или дух, незаметно свиваясь с другим в тончайших мозговых переходах? Или сердце? Могла бы любовь, как это называется у людей, объединить ее с миссис Рэмзи в одно? Ведь ей не знание нужно, но единение, никакие не начертания, ничего, что пишется на каком бы то ни было языке, но сама близость, которая ведь и есть знание, думала она, уткнувшись в колени миссис Рэмзи.

Ничего не произошло. Ничего! Ничего! — пока она лежала головою на коленях миссис Рэмзи. И тем не менее она поняла, что мудрость и знание хранятся у миссис Рэмзи в сердце. Как же, спрашивала она себя, что-то узнаешь про людей, если они опечатаны? Только кружишь над куполом улья, как пчела, приманясь недоступной осязанию и вкусу, вязнувшей в воздухе сладостью, порыщешь в одиночку над дальними странами и кружишь над ульями с их жужжаньем и давкой, над ульями, которые люди и есть. Миссис Рэмзи поднялась. Лили поднялась. Миссис Рэмзи ушла. И потом не один еще день, как после нашего сна проступает легкая перемена в том, кто нам снился, сквозь все, что говорила она, пробивался призвук жужжанья, и, сидя в плетеном кресле в гостиной подле окна, она для Лили облакалась торжественно очертанием купола.

Этот луч, ровень с лучом мистера Бэнкса, упал прямо на миссис Рэмзи с Джеймсом на коленях. Но пока она так смотрела, мистер Бэнкс уже отвел взгляд. Он надел очки. Отступил. Поднял руку. Он чуть сузил ясные голубые глаза, и тут Лили, приподнявшись, поняла, в чем дело, и сжалась, как собака, увидевшая поднятую для удара руку. Ей хотелось содрать картину с мольберта, но она сказала себе: крепись. Она готовилась выдержать жуткую пытку, когда будут смотреть на ее картину. Крепись, она говорила себе, крепись. И если кто-то будет смотреть — лучше уж мистер Бэнкс. Но открыть любому постороннему взгляду отстой своих тридцати трех лет, осадок всех прожитых дней, замешенный на том более тайном, чего она все эти дни не показывала, не открывала, — была настоящая пытка. И удивительно, с другой стороны, волнующее переживание.

Что могло быть, однако, спокойней и будничней? Мистер Бэнкс вытащил перочинный ножик и костяной ручкой ткнул в холст. Что она хотела изобразить фиолетовым треугольником вот тут? — спросил он.

Миссис Рэмзи читает Джеймсу, сказала она. Она заранее знала его возраженья — никто не примет этого за человеческую фигуру. Но она и не стремится к сходству, сказала она. Тогда для какой же надобности она их представила? — спросил он. Да, в самом деле — зачем? Разве что затем, что если вот тут, в этом углу, светло — тут, вот в этом, ей необходим темный тон. Просто и очевидно, общее место, но мистер Бэнкс, однако же, заинтересовался. Значит, мать и дитя — предмет всеобщего поклонения, и мать, в данном случае известную своей красотой, можно, он рассуждал, свести к фиолетовой тени, нисколько не унижая?

Но картина не о них, сказала она. То есть не в том смысле. Есть разные способы выражать свое преклонение. Например, тут вот тенью, тут светом. Ее дань уважения приняла эту форму, если, неуверенно предположила она, картина может быть данью уважения. Можно, не унижая, свести к фиолетовой тени мать и дитя. Свет тут требует тени там. Он подумал. Он заинтересовался. Он отнесся к ее словам с наивнаучнейшей добросовестностью. По правде сказать, по предубеждениям своим он сторонник противоположной тенденции, объяснил он. Самая большая картина у него в гостиной, которую художники хвалят и ценят дороже, чем он за нее заплатил, — цветущие вишни на берегах Кеннета, сказал он. Он провел медовый месяц на берегах Кеннета, сказал он. Однако — и, вздев очки на лоб, он приступил к научному обследованию картины. Поскольку речь идет о соотношении масс, о соотношении света и тени, над которым он, честно говоря, никогда не задумывался, он хотел бы, чтобы ему объяснили, как полагает она поступить вот с этим — и он жестом очертил поле зрения. Она глянула. Она ничего не могла ему объяснить, ничего, она просто сама ничего не видела без кисти в руке. Она возвращала себя к состоянию, в каком писала: отвлеченность, отуманенный взгляд, — все свои женские впечатления подчиняя чему-то более важному; вновь отдаваясь во власть тому, что уже так ясно увидела, а теперь вот нашаривала посреди изгородей, и домов, и матерей, и детей, — во

власть своей картине. Задача была в том, она вспомнила, как объединить эту массу направо с той, что налево. Можно было вот так все рассеять линией ветки; либо разбить пустоту каким-то предметом (например, Джеймсом) — вот так. Но она рисковала тогда разрушить единство целого. Она осеклась; она боялась ему надоесть; она тихонько сняла картину с мольберта.

Но на картину смотрели; ее увидели; забрали себе. Этот человек разделял с ней тайное тайных. И благословляя за все миссис Рэмзи, и мистера Рэмзи, и время, и место, признав за жизнью возможность, о которой не гадала, не думала: что можно идти длинной ее галереей не в одиночку, но рука об руку с кем-то — странно-прекрасное, едва выносимое чувство, — она чересчур решительно щелкнула замочком этюдника и этим щелчком разом, навеки замкнула в круг этюдник, лужок, и мистера Бэнкса, и мчащую мимо неугомонную Кэм.

10

Кэм чуть не сшибла мольберт; ее не могли остановить мистер Бэнкс, Лили Бриско; хоть мистер Бэнкс, который и сам бы не отказался от дочки, к ней протянул руку; не мог остановить и отец, которого она тоже чуть не сшибла; ни мать, кричавшая: «Кэм, ты мне нужна на минутку!» — когда она мчалась мимо. Она летела как птица, как пуля, стрела, кем пущенная и зачем — кто скажет? Что ее гонит? — глядя на нее, гадала миссис Рэмзи. Может, привиделось что — тачка, ракушка, волшебное царство по ту сторону изгороди; или это счастье бега ее гонит — кто знает? Но когда миссис Рэмзи во второй раз крикнула: «Кэм!» — скорость снаряда спала до легкой рысцы, Кэм сорвала на скаку листок и повернула к матери.

И о чем она только мечтает, думала миссис Рэмзи, видя, что она до того поглощена своей мыслью, что надо повторить поручение — спросить у Милдред, вернулись ли Эндрю, мисс Дойл и мистер Рэйли. Слова как в колодез упали, где вода, пусть и чистая, так все преломляет, что уже в миг погруженья они искажаются и Бог его знает в каком виде доходят в ребячьем сознание до дна. Что, интересно, передаст Кэм кухарке? На самом деле, лишь терпеливо выждав и выслушав сперва, что на кухне старая-старая, очень румяная тетя ест из миски суп, миссис Рэмзи наконец удалось подхлестнуть попугайский инстинкт, который в точности подцепил слова Милдред и, если набраться терпенья, мог их выдать механической скороговоркой. Переминаясь с ноги на ногу, Кэм сообщила: «Нету их еще, и я Эллен велела с чаем чтобы обождать».

Значит, Минта Дойл и Пол Рэйли еще не вернулись. Это только одно может значить, думала миссис Рэмзи: она согласилась; или она отказала. Ни с того ни с сего прогулка после обеда, пусть даже вместе с Эндрю, — что может значить? Только — что она решила, и совершенно правильно, думала миссис Рэмзи (ей ужасно нравилась Минта), принять предложение славного малого, который, может быть, звезд с неба и не хватает, но в конце-то концов, думала миссис Рэмзи, осознав, что Джеймс дергает ее за полу, чтоб читала дальше про рыбака и рыбку, по ней, если честно признаться, лучше уж оболтусы, чем эти пишущие диссертации умники; такой, например, Чарльз Тэнсли. Во всяком случае, сейчас уж, вероятно, решилось.

Она читала: «А наутро, едва рассвело, проснулась жена и видит с кровати: прекрасное, прекрасное поле. Муж еще потягивался со сна...»

И как, интересно, Минта ему теперь откажет? Если согласна целыми днями с ним вдвоем по полям шататься? (Эндрю, тот пошел за своими крабами.) Вот если только Нэнси с ними пошла? Она старалась припомнить, как они выглядели за дверью прихожей после обеда. Стояли, смотрели на небо, сомневались насчет погоды, и она еще сказала, отчасти чтоб прикрыть их смущенье, отчасти чтоб их подбить на прогулку (она была всецело за Пола):

— Нигде ни облачка, куда ни глянь, — причем этот молокосос Чарльз Тэнсли, который вышел с ними вместе, она уверена, ухмыльнулся. Но она же так нарочно сказала. А вот была ли там Нэнси, она, как ни напрягала зрительную память, не могла вспомнить.

Она читала дальше: «„Эх, жена, — сказал рыбак, — и зачем нам королев-

ство? Не хочу я быть королем". „Ах так, — сказала жена, — не хочешь — не надо. Я сама королем буду. Ступай, скажи рыбке — мол, хочет жена королем быть"».

— Ну, туда или сюда, Кэм, — сказала она, зная, что Кэм приворожило слово «король» и через секунду она начнет дергать и тузить Джеймса. Кэм унеслась прочь. И миссис Рэмзи стала читать дальше, довольная, потому что у них с Джеймсом совпадали вкусы и всегда им хорошо бывало вдвоем:

«Пришел он к морю, а оно темное, серое, и волны ходуном ходят и гнилью пахнут. Встал он на берегу и говорит:

Рыбка, рыбка, рыбка
Пожалей ты, старина:
Вот жена опять послала,
Все ей, жадной дуре, мало.

„Так чего же она еще желает?" — спрашивает золотая рыбка». И что там у них? — думала миссис Рэмзи, решительно без всякого труда читая и размышляя одновременно; сказка о рыбке и рыбке, как басовая партия, сопровождала напев и время от времени руководила мелодией. И когда ей сообщат? Если сегодня кончилось ничем, надо будет серьезно поговорить с Минтой. Нечего по полям шататься, даже если за ними увязалась Нэнси. (Снова она попыталась вообразить удаляющиеся по тропе спины, сосчитать их — напрасно.) Она отвечает перед Минтиними родителями — перед Совой и Щипцами. Прозвища собственного изобретения всплыли у нее в голове. Сова и Щипцы — ну да — не очень-то обрадуются, если услышат — а они непременно услышат, — что Минту, когда она гостила у Рэмзи, видели... и т. д. и т. п. «В палате общин он надевает парик, а дома жена выручает его на приемах», — повторила она, освещая их в памяти фразой, которую, воротясь как-то от них, придумала, чтоб позабавить мужа. Господи Боже, спрашивала себя миссис Рэмзи, и как только им удалось произвести такую нелепую дочь? Лихую Минту с дыркой в чулке? А она-то как ухитряется жить в этом их важном доме, где горничная вечно совками выносит разбросанный попугаем песок и вся беседа, в сущности, вертится вокруг подвигов пусть и забавной, но не такой уж изобретательной птички. Естественно, как было не пригласить девочку на обед, на чай, на ужин, потом у них погостить в Финлее, и вот тут-то и пошла трения с Совой, с мамашей, и — опять визиты, опять разговоры, опять песок, и, ей-Богу, сама она в конце концов так изолгалась по поводу попугаев, что съта по горло (так она говорила мужу тогда, воротясь от них). А Минта все же приехала... Да, приехала, думала миссис Рэмзи, и тут в ее мыслях застряла колючка; и, распутав душевный колтун, она обнаружила — вот: одна женщина когда-то ее обвиняла, что «отняла у нее привязанность родной дочери»; и что-то в словах миссис Дойл напомнило ей то старое обвинение. Желание властвовать, вмешиваться, заставлять других плясать под ее дудку — вот возводимое на нее обвинение, совершенный поклеп. Разве виновата она, что «уж такая» на вид? Никто ей не может поставить в упрек, будто она старается впечатлять. Часто ей даже стыдно своей неприбранности. И ничего она не властолюбивая, ничего не тиранка. Ну, насчет больниц, молочных, канализации еще справедливо, пожалуй. Тут она в самом деле лезет из кожи вон и, будь ее воля, каждого взяла бы за шкуру и ткнула в безобразия носом. На всем острове ни единой больницы. Ужасно. В Лондоне оставляют у ваших дверей молоко, просто бурое от грязи. Запретить бы такое законом. Образцовые молочные и больницы на острове — этих двух вещей она бы с удовольствием добивалась. Но как? А дети? Вот подрастут, тогда и будет у нее время; когда в школу пойдут.

Ах, да вовсе ей не хотелось бы, чтобы Джеймс хоть на йоту стал взрослей. И Кэм. Эти двое пусть бы вечно оставались при ней в точности как сейчас — несносные бесенята, сущие ангельчики, пусть бы и вовсе не вырастали в голенастых чудовищ. Ничем не восполнимая потеря. Вот она прочитала Джеймсу: «...а вокруг войны стоят с трубами, с барабанами», — и глаза у него потемнели, и она подумала: зачем им вообще вырастать, терять это все? Он самый одаренный, самый сложный из ее детей. Но и остальные, она подумала, много обещают. Пру — с другими-то она сущий ангел и уже сейчас, вечерами особенно, иногда дух захватывает — до чего хороша. Эндрю — даже муж при-

знает, что у него незаурядные способности к математике. Ну, Нэнси и Роджер — эти пока неумные, носятся с утра до вечера бог знает где. Или Роза — рот у нее до ушей, зато золотые руки. Когда ставят шарады, костюмы кто делает? Роза. Все умеет; на стол накрыть; расставить цветы; все такое. Неприятно, что Джеспер стреляет птиц; но это у него возрастное; пройдет. Зачем, думала она, уткнув подбородок в голову Джеймса, зачем они так быстро вырастают? Зачем уезжают в школу? Ей бы всегда при себе маленького иметь. Самое-самое — когда носишь их на руках. А там — пусть говорят, будто она властолюбива, деспотична, тиранка, — ей все равно. И, касаясь губами его волос, она подумала — никогда больше он не будет так счастлив, подумала и спохватилась, вспомнив, как рассердился муж, когда она это сказала. Но это же правда. Сейчас у них лучшее времечко. Грошовый чайный сервиз на много дней осчастливил Кэм. Она слышит, как они топчут, галдят наверху, едва проснутся. Кубарем скатываются по лестнице. Распахивается дверь — и они влетают, розовые, глазастенькие, веселые, будто этот выход к завтраку, совершающийся каждый божий день, — несусветное чудо, и так одно за другим — целый день напролет, пока она не поднимется поцеловать их на ночь, и они за сеткой кроваток, как птички в малиннике, все плетут разные глупости — что-то услышали, что-то подобрали в саду. У каждого — свой маленький клад... И она спустилась тогда и сказала мужу — зачем им расти и все это терять? Никогда больше они не будут так счастливы. А он рассердился. Зачем так мрачно смотреть на жизнь? — он сказал. Это неразумно. Потому что — вот странно... Но это правда. При всех своих срывах и муках он ведь счастливее, в общем, жизнерадостнее, чем она. Меньше поддается житейским неприятностям, что ли. Всегда может спастись работой. Нет, и сама она вовсе не «пессимистна», как он припечатал. Просто она считает, что жизнь... — и отрезок времени представился ее взору — пятьдесят ее лет. Вот она вся перед нею — жизнь. Жизнь, она подумала, но она не додумала мысль до конца. Она разглядывала свою жизнь, потому что та была тут как тут, рядом — подлинное, свое, чего не разделишь с детьми или с мужем. Между ними словно сделка заключена, между нею и жизнью, и каждая норовит изловчиться, надуть; а иногда они ведут преспокойно переговоры (это когда она остается одна), и бывают, ей вспомнилось, очень даже милые мирные сценки. Но по большей части она, как ни странно, вынуждена признавать, находит эту штуку, именуемую жизнью, страшной, коварной, то и дело, едва зазеваешься, готовой накинуться из-за угла. Есть вечные проблемы: страдания; смерть; бедняки. Вечно, даже здесь, умирает от рака какая-то женщина. А она вот сказала всем своим детям — идите по ней. Восьмерым она безжалостно это сказала. (А починка теплицы встанет в пятьдесят фунтов.) Потому-то, зная, что их ждет впереди: любовь, надежды, брошенность по разным ужасным местам, — она и думает часто: зачем им расти, все терять? А потом, размахивая мечом перед носом у жизни, она говорит: вздор. Будут они счастливы, будут. И вот, подумала она, вновь ощутив злую безысходность жизни, она подбивает Мингу выйти за Пола Рэйли; ведь как ни относиться к собственному опыту и хоть лично ей выпало на долю такое, что не каждой и пожелаешь (про это лучше не надо), вечно ее подмывает всем твердить — уж слишком настойчиво, будто сама она этим спасается, — нужно выходить замуж; нужно иметь детей.

Может быть, не надо так? — думала она, пересматривая свое поведение за последние две-три недели. Может быть, она чересчур наседала на Мингу, которой всего двадцать четьре, чтоб та наконец решилась? Ей стало не по себе. Ведь уже смеялась, кажется, над собой. Опять она, значит, забыла, как сильно умеет влиять на других? Для брака необходимо — о! миллионы разных вещей! (починка теплицы встанет в пятьдесят фунтов) но, во-первых — зачем называть? — и это главное; то, что есть у них с мужем. А вот есть ли оно у тех?

«Натянул он штаны и пустился бежать как безумный, — читала она. — Но бушевала буря, ветер выл и сбивал его с ног. Валились деревья, дома, трясом тряслись горы, срывались в море утесы. Небо было черным-черно, гром гремел, сверкали молнии, и ходили по морю ходуном черные волны, каждая — как башня церковная, как гора, а сверху — белая пена».

Она перевернула страницу; оставалось несколько строк, можно кончить,

хоть ему пора спать. Поздно уже. Ей об этом сказало освещение сада: матовые цветы, серо поскутчевшие листья, сговорясь, на нее навели тревогу. Сперва она даже не разобралась, что такое. Потом вспомнила: Пол, и Минта, и Эндрю еще не вернулись. Снова она вызвала в памяти тесную группку перед дверью прихожей: стоят, смотрят в небо; у Эндрю ведро и сачок. Значит, своих крабов собрался ловить. Значит, будет по скалам карабаться; как бы его не отрезал прилив. А когда будет гуськом возвращаться узенькой тропкой вдоль скал, кто-то может и поскользнуться. Свалиться; разбиться. Почти совсем стемнело.

Но голос у нее не дрогнул, когда она дочитывала сказку и, захлопнув книжку, проговорила последние слова так, будто сама их вот сейчас сочинила, глядя Джеймсу в глаза: «Там и остались они жить-поживать».

— Вот и все,— сказала она и по глазам его увидела, что в них погас интерес к сказке и что-то новое заступило; что-то удивленное, смутное, как отблеск света, вдруг заставило его встрепенуться. Она обернулась, глянула на бухту — и так и есть,— сперва зыбко прошлись по волнам два коротеньких, робких мазочка, потом длинный и прочный улегся луч маяка. Зажгли.

Сейчас он спросит: «Мы поедем на маяк?» И придется ему отвечать: «Нет, завтра — нет. Папа сказал, завтра — нет». Слава Богу, шумно явилась Милдред, и это его отвлекло. Но он оглядывался через плечо, когда Милдред его уносила, и думал, конечно: завтра мы не поедем на маяк. И он ведь на всю жизнь это запомнит.

11

Нет, она думала, отбирая кое-что из вырезанных картинок — ледник, кошку, господина во фраке, — ничего дети не забывают. Оттого так и важно, что говорить, что делать, и чувствуешь облегчение, когда они идут спать. Ни о ком можно не думать. Быть с собой; быть собой. Теперь у нее часто эта потребность — подумать; нет, даже не то что подумать. Молчать; быть одной. Всегдашнее — хлопотливое, широкое, звонкое — улетучивается; и с ощущением праздника ты убываешь, сокращаешься до самой себя — клиновидная сердцевина тьмы, недоступная постороннему взгляду. Хоть она продолжала вязать и сидела прямо — так она себя ощущала; и это «я», отряхнувши все связи, освобождалось для удивительных впечатлений. Когда жизнь опадает, открывается безграничная ширь возможностей. И у всех, она подозревала, в этом чувстве — неистощимая помощь; у всех; у нее, у Лили, у Августа Кармайкла; у всех есть, наверное, это чувство — что наша видимость, признаки, по которым нас различают, — пустяки. А под этим — тьма; расплывающаяся; бездонная; лишь время от времени мы всплываем на поверхность, и тут-то нас видят. Собственный кругозор казался ей сейчас безграничным. Охватывал все места, которых она не видывала; индийские плоскогорья; она отстраняла тяжелый кожаный занавес при входе в римский храм. Сердцевина тьмы может куда угодно проникнуть — никто не увидит. Ее не остановить, думала она, торжествуя. Вот она — свобода, вот он — мир, вот — и это главное — на чем можно расправиться, успокоиться, передохнуть. Нет уж, сам по себе человек, по ее опыту судя, никогда не находит покоя (тут она что-то особенно виртуозное исполнила спицами) — только когда станет сердцевиню тьмы. Отделяваясь от личного, отделяешься от мук, суматохи, забот; и всегда она еле удерживала крик торжества над жизнью, когда все так вот вливалось в мир, покой, вечность; тут она замерла и подняла глаза, чтоб поймать луч маяка — длинный, прочный луч, последний из трех, ее луч, потому что, всегда в этот час и в таком настроении на все это глядя, волея-неволей себя с чем-то свяжешь особенно; и длинный, прочный луч, он — ее луч. Часто, сидя и глядя, сидя и глядя, работая спицами, сама наконец становишься тем, на что смотришь, — например, этим светом. И он вызывает со дна сознания фразу, такую вот, например: «Дети не забывают, дети не забывают», — и повторяешь ее, повторяешь, а потом прибавляешь что-то еще. Это кончится; это кончится, она говорила себе, это будет, это будет, и вдруг она сказала: «Все мы в руках Божьих».

Но тотчас сама на себя рассердилась — и зачем она это сказала? Кто сказал? Неужели она? Она попалась в силку, ошибкой сказала, чего вовсе не дума-

ла. Она подняла взгляд от вязанья и встретила третий луч, и было так, будто ее же глаза встретились с ее глазами, заглянули, как только сама она могла заглянуть, в ум, в сердце, вычищая, стирая эту ложь, всякую ложь. Луч — молодцом, и сама она — молодцом; оказалась сильна, проницательна и прекрасна, как луч. Странно: наедине с собою льнешь к вещам, неодушевленным вещам; ручьям, цветам, деревьям; они тебе помогают выразиться; они тебя знают; они — это ты; их даришь нежностью, сдуру жалеешь (она смотрела на длинный прочный луч), как жалеешь себя. Она смотрела, смотрела, и спицы застыли в руках, и со дна души, над прудом души поднималась туманная дымка, как жениху на встречу невеста.

И что ее дернуло сказать: «Все мы в руках Божьих»? — удивлялась она. Проскользнувшая в правду неискренность ее раздражала. Она снова принялась за чулок. Да какой же Бог мог сотворить этот мир? — спросила она себя. Умом она всегда понимала, что ни разума нет, ни порядка, ни справедливости; но страдания, смерть, бедняки. Нет такого предательства, такой низости, на какие этот мир не способен, она убедилась. Счастье не вечно, она убедилась. Она должна вязать с решимостью и хладнокровием, чуть поджав губы и бессознательно придавая лицу такое выражение строгости, что муж, проходя мимо — хоть он про себя и посмеивался при мысли о том, как Юм, философ, чудовищно раздобревший, однажды увяз в болоте, — не мог не заметить этой горькой строгости на глубине ее красоты. Его она опечалила, ее отрешенность ему причиняла боль, он чувствовал, проходя мимо, что не может ее защитить, и, подойдя к живой изгороди, он был опечален. Он ничем не мог ей помочь. Только стоять и смотреть. И даже — нестерпимая правда — он портит ей жизнь. Он раздражителен. Вспылчив. Вышел из себя из-за этого маяка. Он вглядывался в темную изгородь, в темный разговор ветвей.

Всегда, миссис Рэмзи знала, даже нехотя выбираешься из одиночества, ухватясь за какой-то пустяк, что-то увидев, услышав. Она вслушалась; все было тихо; кончился крикет; дети разбрелись мыться; только говор моря остался. Она перестала вязать; длинный красно-бурый чулок на мгновение повис, качаясь, на пальцах. Она снова увидела вспышку. Уже не без иронии — ведь когда просыпаешься, иначе относишься ко всему — она взглянула с вопросом на прочный луч, безжалостный, неумолимый, — он так похож на нее и так не похож, и никауда от него не деться (она по ночам просыпается и видит, как, развалилась поперек их постели, он свешивается до полу), и все равно, думала она, следя за ним зачарованно, оторопев, будто он оглаживал серебристыми пальцами закупоренный сосуд у нее в мозгу и сейчас вот он лопнет и радость ее захлестнет, — все равно она знала счастье, полное счастье, острое счастье, — а луч серебрил лохматые волны все ярче, покуда гасло небо, и убирал последнюю синь, затаившуюся в волнах, и они наливались лимонною желтизной, взбухали, вздувались и лопались на берегу, и радость вспыхнула у нее в глазах и окатила, накрыла, и она поняла — вот оно! Вот!

Мистер Рэмзи повернул и увидел ее. Ах! Как она была хороша, он и не знал, как она хороша. Но он не решался с нею заговорить. Не смел ей мешать. Ему позарез надо было с нею заговорить теперь, когда уже не было Джеймса и она осталась одна. Но он решил — нет; нельзя ей мешать. Она была отъединена от него своей красотой и печалью. Не надо ее тревожить. И он без единого слова прошел мимо, хоть ему было грустно, что она сейчас так далеко, не добрать, и нельзя ей помочь. И он бы снова прошел мимо без единого слова, если бы именно в этот момент она сама ему не подарила того, о чем, она знала, он никогда не попросит, и окликнула его, и сняла с рамы зеленую шаль и вышла к нему. Ведь он хотел, она знала, ее защитить.

Она накинула на плечи зеленую шаль. Она взяла его под руку. Он до того красив, с места в карьер заговорила она про Кеннеди, про садовника, он так безумно прекрасен, что решительно нет возможности его рассчитать. К теплице была прислонена лестница, и повсюду валялись груды замазки, ибо осуществля-

лась починка тепличной крыши. Да, но когда так вот прогуливаешься об руку с мужем, хотя бы эта забота уже не страшна. У нее вертелось на языке: «Это встанет в пятьдесят фунтов», но, как всегда, когда речь шла о деньгах, она спасовала и сказала вовсе, что Джеспер стреляет птиц, а он сказал, моментально ее успокоив, что для мальчишки это естественно и, разумеется, он скоро найдет более достойный способ себя занять. Он умный, он справедливый — ее муж. И она сказала: «Да, как у всех, — переходный возраст» — и стала разглядывать далии на большой клумбе и прикидывать, какие цветы высадить на будущий год, и — он слышал, как дети прозвали Чарльза Тэнсли? — спросила она. Атеист, они его прозвали — крошка атеистик. «Не слишком блистательный экземпляр», — сказал мистер Рэмзи. «Уж какое!» — сказала миссис Рэмзи.

Она полагает, лучше его оставить в покое, говорила миссис Рэмзи, прикидывая, стоит ли присылать сюда луковичные; вообще-то их здесь сажают? «Ему надо писать диссертацию», — сказал мистер Рэмзи. Уж об этом она понаслышалась, сказала миссис Рэмзи. Он ни о чем другом и не говорит. Влияние кого-то на что-то. «Ну, ни на что другое он не может рассчитывать», — сказал мистер Рэмзи. «Боже упаси, только бы он не вздумал в Пру влюбиться», — сказала миссис Рэмзи. Он ее лишит наследства, если она за него пойдет, сказал мистер Рэмзи. Он смотрел не на цветы, которые разглядывала жена, а куда-то на полметра повыше. В общем, он недурной малый, прибавил он и хотел было сказать, что он единственный молодой человек во всей Англии, который ценит... — но осекся. Незачем снова к ней приставать со своими книгами. «А цветы, между прочим, вполне», — сказал мистер Рэмзи, опуская взгляд и различая что-то бурое, что-то красное. Да, но эти она собственными руками сажала, сказала миссис Рэмзи. Вот вопрос — стоит ли посылать сюда луковичные; посадит их Кеннеди? Неисправимая лень, прибавила она, двинувшись дальше. Если стоять у него над душой весь день напролет с лопатой в руке, тогда еще от него чего-то можно добиться. И они побрели дальше, к проему между факельных лилий. «Вот ты и дочек учишь преувеличивать», — с упреком сказал мистер Рэмзи. Тетя Камилла была еще в тысячу раз хуже, возразила миссис Рэмзи. «Насколько я знаю, никто никогда не считал твою тетю Камиллу образцом добродетели», — сказал мистер Рэмзи. «Зато она самая красивая женщина, какую я видела», — сказала миссис Рэмзи. «Есть кое-кто и получше», — сказал мистер Рэмзи. Пру вот будет еще гораздо красивей, сказала миссис Рэмзи. Он ничего подобного не усмотрел, сказал мистер Рэмзи. «Ну так присмотришься хоть сегодня», — сказала миссис Рэмзи. Постояли. Ему бы хотелось заставить Эндрию приналечь на занятия. Если нет — прости-прощай поощрительная стипендия. «А-а, эти стипендии!» — сказала она. Мистер Рэмзи считал, что глупо так говорить о серьезных вещах, о стипендии. Он бы очень гордился Эндрию, если бы тот добился стипендии, сказал он. А она в точности так же будет гордиться, если он ее не добьется, отвечала она. Тут они вечно не соглашались, но это не имело значения. Ей нравилось его отношение ко всяким стипендиям, ему нравилось, что она так гордится Эндрию, что бы Эндрию ни вытворял. Вдруг она вспомнила про эти узкие тропки над пропастями.

Уже, кажется, поздно? — спросила она. Они еще не вернулись. Он беззаботно щелкнул крышкой часов. Всего полвосьмого. Минуту он постоял, не закрывая часов, решаясь сказать ей о том, что он почувствовал, бродя по террасе. Но, во-первых, нет решительно никаких оснований тревожиться. Эндрию, слава Богу, не маленький. А потом — он хотел ей сказать, что когда он вот сейчас бродил по террасе, — но тут ему стало неловко, будто он непрошено вламывается в ее уединение, отрешенность, в эту ее отключенность... Но она настаивала. Так что же такое он хотел ей сказать? — спрашивала она, думая, что это насчет маяка; ему стыдно, что он сказал тогда: «Фу ты черт!» Но нет. Ему неприятно было ее видеть такой печальной, сказал он. Просто задумалась, ответила она, чуть покраснев. Обоим стало неловко, будто неясно, идти ли дальше, сворачивать ли. Она читала Джеймсу волшебные сказки... — сказала она. Нет, этим не делаться; такого не выговоришь.

Они дошли до проема между факельных лилий, и там опять был маяк, но ей на него не хотелось смотреть. Если б она знала тогда, что муж ее видит, ду-

мала она, она бы себе не позволила так забытья. Ей было неприятно все, что напоминало о том, как она сидела тогда, забывшись, на глазах у мужа. И она отвернулась и через плечо посмотрела на городок. Текли и струились огни, словно повисшая на ветру серебряная капля. Вот в чем уместается вся нищета, все страданья, думала миссис Рэмзи. Огни городка, и пристани, и судов казались призрачной сетью, огораживающей место кораблекрушения. Что ж, если ему нет доступа к ее мыслям, решил мистер Рэмзи, можно предаться своим. По-смаковать забавную историю о том, как Юм увяз в болоте; посмеяться. Но, во-первых, какая нелепость тревожиться из-за Эндрю. В возрасте Эндрю он целыми днями бродил по округе с одним сухарем в кармане, и никто не пекся о нем и не думал, что он может свалиться с утеса. Вслух он сказал, что, может быть, на целый день отправится побродить, если позволит погода. Бэнкс и Кармайкл — хорошенького понемножку. Пора уж побыть одному. Да, сказала она. Его задело, что она не стала спорить. Знает прекрасно, что никуда он не денется. Стар стал с одним сухарем в кармане целыми днями бродить. Из-за мальчишек тревожится, но не из-за него. Давным-давно, когда еще не был женат, думал он, глядя на бухту, пока они стояли между факельных лилий, он вышагивал целыми днями. Перехватит, бывало, в трактире хлеба и сыра. Работал по десять часов, не разгибая спины; старуха только просовывала голову в дверь — приглядеть за огнем. Вов там его самый любимый вид; эти дюны, убегающие в сонную даль. Можно целый день пробродить, не встретив живой души. И почти ни единого дома на мили кругом, ни единой деревни. В одиночестве можно все беды распутать. Там песчаные отмели, где ничья нога не ступала от начала времен. Там присаживаются и в глаза тебе смотрят тюлени. Иной раз ему кажется, что в таком вот домишке, совершенно один... он со вздохом осекся. Он не имеет права. Отец восьмерых детей — напомнил он себе. Он был бы последней сволочью, неблагодарной скотиной, если б желал хоть на йоту что-нибудь изменить. Из Эндрю выйдет человек получше его самого. Пру, говорит ее мать, будет красавицей. Ничего, если слегка обуздают. Восемь таких детей — собственно, недурная работа. Которая и доказывает, что не так уж постыло ему наше Богом забытое мирозданье, ведь вот в эдакий вечер, думал он, глядя на землю, растворенную далью, остров кажется умирительно крошечным, наполону проглоченный морем.

— Несчастное, Богом забытое место, — пробормотал он со вздохом.

Она расслышала. Он говорит страшно грустные вещи, но странно: стоит ему такое сказать, и сразу он веселеет. Все эти фразочки — сплошная игра, думала она, ведь наговори она сама такого хоть вполчину, она бы давно уж пустила себе пулю в лоб.

И зачем эти фразочки, подумала она и как ни в чем не бывало заметила, что вечер совершенно чудесный. И чего он разохался, спросила она, смеясь и досадуя одновременно, ведь она догадалась, о чем он думал, — он написал бы книги получше, не будь он женат.

Он не жалуется, сказал он. Она сама знает, что он не жалуется. Она же знает — жаловаться ему не на что. И он схватил ее руку, поднес к губам, поцеловал с таким жаром, что у нее на глаза навернулись слезы, и тотчас он ее отпустил.

Они отвернулись от вида и пошли рука об руку вверх по тропке, обросшей серебристыми копиями трав. Рука у него почти как у юноши, думала миссис Рэмзи, тонкая, твердая, и она с восхищением думала, какой он у нее еще сильный, хоть ему и за шестьдесят, оптимистический, неукротимый и как это странно, что, убежденный во всяческих ужасах, он не поддается им, они его только бодрят. Удивительно, правда? — размышляла она. Ей-Богу, ей кажется иногда, что он — не как люди, слепоглухонемой от рождения, что касается обычных вещей, зато на необычные вещи взгляд у него орлиный. Ее иногда поражает его пронизательность. Но он цветы замечает? Нет. Вид замечает? Нет. Замечает он красоту собственной дочери, пудинг, бифштекс ли положен ему на тарелку? Он со всеми сидит за столом как во сне. А эта его манера говорить с самим собой вслух или ни с того ни с сего громко разражаться стихами — ведь с годами все хуже; иногда ужасно неловко...

«Ты, кто лучше всех, уйдем!»

Бедняжка мисс Гиддингс, когда он так на нее гаркнул, чуть со стула не свалилась от страха. Но в конце-то концов, думала миссис Рэмзи, сразу беря его под защиту против всех этих дур вроде Гиддингс, в конце-то концов, думала она, легким пожатием руки давая ему понять, что в гору она за ним не поспекает и ей надо на минуточку остановиться поглядеть, нет ли свежих кучек земли по откосу, — в конце-то концов, думала она, наклоняясь, чтоб получше их разглядеть, великий ум и всегда-то отличен от нашего. Все великие люди, каких она знала, думала она, придя к заключению, что кролик пробрался в сад, — все они гаковы, и молодым людям полезно (хоть душная атмосфера аудиторий на нее лично наводит просто непереносимую скуку) хотя бы его послушать, хотя бы на него поглядеть. Но если их не стрелять, как от них отделаешься — от кроликов, размышляла она. Наверное, это кролик; наверное, это крот. Во всяком случае, какая-то животинка подкапывается под ее примулы. И, подняв глаза, она увидела над тонкими ветками первый прищур ярко задрожавшей звезды и хотела обратить на нее внимание мужа; самой ей звезда доставила такую острую радость. Но она передумала. Он никогда ни на что не смотрит. А если посмотрит, только и скажет: «Богом забытый мир!» — с этим своим вздыханием.

И тут он сказал: «Очень-очень красиво», чтоб доставить ей удовольствие, и прикинулся, будто цветами любит. Но она-то знала, что ничего он не любит, ему все равно, хоть тут есть цветы, хоть их нет. Просто чтоб доставить ей удовольствие... А-а, да не Бриско ли это там вышагивает с Уильямом Бэнком? Она сосредоточила близорукий взгляд на спинах удаляющейся парочки. Они, так и есть: И не значит ли это, что им следует пожениться? Именно! Дивная мысль! Им же следует пожениться!

13

Он бывал в Амстердаме, говорил мистер Бэнкс, шагая через лужайку с Лили Бриско. Видел Рембрандта. Был в Мадриде. К сожалению, это пришлось на страстную пятницу, Прадо был закрыт. Был и в Риме. Мисс Бриско никогда не бывала в Риме? О, непременно следует побывать. Это будет для нее выдающееся переживание — Сикстинская капелла; Микеланджело; и Падуя — полотно Джотто. Его жена долгие годы хворала, это ограничивало возможность путешествий.

Она была в Брюсселе; и в Париже была, правда мимолетно, навещала заболевшую тетку. Была в Дрездене; есть бездна картин, которых она не видела; впрочем, рассуждала Лили Бриско, может, лучше не смотреть на картины; из-за них только еще безнадежней презираешь собственную работу. Мистер Бэнкс полагал, что такая точка зрения может чересчур далеко завести. Не всем быть Тицианами, не всем быть Дарвинами; с другой стороны, неизвестно еще, были б у вас Тицианы, были б у вас Дарвины, если б не было нас, обычных людей. Лили захотелось ему возразить комплиментом; вы-то не такой уж обычный, мистер Бэнкс, вертелось у нее на языке. Но он не нуждается в комплиментах (большинство мужчин нуждаются), подумала она, чуточку устыдилась своего ползновения и молчала, покуда он рассуждал, что к живописи только что сказанное, может быть, и не относится. Все равно, сказала Лили, отметая легкую поблажку неискренности, она никогда не бросит живопись, потому что ей интересно. Да, сказал мистер Бэнкс, он в этом уверен, и, дойдя до края лужайки, он уже спрашивал, трудно ли ей находить сюжеты в Лондоне, когда они повернули и увидели миссис и мистера Рэмзи. Вот он — брак, думала Лили, мужчина и женщина смотрят, как девочка бросает мяч. Вот что мне тогда ночью старалась втолковать миссис Рэмзи, думала она. Она куталась в зеленую шаль, и они стояли рядышком и смотрели, как Джеспер и Пру перекидываются мячом. И как ни с того ни с сего, выходя из подземки, звонясь у чужих дверей, люди вдруг облакаются странной значительностью и становятся воплощением,

¹⁰ Перси Биши Шелли, «Приглашение». Перевод В. Меркурьевой.

символом, — так стоящие в сумерках два человека стали вдруг символом брака; муж и жена. Потом, тотчас символические очарованные очертания с них спали, и когда Лили Бриско и Уильям Бэнкс к ним подошли, они уже были опять мистер и миссис Рэмзи, смотрящие на детей, играющих в мяч. И все же, и все же на миг еще, хотя миссис Рэмзи их осияла своей обычной улыбкой (ах, она ведь решила, что мы поженимся, подумала Лили) и сказала: «Сегодня я одержала победу», разумея, что ей наконец удалось залучить мистера Бэнкса на ужин и он на сей раз не сбегит от нее к своему слуге, который готовит подобающим образом овощи, — и все же еще на миг удержалось ощущение разлета, шири и безответственности, когда мяч взмыл, и за ним потянулись взглядами, и его потеряли, и увидели одиночку звезду в обрамлении ветвей. В убывающем свете все казались угловатыми, бестелесными и разбросанными по пространству. Но вот, метнувшись назад и провалившись куда-то (все плавало в сумерках, лишенное веса), Пру вылетела прямо на них, блистательно-высоко поймала левой рукой мяч, и мать у нее спросила: «Они еще не вернулись?» — и чары развеялись. Мистер Рэмзи счел себя вправе громко расхохотаться над Юмом, который увяз в болоте, и одна старушка его согласилась выволить на условии, что тот прочтет «Отче наш», и, все еще фыркая, он направился к себе в кабинет. Миссис Рэмзи, возвращая Пру в лигу семейственности — из которой та вырвалась, прыгая за мячом, — спросила:

— А Нэнси с ними пошла?

14

(Конечно, Нэнси с ними пошла, потому что Минта Дойл ее умоляла неммым взглядом и протянула к ней руку, когда Нэнси после обеда собралась улизнуть к себе наверх от кошмара семейственности. И пришлось ей идти. Ей не хотелось идти. Не хотелось во все это впутываться. Ведь пока они шли по дороге до самых скал, Минта хватала ее за руку. Потом отпускала. Потом снова хватала. И чего вообще-то ей нужно? — спрашивала себя Нэнси. Чего-то, видно, людям нужно. И когда Минта хватала ее за руку и не отпускала, Нэнси волей-неволей видела стлавшийся ей под ноги целый мир, словно Константинополь в тумане, и как бы у тебя ни слипались глаза, приходится спрашивать: «А это Ая-София?.. А это Золотой Рог?» Так вот и Нэнси спрашивала, когда Минта хватала ее за руку: «Ей этого нужно? Не этого ли?» Но что такое — это? Там и сям из тумана проклевывались (когда Нэнси смотрела на расстелившуюся под ней жизнь) купол; шпиль; выдающиеся, без названий. Но когда Минта отпускала ее руку, когда они сбегали по склонам, все — купола, и шпили, и что там еще пробивало туман, вновь канув в него, исчезало.

Минта, считал Эндрю, ходить, в общем, умела. Одевалась разумнее прочих женщин: короткие юбочки, черные бриджи. Прыгнет прямо в поток и барахтается. Приятная смелость, но, в общем, не дело — так можно и расшибиться нелепейшим образом. Она, кажется, ничего не боялась, кроме быков. Едва увидит быка, с визгом кидается прочь, раскинув руки, а быков ведь именно это и бесит. Но она ничуть не стеснялась в этом признаться, тут надо отдать ей должное. Она дикая трусиха по части быков, она говорила. Наверное, так она думала, ее вывалили из колясочки, когда она была маленькая. В целом она была не из тех, кто задумывается над тем, что говорить и что делать. Вот и сейчас застряла у края скалы и что-то запела такое:

— А пошли вы все к чертям, все к чертям! — И всем пришлось подхватить припев и хором надсаживаться:

— А пошли вы все к чертям, все к чертям, — однако было б безумно жаль пропустить момент, пока прилив еще не загопил все охотничьи зоны.

Безумно жаль, согласился Пол и вскочил, и пока они скользили вниз, он цитировал путеводитель на тот предмет, что «острова эти славятся по праву своими видами, напоминающими парки, и большим числом и разнообразием морских достопримечательностей». Но нет, совершенно не дело эти выкрики, и посыланье к чертям, чувствовал Эндрю, пробираясь вниз по скале, и это похлопывание тебя по плечу, обращение «старина» и прочее в том же роде; совер-

шенно, совершенно не дело. Вот потому-то он и зарекался брать в экспедиции женщин. Внизу они сразу же разделились, он отправился на Поповский Нос, разувшись, скатав носки, и оставил эту парочку на собственное попечение. Нэнси пробралась к своим излюбленным скалам обыскивать свои знакомые заводы и оставила эту парочку на собственное попечение. Она сидела на корточках и трогала резиново-гладкие морские анемоны, ломтями желе облепившие выступ скалы. Замечтавшись, она преобразала заводь в бескрайное море, пескаррей превращала в акул и китов и, держа ладонь против солнца, окутывала тучами весь свой крошечный мир, как сам Господь Бог, погружая во тьму и отчаяние миллионы ни в чем не повинных, ничего не ведающих существ, а потом, отняв руку, вновь выпускала на них веселое солнце. По белому, исписанному волнами песку в кольчуге и наручнях державной поступью удалялся какой-то немислимый левиафан (границы заводи все расширялись) и таял в горном ущелье. А потом она незаметно скользнула над заводью взглядом, и взгляд замер на мреющей грани между морем и небом, на деревьях, волею пароходных дымков расколыхавшихся над горизонтом, и от всего этого богатства, которое щедро катил на нее и тотчас яростно отбирал простор, от впечатлений величия и разной мелкой нечисти, преспокойно среди него процветавшей (заводь опять сокращалась), она вдруг как приклеилась к месту, и у нее захолонуло сердце, а ее собственное тело, собственная жизнь и жизни всех-всех на свете превратились навеки — в ничто. Так, сидя на корточках над заводью, слушая волны, она замечталась.

И тут Эндрю закричал, что прилив, и она зашлепала по приплеску, побегала по песку и от разгона и радости бега залетела за большую скалу, и там — Господи! — сидели в обнимку Минта и Пол! Наверное, целовались. Она возмутилась, она пришла в ужас. Они с Эндрю натягивали носки, обувались в мертвом молчании, не проронив ни слова. Потом нагубили друг другу. Могла и позвать его, когда лангуста увидела или кого там, ворчал Эндрю. Тем не менее оба чувствовали — мы не виноваты. Никто же не хотел, чтобы произошло это безобразие. И все равно Эндрю раздражало, что Нэнси принадлежит к числу женщин, а Нэнси злило, что Эндрю — из числа мужчин, и они очень тщательно и очень крепко завязывали шнурки.

Только уже когда опять забрались на самый верх, Минта заголосила, что потеряла бабушкину брошку — бабушкину брошку, ее единственное украшение — плачущая ива (они помнят, конечно!) такая вся из жемчужинок. Они, конечно, ее видели, причитала она, и слезы текли по щекам — бабушкину брошку, бабушка ею чепчик закалывала до последнего дня своей жизни. А она ее потеряла. Лучше б она что угодно еще потеряла! Она захотела вернуться и поискать. Все вернулись. Шарили, смотрели. Ползали по самой земле, рывкали друг на друга. Пол Рэйли как сумасшедший обыскивал то место, где они с Минтой сидели. Вся эта возня вокруг брошки — совершенно не дело, думал Эндрю, когда Пол ему предложил «произвести тщательнейшие розыски между тем пунктом и этим». Прилив наступал. Через минуту море грозило накрыть то место, где они сидели. Всякая возможность найти эту брошку решительно сводилась к нулю. «Нас отрежет!» — взвизгнула Минта, вдруг спохватившись, в ужасе. Будто была хоть малейшая доля опасности! Поздравляю — те же быки; она не умеет совладать со своими эмоциями, думал Эндрю. Женщины вообще не умеют. Пусть этот несчастный Пол утихомиривает ее. Мужчины (Эндрю и Пол разом сделались мужественными, не всегдашними) держали краткий совет, и решено было воткнуть трость Пола на том месте, где они сидели, и вернуться, когда будет отлив. Сейчас пока ничего не поделаешь. Если брошка тут, она и будет тут до утра, уверяли они Минту, но та хлопала все время, пока они поднимались. Это бабушкина брошка; лучше б она что угодно еще потеряла! И все же Нэнси чувствовала, что хоть брошку ей, правда, наверное, жаль, плачет она не только из-за нее. Она плачет из-за чего-то еще. Впору всем сесте и расплакаться, думала Нэнси, только неизвестно из-за чего.

Они обогнали их, Минта и Пол, и он ее утешал, рассказывал, как гениально он умеет отыскивать разные вещи. Один раз, когда маленький был, он нашел золотые часы. Он встанет ни свет ни заря и он определенно найдет эту

брошку. Ему казалось, что будет совсем темно, и он будет один на берегу, и почему-то все будет довольно опасно. Тем не менее он начал ей говорить, что непременно найдет брошку, а она сказала, что и слышать не хочет о том, чтоб он вставал ни свет ни заря; брошку не найти; она знает; у нее предчувствие было, когда сегодня она ее закалывала. И он решил про себя, что ничего ей не скажет, потихоньку ускользнет раным-рано, когда все еще спят, и если не найдет брошку, он поедет в Эдинбург и купит новую, точно такую же, только еще лучше. Он докажет, на что он способен. И когда они взойшли наверх и перед ними всплыли огни городка, огни, вдруг выпавшие один за другим, показались ему тем, что сбудется с ним, — женитьба; дети; свой дом; а когда вышли на большак, залегающий между большими кустами, он думал о том, как они укроются с нею в укромность и будут идти и идти, он всегда ее будет вести, а она к нему лнуть (вот как сейчас). Когда сворачивали у перекрестка, он думал о том, какого он ужаса натерпелся сегодня и надо кому-то сказать, миссис Рэмзи, понятно, потому что у него дух перехватывало при мысли о том, что сегодня он сделал, что было. Самый-самый жуткий момент в его жизни — когда он сделал предложение Минте. Он хотел сразу пойти к миссис Рэмзи, потому что он как-то угадывал, что это она его подбила на все. Она вернула ему веру в себя. Больше никто его не принимает всерьез. А благодаря ей он поверил — все ему может удасться. Сегодня он целый день чувствовал на себе ее взгляд, который (хоть она ни слова ему не сказала) будто ему говорил: «Ты на это способен. Я верю в тебя. Я жду». Да, все-все благодаря ей, и как только они вернутся (он отыскивал огонек ее дома над бухтой), он сразу пойдет к ней и скажет: «Я это сделал, миссис Рэмзи; я это сделал, спасибо вам». И вот, свернув на ведущую к дому тропу, он увидел огни, перемещающиеся за верхними стеклами. Кажется, они опоздали кошмарно. Все собирались ужинать. Дом был весь озарен, и свет с темноты ему ударил в глаза, и он повторял, как дитя, когда шел по въездной аллее, — огни, огни, — и повторял ошарашенно — огни, огни, переступая порог и озираясь с совершенно одеревенелым лицом. Но Господи Боже, сказал он себе, ощупывая узел на галстукe, что это я, нельзя же себя выставлять идиотом.)

15

— Да, — сказала Пру, в своей задумчивой манере отвечая на вопрос матери, — мне кажется, Нэнси с ними пошла.

Перевела с английского Е. СУРИЦ.

(Окончание следует)

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

СЕРГЕЙ МАРКОВ



БАЛЛАДА О СТОЛЕТЬЕ

Знаю я — малиновою ранью
Лебеди плывут над Лебеганью...

Весело-торжественный звон этих строчек открыл для меня почти сорок лет назад поэта Сергея Маркова.

Первая книга стихов Сергея Николаевича Маркова (1906—1979) вышла в 1946 году, когда ее автору было уже сорок лет. «Радуга-река» успела к читателю до наступления ждановского периода советской литературы, но следующей своей книги поэт Сергей Марков ждал более десяти лет... А начинал он задолго до 40-х годов.

В 1924 году в журнале «Красная нива» впервые печатается юный сотрудник казахстанских газет С. Марков. И затем в тех же 20-х годах стихи С. Маркова появляются в московской периодике, в «Сибирских огнях», в «Сибири» (был тогда такой журнал). И не только стихи. Сергей Марков был неутомимым исследователем-путешественником (недаром впоследствии по рекомендации академика А. Берга он становится действительным членом Географического общества СССР). В 1936 году «Правда» печатает очерк С. Маркова «Золотой камень» (о забытых золотых промыслах в Северном Казахстане), молодой писатель много ездит по стране, разыскивает и публикует интереснейшие материалы по истории исследования Сибири и Средней Азии.

В 1929 году Максим Горький знакомится с рассказом С. Маркова «Голубая ящерица», опубликованном в журнале «Сибирские огни», и благословляет к изданию первый сборник его прозы. Сборник «Голубая ящерица» выходит с предисловием Горького. А автору всего лишь двадцать три года!

И вдруг... В самом начале 30-х годов С. Маркова арестовывают по вздорному обвинению (вместе с ним к следствию в числе других привлечены Павел Васильев и Леонид Мартынов) и затем высылают на Север, сначала в Мезень, а потом, после вмешательства Горького, переводят в областной Архангельск. Возвращение из ссылки приходится на последние предвоенные годы... Только после войны выходит первая книга стихов Сергея Маркова и почти одновременно — его роман о русской колонизации Америки на рубеже XVIII—XIX веков «Юконский ворон» и научный к нему комментарий, выросший в отдельную книгу под названием «Летопись Аляски».

Так Сергей Николаевич Марков вернулся к своим прежним читателям и обрел новых.

Он предстал перед ними как поэт преимущественно романтический. Но ощущение праздника возникало не только за счет пафосной, приподнятой интонации. Сергей Марков работает яркими, чистыми, не смешанными красками, его зрение укрупняет предметы, а чувства всегда голодны, они тоскуют по героическому и красивому.

Историк и землепроходец, Сергей Марков слил эти две свои страсти в поэтическом творчестве. Он свято следовал завету, что история должна писаться поэтами.

В будущем году выходит книга стихов Сергея Маркова. В нее входят семьдесят ранее не известных стихотворений поэта. Часть из них прочтает читатель «Нового мира» в предлагаемой ему публикации.

Е. ХРАМОВ.

Круглый двор

Павлиньих стекол дребезжащий ряд
Горит и множит сомкнутые грани;
В них пудренные женщины сидят
И зреют прокаженные герани;

Пылают голубые зеркала —
Советники стареющих предплечий,
А на балконах спрятанная мгла
Гудит, поет, ворчит по-человечьи.

Заря отметит погребенье дня;
Тоске вечерней здесь помогут сами
Худые пожиратели огня
И скрипачи с кровавыми глазами.

Они придут, и дымные дворы
Покорны будут их нехитрой муке,
Певцы расстелют рваные ковры
И вывернут чудовищные руки.

Вечерний гром! Стремятся с высоты
Шары незримых людям бильярдов
Сейчас на крышах длинные коты
Похожи на ублюдков леопардов.

И дождь бежит с уступа на уступ,
Поет поток, и черный желоб режет
Агония водопроводных труб,
Стучащих крыш томление и скрежет!

Но вот дрожит непрочное тепло,
Шары умолкли, вывернуты лузы,
Факир глотает круглое стекло,
Похожее на зерна кукурузы.

Я улыбаюсь. Чахлая трава
К дождю взывает: «Возвратись, обрызгни!»
Я отыскал высокие слова
В суровых рощах низкорослой жизни.

1929.

Бред авиатора

Толстый луч разлегся на циновке,
Бродят тени — легкие скитальцы.
Любопытный ангел в мышеловке
Прищемил сияющие пальцы.

Он сошел с высот Иного Сада,
Этим начинается баллада.

Я сказал непрошеному гостю:
«Вы во всем лишь сами виноваты.
Осторожней! Там, за дверью, — гвозди,
А вы так нарядны и крылаты!

Вы осыпаны цветочной пылью,
Дайте я взгляну на ваши крылья!

Чистота подобна рафинаду,
Совершенство гениальных линий...
Почему аэроавты Сада
Держат в черном теле алюминий?

Там, вверху,— пылающие соты,
Водопады, светлые аллеи.
Слух идет, что райские пилоты
Празднуют большие юбилеи.

Потому что синяя дорога —
Давнее изобретенье Бога.

На закате штормового года,
Выругавшись радостно и длинно,
Ной с кормы морского теплохода
Наблюдал за почтой голубиной.

После Бог велел устроить даже
Школу ангельского пилотажа.

Дальше рай на новшества был падок
(Вспомните библейские картины:
Восемьсот посадочных площадок
На земле далекой Палестины!).

Хорошо... Но пунктом важным спора
Я сочту отсутствие мотора.

Вы склонили светлые ресницы,
Вы, ландскнехт святых Отца и Сына?
Но у нас грохочущие птицы
Бесятся от дымного бензина.

А у Бога не нашлось уменья
Дать вам хвостовое оперенье!»

Ангел стал — надменный и сердитый,
Глядя искалеченный мизинец,
Как журавль с ногою перебитой,
Дико озирающий зверинец.

Тихий свет по комнате струится,
И слеза блуждает на реснице.

Вот еще, еще одно усилие,
И растает неземное тельце,
А друзья из Третьей Эскадрильи
Не увидят странного пришельца!

Где же крылья, жаркие от блеска?
Это лишь белеет занавеска.

Я лежу с открытыми глазами,
И подушки холодны и гладки...
Доктор, здесь вы разглядите сами
Результат негаданной посадки.

Наша кровь, земная и густая,
Наполняет храброй жизнью вены,
Мы летели от вершин Алтая
На истоки Ангары и Лены.

Крылья выли, прыгали, ревели.
Мы разбились, но достигли цели.

Пусть друзья из Третьей Эскадрильи
Красный гроб выносят за ворота,
Мы давно бесстрастно заучили
Алгебру паденья и полета.

1930.

Адресное бюро

Слагатель строф! Упрямые листки
Изводишь ты упорно и недаром.
Цейхгаузы трагической тоски
Еще богаты дорогим товаром.

Чужих страстей считая серебро,
Я не жалею павших иль убивших.
Пусть люди ищут в адресном бюро
Отвергнутых, любимых и любивших.

Столов зеленых пыльный изумруд
Горит в волнах табачного тумана.
Писцы кричат: «А как ее зовут?»
И кто-то тихо отвечает: «Анна...»

(Померкло солнце в огненной пыли —
Горячая сургучная короста;
Забытую любовницу свезли
Вчера в больницу у Тучкова моста.

Там тишина струит мушиный яд
И скорбный лист витает над постелью.
И на окне горячечный закат
Цветет густой и терпкой москателью.)

Да! В картотеках городских судеб,
Располагая росчерки, как ветки,
Растут, как почерневший курослеп,
Спокойные и точные отметки.

Шесть тонких букв ответят: «Умерла».
И я скажу: «Поблекшие румяна...
Сухие губы... Да! Она могла
Стать героиней толстого романа!»

А кровь? А боль прикушенной губы,
Крылатая улыбка умиранья?
Пустое! Я — лишь понятой судьбы
И я измучен даром познаванья.

1928.

Русь

Темны острогов частоколы
И холодны колокола,
Известняковые Николы
Вонзают в небо купола.

Здесь — самозванцы и юроды,
Но для мечтаний есть предел,
Пока сосновые колоды —
Приют для многогрешных тел.

И тонет Русь в пожарах алых,
Хрипят щербатые мечи,
За горькой чашею в кружалах
Поют и плачут палачи.

Вода и черствая коврига,
Но зорок вдохновенный глаз;
Крылатого архистратига
Рисует мудрый богомаз.

Железный плен земной юдоли —
Предтеча радужного сна,

Когда тоска о лучшей доле
В одной мечте воплощена.

И мастер будет успокоен;
Зажгутся гневные уста,
Земной голубоглазый воин
Воспрянет с белого холста.

А после — дыба иль кружало,
Забвенья темная река,
А в ней и медленно и алс
Плывут и гаснут облака.

1930.

Пушкин

Мороз и снег придуманы не зря —
Чтоб охладить не одного витию;
Не зря у нас одни фельдъегеря
Исследуют огромную Россию.

К чему Гумбольдт, когда есть Бенкендорф?
О, страшный край морозов и оков,
Где на ветру декабрьском стыннут слезы,
Воротами, отворенными в ад,
Шлагбаумы сибирские скрипят,
Звенят протяжно мерзлые березы!

Попробуй пикни. Только шевельнут
Одним перстом, затянутым в перчатку,—
Умчат в Пелым, Березов иль Камчатку,
Куда китов гоняет алеут...

1937.

Полководец

Люди скажут: сугул и стар,
Седеет волос, кривится рот.
А я потопил германских гусар
В дремучей трясине мазурских болот.

Я окружил железным кольцом
Страну сирот и горьких невест,
И сам император с отекившим лицом
Надел на меня захватанный крест.

Но вдруг я узнал, что почета царям
Не хочет отдать измученный строй,
Тогда я крикнул своим егерям,
Что каждый из них — храбрец и герой.

Я знаю, они не поверили мне;
Ведь каждый из них отвечает за всех.
И с правого фланга в большой тишине
Послышался злобный и тихий смех.

Кривясь и шатаясь, с парада ушел,
Узнав, что слава дешевле слез
И золоченый царский орел
Наутро умрет от свинцовых заноз.

Я перед красным столом стоял,
И на меня смотрела страна,
Меня помиловал трибунал,
А на виски легла седина.

Но кто помилует муку мою?
И кто осудит ярость души?
Я тот, кого смерть боялась в бою,
Почет отшвырнул, как слепые гроши.

Шершавый кумач шуршит во дворе.
Шаги детей теплы и легки,
А я умираю в дымной норе
В пыльной Москве, у древней реки.

Холодный засов стучит по ночам,
И двери отворены в желтый ад;
Неслышно подходит к моим плечам
Светящийся взвод германских солдат

У них не увидел никто из родни
Жестких цветов у белых могил,
Запомнил лишь я один, как они
Глотали кровь и раздавленный ил.

Они говорят: «Болотных дорог
Нам не забыть, умирай скорей,
Тебя покарает тевтонский бог —
Железный владыка земли и морей».

Плывет и качается жирный ил,
Уйдите отсюда, я вовсе не тот,
Я веру в богов и царей потопил
В трясине мазурских болот!

1927.

Мезенская ветеринарша

Я мог бы проще быть и старше
И, сберегая жар в крови,
Мезенская ветеринарша,
Не отвергать твоей любви!

Глухого захолустья скука
Здесь тяжела, я знаю сам,
Но зоотехники наука
Сейчас неприменима к нам.

А ты идешь по тротуару
И смотришь на меня едва...
Я знаю все — ты ищешь пару,
Как все живые существа.

Передо мной задача эта —
Она, пожалуй, нелегка —
Прибавить к нежности поэта
Тупые качества быка.

1932.

Хижина дяди Тома

1

Растут у белого дома
Клочья жалкой травы,
В хижину дяди Тома
Сегодня спешите Вы.

Хижина дяди Тома
Встретит Вас дружба теплом,
Но я в это время дома
Сижусь за круглым столом.

И я Вас вижу не часто:
И в комнате скудной своей
Читаю Екклесиаста
И лоции льдыстых морей.

Но я не похож на пленника
В полдневный солнечный час,
Ведь сердце вернее пеленга
Отыщет на улице Вас!

И верить ли сердца каверзе
Иль верить слову молвы,
Когда у сердца на траверзе
Опять появитесь Вы?

Едва ли останусь в уроне я,
Преследуя нужную цель,—
Хорошая нянька — ирония
Качала мою колыбель.

Я лишь описатель быта,
Но жизнь тревожит меня,
А сердце на случай закрыто,
На этом участке броня...

Я знаю, что сердцу достойней
Внутри сохранять тепло,
И я с усмешкой спокойной
Смотрю на добро и зло.

2

Благородный дядя Том,
Перебравши все приметы,
Расскажу тебе о том,
Как влюбляются поэты.

Происходит это так:
По закону «пуля — дура»
Прозаический пиджак
Вдруг пробьет стрела Амура!

Грани острые порвут
Ткань и нежные сосуды,
После этого пойдут
Споры, сплетни, пересуды...

Будет дальше виться нить,
Но не нужно знать Галена —
Если рану запустить,
То получится гангрена...

И один исход потом —
Смерть стучится в дверь поэта...
Но ведь есть, почтенный Том
Скорой помощи карета!

Исполняя скорбный труд,
От вина мрачны и яры,
Пусть меня поволокут
На носилках санитары.

Муза бедная, не плачь,
Ведь бессмертны все поэты!
И к тому же толстый врач
Достаёт свои ланцеты!

Сладок призрачный эфир,
Врач подходит к изголовью.
...Хорошо покинуть мир,
Рассчитавшись с жизнью
кровью...

1930.

* * *

О, муза! Где твой юный пыл? —
Отправлена в далекий тыл.
Проста нежданная развязка...
Не обнимай — болит рука,
Прививка против столбняка.
И не целуй — молчат уста:
На них — прохладна и чиста —
Лежит резиновая маска.

24.10.1941.

Публикация Г. П. МАРКОВОЙ.

ПУБЛИЦИСТИКА

Предлагаемые ниже размышления Е. Сергеева и А. Гангнуса посвящены общей теме — анализу понятия «социалистический реализм», самого этого явления и его исторических корней. Взгляды авторов на проблему различны: если Е. Сергеев видит в соцреализме близкий классицизму нормативный метод, который внедряется в искусство в эпоху «абсолютизации верховной власти», то А. Гангнус находит здесь прежде всего отражение утопической и идеалистической философии богостроительства, воцарившейся, по его мнению, в литературных теориях 20-х—начала 30-х годов.

Не присоединяясь полностью ни к одной из названных точек зрения, редакция считает их обнаружение небесполезным вкладом в полемику вокруг соцреализма, ныне развернувшуюся в литературной печати.

Е. СЕРГЕЕВ



НЕСКОЛЬКО ЗАСТАРЕЛЫХ ВОПРОСОВ

В последнее время все чаще слышны признания, что теория социалистического реализма отстала от развития литературы, что она пробуксовывает, что ее состояние вызывает озабоченность. Сами теоретики признаются, что в 70-е годы их дискуссии «и вовсе утратили какую-либо действенность, приобрели во многом абстрактный характер» (Д. Марков, «О некоторых вопросах теории социалистического реализма». — «Вопросы литературы», 1988, № 3).

Вовсе не стремясь ограничить свою личную ответственность, должен вместе с тем заметить, что эти (может быть, доморощенные) вопросы, которые я собираюсь сегодня задать, эти (может быть, кустарные) наблюдения и рассуждения — не моя «интеллектуальная собственность», а своего рода коллективное достояние, расхожее мнение, долгое время бытовавшее в устном виде, но теперь оно начало выходить на печатные страницы: сужу по статье Е. Добренко «Превратности метода» («Октябрь», 1988, № 3), а также по подборкам выступлений литературоведов, писателей и критиков в «Литературной газете» (1988, № 15, 21). С доводами большинства авторов я согласен. С выводами, как правило, — нет. А теперь перейду к сути.

1. Социалистический реализм признается основным художественным методом советской литературы и искусства. Но так ли на деле?

Сегодня, как мне представляется, совершенно ясно: отнюдь не вся наша литература вписывается в рамки соцреализма.

В последнее время публикуется много произведений из тех, что долгие годы пребывали в забвении или под запретом. Они не новость для людей, всерьез интересующихся отечественной словесностью, но считалось, будто их авторы шли не по магистральному пути развития нашей литературы. Однако теперь-то видим: писатели эти не стояли на обочине, а, как и подобает настоящим художникам, двигались каждый своей дорогой.

Напечатан почти всего Платонова и Булгакова, мы не просто расширили представление о советской литературе, мы раздвинули границы художественного спектра, и на его фоне по-новому воспринимаются теперь книги Артема Веселого, И. Кагаева, И. Бабеля, М. Пришвина, Ю. Олеши, К. Паустовского, М. Зощенко, Б. Пильняка, Е. Замятина...

По-новому читаются некоторые ранние произведения А. Фадеева, М. Шолохова, А. Толстого. К классике соцреализма они приписаны задним числом. Работая над этими книгами, авторы не сверялись с установками «самого прогрессивного» метода, а писали, как талант велит, как правда и красота подскажут. Когда же стали сверяться... В общем, стоит сопоставить роман «Сестры» А. Толстого с его же «Хмурым утром», «Тихий Дон» М. Шолохова с «Поднятой целиной», «Разгром» А. Фадеева с переработанной и исправленной «Молодой гвардией», чтобы заметить: соцреализм, если это был он,

отнодь не благотворно повлиял даже на творчество столь сильных и самобытных художников. О менее крупных и говорить не приходится.

Сегодня уже нельзя не замечать, что творения, созданные не по правилам соцреализма, в большинстве случаев превосходят глубиной постижения действительности, гражданской смелостью и художественной выразительностью сочинения, написанные в полном соответствии с постулатами «самого передового» метода.

Вопрос: не пора ли предположить, что социалистический реализм отнодь не единственный и вовсе не основной и не ведущий, а в лучшем случае один из художественных методов советского искусства?

2. Но, может, метод и впрямь прогрессивен, а ведущим пока не стал просто потому, что недостаточно освоен практикой, зато он дает обильную пищу для теоретических изысканий и обобщений?

Увы, литературная критика в своих обзорах и разборах текущей прозы, поэзии и драматургии обходится, как правило, без ссылок на постулаты соцреализма. Надобности нет. И не опираясь на них, можно достаточно полно описать, проанализировать и интерпретировать художественное творение. У теоретиков же как только заходит речь о соцреализме, так следуют исключительно регрессивные примеры — из Горького, Фурманова, Серафимовича, Гладкова. До нынешних романов и повестей они никак добраться не могут. Однако теоретики не прочь при случае упрекнуть критиков-практиков за нежелание пользоваться их весьма скромными достижениями.

Вот, например, И. Дзеве́рин отлично знает, что в трудах исследователей соцреализма понятие партийности литературы, «что греха таить, нередко звучало и подчас звучит еще лишь как некий декларативно-риторичный лозунг, отчего оно словно бы потускнело в нашем сознании» («Проблема партийности и литература наших дней». — «Литературная газета», № 45, 1987). Для него не секрет, что понятие это заставило поблекнуть сами теоретики: «В своих научных изысканиях, посвященных проблеме партийности, мы нередко продолжаем... цепляться за теорию вчерашнего дня». Все вроде бы он понимает, но тем не менее претензии предъявляет не науке, а критике, которая «претендует на право обходиться в своих оценочных суждениях как раз без критерия партийности, подменяя его... критерием гражданственности».

Обратите внимание на прокурорскую лексику. Интересно, с какой стати исследователь соцреализма считает себя представителем государственного надзора за соблюдением художественных законов?!

Академик Д. Марков гораздо сдержаннее и корректнее И. Дзеве́рина. Он тоже знает, что идейно-теоретический банк соцреализма ныне небогат, и все же предлагает критике не переходить на самофинансирование, а брать кредиты у науки, но возвращать с процентами. «Надо ли убеждать, что осмысление проблем социалистического реализма — важная забота не только теории, но и «движущейся эстетики» тоже?»

На этот риторический вопрос отвечаю, что критике осмысливать тут нечего, поскольку текущих, нынешних проблем соцреализма нет, как нет уже практически (остались лишь редкие рецидивы) и самого этого метода. Литература отказалась от него на рубеже 60-х годов. Отказалась дружно и резко, потому что резко изменилась жизнь, изменилось общественное сознание, одной из форм которого и является литература. Это заметно на творчестве многих писателей. Сравните так называемого нового В. Катаева и старого, сравните П. Нилина до и после «Жестокости», А. Яшина до и после «Рычагов» и «Вологодской свадьбы», сравните творчество К. Симонова или Ю. Трифонова до и после 60-х годов.

Теория социалистического реализма безнадежно отстала не только от развития литературы, но и от развития реального социализма. Вот, например, установка на положительного героя. Вообще-то в нашей прозе и драматургии предостаточно персонажей нравственно цельных, умных, принципиальных, деятельных, готовых на риск и жертвы не ради корысти или амбиций, а для блага ближних. Вспомним «Пожар» В. Распутина, «Плаху» Ч. Айтматова, «Печальный детектив» В. Астафьева, «Белые одежды» В. Дудинцева, «Детей Арбата» А. Рыбакова — положительные герои есть в каждом из этих произведений. Однако этого мало, теории соцреализма нужен «выразитель передовых тенденций и нравственных норм своего времени», ибо согласно Литературному энциклопедическому словарю (ЛЭС), «создавая образ положительного героя, литература раскрывает цели общественного развития и пути их достижений». (Этот словарь, изданный в 1987 году, — последнее слово нашей литературоведческой науки, последний по времени выпуска официальный справочник по литературе.)

Ладно, пусть так. Но что делать, если общество усложнилось, если в нем стало много «передовых тенденций» и тенденции эти порой расходятся в прямо противоположные стороны? Например, тенденция к ускоренному развитию (и так уж во многих областях отстали от других) и — к сохранению традиций (технический прогресс слишком быстро меняет и вековой уклад, и образ жизни, и лик земли). Какая из них «передовее»?

Что делать, если усложнившееся общество ставит перед собой противоположные цели? Например, усилить производственную дисциплину и одновременно раскрыть творческие потенции личности, повысить материальную заинтересованность и одновременно избавиться от тяги к потребительству и накопительству.

Но самое-то интересное, что такое обилие целей и тенденций, мнений и позиций нынешнее общество считает своим достижением, а отнюдь не недостатком, а борьбу противоположностей воспринимает как двигатель развития.

«Выразителем» каких тенденций в этом случае должен стать положительный герой? К каким целям он должен идти сам и звать читателей? Ко всем сразу?

А теперь посмотрим, как теория соцреализма формулирует принцип народности: «Народность литературы, искусства, многозначное понятие, характеризующее: 1) отношение индивидуального творчества к коллективному, степень творческого заимствования и наследования профессиональной литературой (искусством) мотивов, образов, поэтики народного поэтического творчества (фольклора); 2) меру глубины и адекватности отражения в художественном произведении облика и мирозерцания народа; 3) меру эстетической и социальной доступности искусства массам» (ЛЭС).

Все вроде бы логично. Но как быть, если сами эти характеристики пришли в острое противоречие друг с другом?

Во-первых, ныне народ состоит из множества социальных групп, слоев, прослоек, которые заметно различаются меж собой. Весьма существенно разнятся и эстетические вкусы людей, и я не рискнул бы утверждать (поскольку нет социологических данных), что сегодня фольклор (допустим, олонечий или курский) понятен большому числу людей, чем, скажем, сложные поэтические системы Мандельштама, Хлебникова, обэриутов... В наше время произведение профессионального искусства, заимствующее и наследующее образы и мотивы фольклора, может оказаться отнюдь не массовым, а элитарным.

Во-вторых, эстетическая доступность массам во времена процветания «маскультуры» едва ли может служить признаком народности. Русским лубком ныне любуются в основном эстеты, а в кабине у деревенского тракториста чаще всего встретишь картинку, вырезанную из иностранного журнала. Сельские подростки, как, впрочем, и городские, танцуют не под пение Мордасовой, а под «Модерн токинг». Во многих случаях постулированная теорией соцреализма «мера эстетической доступности массам» прямо противоречит «мере глубины... отражения», которая узаконена той же теорией.

В-третьих, думаю, что из трех приведенных характеристик народности литературы важнейшей является вторая — «мера глубины (нужно бы добавить — «постижения народной жизни и процессов, в ней происходящих», — Е. С.) и адекватности отражения в художественном произведении облика и мирозерцания народа». Однако это определение дано не теоретиками соцреализма, а революционными демократами еще в прошлом веке.

Принцип партийности. Как этот принцип в том виде, в каком он выдвинут теорией соцреализма, может быть применен к исследованию современной литературы? Снова обратимся к справочникам.

Краткая литературная энциклопедия (КЛЭ). Ее пятый том, где раскрывается это понятие, вышел в 1968 году. Из двухсот строк энциклопедической статьи ни одной (!) не посвящено произведениям, появившимся после 1953 года. ЛЭС: из трехсот строк энциклопедической статьи книгам последних тридцати — тридцати пяти лет отдано двадцать (!) строк. К тому же показательно, что и в этих двадцати строках ни разу (!) не употреблено слово «партийность», видимо, сами теоретики не знают, как пользоваться этим критерием, когда переходят от общих рассуждений к живой конкретике.

Вопрос: если теория не соотносится с практикой, если она не считает практику критерием истинности своих постулатов, если уже четверть века она не является руководством к действию, не становится ли такая теория бессодержательным доктринерством?

3. Могут возразить, что теория соцреализма движется, например, она выдвинула «концепцию открытой системы».

Так-то оно так, однако, как я попытаюсь сейчас показать, к развитию, вернее, к расширению представлений эту теорию побуждает не жажда истины, а инстинкт самосохранения.

В 30-е годы в преддверии Первого съезда советских писателей срочно подыскивалось название для нового единого художественного метода, на основе которого можно было бы сплотить все литературные силы страны. Предлагались различные варианты: «пролетарский», «монументальный», «героический» и даже «романтический» реализм. Но выбран был, кажется, самый неудачный — «социалистический реализм»: художественной категории предшествует политическое определение. Конечно же, должны были возникнуть, и возникли, вопросы: во-первых, чем этот реализм отличается от «буржуазного», «феодалского», «первобытнообщинного» и т. д., а во-вторых, как быть с романтизмом, сентиментализмом и т. д.? Теоретики социалистического реализма ныне стремятся ответить на эти вопросы при помощи широкого толкования термина. Академик Д. Марков пишет: «...полагают, будто эта часть формулы («социалистический».— Е. С.) отражает лишь мировоззрение художника, его социально-политические убеждения. Между тем должно быть ясно осознано, что речь идет об определенном (но и предельно свободном, не ограниченном, по сути, в своих творческих правах) типе эстетического познания и преобразования мира».

Честно говоря, совершенно не понимаю, как политическое определение может превратиться в эстетическое. Но, видимо, я не одинок, похоже, и сами теоретики не очень ясно это представляют, не случайно же академик добавляет: «Науке предстоит еще немало поработать, чтобы развернуть и обосновать это положение». За последние полвека наука не смогла этого сделать, и весьма сомневаюсь, что сможет в будущем

Другая часть формулы («реализм») сегодняшней теорией тоже трактуется чрезвычайно широко. Данный реализм вмещает в себя романтизм, элементы модернизма, документализм, мифологизм и так далее. Какой-то он безбрежный получается. Не только мною замечено, что в «открытой системе» открытость начинает уже противоречить системности.

Но самое-то главное в том, что метод, названный в середине 30-х годов социалистическим реализмом, был чрезвычайно далек от реализма; и по форме и по сути он гораздо больше походил на классицизм. Как и классицизму, ему свойственны: строгая иерархия жанров (ода ценнее сатиры и интимной лирики); строгая тематическая иерархия (явное предпочтение отдавалось изображению событий государственной значимости, а событийность личной жизни расценивалась как бытовизм и мелкотемье); конфликт между долгом и чувством, где долг неизменно берет верх; одномерность характеров персонажей, которые являются рупорами идей, отсюда декларативность диалогов и монологов. И зародился метод во времена абсолютизации верховной власти, которая и сама искала исторических аналогий в эпохе абсолютизма (Иван Грозный, Петр I).

Верховная власть ориентировала литературу вовсе не на выражение социалистических идеалов, а на иллюстрацию правильности административных идей. Потому-то по справедливости метод должен бы именоваться не социалистическим, а административным. Не случайно в большинстве произведений соцреализма как раз и показывалось, как новые административные идеи (принесенные обычно новым руководителем) внедряются в сознание масс.

Пришло время, и метод приказал долго жить. Иначе и поступить не мог, ведь он по сути своей — приказной.

Соцреализма давным-давно нет, однако теория, его изучающая, продолжает существовать и даже развиваться.

Вопрос: как долго просуществовала теория, изучающая развитие исчерпавшего себя метода, притом что теория эта считается официальной, ссылки на нее обязательны для любой диссертации по советской литературе? Как долго исчерпавший себя метод будет официально значиться в уставе Союза писателей?

4. «Изображение жизни в свете идеалов социализма обуславливает и содержание, и основные художественно-структурные принципы искусства социалистического реализма» (ЛЭС).

Основным и, по сути, единственным показателем, позволяющим причислять или не причислять, любое конкретное произведение к творениям соцреализма, является приверженность автора идеалам социализма.

Однако сами эти идеалы не представляют собой нечто неизменное. Они развиваются, совершенствуются одновременно с развитием и совершенствованием самого общества.

Несколько десятилетий назад одним из таких идеалов считалась власть над силами природы. Ныне же идеальной нам представляется отнюдь не власть над природой, а гармония с ней.

Совсем недавно мы противопоставляли социалистический гуманизм одновременно и дегуманизации и так называемому абстрактному гуманизму. Теперь же полагаем, что социализм — общественная формация, призванная хранить и развивать традиционные гуманистические принципы.

Идеальным казалось сознательное подчинение личных интересов общественным. Сегодня же понимаем, что оптимально разумное сочетание этих интересов. Кому же принадлежит право формулировать наши общественные идеалы в каждый конкретный исторический период: художнику, который в силу своего дара, своего призвания видит путь народа, чувствует его тревоги и надежды, ученому-социологу, скрупулезно исследующему все параметры современного общества, или же администратору, наделенному полномочиями и отвечающему за проведение «линии» и положение на идеологическом фронте?

Теория соцреализма не признает переориентации идеалов, пока перемена эта официально не зафиксирована соответствующими документами. В свою очередь ни один из печально известных документов, ни одна из проработочных или разгромных статей не обошлись без ссылок на постулаты соцреализма, ибо в самом определении данного художественного метода заложен некий дефект, позволяющий использовать ссылки на него во вред развитию литературы. Если же не во вред, то без пользы.

- Но и этим не ограничивается урон, наносимый нашей литературе данной теорией.

Социалистический реализм неизменно представляется самым передовым, самым прогрессивным из всех художественных методов, когда-либо существовавших в мире, что, по-моему, порождает доморощенные амбиции. Складывается впечатление, будто по сравнению с нашими нынешними писателями все классики и мастера мировой литературы в лучшем случае троечники — все они недоучитывают, недооценивают, недопонимают: мировоззренческой высоты не хватает.

И, напротив, любому теперешнему нашему сочинителю теорией выдается индульгенция, он причисляется к прогрессивным художникам на том лишь основании, что состоит членом Союза советских писателей и, согласно уставу Союза, автоматически является соцреалистом. Не способствуют ли такие представления изоляции нашей литературы?

Мне слышатся ноты высокомерия и самолюбования в таких, например, высказываниях: «...советская литература выросла не просто на основе, как обычно говорится, «дальнейшего развития» традиций классики, но явилась, по сути, качественным скачком в художественной истории человечества...»; или: «Социалистический реализм постоянно расширяет границы, обретая значение ведущего художественного метода современной эпохи» (разрядка моя.— Е. С.) (ЛЭС).

Вопрос: не потому ли мы столь долго сохраняем официальный статус и самого метода и теории, его изучающей, что они отстаивают и узаконивают льстящий принцип самовозвеличивания?

5. В уже упомянутой статье «Превратности метода» Е. Добренко предлагает пересмотреть теоретические основы соцреализма, избавить их от догматики, от внеисторического и внедиалектического подхода к литературе, от устаревших приказных установок. В этом случае, по мысли автора, такие произведения, как, например, «Кавалер Золотой Звезды», окажутся за пределами метода и, напротив, войдут в него, впишутся в границы соцреализма «Котлован», «Мастер и Маргарита», «Реквием» и т. д. Солидарны с Е. Добренко и большинство литературоведов, выступивших в «Литературной газете». Мне кажется, что из этого ничего кроме все той же догмы, только вывернутой наизнанку, не получится. Однако не предлагаю запрещать или отменять теорию соцреализма, довольно было бы и того, чтобы она перестала считаться официальной,— запретами ни в науке, ни в искусстве ничего не добьешься.

АЛЕКСАНДР ГАНГНУС



НА РУИНАХ ПОЗИТИВНОЙ ЭСТЕТИКИ

Из истории одного термина

Сегодняшние споры о путях социализма так или иначе касаются имени Сталина, меры его вины во всем плохом, что с нами произошло. Историки размышляют о том, был ли сталинизм, это безусловное зло, обязательным этапом на нашем пути или без него можно было обойтись.

Необходимость уже заранее оправдана тем, что она необходимость. А можно ли пойти на оправдание чем бы то ни было чудовищных преступлений Сталина, его стовора с коллегой-палачом из заведомо враждебного России и коммунизму лагеря, уничтожения крестьянства, закрепощения муз? Но и противоположный подход, который объясняет все случайностью, списывает всю ответственность на несовершенство человеческой природы в одном-двух индивидах, наивен.

Ближе других к истине, на мой взгляд, подошел Ф. Бурлацкий в статье «Какой социализм народу нужен» («Литературная газета» от 20 апреля сего года), когда заметил со значением: «Из состава Политбюро ЦК партии во времена Ленина по меньшей мере половина была в те или иные периоды привержена идеям „левого коммунизма“».

Да, в начале было это, административная самоподдерживающаяся система разрослась потом.

Детская болезнь «левизны» была важной предпосылкой для подмены марксизма и ленинизма чем-то совсем иным, что называют сталинизмом. Не совсем правильно, впрочем; явление это вполне возможно и без Сталина, в то время как ленинизм без Ленина невообразим.

Всей опасности малоизвестной в то время и неощутимой для ее носителей детской болезни, риска разрастания ее в чумную эпидемию, в кровавую бойню для классов и народов не предвидел тогда, в начале 20-х годов, никто. В. И. Ленин увидел, засек прощальным взором грядущую страшную опасность, но сил, воли, времени, чтоб повернуть стрелку и увести «наш паровоз» с гибельного пути, уже не было. Оставалось надеяться, что и без него задумаются, поймут, справятся. Эта надежда — без твердой уверенности — видна в последних надиктованных работах Ленина.

Но те, кто в Политбюро и ЦК привык безответственно пошаливать левизной, после ухода Ленина даже распрямились с некоторым облегчением: авторитет, гениальность — они дают, рождают комплекс неполноценности. Строго говоря, во всем этом созвездии умных и талантливых профессиональных низвергателей старого строя не было ни одного марксиста (вспомним отзывы Ленина и о Бухарине, и о Троцком, и о Сталине!). И нужда в них до поры не ощущалась — хватало одного, пока он был. Отсюда та «свойственная практикам беззаботность насчет теоретических вопросов», которую признавал за собой и коллегами даже Сталин.

Больше половины... А не все ли? Ведь, нехотя публикуя последнюю статью Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин», ЦК единодушно дезавуировал ее, намекая рядовым партийцам: мол, это не всерьез, это проявление слабости, болезни вождя...

А вот уже и съезд единодушно оставляет Сталина Генсеком, несмотря на ленинское предупреждение-заклинание. Измена и самоубийство одновременно...

Для своего утверждения новый порядок использовал прежде всего левацкие идеи — они позволяли действовать быстро, жестоко, обеспечивали широкую поддержку, ибо выглядели демократично и революционно. Сталин предпочитал до поры скрываться за своей якобы нейтральностью. Он не был идейным, страстным человеком, как Азербайджанский или Бухарин. По терминологии Конвента — болото, вроде Барраса. Он брал готовое у других, использовал это и присваивал себе (вначале, бывало, нарочито осуждая), а истинного инициатора убирал. Не любил соавторов живыми. Убрав Троцкого, он взял у него идею индустриализации за счет ограбления

крестьян; осудив на словах огосударствление профсоюзов, явочным порядком провел его в жизнь; убрав Бухарина, использовал бухаринскую конституцию как удобную ширму.

Не подлежит сомнению, что унификацию нашей культуры в начале 30-х, проведенную под флагом соцреализма, осуществил Сталин, вернее, сталинский режим. Это было деяние из того же ряда, что и ликвидация кулачества, и переход на лагерную индустриализацию. Творческую интеллигенцию препровождали на прокрустово ложе нормативной «эстетики». Закрепощение муз проводили вчерашние рапповцы, пролеткультовцы, возглавляемые обреченными, доживающими век соратниками по каприйской оппозиции марксизму — Горьким и Луначарским. Ведали ли они, что, для кого и для чего творят?

Соцреализм в эстетике — то же, что лысенковщина в биологии. И то и другое — разновидности дорвавшегося до власти субъективного идеализма, своего рода мистической религиозности, вмененной в обязанность, подменяющей собой традиционные общедемократические ценности науки и культуры: свободу исследования, преемственность идей, непрерывность развития. Откуда же взяться религии и мистике в тогдашнем, архилевом марксизме, атеистичном до того, что кресты с маковок сыпались и храмы взлетали на воздух?

«Левацкое большинство» обступало В. И. Ленина с самого зарождения большевизма. Война с ним, перемежаемая вынужденными перемириями (других соратников не было, а эти были чертовски талантливы, решительны, работяги), шла до самой смерти Ленина. Только его воля, авторитет, эрудиция удерживали массу этих личностей (выдающихся!) от сползания в накатанный всем русским освободительным движением утопизм, бланкизм, бакунизм, в народническую по происхождению стихию социализма чувства, религиозного социализма. Да-да! Мистико-религиозное, идеалистическое течение в большевизме (в тактике сливавшееся, скажем, в 1908 году с левацким отзовизмом) было очень мощным и не раз претендовало на всю полноту власти в партии, вынуждая Ленина грозить уходом «из фракции». Началось оно задолго до «похабного Брестского мира», когда левачество Троцкого и Бухарина снова чуть не вынудило Ленина выйти из руководства и обратиться за поддержкой к рабочим...

В. И. Ленин на голову возвышался над тогдашним руководством революционной партии, хронически больной детской болезнью «левизны». Ясно, что в критическом 1921 году без решительности Ленина не было бы нэпа. Ясно и то, что первый же серьезный выбор без Ленина — в 1928—1929 годах — стал последним, дальше выбора не было уже до 1956 года.

Главная черта ненаучного, утопического социализма — предпочтение субъективного объективному. Воли — закону. Приказа — исследованию. Отсюда неизбежность авторитарности, культа личности именно после победы «волевого начала» в социализме. Здесь, кстати, я и вижу выход из дилеммы — предопределен или не предопределен был сталинизм с его преступлениями. И да и нет. Да, поскольку Ленин не успел отладить самое трудное — цивилизованную демократическую процедуру руководства страной. Нет — ибо все могло пойти иначе, сумей Ленин развернуть задуманное (строй цивилизованных кооператоров), имей он для этого десять—пятнадцать лет жизни впереди.

Но вернемся к истокам, туда, где все мнения дышат еще непосредственностью и искренностью, где все спорят и все молоды, где ссорятся, но не мстят и не идут по трупам оппонентов, где искренне стремятся дать человечеству счастье любой ценой, — правда, уже легкомысленно забывая спросить человечество, устроит ли его эта цена, да и счастье ли ему на самом деле нужно...

1904 год. Еще все впереди — первая русская революция, споры Ленина с богдановцами, пролеткультовская и рапповская страницы нашей культурной истории, сталинское «культурное строительство» с его ядром — учением о социалистическом реализме, повлиявшим на все стороны нашей действительности (а не только на судьбы творческой интеллигенции и качество книг, фильмов, картин, пьес), на стиль нашего самосознания.

В 1904 году выходит в свет небольшая работа молодого большевика А. В. Луначарского «Основы позитивной эстетики». Есть все основания считать ее

и предвестником богостроительства, «религии социализма», и первым (самым честным и точным) наброском «ведущего метода социалистической культуры».

Работа совмещает в себе эстетическую программу и политическую платформу одновременно, идеологию «борьбы во имя борьбы». Изложено все настолько легко и просто, что могло бы сойти за легкомысленные фантазии артистичного марксист-вующего эстета. Видимо, и сошло. Луначарский дарил эту брошюру Ленину и уверял потом, что нагоняя за нее не получил...

Не заметил позитивной эстетики и Плеханов. Да, пожалуй, и мы сейчас, повернись история нашей страны по-другому, не увидели бы ничего страшного в текстах махистов-богостроителей — так, несколько завиральных, дерзких по отношению к «заслуженным ветеранам-капралам» марксизма (шутка Луначарского), то есть Плеханову и Ленину, шалостей, извинительных молодости. Но знание последствий делает нас зорче, избавляет от благодушия.

Несколько нарушая последовательность рассуждений, хочу заявить сразу: многословные поиски смысла эстетики соцреализма — зряшний перевод бумаги, пока явление всерьез рассматривается только в культурно-эстетических категориях. Социалистический реализм — это не эстетика и не творческий метод; это в конечном счете замаскированная религия, без которой не могла обойтись задуманная Сталиным империя казарменного социализма. Жрецами этой религии должны были стать художники, писатели, музыканты... Не понимавшие уготованной им должности творцы — слишком писатели, слишком художники, слишком музыканты — при всем своем усердии и лояльности подлежали устранению без объяснения причин (ибо надо самим понимать). И наоборот, отсутствие таланта и даже элементарной культуры не было препятствием для «творческой» карьеры...

Впрочем, хватит забегать вперед.

Игнорируя мировую историю искусств, эволюцию эстетических воззрений, Луначарский начинает свою брошюру *ab ovo*¹ — с дарвиновской теории эволюции, понимаемой, мягко говоря, своеобразно:

«...прогрессивная эволюция ведет к укреплению жизни в природе, и венец такой эволюции мы видим в человеке».

На первый взгляд — и научно и «прогрессивно». Но всякий, действительно изучавший тогда, в начале XX века, дарвинизм, сразу бы заметил в этом высказывании нечто противное самому духу этой теории. Взятая в качестве исходного постулата формула о венце творения — огромный (на два столетия!) шаг назад от дарвинизма к додарвиновскому натурфилософскому эволюционизму. Она, эта формула, ведет к антропоцентризму — видовой гордыне, вещи эмоционально понятной, но ненаучной, неявно заключает в себе понятие цели творения и тем знаменует возврат к лейбницаанскому, отвергнутому еще Просвещением положению, что прогресс предопределен, неизбежен, что завтра непременно будет лучше, чем вчера. Природа рассматривается как фон для самоутверждения «венца творения». К чему, хотя бы с точки зрения экологии, ведет подобное биологическое высокомерие, мы хорошо теперь знаем на собственном опыте.

Но посмотрим, как развивает свой (а вернее, махистский) постулат А. В. Луначарский: «Естественно ожидать (характерный для махистов стиль «доказательства». — А. Г.), что в организме выработались приспособления, стремящиеся удерживать, длить те именно процессы, которые полезны для жизни, и прекращать, насколько хватит сил, те, которые вредны». Если удерживать и длить — это, по Авенариусу, «положительный аффекционал», если прекращать — «отрицательный» (характерная и остро направленная вульгаризация: уже в ней заключена программа дальнейшего «триумфального шествия» лысенковщины). Дальше у Луначарского идет длинный ряд рассуждений, из которых следует преимущество положительного аффекционала перед отрицательным, и вот уже под позитивную (положительную) эстетику подведена «научная» база: «Эстетика оказывается одной из важнейших отраслей биологии (I — А. Г.), как науки о жизни вообще».

¹ От яйца (лат.).

Через пять лет В. И. Ленин по поводу таких биологизаторских ухищрений махистов скажет сердито: «...это — простой набор слов, сплошная издевка над марксизмом»².

В духовной деятельности, в искусстве положительный аффекционал, по Луначарскому, выражен в идеале. Идеал в обычной религии — над нами («ложный идеализм», по Луначарскому). В позитивной эстетике, как и в новой религии социализма, изложенной Луначарским позднее, он — впереди.

«Итак, мы видим, что жизнь есть процесс самоутверждения (это опять никакого отношения к дарвинизму не имеет, здесь уже скорее пахнет еще одним источником позитивной эстетики, нищепанством. — А. Г.), а идеал — та же жизнь, но полная, цельная, цветущая, торжествующая, творческая».

Внимание! Вот вам первый главный пункт позитивной эстетики: искусство должно быть ориентировано не на сущее, а на фантом — придуманное или предписанное будущее. На веру принимается, что фантом полнее и реальнее, чем сама реальность.

Дальше противоречие: человек — он и член сообщества, и индивид. Идеалы для этих двух ипостасей человека могут и не совпадать: вернее, как правило, не совпадают — это одно из противоречий, двигающих историю. «Я» и «мы». Как решить?

«Разум становился на сторону индивида. Он осмеивал альтруистические, то есть видовые инстинкты, он ясно понимал, что жертвовать собою глупо, и разлагал общинный дух.

Этот индивидуалистический разум должен быть превзойден (разрядка моя. — А. Г.), иначе путь к идеалу был бы закрыт навеки».

Точка зрения, прямо враждебная марксистской («подвергай все сомнению!»), враждебная и разуму вообще. Веселое вольтерьянство, присущее интеллекту, чувство юмора, все глубины и высоты человеческого «я» — все это новая эстетика предлагает «превзойти». Старое, решенное Гегелем диалектическое противоречие-содружество между «я» и «мы» разрушается в духе средневековой схоластики, безоговорочно выбирается «мы».

Замятин первый в 1920 году дал бой пролеткультовской эстетике по обоим главным пунктам — обожествлению будущего и культу «мы» в ущерб интересам разума и личности. «Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, — пояснял Замятин годом позже в статье «Я боюсь», — пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова». Это объясняет тот странный факт, что и через десять лет одно имя Замятина вызывало приступы бешенства у раповских критиков. Они расчищали путь «новому католицизму» с его окончательным отказом от обычной, житейской правды, здравого смысла, от разума и «я» в пользу безоговорочной веры и «мы».

«Вопрос об «я», — писал Плеханов, — будучи применен ко взаимным отношениям людей, очень нередко разрешается по метафизической формуле «или — или»: и л и «не я» приносится в жертву ради «я»... и л и же «я» объявляет^с не заслуживающим никакого внимания, ввиду интересов «не я»...»

Поразительно, что обе эти метафизические крайности присутствуют, не споря, в писаниях богдановцев — и сверхчеловеческий индивидуализм и нивелирующий бездушный коллективизм. Но абсурда тут нет: одно — для одних (богочеловеков, героев), другое — для других.

Марксизм, вслед за Гегелем, учитывал вечную борьбу индивидуального и коллективистского в человеке, понимал соревновательную суть всей человеческой деятельности, а чтобы иметь возможность сдвинуть в желательном направлении равновесный многокомпонентный системный исторический процесс, в котором задействованы сотни групповых, классовых интересов и миллионы индивидов, старался уловить его общие законы. Лявацкий большевизм, наследник народнического утопизма (и отчасти его союзник и соратник — именно с богдановцами сблизился вскоре Г. Лопатин, последний теоретик народничества, кристально честный революционер ушедшего в прошлое типа), ставил иную задачу — преодолеть, сломать естественный, системный характер человеческого общежития.

«...Борьба между людьми есть могущественный фактор прогресса, — признает

² Ленин В. И. Полное собрание сочинений. т. 18, стр. 348.

Луначарский-марксист,— но,— спешит перечеркнуть сказанное Луначарский-махист,— фактор бессознательный, нерасчетливый, вред которого часто превышает пользу. Ну а раз так, надо изъять вред и оставить одну сплснную пользу, отменить зло и насадить добро, одним ударом покончить с возможностью дальнейших столкновений.

Грандиозная задача — и столь же реальная, как и задача знаменитого демона Максвелла. Демон действует в мысленном эксперименте как бы по логике — в одну сторону перекладывает быстрые молекулы, в другую — медленные. В результате один конец тела сам собой нагревается, другой — охлаждается. Неиссякаемый источник даровой энергии, вечный двигатель второго рода! Но этот молекулярный утопизм так и остается в области демонологии — в нашей вселенной действует энтропия, уравнивание энергетических уровней, второе начало термодинамики. Лысенковцы от физики до сих пор обещают одарить человечество этой энергией из ничего.

Многочисленные тираны, с одной стороны, и утописты — с другой, раз за разом упорно пытались взять на себя роль демона Максвелла в человеческой комедии и из ничего соорудить всем счастье. Они, например, стремились подменить вопрос об экономических отношениях и общественном устройстве вопросом о кадрах: стоит, мол, подобрать некий авангард из сверхчеловеков, сотню передовых, добрых чиновников, которые подберут себе под стать нижестоящих, поделят справедливо милости и наказания — и все будет хорошо. Затея, заведомо обреченная на провал и ведущая только к всевластию бюрократов и новым человеческим страданиям. Именно такую, «демоническую», задачу ставит Луначарский перед позитивной эстетикой и перед революционным движением, как он его понимает: человечество, дескать, надо изменить, превратить из конгломерата разумов в монолит воли и чувства, в железные когорты, спаянные полным единомыслием.

А. А. Богданов в своей брошюре «Новый мир», изданной в 1905 году, вторит Луначарскому: «Собирание человека ведет не к застою, а к смене одного типа развития другим: дисгармонического развития человечества раздробленного — гармоническим развитием объединенного человечества».

Потом, в 30-х годах, от внутривидовой борьбы-соревнования откажется и мичуринская биология — лысенковцы пошли по проторенной богдановцами дорожке, заменяя законы природы и общества шущим хотением и своим велением. А пока переделке, «выпрямлению» подлежали человек и человечество. И здесь, в этой переделке, по заветам товарища Прокруста, нельзя, говорили богдановцы, останавливаться ни перед чем.

«О мирной созидательной работе всечеловечества,— считал Луначарский,— в настоящее время не может быть речи, самый страстный поклонник счастья «дальнего», провидец и паладин отдаленного будущего, а также самый прогрессивный и сознательный класс общества, должны вступить в борьбу с косностью, ленью, себязлюбием других людей и классов, с жадностью, тупостью привилегированных, невежеством и рабским духом униженных (ненависть к слабым, культ силы — характерная черта нищезанства, позитивной эстетики, богдановщины и в дальнейшем и «искусства социалистического реализма». — А. Г.); в этой борьбе они должны быть тверды и даже жестоки, они должны напрягать все свои силы, чтобы вести человечество своей дорогой во что бы то ни стало, потому что они не могут не считать своей дорогой ту, которая с их точки зрения (разрядка моя.— А. Г.) является наиболее близким путем к идеалу». В 1923 году А. В. Луначарский дал к этим словам примечание: «В силу этих мыслей, которые автор выразил 20 лет тому назад, он и оказался большевиком теперь», подчеркнув тем самым, что ни в чем не отступил от прежних воззрений, несмотря на сокрушительную критику как со стороны Педжанова, так и со стороны Ленина.

А чего стоит рассуждение Луначарского о том, что тиран, просто следуя своему эгоизму, оstarяет-таки память по себе — работает на историю, и потому он заведомо выше «тушующегося» индивида, среднего человека, «который не повысил ни на йоту тип человека (тиран, значит, повысил! — А. Г.), а только существовал».

Совесть, по Луначарскому, является препятствием на пути от «я» к «мы». Человек в истории антиисторично рассматривается как биологический вид, и единственное, что требуется от личности,— это развиваться умственно и физически во славу вида.

Наконец, знаменательное, ставшее каноническим (ибо много раз повторялось) рассуждение о строительстве храма будущего — как метафора о смысле деятельности то ли художника новой эстетики, то ли революционера вообще:

«...люди, не умеющие жить в будущем, в творчестве, в стремлении будут уходить с той площади, где медленно воздвигают величественный храм жизни, где поколение трудится вслед за поколением, но где пока видна лишь груда камней, ямы с цементом, стропила, листы железа, очерк фундамента на земле... где все обещает, но мало что уже радует взор (эта «площадь» — вся земля. Куда будут уходить с нее люди? Ответ на этот вопрос был дан через тридцать лет Сталиным.— А. Г.)... Люди торопливые будут уходить отсюда, они осудят медленную работу, как бесплодную, они укажут на воду, подмывающую фундамент, на скалы, которые надо взорвать, на ограниченность сил человека и предпочтут строить из облаков живописные воздушные замки. Мы можем оглянуться на них с улыбкой, полюбоваться на их цветную фата-моргану, но нам странно, когда нас приглашают поселиться под кровлей мечты, и мы снова принимаемся за работу».

А в 1933 году в докладе о социалистическом реализме, сыгравшем весомую роль в «великом переломе» 1934 года на фронте искусств, А. В. Луначарский, уже без всякой улыбки и без оглядки на возможные возражения, повторил свою метафору, заменив сомнительный по новым временам храм домом, будущим дворцом:

«...он еще не достроен, и вы нарисуете его в этом виде и скажете: «Вот ваш социализм,— а крыши-то и нет». Вы будете, конечно, реалистом — вы скажете правду: но сразу бросается в глаза, что эта правда в самом деле неправда».

Интересно, до какой степени этот немарксистский большевизм уже с самого начала не затруднял себя даже тенью доказательности. Формулы подкреплялись словами «несомненно», «бросается в глаза» и должны были приниматься беспрекословно.

В том же докладе 1933 года Луначарский заявляет: «...правда — она не похожа на себя самое, она не сидит на месте, правда летит... и нужно ее видеть именно так, а кто не видит ее так — тот реалист буржуазный и поэтому — пессимист, нытик и зачастую мошенник и фальсификатор и во всяком случае вольный или невольный контрреволюционер и вредитель... он, может быть, будет делать полезное дело, высказывая печальную правду (явная накладочка: как это контрреволюционер может делать полезное дело? — А. Г.), но... С точки зрения социалистического реализма это не правда — это ирреальность, ложь, подмена жизни мертвечиной». Иначе говоря, даже полезная, но негодная правда с точки зрения соцреализма — ложь. Ценное и редкое по искренности признание. Из него можно вывести и обратное утверждение, что чем бесстыдней ложь соцреализма, тем она истинней в этой фантастической системе ценностей. Легко вообразить себе, сколь живыми и непринужденными были «дискуссии» после таких докладов...

Пример со строительством особенно хорош еще и потому, что сразу становится ясно: речь не только о судьбах культуры, разговор имеет отношение и к самому строящемуся дому. Ведь нигде не сказано, что наделять крышей недостроенный дом обязан только художник. Всякий, не видящий крыши там, где ее нет, не выражающий активно телодвижениями и восклицаниями своего восторга,— вредитель: и возводящий дом инженер, и плановик, и каменщик в фартуке белом, и, наконец, жители дома — ведь если дом числится под крышей, в нем обязаны жить. Все они вредители, если не видят крыши, которой нет!

Тут возможны два варианта (и оба работают в действительности). Первый — в отдельных случаях, когда без правды все-таки не обойтись (хоть что-то должно реально строиться — хотя бы для нужд начальства), обыденная, житейская правда допускается, но должна быть засекречена. Отсюда — гигантская машина секретности, почти полностью скрывающая очертания того, что реально происходит, невиданное в истории обилие государственных тайн. Второй вариант — всеобщее двоемыслие, «двойная бухгалтерия» (выражение Г. В. Плеханова, употребленное для определения мировоззрения богостроителей), когда, например, с одной стороны, конфликты в литературе считаются недопустимыми, а с другой — должна возрастать классовая борьба. Или когда общество считается самым атеистичным в истории, а на деле охвачено массовым культом примитивного шаманского пошиба...

Нет, не была позитивная эстетика чисто эстетической утопией. Она вполне применима в качестве идеологии двоемыслия. Целой политической, экономической, культурной программы, вытеснившей марксизм.

Нельзя сказать, чтоб учение Луначарского о позитивной эстетике или тем более все богдановское течение в целом составляли нечто последовательное. Там была масса всяких несообразностей, нелогичностей, конец противоречил началу — это все прекрасно высмеяли критики-марксисты. Но немарксистский, религиозный большевизм (как и всякая религия) не очень-то и старался быть последовательным. Он апеллировал к вере и чувству, а не к разуму и логике. Социальная жизнь биологизировалась, зато сверхчеловек будущего лишался всех живых черт. Это была мертвая абстракция — человек-бог...

«Все, что связано со страданиями, болезнью и слабостью и т. п., воспринимается как безобразное», — не сомневался А. В. Луначарский и настаивал на удалении из искусства традиционного гуманизма, требовал «свободы от слезливого сострадания». Эстетика слабых противопоставлялась эстетике сильных — позитивной эстетике. Но значит ли это, что в позитивной эстетике все должно быть благостно и идилично? Отнюдь нет! Ведь позитивная эстетика — это эстетика борьбы. Ужасное, страшное должно быть в ней непременно, иначе не воспитать сверхчеловека. «Приучить человека спокойно относиться к трагическому, испытывать красоту ужаса, борьбы, уметь ценить в страданиях героев их героизм — великая задача. Луначарский учит творцов: «...свобода от мелочного страха, от трусости получается лишь ценою привычки к ужасному». В искусстве будет цениться «умение обратить внимание на мужество, ловкость, находчивость, а не на раны и стоны». Справедливости ради замечу, что в этом Луначарский не был первым — приучать граждан к ужасному считали необходимым и некоторые деятели Великой французской революции. Только там основная нагрузка возлагалась не на муз, а на многочисленные публичные казни, при которых поощрялись аплодисменты, а сострадание вменялось в вину.

Рассуждения Луначарского не всегда были абстрактными, они иногда иллюстрировались конкретными примерами. На тридцать лет предвосхитив грядущие анафемы в искусстве и литературе социалистического реализма, он писал в год смерти А. П. Чехова: «Стремление современного искусства изображать ослабленную жизнь, не осмеивая ее, а сочувствуя ей, есть истинный декаданс... Какой же серой, дряблой, неподвижной должна быть жизнь, чтобы человеку приятно было проливать слезы перед зрелищем горя будничных людей, чтобы его интересовали даже перипетии жизни чеховских трех сестер и им подобных». В горячке литературной полемики, конечно, чего не скажешь, но вот авторское примечание 1923 года: «Все это относится к дореволюционному искусству. Революция сделала подобные произведения искусства еще более невыносимыми». Глаза отказываются видеть, разум — верить, но так оно и было: русская литература, выросшая из гоголевской «Шинели», получившая всемирное признание на пути необычайно глубокого проникновения в интересы униженного и оскорбленного маленького человека, была для позитивной эстетики невыносима, вне закона. Могли ли существовать в этих рамках Платонов и Булгаков, Ахматова и Цветаева, Шагал и Есенин, Хармс и Добычин?..

С точки зрения позитивной эстетики Луначарский обзирает основные течения искусства. По его словам, художественный реализм с его погоней за обыденным, типическим «характеризует собой застой, самодовольство, свойственное таким принципиально ограниченными классам, как практическая буржуазия». Одобрительно относится он к реалистическому идеализму — искусству, свойственному обществам, которые «идут к сверхчеловечеству, к человекобогу». Высоко ставит «романтизм бури и натиска»: «Такое искусство вообще присуще обществам и классам, развивающимся путем борьбы». Где-то между этими двумя и следует искать прообраз «социалистического реализма».

Какие задачи ставит Луначарский перед художником в 1904 году? Если выбросить или заменить упоминания о сверхчеловеке, перед нами прозорливое предвосхищение духа и буквы тех сотен томов о соцреализме, в которых мы сейчас никак не можем найти ни рационального зерна, ни порядка (ибо там этого нет).

«Содействовать росту веры народа в свои силы, в лучшее будущее, искать рациональных путей к этому будущему... украсить посылно жизнь народа, рисовать

сияющие счастьем и совершенством картины будущего, а рядом — все отвратительное зло настоящего (в 1932 году «отвратительное» числилось только в прошлом, а настоящее было объявлено равным или тождественным будущему.— А. Г.), развивать чувство трагического, радость борьбы и побед, прометеевских стремлений, упорной гордости, непримиримого мужества, объединять сердца в общем чувстве порыва к сверхчеловеку (если написать «вождю» — сойдет и для Ермилова.— А. Г.) — вот задача художника.

Уже в этой ранней работе будущий создатель «религии социализма» фактически отождествляет свою эстетику с этой религией: «Вера активного человека есть вера в грядущее человечество, его религия есть совокупность чувств и мыслей, делающих его сопричастником жизни человечества и звеном в той цепи, которая тянется к сверхчеловеку, к существу прекрасному и властному (не могло не понравиться это место И. В. Сталину! — А. Г.), к законченному организму, в котором жизнь и разум отпразднуют победу над стихиями».

Почти с самого начала наглядной моделью провозглашенных Луначарским принципов новой эстетики оказался А. М. Горький, что и уберегло эти принципы от осмеяния или немедленного забвения. В 1906 году Горький создал два произведения, сразу же восславленных Луначарским как образцы, наглядные модели того искусства будущего, которое он предсказал и в известном смысле предписал всякому художнику, рассчитывающему на успех в грядущем социализме. Этими первыми произведениями искусства социалистического реализма стали пьеса «Враги» и роман «Мать».

В области философии махистское учение эмпириомонизма развивали А. А. Богданов — революционер, врач, человек смелый, блестящего дарования, незаменимый помощник В. И. Ленина по работе в редакции «Пролетария», а также Суворов (возможно, прообраз Кутузова в «Климе Самгине»), Юшкевич, Валентинов, Берман, Гельфонд, Базаров — тоже все весьма видные социал-демократы, в основном большевики. Воспользовавшись расхождением между большевиками и меньшевиками по вопросам революционной тактики, большевики-богдановцы попытались сразу же отделиться от «ортодокса» Плеханова и мировоззренчески. Поскольку Ленин был занят практическими вопросами и поначалу даже сторонился этих споров в эмпириях, они решили взять на себя функцию мозгового центра новой, чисто большевистской (в отличие от прежней общей марксистской, социал-демократической) идеологии. Похоже, богдановцы именно потому и старались как можно далее отойти от диалектического и исторического материализма Маркса—Энгельса, что там безусловно превосходил их всех Г. В. Плеханов. Богданов и Базаров занялись философией, заменив марксизм махизмом, а материализм разновидностью субъективного идеализма. Луначарский подкрепил этот новый идеализм не только новой эстетикой (оказавшись очень предусмотрительным — именно в эстетике удалось богдановщине отсидеться и уцелеть под видом «пролетарской культуры», несмотря на удары со всех сторон). Он принялся трактовать и «развивать» марксизм как «пятую великую религию, сформулированную иудейством». Новая религия призвана была так же воодушевить и сплотить разочарованные поражением революции народные массы, как махизм — разочаровавшихся в марксизме интеллигентов. Друзей восторженно поддерживал и популяризировал «буревестник» революции А. М. Горький.

Первым вышел из себя Плеханов — это и понятно, главные наскоки эмпириомонистов-богостроителей были против него лично. «Бескрылому», унылому, серому материализму и марксизму противостояли боевитая «новая философия борьбы», религия социализма с культом силы, верой не в реального человека с его досадными слабостями и неожиданными запросами, которого надо было изучать и интересы которого — учитывать, выражать и отстаивать, а в гораздо более простую схему сверхчеловека будущего, во всем подобного богу.

На наскоки богостроителей Плеханов ответил поистине вельможным презрением (не простил ему этого потом Горький, обиделся, при каждом удобном случае обзывал баринном). Отчитывал, вышучивал их как мальчишек, называя при этом господами, что в среде социал-демократов было хуже оскорбления.

В. И. Ленин на два года запоздал с публичной критикой богдановщины по сравнению с Плехановым. Ленин не считал себя «достаточно компетентным по этим вопро-

сам, чтобы торопиться выступать печатно»³, да и текучка заедала. Это опоздание сыграло свою историческую роль...

25 февраля 1908 года Ленин писал Горькому на Капри:

«Философией заниматься в горячке революции приходилось мало. В тюрьме в начале 1906 г. Богданов написал... одну вещь,— кажется, III выпуск «Эмпириомонизма». Летом 1906 г. он мне презентовал ее, и я засел внимательно за нее. Прочитав, озлился и взбесился необычайно: для меня еще яснее стало, что он идет архиневверным путем, не марксистским. Я написал ему тогда «объяснение в любви», письмецо по философии в размере трех тетрадок. Выяснял я там ему, что я, конечно, рядовой марксист в философии, но что именно его ясные, популярные, превосходно написанные работы убеждают меня окончательно в его неправоте по существу и в правоте Плеханова. Сии тетрадки показал я некоторым друзьям (Луначарскому в том числе) и подумывал было напечатать под заглавием: «Заметки рядового марксиста о философии», но не собрался. Теперь жалею о том, что тогда тотчас не напечатал. Написал на днях в Питер с просьбой разыскать и прислать мне эти тетрадки»⁴.

Тетрадки так и не нашлись. Пришлось Ленину забыть о том, что он «рядовой марксист в философии», и обрушить на выдающегося, признанного тогда идеолога большевизма А. А. Богданова свой «Материализм и эмпириокритицизм». Удар был сокрушительный. Как группа, как господствующее, по сути, течение левый большевизм махистов-богостроителей отступил. Внешне выглядело, что большевики едины. На самом деле в вопросе мировоззрения было не внутреннее единство, а вынужденное смирение перед силой, какую представляла собой Ленин.

Горький, как мог, помогал друзьям-богдановцам, пытаясь смягчить Ленина, пугая его: «Меньшевики выигрют от драки». Это соображение не было чуждо и Ленину — оттого его молчание и затянулось. Но в конце концов стало ясно: молчание как бы подтверждало открытые разговоры в европейской социал-демократии о том, что вся революционность большевиков — волюнтаристско-махистского, ницшеанского, антимарксистского происхождения. Ленин понял: «Оьи (меньшевики.— А. Г.) выигрют, если большевистская фракция не отделит себя от философии трех беков»⁵.

«Трех беков» — это Богданова, Базарова, Луначарского. В переписке Горького с Лениным соблюдается одно правило игры: обе стороны делают вид, что Горький — чуть ли не пассивный наблюдатель, только радеть единства, проявляющий естественную художническую мягкотелость. И в «Материализме и эмпириокритицизме» о Горьком — ни слова. Между тем на самом деле шкала рангов была другая — Луначарский, по определению Г. В. Плеханова, был «копна», а Горький — «Монблан». Считать, что «три бека» (на самом деле их было значительно больше — и все роились вокруг Горького, десятки были подготовлены в «марксистской» школе на Капри) — только «бесчестные соблазнитель» наивного добряка Горького, было бы истинной наивностью. На самом деле без Горького не было бы, возможно, и всей богдановщины.

Да и в самом расхожем определении Горького как основоположника «социалистического реализма» (впитавшего в себя всю махистско-пролеткультовскую большевистскую традицию), увы, слишком много правды. Всерьез сумел обуздать неукротимого «буревестника», тонко использовав слабость Горького — общую его с другими большими русскими писателями слабость числить себя не только по ведомству муз, но и в ряду пророков и вождей человечества, — только Сталин.

Ленин вел борьбу за возвращение к марксизму всех оступившихся «беков», а за Горького в первую очередь, и подчеркнутое отделение писателя от провинившихся однопартийцев было умной тактикой, мастером которой был Ленин. Но он отлично понимал истинную роль Горького. Когда Ленин с большим трудом пробивал в России издание своего «Материализма и эмпириокритицизма», он так отзывался об издательстве «Знание», где царь и бог был Горький: «На само «Знание» я почти вовсе не надеюсь: «хозяин» его, давший полуобещание Анюте (А. И. Ульяновой-Елизаровой.— А. Г.), большая лиса и, вероятно, понюхав воздух на Капри, где живет Горький, откажется. Придется искать в ином месте»⁶.

³ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 141.

⁴ Там же, стр. 142.

⁵ Там же, стр. 152.

⁶ Там же, т. 55, стр. 260.

Ленин будто в воду глядел. Действительно, в это же время издатель К. П. Пятницкий получил письмо А. М. Горького, примечательно отличающееся трезвостью и деловитостью от подчеркнуто «художнических», таких «наивных» писем к Ленину:

«...Относительно издания книги Ленина: я против этого, потому что знаю автора. Это великая умница, чудесный человек, но он боец, и рыцарский поступок (то есть издание Горьким книги, направленной против богдановщины.— А. Г.) его насмешит. Издай «Знание» эту его книгу, он скажет: дурачки,— и дурачками этими будут Богданов, я, Базаров, Луначарский.

...Спор, разгоревшийся между Лениным — Плехановым, с одной стороны, Богдановым — Базаровым и К°, с другой,— очень важен и глубок. Двое первых, расходясь в вопросах тактики, оба веруют и проповедуют исторический фатализм, противная сторона — исповедует философию активности. Для меня — ясно, на чьей стороне больше правды...»

В этом письме важно каждое слово, даже порядок, в каком Горький расположил членов «компании» (К°). Он отлично отдавал себе отчет, что он в этой «компании» не на последнем месте, не попутчик и не сочувствующий, а боевая единица — и в своих глазах, и в глазах автора «Материализма и эмпириокритицизма».

Небезынтересно, как отнесся к роли Горького в становлении эстетики религиозного большевизма Г. В. Плеханов.

«М. Горький,— так начинает Плеханов специально посвященную пролетарскому писателю главу,— замечательный и яркий художник. Но даже гениальные художники нередко совершенно беспомощны в области теории... Белинский говаривал, что у художников ум уходит в талант».

Позитивная эстетика—социалистический реализм сводят творчество к идеологии. Эта эстетика требует от художника «смелого вторжения», «дерзания» во имя идеала, то есть прелега идеологической работы. У Плеханова между работой художника и работой идеолога возводятся прочная перегородка. Всякому свое, не надо смешивать...

«Поэтому и неудачны те его произведения,— продолжает Г. В. Плеханов,— в которых силен публицистический элемент, например, очерки американской жизни и роман «Мать». Очень плохую услугу оказывают ему люди, побуждающие его выступать в ролях мыслителя и проповедника; он не создан для таких ролей».

Что художественность может быть задавлена тенденцией — было известно всегда. И всегда сверху шло давление, попытки использовать художника в определенных оперативных целях. Один из знаменитейших при жизни писателей, А. Коцебу, был убит в 1819 году за литературное доношение. Вот как инстинктивно талантливо, но рептильного писателя его шеф, граф Нессельроде: «Усвоив принципы, которые Государь хотел бы распространить, вы сумеете их выдвинуть при первом удобном случае, как бы ненароком». Этому бесподобному и честному «как бы ненароком» следовало бы поучиться нашим теоретикам соцреализма, истребившим целые лесные области на бумагу, на которой они печатно разъясняют, что принципы, которые художник-соцреалист обязан внедрять в сознание воспитуемого человечества, надо вводить не прямо и грубо (с этим и газетчики справятся), а обвиваями, как бы отталкиваясь от традиционных культурных ценностей, прячась за свое мастерство.

Писать исключительно в интересах пользы народу и отечеству учил литераторов незабвенный Ф. Булгарин: «Вот какова должна быть цель наших журналов: не мечтательная, но полезная». В Светонии (личной утопии Ф. Булгарина — и у полицейского литератора могут быть утопии), помещавшейся в центре Земли, жители счастливы, ибо научились «подчинять страсти рассудку, довольствоваться малым, не желать невозможного, трудиться для укрепления тела и безбедного пропитания». Поэты там «поют славу Всевышнему и добродетели соотчичей, прозаики занимаются развитием и распространением полезных нравственных истин». Чем не «социалистический образ жизни», непрерывным постижением которого под углом зрения прежде всего духовно-нравственным, по мнению Ф. Ф. Кузнецова, занято «искусство социалистического реализма»? Проблема, писал критик в сборнике «Движение жизни и литература» (М. «Советский писатель». 1978), только в том, чтобы различить два понятия — «социалистический образ жизни» и «образ жизни социалистического общества». И лишь «обыденное мышление», дескать, может счесть такое различие схоластическим...

В последней своей речи о социалистическом реализме Луначарский назвал среди достижений этого направления «Поднятую целину» и не назвал «Тихий Дон». И был прав. «Тихий Дон» выше «Поднятой целины» ровно настолько, насколько является

произведением реалистическим, прежде всего художественным, без преследования каких бы то ни было нелитературных целей.

И когда сейчас тот или иной литературовед испытывает профессиональную гордость, если ему удастся прописать в коммуналке соцреализма Булгакова, Платонова (бывало, и Солженицына), деревенщиков, и ждет похвалы за свой «гуманный» поступок, то есть в этом ожидании что-то невыразимо смешное и трагичное одновременно. Что за дело будет потомкам до этих «аусвайсов», образов словесной казуистики? Истинная художественная ценность того или иного произведения не имеет к ним никакого отношения.

Значит ли это, что всякая ангажированность искусства, всякое искусство «с направлением» не нужны и вредны? Нет! Даже отнюдь нет! Истинное искусство всегда фактически было помощником в духовном самоопределении человечества — это один из признаков художественности. Противоречие? Да! Но именно непонимание природы этого противоречия — источник всех бед и недоразумений.

Бой на эту тему позитивная эстетика дала в первые же годы своего существования — и, по-моему, бесславно его проиграла. В 1906 году молодой Луначарский выступил в знаменательный спор с еще более юным К. И. Чуковским — вполне левым интеллигентом, выступившим тем не менее категорически против позитивной эстетики именно в вопросе об ангажементе художника:

«Литература абсолютна! Нельзя делать ее служанкой тех или других человеческих потреб. Нужно служить ей, обожать ее, жертвовать ради нее здоровьем, счастьем, покоем, — нужно, словом, никогда не думать о том Костеньке, которого она произведет в результате всего этого. Именно ради самого же Костеньки нужно совсем забыть о нем...

Всякая общественная полезность полезнее, если она совершается при личном ощущении ее бесполезности... Мы должны признать все эти комплексы идей: искусство для искусства, патриотизм для патриотизма, любовь для любви, наука для науки — необходимыми иллюзиями (разрядка моя. — А. Г.) современной культуры, разрушать которые не то что не должно, а прямо-таки невозможно!»

Эпатируя оппонентов, Чуковский возглашает: «Пусть Куприн пишет о проституции и ни слова о конституции».

В самом деле: о какой любви может идти речь, если нет самозабвения, безоглядной самоотдачи, а есть непрерывное предисчисление достоинств будущего Костеньки, должествующего явиться как результат торжественного акта ангажированной ради него любви. Тут здравый смысл и чувство юмора срабатывают почти у каждого. Почему же с искусством — иначе? Чуковский прекрасно знает, что и любовь и искусство — в конечном счете во имя Костеньки, он лишь рекомендует творцу не думать об этом в момент исполнения — ради самого результата. Искусство нужно человечеству, нужно революции (дискуссия шла в петербургской газете под рубрикой «Революция и литература»). Но именно тогда оно не будет ущербным, когда его не регламентируют, не нагнетают идеал под давлением, когда художник чувствует себя свободным.

Хороша у Чуковского и параллель с наукой. Наука успешно развивается там, где ученым дают «удовлетворять любопытство за чужой счет», то есть заниматься фундаментальными исследованиями. Ученый должен работать вдохновенно, запойно, не думая ни о чем, кроме научного результата, открытия, к которому он устремлен. Проблема применения результатов его работы — вопрос следующий. Результатом легче распорядиться, когда он есть. Если его нет — всякая болтовня о преимуществах науки при социализме лишена смысла. Наши генетики, для деятельности которых в 20-х годах создались наиболее свободные условия, если и думали о грядущем применении своих трудов ко благу человечества, то разве что в редкие свободные от запойной основной работы минуты. А «мичуринцы», «народная, прогрессивная биология», обвинившая генетиков в отрыве от нужд народа, долдонившая день и ночь о чудесах изобилия, которое она способна дать, отбросила науку и сельское хозяйство (а заодно и дело социализма) далеко назад...

Нормативная эстетика, этакий культурный госплан, ведет к большей или меньшей деградации, застою. Значит, она — во вред и революции, и социализму (если это социализм), и всякому прогрессу вообще. Любой нажим в культуре — принуждение ко

лжи. А на лжи не построишь храма. Разве что один большой котлован (вспомним «Котлован» А. Платонова), более пригодный в качестве могилы для того идеала, во имя которого разгорался сыр-бор.

Выше уже заходила речь о «религиозном прогрессизме». Когда люди уразумели, что законы развития властвуют всюду — и в обществе и в лишенной сознания природе, — они (как, например, Лейбниц) впали в прогрессистский фетишизм. Святая вера в прогресс как бы освобождала от ответственности. Что бы ты ни натворил сегодня, прогресс переплавит, превратит это во что-то в конечном счете бесполезное. Такой культ завтрашнего дня (его разновидность — бездумный технократизм), вера в завтрашнего нового богоподобного человека делали богдановцев похожими на новых панглосов — высмеянных еще Вольтером лейбнизианцев. «Все к лучшему», а значит, не ведай жалости, сострадания, колебаний — круши, ломай. И здесь можно применить подход Чуковского: не надо непрерывно заклинять именем будущего, не надо планировать грандиозных свершений. Для прогресса в конечном счете лучше, чтобы о нем меньше и помнили и говорили — тогда прогресс будет настоящим. Мчаться по дороге прогресса опасно, она может прямо привести к катастрофе (что и случилось у нас — в экономике, во всем мире — в экологии). Надо работать, увеличивая сумму богатства, сумму культуры, уменьшая, предотвращая несчастья и беды, — это даст больше, чем любой «большой скачок»...

Но посмотрим, как ответил Луначарский Чуковскому. Обрушился и сокрушил, опираясь на крепкий марксистский тыл? Нет! Не мог он этого сделать. Нет в марксизме никаких указаний на позитивную эстетику, равно как и на соцреализм. Есть ряд высказываний Маркса, Энгельса по некоторым конкретным поводам: о «лживой идеалистической тенденциозности», о весьма идейной, но скверной «социалистической» литературе, где «личность растворяется в принципе», о том, что работа писателя не средство для чего-то там, а самоцель — все это скорее в пользу Чуковского.

И Луначарский идет, увы, хорошо знакомым нам путем — путем передергивания. Сравнивает литературу, искусство с плугом, который, дескать, хорош не сам по себе, а лишь на пахоте. Луначарский (и сонмы критиков, литературоведов, авторов учебников вслед за ним) путал две вещи: искусство, литературу и культуру в целом с партийной, газетной литературой момента — пропагандой. Крупская не уставала разъяснять, что слова Ленина о партийности литературы имеют отношение именно к партийной литературе, обязанной служить делу партии. Даже Сталин, как это стало известно из воспоминаний К. Симонова, хорошо, оказывается, понимал, что имел в виду Ленин под партийностью литературы в определенный момент политической борьбы (но обнаружил свое знание лишь однажды в очень узком кругу).

Луначарскому в споре с Чуковским не остается ничего, кроме как призвать себе в подмогу композитора Р. Вагнера. «Искусство и социальное движение, — цитирует Луначарский, — имеют одну и ту же цель, но ни то, ни другое не может достигнуть ее, если они не будут стремиться к ней сообща. Цель эта — прекрасный и сильный человек. Пусть революция даст ему силу, а искусство — красоту». Что ж, как лозунг какой-нибудь ассоциации молодых художников на время революции (так оно и было в биографии Вагнера) — сойдет. Но никакой эстетики, никакого направления национальной или интернациональной культуры на этом поэтическом заклипании не построишь.

Чуковский, пародируя некоего сверхреволюционера (возможно, кого-то из богдановцев), от его имени говорит: «Если для свободы нужно сжечь Данте на костре, то принесите скорее дров для этого костра». Здесь интересна не сама эскапада (не новая — в том же духе и Базаров из «Отцов и детей» изъясняется), а то, как Луначарский на нее ответил: «С чисто формальной точки зрения (другой, «неформальной» точки зрения далее не приводится. — А. Г.) я, пожалуй, согласен с этим идеальным революционером. Но только потому, что торжество революции в моих глазах представляет из себя великое начало нового и несравненного искусства, плодородную почву для появления сотен Данте».

Нам теперь ясно, какая страшная ошибка крылась за этим рассуждением — достаточно просто взять справочник Союза писателей и поискать там эти сотни Данте. Немарксистский, левацкий, антиисторический взгляд Луначарского на искусство становился взглядом Горгоны при малейшей возможности пробиться из области эпатажа и полемической запальчивости к осуществлению. Да, он всего лишь произносил слова. Но эти слова становились делом, порождали начальственное неуважение к

культуре, казарменно-лозунговую «эстетику». Как возможный и приемлемый вариант, позитивная эстетика предусматривала полное упразднение искусства, если это понадобится для самоутверждения «сверхчеловека» будущего. Мир антиутопий Замятина, Оруэлла, Хаксли, мир победившего «мы» (под присмотром, конечно, Благодетеля, Большого Брата) — это прежде всего мир, в котором упразднено за ненадобностью искусство...

Горячась и запутываясь, Луначарский приписывает Чуковскому то, чего у того нет — стремление пожертвовать свободой во имя существования Данте, даже обвиняет Чуковского в посягательстве на свободу художника: нельзя, мол, заставлять человека заниматься только своим делом и ничем более — вдруг художник, к примеру, захочет заняться революцией? Но процитируем другого теоретика пролетарской культуры — А. А. Богданова, нигде и ни в чем не противоречившего Луначарскому. Никакого выбора, никакой свободы у художника не предполагается: «Единство методов — это тоже отличительная особенность пролетарской культуры от старых культур. Старая культура, вся буржуазная культура, благодаря разрозненности буржуазного мира (по-современному — плюрализму. — А. Г.), благодаря его анархии, не могла не только выработать единства точки зрения и методов (разрядка моя. — А. Г.), но она не могла даже и поставить этой задачи».

Так что обвинение в том, что Чуковский, мол, ограничивает свободу художника, — нечестный прием, дымовая словесная завеса. Это было в обычае леваков-богдановцев. Они спорили не по существу, апеллировали не к факту и логике, а к чувству и вере — авось не поймут! «Ни грана марксизма» (В. И. Ленин) — при усердном размахивании чем-то, на чем значилось: марксизм.

Отговорка — для тех, кто заподозрит автора (или Чуковского) в бесчувствии и безверии. И вера и чувство — вещи прекрасные, они — основа творчества, личных взаимоотношений, на них, наконец, основана религия — «сердце бессердечного мира» (Маркс), — существование которой еще долго будет жизненно важно для миллионов; единственная альтернатива — научное сознание в обозримом будущем не сможет стать духовным прибежищем для всех поголовно. Но самая лучшая вещь хороша строго на своем месте и может быть вредоносной на чужом. Об этом, собственно, и хлопочет Чуковский, полемизируя с позитивной эстетикой. Отвратителен расчет в любви и молитве, бездарен в искусстве, но возможен ли без расчета проект здания? И не преступна ли восторженная фантазия в бухгалтерском гроссбухе, в государственной статистике? Или — как отнестись к государственному деятелю, который к людям относится как к материалу, сырой глине для воплощения своих «творческих замыслов», по капризу, так сказать, гения? В области культуры граница должна быть особенно четкой: художник верит, творит, мечтает, фантазирует. Теоретик, менеджер искусства, критик — умозаключает и трезво взвешивает, иначе горе ему (или опекаемому им искусству). Богдановцы (не первые и не последние, правда) виновны в том, что смешивали несмешиваемое — объектом своего религиозного «творчества» они хотели сделать реальных художников, других живых людей, многострадальную действительность...

Мне кажется, юный Чуковский точно и мудро понимал принципы «искусство для искусства», «наука для науки»: он дал не декадентское и не снобистское, а глубоко демократическое их толкование. Разве не к формуле «экономика для экономики» — для экономий, прибыли — обращаемся мы в нашу нынешнюю перестройку? Ведь не случайно на край пропасти мы пришли именно под заклания «все для человека» («И чукча этого человека видел», — добавлял персонаж популярного в эпоху застоя анекдота). Если безубыточная здоровая экономика станет фактом, это и будет «для человека». Без дополнительной демагогии на сей счет, выгодной лишь присосавшимся захребетникам, бормочущим что-то об идеалах, которые якобы обязывают управлять огромным хозяйством только одним методом — бюрократическим, то есть производить то, что указано сверху, а не то, что нужно пресловутому человеку... Как тут не вспомнить и Оруэлла: «Люди могут быть счастливы, только если счастье — не цель их жизни».

Есть в позитивной эстетике еще одна черта, нашедшая свое отражение в антиутопии Замятина «Мы»: колонизаторское, отчужденное отношение к природе. Город у Замятина защищен силовым полем от Зеленой Стены — независимой природы, не желающей подчиняться производству Благодетеля. «Народные академики» эпохи лысенковщины хотели, не ожидая милостей от природы и не считаясь с ее законами, навя-

зять ей свою волю. Социалисты-волюнтаристы представляли себе своего человекобога непременно в виде борца-воителя. С кем? Сначала, ясно, с враждебными классами, слабыми и большими людьми, с интеллигентами-декадентами — людьми «личной карьеры» (Богданов). Ну а когда с ними будет покончено, тогда — с природой! Это шло от вульгарного биологизма богдановцев, которые рассматривали человека прежде всего как жаждущий экспансии биологический вид (в то время как марксизм, учитывая первичную природу человека, отдавал пальму первенства в изучении человека его «второй природе» — социальной и культурной).

«Социализм это организованная борьба человечества с природой для полного ее подчинения разуму: в надежде на победу, в стремлении, напряжении сил — новая религия. Мы вместе с апостолом Павлом можем сказать: „Мы спасены (от природы? — А. Г.) в надежде“». Так писал А. В. Луначарский в 1907 году. Через четверть века Горький выступал в том же духе по более конкретному поводу: «Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле».

«Друг Аркадий, не говори красиво!» — осаживал приятеля-либерала нигилист Базаров в знаменитом романе. Читателю ясно: Базаров в потенции — революционер, человек действия. Кирсанов — прирожденный фразер. По-моему, никто из классиков не рассмотрел еще одной возможности... Человек фразы становится-таки революционером. Он убежден, что за всеми его фразами — дело, тем более великое, что — беспрецедентное. Интересно, мог ли бы Алексей Максимович просто, на пальцах объяснить, что такое утверждение бытия «ради великого счастья жить на земле»? Фраза чистой воды, за которой нет ровно ничего, даже мысленного эксперимента. И во имя этого «ничего» уничтожались все лепестки культуры — кроме одного, самого сомнительного.

«Тоска жива в человеке, — подает голос из 1907 года большевик-богостроитель, — и кто не умеет мыслить мир религиозно — тот осужден на пессимизм, если только он не простой филистер, готовый вместе с чеховским учителем повторять: «Я доволен, я доволен». Если тоска первобытного человека есть жажда жизни продолжаться, защитить себя от нападений среды, то новая тоска есть жажда господствовать над природой. Вот великая перемена, совершившаяся в религиозном чувствовании человека».

Приводя эту цитату, Плеханов резонно недоумевает: «...почему «жажда господствовать над природой» непременно должна принимать вид тоски, и притом тоски, предрасполагающей к религии».

Плеханов, похоже, видит здесь в основном желание махиста соригинальничать: «наш пострел везде поспел». Но мы уже знаем в нашей истории людей и целые организации, одержимые этой звериной, мистической тоской непременно властвовать над природой, быть непременно выше ее законов (а также выше людей и законов общества: ведь для волюнтариста все, что «не я», — простой фон для самоутверждения). Разве не эта тоска вела «мичуриnceв», а позднее поворотчиков рек, тех, кто уничтожил ни за поноух табаку Кара-Богаз и добывает Арал? Разве не встает (конечно, сейчас, когда мы знаем, что из чего произошло) жутковатый образ обобщенного тоскующе-торжествующего Рядно (персонаж романа Дудинцева «Белые одежды») из вдохновенных строк большевика-богостроителя: «Художник пролетариата должен тесно срастись с ним и выразить его боевое, эгоистическое, то есть классовое общественно-эгоистическое настроение: „хочу жить, умею жить, умею переделать жизнь, сокрушу мир и в три дня построю его!“» Разве не следует из этого животно-религиозного «социализма» по меньшей мере безучастное, а скорее всего отрицательное отношение к культурному наследию, вмняемое «художнику пролетариата» в обязанность подобной нормативно-позитивной эстетикой?

Оговорюсь: на практике лично носитель подобной идеологии потом мог в каких-то конкретных случаях и выступать в защиту памятников культуры, старых деятелей культуры, даже девственной природы. Носитель идеологии — человек. А человек как личность может быть добрым, непоследовательным, мягким, воспитанным. Однако новая идеология уже независимо от его личных качеств порождает новый порядок, правило, а исключения, как известно, лишь подтверждают правило. Луначарского никто не станет сравнивать, положим, со Сталиным, но Сталин не был теоретиком (особенно в эстетике), он находил нужные ему соображения и доводы у других. Бог-

дановщина с ее исходным главным пунктом — произвол выше законов природы и общества — неотвратимо несла в себе зло.

Конечно, религиозная окраска позитивной эстетики, махистского большевизма в огромной мере была откликом на неявные потребности русского общества, уступкой религиозной общественной традиции. Часть интеллигенции и рабочих этот «религиозный атеизм» устраивал как менее резкий переход от прежней религиозности.

В то же время острая болезненная реакция на большевизм части православно мыслящих людей была резкой именно из-за этой религиозной претензии видных деятелей самой революционной партии. Ее воспринимали как новую секту, причем настроенную неслыханно агрессивно. Резкий памфлет Мережковского «Грядущий кам», если внимательно всмотреться, довольно точно схватывает суть не революционного движения в целом в не марксизма, а именно «религиозного социализма» жестокого по сути своих претензий, не обещающего в обожествляемом им будущем никаких допусков, никакой пощады для инакомыслия, в том числе и религиозного, для традиционных религий, имеющих глубокие корни в культуре народов, презрительно третирующего великие завоевания человеческого духа, понятия долга, чести, совести Любая новая религия в период экспансии особенно опасна, она претендует на духовную монополию, стремится полностью подчинить человеческую индивидуальность. И нет ничего удивительного, что, в целом критикуя христианскую реакцию на революцию 1905 года, представляемую в данном случае Мережковским, Г. В. Плеханов откровенно соглашается с ним в оценке большевистского богостроительства, которое Мережковский называет босячеством (увы, левацкий социализм всегда был обращен скорее к Челкашам и Игнашкам Спроновым, к люмпенам, чем к организованным, грамотным рабочим и крестьянам).

Мережковский пишет: «Сознательное христианство есть религия Бога, который стал человеком; сознательное босячество, антихристианство, есть религия человека, который хочет стать Богом. Это последнее, конечно, обман. Ведь исходная точка босячества — «существует только человек», нет Бога, Бог — ничто; и следовательно, «человек — Бог» значит: «человек — ничто» Мнимое обожествление приводит к действительному уничтожению человека».

«Мережковский совершенно прав, — откликается Плеханов, — в своем отрицательном отношении к «религии человека, который хочет стать Богом»... человек не фикция, не вымысел, а реальное существо».

Пожоже, что храм богдановского толка вовсе и не был рассчитан на пребывание в нем живого человечества и живого человека.

В июне 1909 года решение расширенной редакции газеты «Пролетарий» осулило махизм и богостроительство каприйцев «как извращение научного социализма». Решение далось нелегко. Внешне, казалось, богдановцы примирялись с поражением. Но тем более усердно стали они развивать культурно-эстетическую программу своей группы, которую тогда как-то проглядели — то ли не придавая ей большого значения, то ли опять-таки падая Горького, которому как художнику, конечно же, требовалась полная художническая свобода. «...я вполне и безусловно согласен с тем, — писал Ленин Горькому, — что в вопросах художественного творчества Вам все книги в руки и что, извлекая этого рода воззрения и из своего художественного опыта и из философии хотя бы идеалистической, Вы можете прийти к выводам, которые рабочей партии принесут огромную пользу»¹. Да, Ленин понимал: Горький имел право на свои блуждания пусть даже и в трех соснах, без этого нет творчества (такого бы понимания генералом от культуры более поздних эпох!). Но в тени «Монблана» — Горького — и Луначарский с Богдановым, по сути, сохранили свои позиции, начав зовью развивать учение о пролетарской культуре —, то есть продолжали строить ту же позитивную эстетику с ее устремленностью к богочеловеку (сверхчеловеку, повому человеку — разные меры смягчения названия того существа, о котором Луначарский в 1907 году писал: «На троне миров восседает Некто, ликом подобный человеку, и благоустроенный мир устами живых и мертвых стихий, голосом красоты своей восклицает: „Свят, свят, свят, полны небо и земля славы Твоя“»).

Мы знаем, почему Ленин с некоторым запозданием поддержал меньшевика Плеханова в его борьбе с большевиками богостроителями. Но, с другой стороны, от-

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 143.

куда у него сразу такое ожесточение? Чего он боялся? Я не нашел у Ленина исчерпывающей формулировки этих конечных опасений. Но не сомневаюсь, что они у него совпадали с опасениями Плеханова. Диагноз же последнего был прост: да, это революционеры. Да, они, возможно, хотят счастья народу, хотят социализма. Но это — утопические социалисты. Социалисты-народники. А утопический социализм мертв. «...выкраивая религиозный костюм для социализма, он (Луначарский.— А. Г.), как раз, пятится назад, возвращаясь к тому взгляду на вопрос о религии, которого держалось огромное большинство социалистов-утопистов».

«М. Горький сам крайне плохо переварил ту истину, которую несет миру пролетариат,— замечал далее Плеханов.— Этим объясняются многие его литературные промахи. Если бы он хорошо переварил названную истину, то его американские очерки были бы написаны совершенно в другом духе: их автор не выступал бы перед нами в виде народника, проклинающего пришествие капитализма».

Казалось бы, что опасного в программе давно мертвого, утопического, народнического социализма? Но оба — и Ленин и Плеханов — опасались этого мертвеца, вцепившегося в не столь уж прочно стоящий на ногах в огромной малограмотной стране марксизм. И недаром.

Совершим небольшой скачок в 1920 год, посмотрим, как Богданов определял на четвертом году советской власти понятие «пролетарская культура», куда включал и «пролетарскую науку», и «пролетарскую философию»: «Пролетарская культура есть социалистический идеал в его развитии». Определение емкое и в силу этой емкости неясное — за бортом остается все, что Богданов и Луначарский (и Горький!) все эти годы вкладывали в понятие социалистического идеала: вся программа позитивной эстетики с ее культом будущего, поклонением силе, презрением к слабым, с ее нищезанством, с ее поисками богоподобного, уже готового восстать...

А теперь заглянем в устав Союза писателей (с 1934 года), который беспардонно, без ссылки на источники взял не только суть, но и букву этого высказывания (относившегося к формально осужденной к тому времени пролетарской культуре) в качестве формулы социалистического реализма — краеугольного камня новой организации: «Социалистический реализм требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной перделки и воспитания трудящихся в духе социализма».

Чуть туманно, но требование Луначарского — глядя на дом без крыши, говорить о его великолепии — соблюдено. Только Луначарский был откровеннее. По сути же, первыми идеологами социалистического реализма следует, видимо, признать андерсеновских ткачей, которые объявили, что всякий, не выходящий нового роскошного платья короля, — дурак.

Социалистический реализм был запоздалым реваншем левацкого утопического социализма за долгие годы униженной позы мальчика для битья в русском марксизме. Знали ли, понимали ли Горький и Луначарский, что дело обстояло именно так? Успели ли осознать, что эту победу над Плехановым и Лениным они одержали не для себя и не для своей пусть вредоносной, но все же, может быть, бескорыстной мечты — а для того Некто, лицом подобного человеку, в котором, однако, человеческого было уже мало и становилось все меньше? Что они помогли — и очень существенно — великому кормчому переложить руль с курса научного социализма на кладбище погибших кораблей — мертвых утопий. Что они, зверетки, отдали на реальное заклятие сотни художников, помогли предотвратить появление еще тысяч, предупредили неслыханный застой культуре, о процветании которой вроде бы пеклись. Что, изобретя особую правду позитивной эстетики — соцреализма, выпустили из бутылки демона лжи, закружившегося в бешеной пляске от моря и до моря, от финских скал до пламенной Колхиды.

Знал ли нарком просвещения, что инструкция ковать нового человека, взятая на вооружение уже выкованными по этой инструкции унифицированными недоучками, приведет к чудовищному провалу народного образования в разгар всемирной научно-технической революции?

Знал ли, что наряду с искусством и литературой соцреализма народятся экономика соцреализма, философия соцреализма, историческая наука соцреализма, кото-

рые не без успеха займются развалом деятельности, уничтожением памяти и самосознания народов?

Нет, конечно. Горький — тот, возможно, что-то понял, умирая, дописывая — без всякого соцреализма! — бессмертную свою эпопею «Жизнь Клима Самгина». Возможно, именно это смутное чувство собственной вины заставило его как-то уж особенно беспощадно выволакивать пустозвонство и безответственность своего главного героя-интеллекта, несомненно сходного во многом и с самим Горьким и с его ближайшими друзьями-единомышленниками. Если так — то поистине горько и ужасно должно было быть у него на душе перед смертью.

Ну а как быть с идеалами? — слышится заготовленный вопрос. Неужто без них? На одном интересе? На голом цинизме?

Ну отчего же. Без идеала никак нельзя. Когда-то и это было уже пройдено — и вопросы поставлены, и ответ дан.

В 1881 году М. Е. Салтыков-Щедрин писал:

«Мне кажется, что писатель, имеющий в виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иных идеалов, кроме тех, которые исстари волнуют человечество. А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается до практических идеалов, то они так разнообразны, начиная с конституционализма и кончая коммунизмом, что останавливаться на этих стадиях — значит добровольно стеснять себя. Я положительно убежден, что большее или меньшее совершенство этих идеалов зависит от большего или меньшего усвоения человеком тайн природы и происходящего отсюда успеха прикладных наук. Ведь семья, собственность, государство — тоже были в свое время идеалами, однако ж они, видимо, исчерпываются. Устраняться в этих подробностях, отстаивать одни и разрушать другие — дело публицистов («партийной литературы», по терминологии Ленина.— А. Г.). Читая роман Чернышевского «Что делать?», я пришел к заключению, что ошибка его заключалась именно в том, что он чересчур задался практическими идеалами. Кто знает, будет ли оно так! И можно ли назвать указываемые в романе формы жизни окончательными? Ведь и Фурье был великий мыслитель, а вся прикладная часть его теории оказывается более или менее несостоятельной, и остаются только неумирающие общие положения. Это дало мне повод задаться более скромною миссией, а именно спасти идеал свободного исследования, как неотъемлемого права всякого человека, и обратиться к тем современным «основам», во имя которых эта свобода исследования попирается».

Вот он, критерий! Если на горизонте замаячили «основа», идея, идеал, несущие в себе угрозу для главного идеала и права художника (и ученого) — идеала свободного исследования,— значит, близок враг. Социалистический реализм, доказав свою несостоятельность, доказал и свою враждебность истинному идеалу, измена которому наказывается неотвратимо и страшно. Бесплодием, застойностью целых культурных эпох. Вырождением таланта, гниением души заживо.

И если мы действительно хотим строить научный социализм, мы должны сперва отстоять и выстрадать идеал свободного исследования. А руины лживых прекраснотных обещаний и обманутых надежд надо оставить в назидание потомству. Ибо для того, чтобы без рецидивов излечиться от идеологии волюнтаризма, теории позитивной эстетики, субъективного демонизма «философии борьбы», чтобы гарантировать иммунитет к этой давно не детской болезни, надо всегда иметь перед глазами эти груды пустозвонных книг, напрасных скульптур, усердно намалеванных полотен. И свободно исследовать, как такое могло случиться, чтобы оно не повторилось никогда.



АЛЕСЬ АДАМОВИЧ

★

«ЧЕСТНОЕ СЛОВО, БОЛЬШЕ НЕ ВЗОРВЕТСЯ», ИЛИ МНЕНИЕ НЕСПЕЦИАЛИСТА

Редколлегия «Нового мира», публикуя статью писателя А. Адамовича и направленные в редакцию заместителем председателя Бюро топливно-энергетического комплекса Совета Министров СССР Ю. К. Семеновым отзывы специалистов, продолжает всестороннее обсуждение экологических проблем, волнующих все наше общество. Этими материалами, разумеется, обсуждение экологических проблем на страницах журнала не исчерпывается.

Чернобыль, ситуация в Белоруссии понудили и меня заниматься тем, чем никогда не занимался и даже не думал, что доведется. Такое со многими сегодня случается, и всю ругань в адрес неспециалистов, не в свое дело лезущих, я готов принять и на себя. Но не заниматься «не своим делом» я тоже не могу, не в состоянии, не имею права: слишком близко касается нас всех то, что делают специалисты, результаты их деятельности.

Оговорюсь, однако: то, что высказываю, старался проверить и перепроверить у специалистов самого высокого класса. На них время от времени и буду ссылаться. Конечно, ни на кого не перекладываю ответственность за свои мысли и выводы.

Осенью прошлого года встречался с человеком, который потом, но именно в печальную годовщину чернобыльской катастрофы, произвел страшный расчет с собственной жизнью. Академик В. А. Легасов находился тогда в больнице, мы с ним долго разговаривали, несколько раз он звонил по телефону в свой институт, потом появилась врач, я вышел переждать в коридор, но успел уловить их взвешивающий, с цифрами, разговор о «формуле крови» Валерия Алексеевича.

Пережидая врачебный осмотр, изучал свои записи, чтобы продолжить нашу беседу. Что меня поразило: предельная откровенность и какая-то исповедальность Легасова перед человеком, в общем-то, ему далеким, с которым видится впервые.

Уловил я — нет, не теперешнее это, а того времени ощущение! — нечто трагическое в облике, в душевном состоянии человека, с разных сторон причастного к чернобыльской катастрофе. Причастного и к строительству и размещению АЭС (в качестве ближайшего помощника бывшего президента АН СССР А. П. Александра), и к труднейшей, самоотверженной и опасной работе по укрощению «мирного атома» в Чернобыле.

Но многие из крупнейших специалистов были причастны. Так или иначе. Да только не все потом достойно отреагировали на ситуацию. Некоторые и так: «Наука требует жертв». Кто-то из них спокойно ушел после Чернобыля на заслуженный отдых, кто-то продолжает столь же бездумно, как и прежде, работу по «аэсизации» нашей страны...

От он, разговор с академиком Легасовым, который я тогда записал (Услышанное от него потом висело надо мной, как грозовая гуча. Просто не знал, куда и к кому с этим бежать...)

— Следующий Чернобыль может случиться на любой из станций этого же типа. В любой последовательности.

— Вы в этом убеждены? И я могу это записать?

— Убежден. Может записать. Не так-то просто полностью устранить важнейшие составляющие чернобыльской катастрофы. Это — изъяны некачественного строительства. Это — до сих пор не найденные принципы создания вполне надежных аварийных систем для таких станций. Это — невозможность соорудить над ними «колпаки», хотя бы сейчас. А поэтому повторение случившегося не исключено. (Впрочем, как и на наших химических комбинатах, Днепропетровском прежде всего.)

— Это понимают и другие ученые?

— Понимают многие

— Почему же не говорят правительству?

— Видимо, срабатывают старые представления: все равно никто не услышит, раз такая «линия». Слишком велика инерция, установка на атомные станции вопреки всему. Мы приступили с опозданием на десять лет к широкому их строительству и потому рванули с места в карьер, но налегке, экономя на «колпаках» и прочем, чтобы только больше, побольше за те же средства. Остановиться уже нелегко. Но главное: во всем этом и за всем этим — интересы ведомственные, интересы людей, должностей, групповые, в том числе и интересы разных научных направлений. Я вот собираюсь об этом обо всем написать, обратиться наверх...

Смерть Валерия Алексеевича Легасова тяжело, веско подтвердила значительность и выстраданность того, что он тогда говорил, а я, оглушенный, записывал...

Строительство новых АЭС продолжается, хотя и по несколько сокращенной программе. Переориентированное на ВВЭР (водно-водяные, с водой под давлением) станции, в свое время считавшиеся менее перспективными, более дорогими, нежели реакторы большой мощности, кипящие, канального типа (РБМК).

Гарантия? Не более чем в старой кинокомедии, где продавец изрекает: «Чем товар дороже, тем он лучше».

Мы ведь и вчера (до Чернобыля) читали-слышали те же восторги, похвалы в адрес РБМК, которые сегодня обращены к станции типа ВВЭР. (Правда, уж не говорят, что их «можно устанавливать на Красной площади».)

Одновременно сами же сторонники безостановочного, безоглядного строительства потенциальных Чернобылей вынуждены соглашаться: да, лишь через одно-два десятилетия наука и техника, создав принципиально новые схемы и конструкции ядерной энергетики (может быть, на новом горючем), более или менее снимут проблему катастрофических аварий, а может быть, и проблему захоронения радиоактивных отходов и т. п.

Так что, может, разумнее — пересидеть эти «переходные» годы на наших все еще значительных запасах газа, угля, нефти? Академик А. Е. Шейндин и его Институт высоких температур АН СССР считают вполне осуществимой задачу — сжигать уголь без излишнего вреда нам и окружающей среде. А то сторонники АЭС все сбивали нас с толку утверждениями, будто Чернобыль не вреднее дымов и саж тепловых станций.

На этот путь встали многие европейские страны, американцы: традиционная энергетика плюс энергосберегающая технология. И вообще, они стараются сберечь там, где мы расточительствуем по старой привычке.

За счет лишь энергосберегающей технологии в США сократилось потребление нефти чуть ли не на 25 процентов. Это сколько же АЭС надо было построить? Но они уже не строят больше. Посла аварии в 1979 году на «Три-майл-айленд» — ни одной новой АЭС! Ликвидировали или законсервировали даже те, которые были готовы на 70—80 процентов. (Строительные компании время от времени делают попытки снова прорваться на рынок энергетики, но пока им это не удалось.)

То же — ФРГ, Англия, Швеция, Испания, Швейцария, Канада, Бельгия (ни одного заказа на АЭС с 1981 года)¹.

Зато возвращаются к малым ГЭС (у нас, гигантоманов, полностью истребленным)², вспомнили про ветер, приливы, солнце (хотя у них нет Каракумов). Но прежде всего — энергосбережение, энергосберегающая технология, за которую у нас сегодня так рагует академик Е. П. Велихов. (Евгений Павлович мне показывал аме-

¹ А вот информация свежая, из «третьего мира»: «Бразилия не в состоянии финансировать свою атомную программу; на Филиппинах установлен новый, но не пригодный к работе реактор; в Индии, Пакистане и Аргентине множатся аварии и катастрофы на АЭС, парализующие их работу. Повсюду ощущается острая нехватка денег, даже на ремонтные работы. Атомной эйфории прошлых лет... в странах «третьего мира» настал конец, и новые АЭС почти нигде больше не строятся» («Литературная газета» от 16 марта сего года, перепечатка из журнала «Шпигель»).

² Дальновидные наши ученые и конструкторы заново кое-что делают, нет, уже сделали: ленинградцы разработали гидроэнергетические установки, которые не нуждаются в высотных плотинах, не затопляют земли, не загрязняют воду, — одним словом, щадящие и берегающие природу. Их закупают Аргентина, европейцы. Вот что-то не слышно только, чтобы мы сами их устанавливали. Или недостаточно «масштабно» и затратно для нас?

риканский фильм, где люди в современных домах живут, как астронавты в своих аппаратах: все экономно, рационально и прекрасно — потому что не за счет ресурсов, принадлежащих будущим поколениям, а наоборот, сберегая для них богатства земли.)

А мы тем временем заложили, строим еще десяток АЭС и блоков. Академик Н. Н. Моисеев как-то обратил мое внимание: «Посмотрите на эту ужасающую цепь — с юга на север!» (Цепь АЭС, сковавшую нас по рукам и ногам и отдающую в заложники очередным авариям, если вообще не террористам. О террористах, кстати, академик тоже упомянул.)

Подумали бы хоть раз и всерьез все эти оптимисты-энтузиасты безудержной «аэсизации» энергетики, что произойдет с народом, страной (да мы просто переломимся!), если ахнет еще один Чернобыль...

Ссылаются на единственный пример — Францию. Там АЭС составляют 60 процентов от общей энергетики. Но у них нет наших недр, дающих нам возможность не залезать глубже в ловушку, в капкан, куда попала Франция. Интересно, куда они все попрячутся — французские политики и специалисты, ратующие за АЭС, — когда случится неизбежное — их Чернобыль? Это отлично понимают специалисты масштаба А. Д. Сахарова и поэтому советуют строить эти АЭС, если их строить, под землей, в стометровых колодцах. А не так и не там, где упрямо видели их, например, бывший председатель Госкомитета по использованию атомной энергии СССР А. М. Петросьянц и другие оптимисты-энтузиасты: в самых заселенных районах — прямо на голову миллионам людей и обязательно у истоков жизнепитающих рек (Волги, например).

Не о строительстве новых хлопотать бы этим людям, раз уж они так или иначе причастны к Чернобылю, тоже повинны в нашей беде, а о том, как мирно расстаться с очень, как оказалось, не мирным атомом — с некоторыми станциями, уже работающими. (Что называется, поймали медведя: «Тащи сюда!» — «Не могу!» — «Тогда иди сам!» — «Не отпускает!») Снова и снова на этих АЭС что-то случается.

Мечта: хоть бы уж эти действительно мирно выработали свой ресурс, а потом бы их с честью захоронили. (А еще лучше захоронить досрочно. От греха подальше!) А тем временем, раз своего ума недостает, дождался бы, узнали, куда повернет мировая наука и практика. Впрочем, свои умы и есть и были, только вот не слушали, не слышали их. П. Л. Капица настаивал на том, что неразумно строить АЭС в густонаселенных районах и вообще в европейской части СССР.

Любой новый Чернобыль будет страшнее прежнего еще и потому, что он окажется и крахом перестройки, за ним последуют непредсказуемые социальные, мировые катаклизмы. Преувеличение? Нет! Шоковая оцепенелость первого Чернобыля вряд ли повторится. И массовый героизм — тоже. Можно ожидать чего-то совсем иного, куда более гневной реакции: да что же на самом деле с нами делают? сколько можно?

Вон как мы выложили всю европейскую часть своей территории атомными станциями: Армения, Литва, Ленинград, Курск, Смоленск, Ровно, Киев, Запорожье, Одесса, Феодосия, Ростов-на-Дону, Харьков, Воронеж, Горький, Куйбышев, Саратов, Калининград, Уфа, Архангельск... Даже в Крыму закатили!

Что еще может не попасть в тридцатикилометровую зону? Какие города-местности? Столицы — какие? Разве что Минск: строящуюся как раз в тридцати километрах от него АТЭЦ, кажется, передельваем на «не атомную». Все-таки не решились наши атомщики подарить Белоруссии еще и АТЭЦ — прямо в столице. Это был бы уже явный перебор после всего, что Белоруссия получила от них...

У энтузиастов повсеместной «аэсизации» нервы крепкие. Если уж они (устаами Петросьянца) в первые же дни могли бросить прямо в лицо, в глаза женщинам и детям, бегущим от Чернобыля, как в свое время от фашистов: «Наука требует жертв», — тогда с нервами у этих людей все в порядке.

А как же с совестью и с гражданской ответственностью?..

Нет, и тут, как и в случае с медиаторами, без крутого вмешательства общественности нам не спастись. Не остановить ведомственное безумие, когда «проекты века», по словам Б. А. Куркина, слухом начинают напоминать «преступления века». Нынешняя существующая ядерная энергетика, как и возможная ядерная война, затрагивает судьбы всех. («Мирный» и «военный» атомы после Чернобыля в нашем сознании, да и в реальности принципиально сблизились.) Поэтому не должна оста-

ваться проблема развития атомной энергетики в зоне молчания, или недомолвок, или прямой лжи.

Кстати, отчего это атомная энергетика (мировая) прямо-таки плавает во лжи? Уголь, нефть — история их освоения сопровождалась отнюдь не моральными действиями многих и многих (стран, людей). Но чтобы столько лжи? Проклятье висит над атомом! Каким бы «мирным» он ни прикидывался.

Вот куда нужно больше света!

Нет, деятели типа Петросьянца еще не стали днем вчерашним. А тем более не ушла традиция, инерция старого мышления в вопросах новой энергетики. Новое мышление, направленное прежде всего на выживание рода человеческого, необходимо здесь не менее, чем во взгляде на войны и оружие массового истребления.

Академик В. И. Гольданский утверждает: одна взорванная террористами (или в результате «малой» войны), разрушенная полностью АЭС мощностью в один миллион киловатт отравит столько и столько, как и ядерная бомба в одну мегатонну.

Если же учитывать долговременное воздействие радиации от разрушенного полностью Чернобыля (к счастью, из него выплеснулось лишь 3,5 процента горячего), то результат был бы адекватен взрыву бомбы в 10 мегатонн.

Ученые (академик АМН СССР А. И. Воробьев и другие) наконец согласились: основной удар Чернобыля пришелся по Белоруссии — все замеры об этом кричат. Во сколько больше здесь выпало, чем на украинские земли (которым тоже досталось), — об этом ученые еще скажут. Но кто и что получил (в смысле помощи, внимания), тот уже получил. Тем большего внимания требуют сегодня, хотя и с опозданием, другие пострадавшие земли и люди. И они бы все это, конечно же, получали аккуратнее, когда бы не помехи со стороны именно тех, кто в беде и повинен, — атомного ведомства.

Наводя густую тень на все происходящее в этих районах — тень тайны, закрытости всего и вся, — атомное ведомство добивается главной цели: приуменьшить масштабы бедствий. Чтобы сохранить и лицо свое и свою программу строительства новых АЭС, финансы и т. п.

Ведь если всерьез помогать тысячам и тысячам людей, обследовать и спасать их не только от прямых или косвенных заболеваний, но и от продолжающегося облучения (напрямую и через продукты питания), если переселять в действительно безопасное место, тогда получится, что важнее они, люди, в сотнях и сотнях по-прежнему опасных населенных пунктах за пределами тридцатикилометровой зоны, — в то время как для ведомства всегда важнее всего ведомственная тайна и ведомственный авторитет...

Уже трубят, что людям можно и в тридцатикилометровую зону возвращаться. Безопасно, мол. А главное, они сами хотят, вон — просят.

Еще бы! Люди ведь правды не знают. Не понимают. И те, кто живет в загрязненных районах Гомельской и Могилевской областей, — не знают. И держатся за свои, ставшие опасными, дома, огороды, хотя беду и чувствуют. А объясни им правду, переедут в Витебскую область, куда их позвали было, а потом звать перестали. Будем делать вид, что не так страшно, а там посмотрим!

А там, предсказывает наука (например, академик А. И. Воробьев), через три-четыре года — всплеск лейкомии, белокровия, через десять—двадцать, в зависимости от возраста людей, раковые заболевания, катаракты, врожденные уродства и т. д.

Уже сейчас всю свирепствует радиационный СПИД — весь набор обычных болезней в острой форме, вызванный ослаблением защитных, иммунных сил. Деревенские старики, крепкие, как полесские дубы, вдруг стали сыпаться. Ну а дети — тут бы всерьез спросить правдивую статистику! А не ту, которую получаем. Есть такая, например, домашняя хитрость: детей на лето вывозили из зараженных районов, тут же подчитали, сколько матерей брали бюллетеней по уходу за детьми; оказалось, меньше, чем прежде — ура, болеют реже, чем до Чернобыля!

Вот так и живем!

Или же: картину, статистику болезней или смертности изучаем в масштабах области (Могилевской, Гомельской), а не конкретных пораженных районов. Сопоставляем, как было до и после, и радуемся: и болеть и умирать стали меньше! Нет, а вы в тех же деревнях сопоставьте — и честно, честно! Помогает ли им «улучшившееся медицинское обслуживание»?..

Уж медицина-то точно понимает что и к чему. Понимает — это заметно. Когда комиссии приезжают в эти районы — обязательно с термосами и своими бутер-

бродами. Простодушные белорусские селяне накрыли столы (по телевизору мы эту стыдобу наблюдали), а медики отнекиваются: дескать, сыты-напоены еще с Москвы! Дескать, у вас тут так мило! И белорусское сало такое на вид аппетитное! Обязательно приедем с семьями отдыхать к вам!..

Не один только героизм нашей медицины высветила чернобыльская вспышка. Да, многие врачи, рядовые, там, на месте оправдали и теперь оправдывают свое высокое звание. Но и вот факт: только медик в правительственной комиссии не подписал заключение о хотя бы запоздалом выселении Припяти, требовал дожидаться, когда ветер повернет на город и наберется столько бэр, сколько предусмотрено в инструкции. А что министры здравоохранения Украины и Белоруссии говорили, как информировали-инструктировали свое население: можно было подумать, что не радиация просыпалась, а манна небесная!

О, это чиновничье упоение причастностью к тем, кто принимает решения, за кем авторитет власти, у кого в руках «тайна» (в наше время поименованная информация), от кого исходит «чудо» — решать чужие судьбы! Первые недели. Месяцы Чернобыля у нас в Белоруссии как нигде, может быть, напоминали 1941-й. Прежде всего — горе и растерянность матерей и детей, сорванных в беженство, в одиночасье потерявших свой привычный, надежный мир. Сколько раз это происходило в нашей истории!

Да, уж в этом 1941-й повторился сполна. По неподготовленности нашей к грамотным действиям и всегдашней готовности лишь к одному — лжи во спасение. Просто-таки фантазмагорической лжи народу, самим себе. «Враг трусливо наступал» — классическая журналистская формула августа 1941-го. И столь же классическое о словах над Припятью весной 1986-го.

...Сцена в приемной ЦК Белоруссии — я тоже устремился к человеку, действия, поступки которого в те дни выгодно отличались от всего, что можно было наблюдать. Возможно, потому, что Александр Трифонович Кузьмин — фронтовик и помнил, сколько бед нам причинила всегдашняя привычка опасаться неудовольствия высшего начальства больше, чем атаки врага...

Сюда вошла (нет, вкатилась, шумно продолжая беседу) очень какая-то круглая группа толстенко-круглых людей. Ощущение округлости, круга возникало, наверное, оттого, что у группы был выразительный, закручивающий всех вокруг себя источник энергии, центр — сам министр здравоохранения БССР. Тесня друг дружку, ревниво подминая чужие голоса, окружение его завершало разговор, где-то начатую тему: как справиться с несознательностью матерей из тех районов? Приехали с детьми, прибежали, ну, ладно, детей привезли и оставьте — вас-то самих мы держать здесь не обязаны! Не хотят уезжать. Сеют только панику, получается, что там очень плохи дела, и не только в трех районах, о которых проинформировали Москву, а в десятках районов... Ну да ничего, уговорим! Физиономии, голоса, торопливость холуйская, самозабвенная готовность авторитетно агать тем женщинам, только бы начальство было довольным, — я глядел на них, по-видимому, очень зло, как на банду какую-то. Потому что товарищ Савченко вдруг затревожился, наверное, сам взглянул на происходящее посторонним взглядом, услышал не из центра круга, а извне... Он гневно глянул на своих, но где там, они были невменяемы, как токующие глухари!

Скрылись за тяжелой дверью, а когда снова появились и министр снова увидел сидящего у окна человека, который слышал, не выдержал, подошел ко мне.
— Вы кто?

Да, да, тот самый, да, который писатель (кажется, впервые назвался с удовольствием), который пишет, может написать...

Нет, не зря он тогда забеспокоился. Как в воду глядел: вот, описываю сцену, которой был свидетелем. А то, что он занервничал, заметив свидетеля, лишь подтверждало: знал, отлично знал он, что не то, не так делало его ведомство. Обслуживая, защищая не интересы населения, а ложно понятый престиж властей, других ведомств. Когда медицина этим — не своим — делом занялась, сказать трудно. Но, судя по всему, это не вполне кончилось и сегодня...

Увенчивает всю эту медицинскую пирамиду лжи во спасение (во спасение лица атомного ведомства, при этом теряя лицо медицины) сам вице-президент АМН СССР товарищ Л. А. Ильин.

Вице-президент Ильин убежден (убежден ли, не знаем, но нас пытается убедить): «...сколько-нибудь значительного увеличения количества больных раком не пред-

видится, так как оно намного ниже пределов колебания естественной частоты онкологических заболеваний». А уж генетические эффекты радиации, по мнению вице-президента АМН, и вовсе смехотворны: «...вероятность их появления ничтожна» («Известия» от 18 сентября 1986 года).

А вот как об этом высказывается академик Н. М. Амосов: «Страшен малейший подъем радиации, даже если его уровень остается безопасным» («Литературная газета» от 27 мая 1987 года). И он всего лишь повторяет то, что прежде и всегда писалось, пока еще не приходилось спасать лицо атомной энергетики, в учебниках по радиобиологии. Кстати, и в статьях самого Л. А. Ильина это можно прочесть. Препринт. Дочернобыльских. Вот золотые слова из сборника «Гигиенические проблемы радиационного и химического канцерогенеза» (М. 1979, стр. 25): о «непревышении дозового предела» и «снижении дозы до возможно низкого уровня», о «гуманных традициях советской гигиенической науки», предусматривающей «отсутствие порога для стохастических эффектов действия радиации», то есть (если я правильно понял) отсутствие порога для нежелательных последствий радиации.

Ну а как быть с населенными пунктами в Могилевской области, где хроническое облучение значительно выше нормы?

Когда честный толковый врач (таких много, но строгие подписки «не разглашать!» держат их за глотку) попытался сделать элементарное, что делать необходимо, — завести контрольную карточку, ту, что имели солдаты и люди, занятые дезактивацией зараженной местности, когда он захотел наладить контроль за бабрами, получаемыми и колхозниками, трактористами, комбайнерами, работающими в радиоактивной пыли, — это вызвало юпитеров гнев могилевского медресачальника. Рассказав об этой здоровой и элементарно необходимой инициативе как о чем-то совершенно недопустимом, он заявил собранию медиков в поучение: «Вы подумайте, что затеял! Я ему укорочу руки!»

И укорачивают. Все усилия не на выяснение очагов беды, а на сокрытие. Спасать надо атомную энергетику! Вот и слово емкое изобрели «радиофобия» — для тех, кто больше не верит слепо специалистам³.

А ведь знаем, все на местах знают и понимают меру угрозы, опасности. Иначе не возник бы вахтовый метод работы врачей, например, в городе Брагине. Вполне оправданный сам по себе метод: каждый месяц бригада меняется, выезжают, чтобы вывести бэры-рентгены из собственного организма в безопасной местности. Но сразу возникает вопрос: ну, а население, а дети — они ведь живут постоянно! Не вахтовым методом.

Это не значит, что и врачей следовало бы заставить жить постоянно. Наоборот: надо переселить людей, детей особенно. Раз ситуация такова.

Последние изобретения заинтересованных ведомств: будем строить интернаты-госпитали для школьников в зараженных районах. Ничего не жалко. Только бы не вывозить людей, не подрывать «авторитет атома». И действительно, действуем даже щедро и энергично... но внутри схемы, системы, навязанной государству Главатомом. Под покровом тайны, которая и не позволяет ориентироваться в сложной обстановке, действовать с открытыми глазами, а значит, результативно. Скажем так: возможно, переселять в каких-то случаях и не надо, но чтобы знать, так ли это, а не гадать, надо отказаться от ведомственной секретности.

Люди все равно уезжают, но больше молодые (девушки особенно, им рожать), те, кому легче сорваться с места. Центральное радио как-то объявило, что «в Мозыре решена жилищная проблема». В Припяти решена еще радикальней... Уезжают, и правильно делают. Не удерживает и рубль в день, который мы дарим за проживание в некоторых районах сверх зарплаты. (Народ окрестил эти деньги гробовыми.) Но говорят, их скоро отменяют: не потому, что риск уменьшился, а чтобы успокоить. Видите, мол, стало безопаснее, раз гробовые отменили! Кроме того, ближайшие соседи недоумевают, протестуют: а нам что, не приходится терять свои и покупать чистые продукты? Почему же нам не платят?

³ Министр здравоохранения УССР А. Романенко жалуется: «К большому сожалению, нам не удается справиться со слухами, с чувством тревоги населения, даже с определенным недоверием к нам, медикам» («Правда» от 30 мая 1988 года, статья «Слухи...»). А действительно, с чего бы это — такое недоверие?

Кто может, кто легче на подъем — бегут, а старых и малых удерживаем. Гробовыми рублями и тайной. Чего не сделаешь, чем не заплатишь, чтобы построить еще с десяток Чернобылей!

А ведь все равно спохватимся — и в этих местностях (беда заставит) и со строительством АЭС опомнимся. Но ведомства, бюрократия и тут, как в мелиорации, будут сопротивляться до последнего. Такова уж природа бюрократии. Даже если вопрос встает о жизни и смерти народа, суть и повадки ее ни в чем не меняются.

Это хорошо заметно и в поведении Агропрома, союзного и республиканского, по отношению к той же чернобыльской ситуации. Если медицина все-таки работает не столько на себя, сколько «на дядю» — на престиж атомной энергетики (конкретные вице-президенты, конечно, что-то выгадывают на этом и для себя), то Агропром имеет прямую корысть от той бездушной недалковидной практики, которая возобладала в пораженных районах. Здесь снимают урожай, выполняют планы по мясу и молоку и пр. (Кстати, радиация стимулирует рост некоторых злаков, это замечено и даже взвешено: кое-где получили небывалые урожаи зерновых.)

Вывозим зараженную продукцию, а потом не знаем, что с ней делать (но зато отчитались за тонны!). Абсурд! Но абсурд опасный. Ведь мы вместо того, чтобы локализовать радиоактивные местности, постепенно выводим, хороним радиацию, размазываем ее по всей республике и шире — по стране.

Практика Агропрома союзного напоминает нам действия некоторых председателей колхозов и совхозов вблизи Чернобыля: те посылают косарей-«партизан», чтобы решить сennую проблему, в зараженную зону. Очень уж хороши там травы!

Надо сказать, что республика обращалась в Госагропром с просьбой: 1) исключить из плана земли, особенно зараженных районов; 2) позволить уничтожить тысячи тонн зараженного мяса, которым забиты холодильники Могилевской и Гомельской областей. (Мясо коров, скота, который вывозили из пострадавших районов еще в 1986 году.) По обоим вопросам — бюрократический туман. Я и сам его вдохнул, этого усыпляющего тумана, когда обратился в Госагропром с письмом.

За подписью академика ВАСХНИЛ Н. А. Корнеева получил такое разъяснение: в холодильниках Белоруссии зараженного мяса тысячи тонн...

Белорусские агропромовцы называли одни цифры, академики АН БССР — другие. Сколько на самом деле и кто съел разницу — пушные звери, как утверждает товарищ Корнеев, или пошло в домешку к фаршу, в добавление к колбасе, как белорусские агропромовцы утверждают, чуть-чуть и в самые дорогие сорта — «потому что их меньше покупают!» — знать это никому не дано. Большой секрет!

Мысль о том, чтобы это страшное мясо, наши будущие болезни, просто уничтожить (думаю, что каждый житель Белоруссии даже заплатил бы за это — только не съест бы ненароком), мысль эта деятелям из Госагропрома кажется, конечно, кощунственной. И не мяса им жалко — плана!

А тем временем из зараженных районов получаем новые и новые такие же продукты: возем туда чистые, эти вывозим и разбавляем, размешиваем с чистыми.

А почему бы не иметь в районах этих просто закрытые зоны, заповедники для тех же «пушных зверей». А людей пригласить переехать на Витебщину. Обком Витебский много раз просил об этом: край богатейший, белорусская Швейцария, а население разреженное, потому что в войну здесь погиб каждый второй житель. Обкомы Могилевский и Гомельский не соглашались терять рабочую силу. Но она все равно теряется: молодежь уезжает, и речь тут идет в основном о детях и стариках, для которых даже норма, установленная тут как допустимая, — убийственна. И как можно уговорить ребенка есть только чистые продукты (если они останутся чистыми в загаженной местности) и не съест ягоду, грушу — разве только оботрет о курточку? Или ходить по асфальтовым дорожкам (если они есть)? Или, приехав на спецавтобусе из школы, не бегать по пыли, по траве, по лесу?..

Это невозможно. Как невозможно в этой обстановке вырастить и психически здоровых людей, когда все стало ребенку врагом: трава, вода, небо, дождь...

И еще я прочел в том ответе Агропрома: «Вот бы объединить усилия ученых и писателей в направлении внедрения рекомендаций по уменьшению поступления ра-

диоактивных продуктов деления в объекты сельскохозяйственного производства — это была бы реальная помощь». И даже такое написали: «Вашу руку, товарищ!»

Прекрасная эмблема: три руки крепко держат одна другую — Главатом, Агропром и Медицина. Сюда бы еще руку Союза писателей — ведомственная идиллия!

Итак, подошел критический момент принятия решения. Атомную программу надо пересматривать.

И уж с чем совершенно и категорически согласны все не втянутые в ведомственные интересы, игры ученые: атомное строительство недопустимо в европейской части нашей страны. Тут, наоборот, надо останавливать, закрывать, убирать те станции, которые действительно грозят катастрофой⁴.

Необходимо снять завесу ведомственной тайны над землями и населением, пораженными чернобыльским выбросом. Куцые интересы ведомства тут прямо противоположны долговременным государственным. Национальным. Не говоря уже о гуманных принципах — они вопиют! Белоруссии (и именно в Гомельской или Могилевской областях) нужен свой полноценный центр по контролю за долговременными последствиями аварии и независимое от атомного ведомства медицинское обслуживание населения.

И, наконец: о монополии в науке, на этот раз в вопросах энергетики. Академик А. Е. Шейндлин проявил инициативу в создании Московского энергетического клуба (аналог Римского клуба), где бы могла концентрироваться мировая научная информация по этим проблемам, могли проходить испытание дискуссией все новые идеи.

Думается, что такое научное общение даст немало, способно предостеречь от односторонних решений в делах энергетики.

Но главное — создать в науке обстановку, когда «победившее» направление не только не ограждалось бы от контроля «побежденных», от критики, но, наоборот, как раз бы становилось объектом пристальнейшего внимания общественности.

Разве возможен был бы Чернобыль и все, что за ним (бесконтрольное размещение АЭС там, где их не должно быть, погоня за мнимой дешевизной конструкций, пренебрежение аварийной защитой и подготовкой технического персонала, не говоря уже о том, что вовсе не учитывался тот общий распад трудовой морали, при котором АЭС превращаются в орудие самоубийства⁵), если бы научная «оппозиция» имела право на критику всего этого, на критику победившего когда-то в атомной энергетике александровского направления?

Тут наша наука вполне могла бы — обязана! — кое-что позаимствовать у парламентской демократии. Там именно правящая партия оказывается как бы в невыгодном положении: ее-то как раз и критикуют все, следят за каждым шагом.

Повторяю: все, что я здесь написал, результат бесед со многими учеными. Они об этом могли бы сказать и сами — точнее, аргументированнее, против чего-то возразили бы. Кто-то категорически не согласится. Но проблемы эти терзают всех.

Вот и обговорить бы открыто, без «чуда, тайны, авторитета» — этих всеильных бюрократических аргументов.

⁴ Как-то присутствовал я при споре строителя атомных станций очень высокого ранга, академика, с ученым-геологом. Когда у академика иссякли аргументы в пользу расширенной программы строительства АЭС, он прижал руки к груди и поклялся: «Честное слово, больше не взорвется!» «Но как вы можете ручаться, — возразил геолог, — если мы знаем и вы знаете, что больше четверти наших АЭС построены на неподходящих в геологическом отношении, а то и просто опасных грунтах?»

⁵ Жутковато читать в посмертно опубликованных записках В. Легасова «Мой долг рассказать об этом...» такие вот характеристики наших ИТР и рабочих, трудовая «мораль» которых порой — на угольном уровне:

«Я вспомнил случай, например, на одной атомной станции, когда в главный трубопровод по сварному шву, вместо того чтобы правильно осуществить сварку, сварщики заложили просто электрод, слегка его приварив сверху. Могла быть страшная авария, разрыв большого трубопровода, авария ВВЭРовского аппарата с полной потерей теплоносителя, с расплавлением активной зоны и т. д. Все это было сделано во имя производительности труда — сварить больше швов. Такая культура просто поразила наше воображение. Потом проверяли на многих станциях эти же участки, и не везде было все благополучно» («Правда» от 20 мая 1988 года).

А что можно сказать про конструктора реактора чернобыльского типа (РВМК), которому специалисты указывали на изъяны его аппарата, и именно в смысле надежности, а он оставался глух. Предложения о совершенствовании аварийной системы «не отвергались, но разрабатывались очень медленно». Кстати, кто этот конструктор? Автора!

ОТЗЫВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ *

Выступления в печати, обращения в высшие партийные органы писателя А. Адамовича по проблемам атомной энергетики, в частности предлагаемая к публикации в журнале «Новый мир» статья, не позволяют специалистам в области энергетики оставаться в стороне от этой целенаправленной кампании.

Рассматривая предлагаемую публикацию и не останавливаясь на многочисленных фактических ошибках автора, считаем необходимым обратить внимание на принципиально неверные, дезинформирующие общество положения. Таковым является утверждение, что атомная энергетика не развивается нигде, кроме СССР и Франции. На самом деле атомная энергетика по-прежнему играет существенную роль в обеспечении мировых энергетических потребностей. В 1987 году на 417 блоках АЭС в 26 странах мира было выработано 16 процентов всей произведенной электроэнергии, в СССР — около 10 процентов. В некоторых странах доля АЭС в энергетическом балансе достигает 60—70 процентов.

Авария на АЭС США «Тримайл-Айленд» в 1979 году не остановила развитие мировой атомной энергетики, ввод в строй АЭС продолжался с ростом мощностей в среднем на 13,5 процента в год (в том числе в США и Канаде на 8,9 процента, в странах Западной Европы — на 17,2 процента). К 1986 году, после аварии 1979 года, в 19 странах мира (без стран СЭВ) было дополнительно подключено к энергосети 124 блока АЭС, в том числе во Франции — 31, в США — 26, Японии — 11, Канаде и ФРГ — 7, Швеции и Великобритании — 6 и т. д.

После аварии на ЧАЭС сооружение новых АЭС в мире продолжалось. Число строящихся и заказанных АЭС (по состоянию на конец 1987 года) в 19 странах мира (без стран СЭВ) составило 122 блока, из них в США — 22, Японии — 16, Франции — 14, Индии — 10, ФРГ — 7 и т. д. В течение 1986 года к энергосети было подключено 20 энергоблоков в США, Франции, Канаде, ФРГ, Южной Корее и Японии. В 1987 году установленная электрическая мощность АЭС увеличилась еще на 23 ГВт. К энергосети в 5 странах (без стран СЭВ) было подключено: в США 8 блоков, во Франции — 4, в Канаде, Испании и Японии по одному. Только в 1987 году размещены заказы на 8 блоков АЭС (без стран СЭВ) общей мощностью 7,4 ГВт(э). Замедление темпов роста энергетики, в том числе ядерной, связано в первую очередь с тем, что в развитых капиталистических странах уже накоплен большой энергетический потенциал. Например, более 30 процентов электрических мощностей США в настоящее время находятся в резерве.

В нашей стране темпы ввода АЭС находятся на минимально допустимом с точки зрения потребностей народного хозяйства уровне. Основные усилия специалистов сосредоточены на принципиальном повышении безопасности действующих и сооружаемых энергоблоков и проблемах создания безопасных реакторов нового поколения.

Что касается возможностей энергосбережения в СССР, то они действительно велики, так как по эффективности использования энергии (удельной энергоемкости национального продукта) страна находится на одном из последних мест в мире. Однако эти возможности зависят от перспективы и скорости внедрения передовых технологий во всенародном хозяйстве, что требует времени и средств. Энергоемкость не снизится до тех пор, пока не заработает в полную силу новый хозяйственный механизм.

С другой стороны, опыт промышленно развитых стран показывает, что внедрение энергосберегающих технологий приводит к экономии первичных энергоресурсов и повышению использования электроэнергии. В передовых промышленных странах общая энергоемкость национального продукта падает, а его электроемкость сохраняется на прежнем уровне или даже растет. Таким образом, развитие электроэнергетики не только не противоречит, но и необходимо для проведения политики энергосбережения. Тем самым и ядерная электроэнергетика не может утратить своего значения в обеспечении энергопотребностей при проведении технической политики энергосбережения, необходимость которой для нашей страны не вызывает никаких сомнений.

Опасной дезинформацией является утверждение о возможности сжигания угля «без излишнего вреда нам и окружающей среде». Эффективная эквивалентная доза облучения населения за счет выбросов угольной ТЭС существенно превышает дозу за счет выбросов АЭС аналогичной мощности. Даже если реальную эффективность очист-

* Эти отзывы публикуются в таком виде, в каком они поступили в редакцию.

ки дымовых выбросов от золы принять равной 98,5 процента, как это имеет место лишь на некоторых современных ТЭС, то и в этом случае доза, обусловленная естественными радионуклидами в выбросах, превысит аналогичную дозу, полученную населением вблизи АЭС с реакторами РБМК, примерно в 5 раз, а с реакторами ВВЭР-440 в 40 раз.

Однако радиационный фактор — один из относительно малозначачих в общем воздействии угольного топливного цикла на окружающую среду и здоровье населения. Выбросы ТЭС содержат целый ряд компонентов, имеющих канцерогенный эффект, в первую очередь — рак легких. Сравнительная оценка общего ущерба здоровью человека от работы предприятий ядерного и угольного топливного цикла в расчете на одинаковую энерговыработку в год дает преимущество ядерному циклу по меньшей мере в 100 раз. Даже резкое повышение степени очистки выбросов ТЭС, что само по себе проблематично технически и вряд ли возможно экономически, не может привести к существенному снижению общего ущерба от угольного цикла из-за необходимости хранения огромных объемов добычи и транспортировки. При этом возникновение парникового эффекта от широкого развития энергетики на органическом топливе не может быть устранено в принципе.

В целом главная проблема, возникающая в связи с публикациями А. Адамовича, Б. Куркина, С. Ушанова и других, активно использующих средства массовой информации противников атомной энергетики, имеет, по нашему мнению, общегосударственное значение. Запугивая общество ужасом новых Чернобылей, крахом перестройки и, по существу, пытаясь натравить народ на его техническую интеллигенцию, авторы подобных публикаций либо сознательно умалчивают, либо не в состоянии дать серьезный ответ на вопрос: какую альтернативу они предлагают? Принятие предложений об отказе от атомной энергетики означало бы остановку прироста или даже сокращение производства электроэнергии в европейской части СССР, где находятся 75 процентов ее потребителей в стране. Такой удар по энергетике нанес бы неприемлемый урон народному хозяйству в самый критический для его перестройки период конца 80-х — начала 90-х годов.

Средства массовой информации не должны уводить общество от осознания суровой реальности. При сегодняшней культуре производства в стране, отношении людей к исполнению своих обязанностей риск от аварий на объектах современной технологии, неизбежно концентрирующих большие запасы энергии и вредных веществ: микробиологических предприятиях, заводах по переработке органического топлива, химических производствах, атомных станциях и др., — будет оставаться высоким. Не в приписываемых «ведомственным интересам» попытках скрыть истину, а в прямом предупреждении общества о риске от современных производств, многократно усугубляемом безответственностью и безхозяйственностью, состоит честное слово ученых, непосредственно работающих над снижением этого риска. Отказ же от передовых технологий не только экономически и социально бесперспективен, но и просто не позволит обеспечить выживание страны в современном мире. Единственный реалистичный путь — перестройка хозяйственного механизма. Качественное изменение культуры производства создаст необходимую базу для успешной реализации усилий ученых и инженеров по повышению безопасности наиболее приемлемых экономически технологий, в том числе производства энергии на атомных станциях. Полная гласность этого процесса, контроль общества за развитием жизненно важных для него технологий — необходимое условие научно-технического прогресса, в чем мы полностью солидарны с А. Адамовичем.

В заключение считаем необходимым остановиться еще на одном вопросе. В последнее время в статьях разных авторов по проблемам атомной энергетики активно используется имя академика В. А. Легасова и его ранее неизвестные высказывания, которые он уже не может подтвердить или опровергнуть. При этом замалчиваются публичные заявления В. А. Легасова перед мировым сообществом после аварии в Чернобыле, например перед экспертами МАГАТЭ в августе 1986 года, о том, что «будущее мировой экономики невозможно представить без ядерной энергетики. Отказ от ядерных энергоисточников непременно увеличил бы риск заболеваний для людей, потерю вод и лесов из-за непрерывного поступления в биосферу вредных химических веществ... Наличие трех типов реакторов, принятых в СССР для наращивания ядерно-энергетических мощностей (ВВЭР, РБМК и БН), позволяет обеспечить основную часть прироста потребности народного хозяйства страны в электроэнергии». По-видимому,

Для усиления аргументации неоднократно используется прием, которого не избежал и А. Адамович,— намеки на нужную автору трактовку причины ухода из жизни В. А. Легасова. Для того чтобы прекратить подобное использование трагедии ученого, следует опубликовать результаты следствия, проведенного Прокуратурой СССР по факту самоубийства.

Н. Н. ПОНОМАРЕВ-СТЕПНОЙ,

академик.

А. Ю. ГАГАРИНСКИЙ,

доктор физико-математических наук.

Ознакомление с содержанием этой статьи позволяет заметить, что она по содержанию, стилю изложения и своей направленности полностью повторяет уже ранее опубликованные «размышления» А. Адамовича, представленные в виде его беседы с корреспондентом М. Черненко в «Московских новостях» № 29 за этот год под названием «Честное слово, не взорвется!».

Здесь, как и ранее, основная направленность изложения состоит в дискредитации всей существующей в стране системы строительства и эксплуатации атомных электростанций.

Проводится идея, что авария на Чернобыльской АЭС — явление закономерное и подобные катастрофы должны повториться на других станциях, где используются реакторы РБМК. Автор считает: не выход из положения планируемая замена в будущем реакторов РБМК на ВВЭР, в любом случае атомная энергетика опасна для человечества и по этой причине должна прекратить свое существование.

Сведения, приводимые А. Адамовичем, о том, что реакторы РБМК будут последовательно взрываться, якобы сообщил ему покойный академик В. А. Легасов, как исповедь человека, о чем он «собирался написать, обратиться вверх...».

В подтверждение того, что трагический поступок В. А. Легасова был не чем иным, как протестом, ценою жизни, против существующей в стране программы развития атомной энергетики, писатель заявляет: «Смерть Валерия Алексеевича Легасова тяжело, жестоко подтвердила значительность и выстраданность того, что он тогда говорила, а я, огуленный, записывал...»

Те, кто знал В. А. Легасова лично, вряд ли смогут согласиться со столь тенденциозно-интригующим обобщением писателя, явно рассчитанным на эффект восприятия несведущим читателем.

Оговоримся сразу, что мы не будем останавливаться на стиле и форме преподнесения материала, зачастую саркастической или даже оскорбительной (пусть это остается на совести писателя), а также на проблемах отечественной ядерной энергетики и Агропрома, это сделают, если сочтут необходимым, более компетентно соответствующие специалисты. Ограничим нашу рецензию только рассмотрением вопросов, относящихся к медицине, и прежде всего связанных с облучением людей.

Характерно, что на протяжении всей статьи автор настойчиво проводит мысль о том, что все, что связано с радиационными последствиями аварии, либо замалчивается, либо искажается и существенно преуменьшается в угоду «атомного ведомства». Он пишет прямо, что, «наводя густую тень на все происходящее в этих (пострадавших) районах — тень тайны, закрытости всего и вся, — атомное ведомство добивается главной цели: преуменьшить масштабы бедствий. Чтобы сохранить и лицо свое и свою программу строительства новых АЭС, финансы и т. п.».

С этим нельзя согласиться, так как подобное утверждение полностью отрицает ту громадную и разностороннюю работу, которую с первых дней аварии постоянно выполняют в пострадавших районах специалисты медицины, Госкомгидромета, Агропрома, работники местных и центральных советских и партийных органов по доведению до всего населения параметров фактической радиационной обстановки в каждом населенном пункте, ее особенностей, необходимых и достаточных мер предосторожности, действующих нормативов, ожидаемых и фактических доз внешнего и внутреннего облучения.

Именно с целью информации населения и обоснованности необходимых защитных мероприятий в первые дни аварии в Институте биофизики Мянздрова СССР был

выполнен прогноз ожидаемых доз внешнего и внутреннего облучения населения, проживавшего во всех населенных пунктах, оказавшихся в зонах повышенного радиационного воздействия. Эти данные были сразу же направлены в пострадавшие районы и явились основанием для определения необходимого объема защитных мероприятий. С этой же целью во всех населенных пунктах, оказавшихся в зонах радиоактивных выпадений, силами санэпидстанций, ГО и бригадами научных и практических учреждений Минздрава СССР, Госкомгидромета и Агропрома ведутся:

постоянная съемка гамма-фона, к настоящему времени осуществлены десятки миллионов таких измерений;

отбор проб и измерение содержания в почве радионуклидов цезия и других изотопов. По этим данным составлена подробная карта плотности загрязнения территорий и каждого населенного пункта и его сельхозугодий в отдельности биологически значимыми радионуклидами (десятки тысяч измерений);

измерение всего населения, и в первую очередь детских возрастов, на внутреннее содержание радиоактивных продуктов с обязательным внесением результатов измерений в личные карточки;

регистрация фактически персональных доз внешнего облучения у жителей наиболее грязных населенных пунктов с помощью индивидуальных дозиметров, для чего в Белоруссии созданы специальный дозиметрический центр и дозиметрические группы в СЭС;

постоянный контроль санэпидстанций на содержание радионуклидов в местной сельскохозяйственной продукции (молоке, мясе, овощах, фруктах, ягодах, дарах леса и т. д.), в воде и фураже с занесением всех результатов в специальные журналы с правом неограниченной информации о результатах радиометрических анализов непосредственно заинтересованных лиц (общее количество таких анализов по загрязненному району Белоруссии превышает 100 тысяч);

ежегодные (весной и летом) комплексные научные экспедиции специалистов Минздрава СССР в загрязненные районы Гомельской и Могилевской областей для уточнения радиационной обстановки, проверки соблюдения установленных нормативов облучения и оказания квалифицированной помощи местным органам здравоохранения в обследовании пострадавшего населения. Вся информация, получаемая этими экспедициями, остается на месте и используется белорусскими учреждениями здравоохранения по прямому назначению для профилактики и лечения людей.

Таким образом, реально существует и действует широкая система прямой информации о всех сторонах радиационного фактора на территориях, подвергшихся воздействию аварийных выбросов, и в связи с этим нет никаких оснований А. Адамовичу говорить о «ведомственной тайне», «закрытости всего» и «преуменьшении масштабов бедствий».

Более того, общие итоги по облучаемости населения за первые два года после аварии были открыто сообщены, в том числе зарубежным корреспондентам и ученым, с трибуны конференции «Медицинские аспекты чернобыльской аварии», состоявшейся в Киеве в мае этого года. Вот эти результаты. Предельно допустимые дозы суммарного внешнего и внутреннего облучения населения, установленные Минздравом СССР для рассматриваемых районов, составляют 10 бэр за первый год после аварии и 3 бэра за второй. Комплекс осуществленных профилактических и защитных мероприятий в первые два года после аварии позволил снизить дозы на щитовидную железу в 5—20 раз, дозы внешнего облучения в 1,3—2,5 раза, а дозы внутреннего облучения за счет радиоцезия в 10 и более раз.

По результатам подробного анализа сложившейся радиационной обстановки с учетом проводимых защитных мероприятий в выступлениях на конференции констатировалось следующее:

не зафиксировано ни одного случая лучевого поражения среди населения, подвергшегося радиационному воздействию;

средние дозы облучения для наиболее облучаемых групп населения (лесники, животноводы, полеводы) не превысили установленные Минздравом СССР пределы как за первый, так и за второй год после аварии;

по сравнению с летом 1986 года содержание радионуклидов цезия в организме у жителей из контролируемых районов летом 1987 года снизилось в среднем в 2—5 раз, а у отдельных лиц в 7—10 раз. В этом году это снижение еще больше.

Данная информация не только раскрывает фактическое состояние дел по заболеваемости населения в пострадавших районах Белоруссии, но и объективно подтверждает, в том числе и перед лицом международной общественности, отсутствие оснований беспокоиться за здоровье этого населения.

Результаты детального медицинского обследования почти миллиона человек (включая 216 тысяч детей) из районов загрязненных радиоактивными выпадениями, также не позволили установить каких-либо отклонений в их здоровье, связанных с действием радиации.

Все изложенное полностью отвергает утверждения А. Адамовича о том, что в этих районах якобы «уже сейчас вовсю свирепствует радиационный СПИД — весь набор обычных болезней в острой форме, вызванный ослаблением защитных, иммунных сил».

Если бы уважаемый писатель поинтересовался результатами многих медицинских комиссий с участием ведущих специалистов страны (результаты работы всех этих комиссий, кстати, совместных с белорусскими врачами, находятся в Минздраве БССР и в облздравотделах), там бы он увидел совершенно противоположные выводы. Здоровье людей в этих районах, и особенно детей, характеризуется лучшими показателями, чем в чистых — контрольных — районах. Дело здесь, конечно, не в радиации, а в лучшем медицинском обслуживании людей на контролируемых территориях.

Для того чтобы доказать необоснованность принятых решений о допустимости проживания людей на загрязненных территориях, А. Адамович в качестве аргумента приводит факт несовпадения количественных оценок возможных отдаленных последствий облучения, которые ему сообщил академик АМН СССР А. И. Воробьев или высказывает академик Н. М. Амосов, с оценками, приведенными вице-президентом АМН Л. А. Ильиным в «Известиях» от 18 сентября 1986 года. Если руководствоваться этим приемом то для его большей убедительности автору следовало бы привести и те оценки (кстати, различные), которые неоднократно публиковал Р. Гейл.

Видимо, уважаемый писатель не знает, что весь вопрос об отдаленных последствиях при облучении в малых дозах не только научный, но и несет в себе значительную риторическую нагрузку. Все дело в том, что еще никому в мире не удалось наблюдать, и тем более продемонстрировать другим, случай, который бы явно подтвердил появление рака или генетических нарушений (именно эти патологии обычно относят к отдаленным последствиям) в результате облучения в малых дозах. Вопрос носит сугубо теоретический и неопределенный характер в его практическом подтверждении. Количественное выражение рассчитанных отдаленных последствий оказывается напрямую связанным с неизбежными при этом допущениями и предположениями, закладываемыми в расчеты. Отсюда и различные оценки. Авторы всех подобных расчетов заведомо не знают:

1. имеют ли в действительности место отдаленные последствия при облучении в малых дозах;
2. имеется ли дозовый порог, начиная с которого появление отдаленных последствий становится вероятным, или они вероятны при любых, в том числе и самых малых, дозах облучения;
3. по каким законам (функциональным связям) правомерно переносить реальные эффекты облучения, наблюдаемые при больших дозах, в область малых?
4. какие действительные величины риска появления отдаленных последствий существуют для данного значения дозы, если они вероятны?

Естественно, что при указанных неопределенностях вряд ли можно говорить серьезно о конкретных величинах ожидаемых отдаленных последствий. В одном лишь могут сближаться оценки различных авторов, а именно в том, что ожидаемые последствия (если они все же вероятны) в результате облучения людей в малых дозах, какими характеризуются контролируемые районы Белоруссии, оказываются существенно меньшими естественных флюктуаций частоты появления рассматриваемых патологий, не связанных с действием радиации. В этом отношении заявление академика АМН СССР Л. А. Ильина на страницах «Известий» о том, что «вероятность появления (отдаленных последствий облучения) ничтожна», не противоречит сути дела.

Изложенное позволяет утверждать, что нет убедительных научных оснований ожидать в будущем статистически достоверного прироста у населения заболеваний, связанных с облучением, а следовательно, и использовать этот фактор в качестве аргумента недопустимости проживания людей в заботящих писателя районах Белоруссии.

Еще раз необходимо вернуться к обстоятельствам эвакуации города Припяти, которую писатель считает запоздалой. Он обвиняет «медик(а) в правительственной комиссии, (который) не подписал заключение о хотя бы запоздалом выселении Припяти, (и даже) требовал: „дождаться, когда ветер повернет на город и наберется столько бэр, сколько предусмотрено в инструкции“». Мягко говоря, это примитивные рассуждения.

По обстоятельствам эвакуации Припяти уже так много писалось и сообщалось в различных интервью и беседах, что вряд ли мы сможем что-либо добавить новое. И все же если отодвинуть в сторону эмоциональную перегрузку, навязываемую читателям, то думаю, что корень вопроса в том, была ли эвакуация Припяти запоздалой или нет. Мерилом этого может быть только доза, которую получили жители этого города.

Должны сразу отметить, что вопрос об эвакуации населения как мере защиты людей в случае аварии реактора, в Чернобыле возник не спонтанно. Он достаточно детально был разработан, как за рубежом, так и у нас в стране, задолго до рассматриваемых событий. Специалистами во всем мире эвакуация населения рассматривается как крайняя мера, когда возникает вероятность облучения людей в явно опасных дозах и отсутствуют другие средства это предотвратить. Всегда следует учитывать, что сам акт выселения людей из населенных мест и родных жилищ сопряжен не только с большими прямыми общественными и личными затратами, но и чреват непоправимыми моральными потрясениями людей. И если уж возникают неотвратимые обстоятельства, обосновывающие эвакуацию, то она должна проводиться в условиях высочайшей организованности, при строгом учете всех эвакуируемых, с соблюдением необходимых при этом требований техники безопасности.

Во всех ядерных странах разработаны четкие регламенты, определяющие условия эвакуации населения в случае аварии атомного реактора. Они достаточно близки по своим требованиям. В нашей стране эти условия определяются специальным нормативным документом, разработанным НКРЗ — «Критерии для принятия решения в случае аварии реактора», — утвержденным Минздравом СССР в 1983 году. Для руководства принимающих решение на эвакуацию данные «Критерии» устанавливают два уровня доз — «А» и «Б». Уровень «А» соответствует прогнозируемой дозе общего внешнего облучения 25 бэр и 30 бэр на щитовидную железу детей. Уровень «Б» — соответственно 75 и 250 бэр.

Если ожидаемые дозы не превышают уровень «А», то в этом случае эвакуация не предусматривается. Населению рекомендуется находиться в помещениях, соблюдая меры общей профилактической гигиены.

При дозах от 25 до 75 бэр дополнительно предусматривается обязательная йодная профилактика для защиты щитовидных желез людей от внутреннего облучения радионуклидами йода. В данном случае вопрос о возможной эвакуации населения решается с учетом местных условий и возможностей, а также особенностей аварии. И лишь при ожидаемых дозах, соответствующих уровню «Б» или превышающих его, необходима немедленная эвакуация.

Именно этими «Критериями» при принятии решений на эвакуацию отдельных населенных пунктов пользовалась правительственная комиссия. Как показали прямые измерения, при этом ни в одном случае не был достигнут уровень «Б», что полностью гарантирует здоровье всего эвакуированного населения. Что касается непосредственно города Припять, то согласно официальным данным прямых измерений доза общего внешнего гамма-излучения у его жителей составила от 1 до 5 бэр, а доза на щитовидную железу не превысила 30 бэр. Приведенные цифры объективно подтверждают, что нет никаких оснований говорить о том, что эвакуация Припяти была запоздалой.

А. Адамович демонстрирует полное отсутствие какой-либо осведомленности о действующем в стране строгом порядке, установленном Минздравом СССР, учета всех людей, кто прямо или косвенно оказался или мог оказаться под воздействием радиационного фактора аварии. Он рассказывает случай: «когда честный, толковый врач пытался сделать элементарное, необходимое, что делать необходимо, — завести контрольную карточку, ту, что имели солдаты и люди, занятые дезактивацией зараженной местности, когда он захотел наладить контроль за бэрами, полуживыми и колхозниками, трактористами, комбайнерами, работающими в радиоактивной пыли», то ему в грубой форме была запрещена «могилевским медначальником», казалось бы, разумная инициатива.

Трудно поверить, что все было именно так, как сообщает нам писатель. Совер-

шенно непонятно, зачем было этому «толковому» врачу заводить какие-то карточки, а «могилевскому медрначальнику» их запрещать, если в органах здравоохранения страны введена и действует единая система учета всех лиц, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в форме Всесоюзного распределенного регистра. Он создан с целью пристального наблюдения за состоянием здоровья как ныне живущих людей, так и их потомства. Организованное наблюдение направлено на своевременное обнаружение и устранение у людей отклонений (если такие возникнут) в результате воздействия радиации. Все включенные в регистр лица разделены на категории наблюдения в зависимости от величины радиационного воздействия на их организм в целом или щитовидную железу. Чем воздействие сильнее, тем пристальней внимание к данной категории людей, тем выше уровень регистра. Для каждой категории наблюдения установлен перечень и периодичность обязательных медицинских обследований. Регистр имеет несколько уровней наблюдения: всесоюзный, республиканский, отраслевой, — а в Российской Федерации, на Украине и в Белоруссии, для областей, подвергшихся повышенному радиационному воздействию, предусмотрены его областной и районный уровни. Система наблюдения построена так, что перемена места жительства людей, включенных в регистр, не приведет к их выбытию из сферы должного внимания органов здравоохранения. В настоящее время во все уровни регистра включены данные примерно на 650 тысяч человек. Для успешного функционирования регистров разработаны единые формы первичного учета, применены самые современные математические методы анализа и средства вычислительной техники.

Вероятно, не требуется особых доказательств, что на фоне действующей надежной системы учета и наблюдения людей инициатива «толкового» врача, о которой рассказал писатель, теряет смысл.

Пользуясь случаем, хотим успокоить писателя в связи с его пожеланием иметь в Белоруссии «свой полноценный центр по контролю за долговременными последствиями аварии и независимо от атомного ведомства медицинское обслуживание населения...». Такой центр в Белоруссии существует. Он называется Научно-исследовательский институт радиационной медицины Минздрава БССР. Его директор — академик АМН СССР Матюхин Владимир Александрович. Долг руководства Белоруссии, ее Минздрава, а также общественности республики сделать все необходимое, чтобы данный институт полностью удовлетворял его предназначению.

В заключение отметим, что создалось впечатление, что медицинские вопросы, поднимаемые писателем в статье, не были самоцелью, а являлись одной из платформ, с которых он атакует советскую атомную энергетику. Как же можно это по-другому понять, если все затрагиваемые им медицинские вопросы несостоятельны и могли быть легко уточнены на месте, в Минздраве БССР, если бы этого хотел писатель. Видно, не эта цель была у него. Он действует по принципу «чем хуже — тем лучше», лишь бы можно было использовать во имя главной цели.

Вывод

В связи с тем, что социальные проблемы чернобыльской аварии писателем препоносятся искаженно и не отражаются действительное состояние дел на загрязненных территориях по вопросам медицинского обеспечения безопасности населения, рецензируемую статью нельзя признать полезной и рекомендовать к опубликованию.

К. И. ГОРДЬЕВ,

*заместитель директора
Института биофизики Минздрава СССР,
доктор технических наук, профессор.*

По поднимаемым в статье вопросам, касающимся работы агропромышленного комплекса в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, сообщаем следующее.

1. Утверждение тов. Адамовича о получении повышенных урожаев сельскохозяйственных культур за счет «радиационной стимуляции» основано или на полном незнании, или на сознательном искажении широко известных закономерностей биологического действия ионизирующих излучений. Многочисленными работами отечест-

венных и зарубежных авторов показано, что определенный стимулирующий эффект (до 10—15 процентов) может быть получен при облучении семян перед посевом в дозах от нескольких сотен до тысяч рентген. Эффект недостаточно устойчив и практически мало применяется. При тех дозах облучения, которые может получить посевной материал в районах радиоактивного загрязнения (доли и единицы рентген), ни положительного, ни отрицательного эффекта получить невозможно.

Хорошие урожаи зерновых и картофеля получают в Белорусской ССР (кстати, не только в Гомельской и Могилевской областях, а в этих областях не только в районах, подвергшихся загрязнению) за счет многолетней работы по повышению культуры земледелия и самоотверженного труда специалистов, механизаторов и других работников сельского хозяйства. Кроме того, пострадавшим областям ежегодно с 1986 года дополнительно выделяется по 75—85 тысяч тонн минеральных удобрений, применение которых не только увеличивает урожай, но и значительно (в 2—3 раза) снижает переход радиоактивных веществ из почвы в растения. Весь урожай полностью используется. Картофель и овощи полностью пригодны на продовольственные цели, зерновые и крупяные культуры в основном используются по прямому назначению, а частично (15—20 процентов в загрязненных районах) направляются для приготовления комбикормов.

2. Уничтожать «тысячи тонн мяса подвергшихся облучению животных» — абсурдное требование, так как облучение животных (как и человека) ионизирующим излучением (например, при рентгеновском обследовании) не делает мясо непригодным, а животное опасным для окружающих. Только попадание радиоактивных веществ в организм животного с кормом может привести к накоплению их в органах и тканях сверх допустимых количеств.

Разработанные нашими учеными методы прижизненного определения содержания радиоактивных веществ в мышцах животных и предубойного откорма на специально составленных рационах позволили практически полностью исключить получение на мясокомбинатах Гомельской и Могилевской областей мяса, загрязненного выше допустимых уровней.

Так, на 1 августа 1988 года на Могилевском мясокомбинате нет ни одного килограмма мяса, загрязненного выше допустимого уровня, на Гомельском мясокомбинате такого мяса хранится 752 тонны.

3. Все указанные сведения и пояснения тов. Адамович уже получал и при желании серьезно помочь делу ликвидации последствий аварии мог бы получить в еще более подробной и доступной ему как «неспециалисту» форме в Белорусском филиале Всесоюзного НИИ сельскохозяйственной радиологии (Гомель).

Филиал специально организован в июне 1986 года для разработки и проведения мероприятий, обеспечивающих безопасное проживание населения и ведение агропромышленного производства на загрязненных территориях. Коллектив филиала сформирован из наиболее квалифицированных ученых-радиологов, по собственному желанию выехавших с семьями на работу из Москвы и Обнинска.

Тов. Адамович уже более полугода тому назад получал приглашение приехать в Гомель и совместно рассмотреть тревожащие его вопросы, однако, к сожалению, не нашел возможности принять наше приглашение.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание возможность дезориентации широкого круга читателей о действительном положении дел в агропромышленном производстве на территории, подвергшейся воздействию аварии, считаем целесообразным до публикации статьи рекомендовать тов. А. Адамовичу встретиться со специалистами в области сельскохозяйственной радиологии и получить необходимую информацию по обсуждаемым в статье вопросам.

А. П. ПОВАЛЯЕВ,

заместитель начальника Главного
управления научно-исследовательских
и экспериментально-производственных
учреждений Госагропрома СССР.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

К 160-летию со дня рождения Л. Н. Толстого

БОРИС МАЗУРИН

★

РАССКАЗ И РАЗДУМЬЯ ОБ ИСТОРИИ ОДНОЙ ТОЛСТОВСКОЙ КОММУНЫ «ЖИЗНЬ И ТРУД»

Существование толстовцев, больше того — толстовских коммун, объединений, журналов никак не вписывается в наше сегодняшнее представление о 20—30-х годах. Однако реальные факты убеждают — именно на первые послеоктябрьские годы падает расцвет толстовского движения.

В Москве тогда активно работало Общество истинной свободы в память Л. Н. Толстого. Оно имело свою библиотеку с большим фондом религиозно-философской литературы, вегетарианскую столовую (одновременно служившую и клубом), организовывало лекции. Филиалы общества действовали во многих городах России. Широко распространялись в те годы запрещенные до 1917 года произведения Толстого, выходили журналы («Голос Толстого», «Единение», «Истинная свобода» и другие), где пропагандировались и свободно обсуждались взгляды великого моралиста.

Произошли изменения и в самом больном вопросе взаимоотношений толстовцев с властью: 4.01.1919 года СНК РСФСР принял декрет «Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям». По этому декрету видная роль отводилась возникшему незадолго до того по инициативе толстовской и сектантской общественности Объединенному совету религиозных общин и групп, председателем которого был избран ближайший друг и единомышленник Толстого В. Г. Чертков. Совет должен был производить экспертизу «как на то, что определенное религиозное убеждение исключает участие в военной службе, так и на то, что данное лицо действует искренне и добросовестно» («Декреты Советской власти», т. 4. М. 1968, стр. 283). И хотя рекомендации совета часто не принимались во внимание (в особенности на местах) и сам он просуществовал лишь несколько лет, все же — и сейчас это не может не вызвать изумления — в разгар гражданской войны тысячи людей получили законную возможность согласно голосу своей совести не брать в руки оружия.

Эпоха войн и революций, массовое истребление человека человеком привели в толстовское движение новые силы. Теперь «рядовой толстовец» — это уже не «опроказющийся» интеллигент-горожанин, а испытавший на себе жестокость века рабочий-книголюб, думающий крестьянин, бывший солдат. Эти люди и стали костяком возникавших повсюду с начала 20-х годов толстовских сельскохозяйственных объединений. Призыв Наркомзема (1921) к сектантам — брать в свои руки свободные земли — вызвал к жизни сотни коммун и артелей со своими — независимыми — уставами, советами, иногда даже школами. К середине 20-х годов большинство из них уже успели развиться в образцовые культурные хозяйства.

Разгром произошел с началом сплошной коллективизации. В 1928 — юбилейном толстовском — году толстовцы были объявлены «самой вредной сектой», «знаменем реакции», вскоре начались их массовые аресты и высылки. Из коммун к концу 1930 года уцелела лишь одна — «Жизнь и труд». Она была вынуждена переселиться из Подмоскovie в Западную Сибирь, где — и вот это уже действительно кажется чудом! — сумела продержаться почти до конца 30-х годов.

История возникновения, жизни и гибели этого последнего организационного и духовного центра толстовского движения — тема воспоминаний Б. В. Мазурина, бывшего вплоть до ареста в 1933 году председателем совета коммуны. Воспоминания

крестьянина — явление, к сожалению, крайне редкое в нашей мемуаристике. Но воспоминания Б. В. Мазурина особенно важны для нас другим: впервые советский читатель прочтет о людях, посвятивших свою жизнь воплощению на практике социального и этического учения Л. Н. Толстого.

Надо оговориться: без пользы искать на этих страницах пересказ толстовских идей, научные, философские обоснования поступков героев воспоминаний. И автор их и другие действующие лица просто жили по Толстому, и главное их размышление — не над теорией, а над жизнью.

Воспоминания публикуются в сокращенном виде, стиль автора мы не правили.

Сейчас Борису Васильевичу Мазурину восемьдесят шесть лет. Позади многие годы в тюрьмах, лагерях, ссылки. Он живет в деревне Тальжино под Новокузнецком, рядом с тем местом, где полстолетия назад погибла последняя толстовская коммуна. Жизнь Б. В. Мазурина и его единомышленников — часть наследия Л. Н. Толстого. Может быть, не менее актуальная для нас, чем книги великого писателя.

Из письма Б. В. Мазурина:

«За свою жизнь я много перевидал, переслышал, пережил, передумал, и хотя я хотел бы называться единомышленником Л. Толстого, но это не значит, что я все нашел и сейчас ничего не ищу, что я и сейчас не готов принять что-то лучшее, что больше бы освещало мне жизнь, наполняло ее разумным содержанием, согревало, давало бы радость, бесстрашие, свободу и бодрость жизни, огнем словом, делало бы жизнь не тяжелой бессмыслицей, а благом»

Выбор мировоззрений большой, всяк свой товар хвалит, но, пользуясь евангельским советом ценить дерево по плодам, а людей по делам, я вижу, что Толстой до последних дней своих жил, мыслил, боролся, радовался и страдал, но пустоты душевной не чувствовал и жил «вовсю», славя благо жизни».

Из другого письма:

«Медленно, очень медленно пробивает себе дорогу Толстой к сознанию людей, но я убежден, что все больше и больше будет становиться он нужен людям и все больше будут обращаться к нему за советом, за разрешением важнейших вопросов жизни, которые всегда будут, пока будут люди на земле».

Итак — слово Борису Васильевичу.

Часть первая

ПОД МОСКВОЙ

(1921 — 1931)

Тридцать первого декабря 1921 года несколько молодых людей, решивших вести коллективное сельское хозяйство, заключили с УЗО (Московский уездный земельный отдел) договор на аренду небольшого бывшего помещичьего имения, носившего название Шестаковка. Площадь всех угодий — пашня, луг, сад, кустарник и пруд — всего 50 гектаров.

В старом липовом парке стояли два больших деревянных дома, а возле небольшого старенького скотного двора стоял еще дом, когда-то что-нибудь вроде кухни для скота и для жилья рабочих. Низ был из кирпича (одна большая комната с русской печью), выше был надстроен еще один убогий этаж из бревен, а сбоку к кухне был прирублен небольшой флигелек в три комнаты. Вот в этом-то доме и поселились новые поселенцы.

Шестаковка была совсем недалеко от Москвы, от Калужской заставы, если напрямик, кустами, проселком, то километров двенадцать, а если по Боровскому шоссе, через деревню Никулино и село Тропарево, — километров пятнадцать. Но несмотря на близость Москвы, место было на редкость тихое и уединенное. Находилось оно в большой развилке двух железных дорог — Павелецкой и Киевской — и в меньшей развилке двух шоссе — Калужского и Боровского. Поля по слегка всхолмленной местности, осинники да кустарники. По лождине протекал небольшой ручеек, за которым расположилась деревушка Богородское (дворов двадцать) и еще немного в стороне село Тропарево. Судя по названию сел — земля эти когда-то были церковными, и в самом имени стояла небольшая каменная церковь старинной архитектуры, осматривать которую иногда приходили экскурсии любителей старины, и они говорили, что время ее постройки относится к царствованию Иоанна Грозного. А один из деревянных домов в парке — «старая дача», как мы называли ее, — стоял уже более ста лет, и, по преданию, в ней останавливался Наполеон в 1812 году. Стояла она на хорошем фундаменте из пиленого известняка, а бревна были обшиты тесом. Когда в 1928 году мы ее разобрали для постройки большого коммунального дома, то сосновые бревна звенели, как новенькие, были необычно крепки, и торцы у них были обработаны топором; видно когда ее строили, пил еще не было.

Уезд был Московский, волость — Царицынская, сельсовет — Тропаревский, год революции — пятый.

До нас там стоял рабочий полк и вел, очевидно, небольшое подсобное хозяйство, потому что, уходя, они передали нам одну корову — Маруську — и две семнадцатилетних лошади — Ворона и Лыску, у которых были года, кости и на костях голая кожа, потому что шерсть вся повывезла от снадобий против чесотки; из инвентаря была одна военная двуколка. Оставил нам еще рабочий полк яму с силосом из картофельной ботвы, 70 пудов сушеных веников на корм скоту и 500 пудов мороженой картошки. Вот и все. В стране были еще голод и разруха. Надо было жить и начинать хозяйство. Средств не было. Начали разбирать один из деревянных домов в парке. Пилили на чурки, кололи на дрова, вязали в вязаночки, запрягали Ворона и везли в Москву. Двенадцать километров ехали иногда целый день, у лошади не было сил. Москва бедствовала с топливом, и мы меняли дрова на продукты — хлеб, сухари, фасоль, крупу и так далее. Этим питались.

Приближалась весна, добыли семян овса всего 7 пудов и этими семью пудами засеяли гектара три. Сеяли рядками, рядок от рядка сантиметров пятьдесят, и овес вырос сильный, как камыш. После первого урожая жизнь пошла легче, было вволю картошки, моркови, овощей и молока повемногу.

Назвали наш коллектив «Жизнь и труд» — так предложил Ефим Моисеевич Сержанов, первый застрельщик всего этого дела. Это был человек необыкновенно энергичный и трудоспособный. Проработав целый день, он мог лечь не раздеваясь где-нибудь на дрова за печку и, поспав часа два-три, вставал и опять брался за какое-нибудь дело. Его товарищ и единомышленник Швильпе (Шильпа, как мы называли его упрощенно), как и Ефим Моисеевич, был душою дела. Оба они были из анархистов, образовавших свою группу «Ао», о чем я скажу еще после. Шильпа любил огородничество и любил возиться с механизмами. Он шнырял по соседним разрушенным хозяйствам, собирал поломанные машины и из них собрал косилку, жнейку-самосборку, ручную молотилку, сеялку, все это сильно помогало нам в труде. Оба они были вегетарианцами, и с первых дней было решено, что общее питание будет вегетарианское.

Еще в состав коммуны входили Завадские — большая крестьянская семья, состоящая из стариков — отца и матери, — трех взрослых сыновей, и двух дочерей, и жены одного из сыновей. Старики были простые крестьяне, а дети все в большей или меньшей степени придерживались коммунистической идеологии и были замечательными культурными работниками, относились к труду с большой любовью и энергией. От них я многому учился в крестьянском труде.

Еще работали в коммуне две рязанские девушки Анисья и Алена. От голода и малоземелья пришли они искать заработков у подмосковных огородников, зашли в коммуну да так и остались в ней. Были еще два подростка из детского дома — Федя Сепц, эстонец, и Антоша Краснов, чуваш. В дружном, трудовом, трезвом коллективе и они, естественно, вырастали трудовыми и хорошими людьми. Да еще присоединились я и мой товарищ по стремлению на землю, московский школьник Котя Муравьев. Бывал и еще народ, приходящий и временный. Жили весело, трудились с большим подъемом. Чуть свет вставали, ложились, когда уже совсем темно. Частенько бывало, за вечерним столом сговаривались, кому сегодня дежурить ночь — кормить лошадей, подчищать у коров, собирать молоко, везти в Москву, разбудить и помочь запрячь возкичку, разбудить доярок, да и вообще караулить ночью, — и кто-нибудь дежурил до утра, пробыв без сна целые сутки. Разбудив доярок, в четыре часа ложился спать, а часов в десять уже выходил на работу, причем никто его не будил. А один раз, я помню, получилось так: проработав день, я отдежурил и ночь. С молоком должен был ехать Ефим Моисеевич, а когда я его разбудил, оказалось, что он заболел — сильный жар, — тогда я решил съездить сам. Развез молоко во 2-ю Градскую больницу на Большой Калужской улице, в детясли фабрики Гознак на Малой Серпуховке и поехал домой. Хотелось спать, глаза слипались, и клевал носом. С удовольствием предвкушал, как, приехав домой, завалюсь спать. Приехал, а там тревога — куда-то делись жеребята, то ли убежали сами, — надо искать. И я побежал тоже. А когда нашли, я повалился на солону во дворе и заснул. Потом подсчитал — пробыл без сна, в труде тридцать шесть часов.

Но все это тогда не тяготило, и хозяйство быстро шло в гору. Уже с начала 1923 года хозяйство стало товарным, мы снабжали молоком 2-ю Градскую больницу

и детские ясли фабрики Гознак, причем молоко было всегда отличного качества и доставлялось на кухни ежедневно в течение более семи лет аккуратно рано утром.

Все дела обсуждались сообща за столом в завтрак, обед, ужин. Никто не был официальным руководителем. Наоборот, мы стремились, чтобы все члены коммуны были всегда в курсе всех дел, и решили, что все по очереди, сменяясь каждый день, будут руководить текущими работами — дежурить.

Первое время нас совсем никто не касался. Мы не знали ни прописки, ни устава, ни налогов, ни разных сельскохозяйственных инструкций и так далее. А дело шло хорошо. Организация наша была небольшая, но жизненная, действительно коллективная, трудовая, высокотоварная и общественно полезная. Расходы на административные, управленческие, канцелярские нужды сводились к нулю. Единственным недостатком (как я это теперь вижу) было чрезмерное увлечение трудом. Труд поглощал все силы, все внимание. Это, конечно, было ненормально, а может быть, этого требовало само время, надо было стране выходить из разрухи и голода каким-то чрезмерным усилием.

Здесь хочу немного сказать об «аоистах» — Сержанове и Швильпе, поскольку они были первыми зачинателями этого дела. Вначале они были анархистами, потом отделились в свое особое течение.

Сержанов как-то раз сказал мне: «Мы, собственно говоря, не анархисты, а экстархисты — то есть внегосударственники». Зная мой толстовский уклон, они говорили: вот вы, толстовцы, стремитесь к естественному, а мы, наоборот, считаем естественное диким, хаосом. Мы считаем, что все, все в области человеческой жизни без исключения надо совершенствовать, изобретать. Надо изобретать так, чтобы все было разумно, целесообразно. Например, язык, на котором сейчас говорят люди, это же такой бессмысленный хаос. Надо, чтобы каждое слово имело связь с родственными словами и понятиями. Ну, например — нос. Почему нос? откуда это? — все должно бы быть так: запах, пахнуть, тогда логически надо бы говорить — нюхалка, а не нос, и так далее. Это, конечно, я взяла грубый пример, но они изобрели свой язык «Ао». Они говорили меж собой на нем. Дали себе имена, которые имели свой смысл. Сержанов был Биазльби, что-то вроде изобретателя жизни, а Швильпе — Биabi, тоже что-то вроде этого. Называли они себя по-русски: всеизобретатели. Они мечтали создавать искусственные солнца, устроить межпланетные сообщения. Они хотели сделать жизнь человека вечной. У них был на Тверской улице свой клуб, и при нем был так называемый социотехникум, где они проводили разные эксперименты над собой. Они говорили: это же глупо, что человек треть своей жизни, такого драгоценного времени, проводит во сне, и упражнялись в том, чтобы спать как можно меньше. Они говорили: человек много ест, пища эта сгорает в человеке, и человек от этого быстро изнашивается, надо изобрести такое концентрированное питание в виде пилюль — «пиктонов», проглотив которую человек получил бы все нужное для жизни своего организма, но чтобы в то же время это питание было безвредительное и человек не сторал бы, а сохранялся долговечно. Они делали эти опыты, и один наш будущий коммунар, Миша Рогозин, чуть не отдал Богу душу от этих опытов. Они говорили: природа несправедлива — одного сделала красивым, другого некрасивым, это надо исправить, надо всем носить маски. Елку они считали наиболее совершенным деревом по всему ее строению. Толстого считали великим изобретателем в области морали.

В коллективной, трудовой жизни это были незаменимые люди — трудолюбивые, сметливые, общественные и всегда веселые. Табаку, водки, ругани, разврата они не допускали, что при их вегетарианстве, и антимилитаризме, и отрицании государства создавало почву для близости с нами, толстовцами, в практической жизни. Сельское хозяйство они любили, но оно поглощало все время без остатка, а им хотелось работать в своем направлении, и, кажется, в конце 1923 года они выбыли из коммуны.

С уходом Сержанова и Швильпе стала ощущаться острая нехватка людей, и не просто рабочей силы, а людей, сознательно стремящихся к общей жизни и общему труду.

Надо было привлечь новые силы. Для этого сложились очень благоприятные условия. Существовало Московское вегетарианское общество имени Л. Толстого, там почти ежедневно происходили какие-нибудь доклады, беседы, но по субботам вечером бывали наиболее значительные и многолюдные собрания, и я после трудового дня, закончив немного пораньше, бежал в Москву в Газетный. Там я встречался со многими людьми с разных концов страны. Многие из них стремились жить на земле трудами рук своих, но они не имели за что ухватиться, не было ни средств, ни земли, и вот

они узнавали, что есть и земля, и дело начато, и товарищи есть, и к нам потянулся народ: А. Н. Ганусевич с семьей, С. В. Троицкий с семьей, Поля Жарова, Надя Гриневич, А. В. Арбузов, Алеша Демидов, И. С. Рогожин и другие.

Но здесь получилось расхождение с семьей Завадских. Мы хотели не ограничивать число желающих, Завадские же были сторонниками небольшой, но сработавшейся, почти семейной коммуны. И они вышли, найдя себе участок еще поменьше и с меньшим количеством участников. Имущество выходящим мы выдали без всякого спора пропорционально вложенному по времени труду, и осталось у нас опять очень бедное хозяйство. Но энергии было много, навык уже был, организация уже сложилась.

К этому времени нами уже был принят и зарегистрирован в земельных органах устав коммуны. Мы заняли в банке 600 рублей и поехали вдвоем с Мишей Поповым в Тамбовскую область, на его родину. Там у крестьян был хороший молочный скот и хорошие лошади. Мы закупили коров, привезли к себе и быстро восполнили и расширили стадо.

Молочное дело поставлено было хорошо. Луговое и клеверное сено, корнеплоды — турнепс, свекла, брюква — в изобилии, жмых и отруби не переводились. Коров, которые с новотела давали менее 25 литров в сутки, мы не держали. Были коровы, дававшие 30—35, до 40 литров. Но эти удои достигались не сразу, а когда они уже более года стояли у нас на правильном кормлении. Молоко возили в больницы — средства были. Был скот, был навоз, для которого мы сделали правильное навозохранилище с ежедневным поливом навозной жижей из жижеотстойника. Был хороший навоз и вовремя вносимый в землю, были минеральные удобрения, был правильный севооборот и культурная обработка почвы, были и хорошие урожаи. Корнеплодов мы собирали более 3000 пудов с гектара, картофеля — 1500—2000 пудов, ржи — 120—150 пудов с гектара. Клевера снимали два укоса.

К 1925 году мы уже жили вполне обеспеченной жизнью. Питание было общее, бесплатное, также жилище, освещение, отопление, а на одежду и обувь выдавали каждому ежемесячно 25 рублей на расходы по его усмотрению.

Коммуна достигла хозяйственного расцвета. Хорошо питались. Все были обуты и одеты. Помню, как в холодный, грязный, осенний день я увидел Сергея, работающего возле скотного в новых добротных сапогах, и это было так необычно и радостно — ведь мы привыкли видеть его лязгающим по глубокой, вязкой грязи босым. Справили мы и рессорную качку возить молоко. Завели хороших лошадей. Окрестные мужики стали стремиться взять у нас на племя хорошую телочку. Стали приходиться брать попахать двухлемешный сакковский плуг (а пахали тогда под Москвой больше сохами), то велику попросят (везали лопатой), то молотилку (молотили палкой по бочке).

Но самым ярким признаком нашей победы был запомнившийся мне случай: уродился хороший хлеб. Достали мы в одном совхозе, в Черемушках, напрокат сноповязалку. Наладил ее Проккоп. Я запряг тройку добрых коней и поехал по кругу. Ровно ложились связанные снопы. Переставляя регулятор, я делал их больше или меньше — как надо было. За дорогой было тропаревское поле. Низкие, изреженные хлеба их не могли равняться с нашими. Два тропаревских крестьянина, остановившись, наблюдали за моей работой. Я остановился. Поздоровались. «Да, — сказал один из стариков, — ваше дело идет вверх, а наше — вниз», — показал он на свои хлеба.

Понемногу ознакомились с окрестным населением, и отношения сложились хорошие, несмотря на уклад нашей жизни, совсем другой, чем у них. Народ в Тропареве и Богородском был привержен церкви. Строго соблюдали все церковные праздники, гуляли по два, по три дня, а я по молодому задору каждый год на первый день Пасхи запрягал лошадь и возил навоз на огород.

Задумали мы как-то провести в Тропареве беседу о Толстом и его мировоззрении. Обратились к председателю сельсовета Рубликову, серьезному мужику, коммунисту. Рубликов любил всякие доклады, лекции и беседы, охотно разрешил и оповестил мужиков. Собрались в чайной. Чайная была в селе своего рода клубом; сидя за чайником дешевого чая, мужики беседовали о своих делах, о базаре и так далее. Туда и явились мы — мой отец, Николай Васильевич Троицкий и я. Народу собралось много — исключительно мужики, в большинстве старые, бородастые и серьезные. Отец говорил о евангелии Толстого и читал выдержки. Сначала его встретили суровыми окриками: «Не смешивай духовного со светским» и так далее, но потом слушали со вниманием и по окончании просили заходить и беседовать еще.

Народу в коммуне прибывало. Кроме постоянного ядра у нас все время были еще люди. То родственники коммунаров, приходившие кто на день-два, а кто на все лето. Бывали и гости, люди, интересующиеся коммуной, присматривающиеся — подойдет ли для них такая жизнь. И у нас выработался неписанный обычай — приходи кто угодно, садись за общий стол, гуляй, смотри три дня, а на четвертый и далее будь гостем, но принимай участие в труде наравне со всеми. Много интересных людей прошло через коммуну. Некоторые из них с первого же дня вливались в общую семью, брались за работу и оставались в коммуне навсегда. Были и иные. Помню, пришла к нам из Москвы девушка, мы ничего не знали о ней, только видно было, что она горожанка, деревни не знает совсем. Два дня она ходила осматривалась и все время молчала. Вид у нее был печальный, замкнутый, что-то тяжелое прошло в ее жизни. На третий день она попросила работу. Ей сказали вычистить скотный. Неумело, но прилежно выкидала она навоз, прибрала стойла, почистила скребицей коров, подмела метлой проход, и, когда я вошел, она, познав радость труда, сказала: «Как чисто». Так она работала еще два дня, но когда я опять зашел в скотный, она спросила: «И это так каждый день?» «Да». «Как скучно», — сказала она и ушла из коммуны в ту же неизвестность, откуда и пришла.

Бывали и такие гости: пришли двое, один курчавый, толстогубый, брюнет — Лейцнер, и другой помоложе, попроще — Шура Постнов. Все бы ничего, но они оказались «голистами». Выйдут на работу и разденутся, как есть, в чем мать родила. Усядутся на грядках, полют, а женщины отвернутся от них спиной, уткнутся лицом в грядку и тоже полют. Хорошо! Когда к столу приходили, тусы все же надевали. Народ мы были свобододолюбивый, кто говорит: «Ну и пусть», а кто: «Ну все же неудобно». Дальше — больше, волнение возрастало чуть не до трагедии, и все же их выдворили.

Пришел к нам белокурый тихий человек — Клементий Красковский. Он что-то не прижился в Новоиерусалимской коммуне и у нас ходил какой-то безучастный, как в воду опущенный. Раз зашел у меня с кем-то из коммунаров разговор о нем. «Да что ж Клементий, — сказал я, — для него здесь все чужое, неродное». А Клементий стоял над нами на балкончике и все слышал. «Почему ты так говоришь?» — спросил он меня. «А что ж, неправда?» И у нас состоялся разговор, без ругани, но вполне откровенный, и с того дня Клементия как подменили, для него коммуна стала дорогим, родным домом, тем более что родных у него никого не было. Он весь ушел с головой в ее жизнь и заботы и таким и оставался до своей трагической гибели в 1937 году. Происходил он из бедных крестьян Смоленской (кажется) губернии. Окончил четырехклассную школу, и поэтому, когда началась война (1914), его направили в школу прапорщиков, и вскоре он оказался на фронте. Верил он тогда наивно, так, как говорили ему в школе сельской и потом в военной. Верил, что немцы — враги, что надо защищать родину, царя и веру православную. Он мне рассказывал, что на войне ему приходилось бывать и в боях и в атаках, но чувства страха смерти он не испытывал. Все было просто. Но потом стали находить сомнения. Он встретился с толстовцами, и все перевернулось — немцы стали не врагами, а такими же обманутыми людьми, а царь-батюшка и вера православная оказались пустым, жестоким обманом. Жизнь его приобрела новый смысл. Оружия он больше не брал в руки.

Ему (да и многим другим нашим коммунарам) впоследствии часто приходилось слышать от представителей власти упрек: «А, за царя ты воевал, а теперь оружия брать не хочешь!» Да, они воевали, воевали честно до тех пор, пока верили, что так надо. Но страдания войны, революция и могучее, правдивое слово Л. Толстого открыли им глаза, разбудили сознание, подтвердили то, что смутно говорила им их совесть, и эти люди навсегда сменили свой путь, отказались от насилия.

Наиболее яркой и наиболее трагичной была, наверное, из членов нашей коммуны жизнь Сергея (Сергея Васильевича Троицкого). 1917 год застал его в рядах действующей армии. Февральскую революцию он встретил с радостью, а Октябрьскую принял всем сердцем. Идеал коммунизма захватил его целиком, без остатка. Идеи Толстого были известны ему и тогда от его старшего брата Николая — толстовца. Они много беседовали, спорили, но каждый пошел своим путем. Сергей окончил Красную военную академию; не захотев оставаться на штабной работе, уехал в действующую армию. Сергей воевал, воевал за свой идеал, но толстовские зерна, наверное, раз запав в его сознание, не гасли, а тлели в душе его и вдруг вспыхнули ярким пламенем. Толчком послужил такой случай: в его части два молодых парня, чуваша, оторванные от своей тихой, трудовой жизни и брошенные в непонятный им ад кровавой бойни, решили вырваться

из нее и отстрелили друг другу пальцы. Их судили и приговорили к расстрелу. Дело было осенью на закате солнца. На большой луговине с трех сторон выстроили войска, в середине — командиры. Зачитали приговор. Поставили этих ребят рядом. Позади них золотистая, освещенная розовым светом заходящего солнца спелая несжатая рожь, а за рожью, на горизонте, огромный багровый шар заходящего солнца. Ударил залп. Пули разбили черепа, и оттуда бурными фонтанчиками забила вверх кровь, еще более горячая и красная, чем солнце. И так они стояли и не падали несколько дольше, чем надо.

На другой день Сергей пришел в штаб полка, и сложил там оружие, и сказал, что больше воевать он не может. Его должен был судить военный суд, и, наверное, его ожидало бы то же, что и тех двух, но на другой день началось отступление нашей армии. Все смешалось. В дальнейшем Сергей оказался в психиатрической больнице.

Потом появился у нас в коммуне. Серьезный и немногословный, он весь отдавался труду. Иногда, когда ему было веселее, он брал гитару и, закрыв глаза и сохраняя серьезный вид, пел нам какие-то романсы: «Конь мой невзвезданный, бурей летучею в степь улетает стрелой...». Или: «Танечка-матанечка, лазоревый цветок, сядем на пролеточку, прокатимся разок...», или какие-нибудь сатиры на библейские легенды: «Вот из ковчега вышел Ной, он видит Бога пред собой...» и так далее.

Несмотря на то, что Сергей пришел к нам по убеждению, добытому тяжелым, страшным опытом жизни, у него внутри не все еще утрясало, он еще был в движении, как и всякий искренний и мыслящий человек. Один раз он сказал мне: «А все-таки, если капиталисты нападут на нас, я пойду защищать родину». «Ну что ж, это твое дело», — ответил ему я.

Если бы он был один, но у него еще был тяжелый хвост — жена Елизавета Ивановна. Нельзя сказать, чтоб она была глупая, или злая, или слишком вздорная, нет, но, конечно, ей совсем не нужна была коммуна. Ей, конечно, гораздо приятнее было бы быть женой офицера, да еще с высшим образованием, чем женой босоногого рабочего, день и ночь копающегося в земле и навозе. Он тянул в коммуны, она держалась за Москву. Так и жили они на два дома. Порой она подолгу жила и работала у нас, а иной раз он уходил в Москву подзаработать малярным делом средств для семьи, потому что коммунального заработка не хватало для городской жизни ее и двух девочек. Но он не хотел бросать семью и нес эту тяжесть не раздражаясь, терпеливо и спокойно, стараясь разъяснить, как он думает. Все же она перетянула его в Москву. Но он отказался встать на учет как командный состав, и ему запретили проживать в Москве. Опять жизнь на два дома. Он работал где-то по дорожному строительству. Изредка он нелегально приезжал на денек навесить семью. В один из приездов Сергея домой кто-то из соседей по квартире стукнул, и его арестовали. Коммуна в это время переселилась в Сибирь. Елизавета Ивановна умерла, и связь наша прервалась надолго. Лишь каким-то чудом в 1936 году, когда я сидел в КПЗ при Первом доме (НКВД) города Сталинска, ко мне в одиночную камеру дошел его голос. Письма, какие шли мне в коммуны, с почты переправлялись моему следователю, а тут по какому-то недоразумению мне принесли в камеру нераспечатанное письмо. Оказалось, от Сергея, из лагерей, из далекой Коми АССР. Он писал, что все время протестует, что его так бесчеловечно оторвали от семьи, что он перенес в разное время голодовок в общей сложности двести сорок два дня. Это было последнее письмо от него. Так больно, что он не получил от меня ответа и, может быть, обиделся на меня, ведь он не знал, что я тоже уже не на воле.

Пришел как-то поинтересоваться нашей коммуной человек средних лет, стрелочник на одной из станций Московского узла, Александр Николаевич Ганусевич. Потом пришел еще раз. Работа его была такая: сутки дежурил, двое свободен, и вот, отдежуришь, он шел к нам, работал у нас, а потом опять в Москву — на работу. По происхождению он был из крестьян и много помогал нам своим крестьянским опытом и знаниями. У него была семья — жена и маленькие детишки, которые все полюбили коммуны и охотно принимали участие в работах. Приходили иногда погостить и поработать его сестра с дочкой, братья, целый большой дружный коллектив.

Александр Васильевич Арбузов в первые годы революции был следователем ЧК, потом узнал Толстого, отказался от военной службы, которую ему заменили работой санитаря в венерическом госпитале. Потом он попал к нам. Хорошо и дружно работал, но его взбудораженная душа все чего-то еще искала, он ударился в крайности, стал

сыроедом — ел сырые овощи, немолотое зерно и так далее. Потом он сошелся с Юлией (о которой скажу дальше), и они ушли странствовать на юг к малеванцам.

Приехали к нам в коммуну жить и работать Миша и Даша Поповы — тамбовские крестьяне. Он учился у моего отца в учительском институте, любил Толстого, любил землю, и это привело его в коммуну, а она до поездки в коммуну нигде дальше своей деревни не была. Когда они вышли с Павелецкого вокзала на улицы Москвы и она впервые в жизни увидела автомобиль, она схватила мужа за руку и воскликнула: «Миша! Миша! Смотри! Растопырка поехала!»

Юлия Лаптева. Она во время гражданской войны на Кавказе работала в политотделе армии. Их часть попала в тяжелое положение и была разбита белыми. Юлию захватили в плен белые офицеры, смертно избili шомполами и бросили в яму с мертвыми, но она оказалась жива. Ее спасла проходившая мимо женщина, которая услышала стоны, взяла к себе и долгое время выхаживала Юлию. Эта женщина оказалась сектанткой, к ней иногда приходили еще женщины, они в соседней комнате потихоньку пели свои песни. Звуки этих песен, то печальные, то торжественные, долетали до слуха Юлии и размягчающе действовали на ее ожесточенную, потрясенную пережитым душу. Юлия стала искать смысла жизни, и это привело ее к В. Г. Черткову, а потом и к нам. Она была неразговорчивая, сухощавая, стриженная, в черных очках, босая, родом откуда-то из Коми. Она говорила, что у нее была напечатана книжечка о пережитом ею в годы гражданской войны, издана она была под фамилией Юлия Славская. Они сошлись жить с Александром Васильевичем и вместе ушли странствовать. Впоследствии она, кажется, вернулась на свой партийный путь.

Помню еще Рогожина Ивана Степановича, крестьянина из-под Епифани. Он не очень ясно выражал свои мысли, но очень сильно работал, всегда сохраняя неторопливость и хладнокровие. Когда что-нибудь волновало коммунаров и ему одному, хранившему невозмутимое спокойствие, говорили: «Иван Степанович, да что ж, это тебя не волнует?!» — он отвечал: «Беспокойный человек всегда беспокоится». Взят был в 1937 году и не вернулся.

Ну что ж, и о себе надо немного сказать, раз я был членом коммуны. Еще на школьной скамье в 1918 году я идейно присоединился к большевикам. Уже студентом Горной академии разошелся с ними после доклада Арского о том, что надо сдать иностранным капиталистам концессии на горные богатства и под крупное механизированное сельское хозяйство.

В 1921 году умер Петр Алексеевич Кропоткин. В академии у нас были студенты-анархисты, и они устроили вечер в память Кропоткина. Я познакомился с ними и стал им сочувствовать. На этом же вечере я услышал выступление толстовца Сережи Попова. Во время вопросов после доклада на записку «Какая разница между анархистами и толстовцами?» — один анархист ответил: «Разница то, что толстовцы более последовательны, чем мы». Я стал искать, где бы познакомиться с толстовцами, и наконец нашел «Вегетарианку» (столовая в Газетном переулке) и собрания толстовцев.

Интересно то, что отец мой уже давно бывал на этих собраниях. Еще при жизни Толстого он трижды посещал его и беседовал о разных вопросах жизни. Отец пробовал говорить со мной о взглядах Толстого, но мне, увлеченному большевизмом, они претили. Когда отец говорил слово «любовь», меня чуть не тошнило физически. «Какая там любовь, когда на нас кругом лезут враги!» — кричал я. Так что я самостоятельно нашел собрания толстовцев и там встретился с отцом и сошелся в понимании жизни.

Сережа Попов в своих выступлениях часто читал стихи, призывающие на землю: «Покиньте удушливый город, друзья...», «Идите туда на широкий простор, там, где нивы без вас все травой заросли, а луга заливные — осокой». Он говорил, что земледельческий труд самый нужный, самый чистый и самый благодарный и что каждому человеку надо обязательно самому нести свою долю этого труда, чтобы не садиться ни на чью шею и себя чувствовать свободным человеком.

То же я читал у Толстого, Бондарева, близкое к этому у Кропоткина, и я оставил Горную академию, хотя специальность геолога-разведчика мне очень нравилась и увлекала. И я перешел на землю уже сознательно, хотя еще в мае 1919 года я вступил и работал в сельскохозяйственной огородной студенческой артели «Артельный труд», но туда привел меня голод, а вывел призыв в Красную Армию. Весной 1922 года я пришел в коммуну и попросил земли. Мне дали 0,5 гектара на от-

лете в кустах, чтобы мы, живя там, как бы охраняли посевы коммуны от потравы деревенским скотом. Я думал ручничать, то есть обходиться без помощи скота. Ко мне присоединился, бросив среднюю школу, молодой паренек Котя (Николай) Муравьев, необычайно молчаливый и застенчивый, но крепкий и горевший желанием трудиться. Мы выстроили себе шалаш и там жили. К нам присоединились мои младшие братья и его брат. Частенько приходил к нам погостить мой отец, а иногда и наши матери. Немного ниже нас стоял еще шалашик, там жил и ручничал Николай Васильевич Троицкий, к нему иногда приходил Сережа Попов.

Жили мы там весело и свободно, собрали хороший урожай, помогли семьям в то еще голодное время, а главное, окрепли и почувствовали, что мы что-то можем в жизни делать самостоятельно. Весной двадцать третьего года мы с Котей окончательно вступили в коммуну. Впоследствии он стал нашим животноводом, и, надо сказать, несмотря на свою молодость, очень способным. Все шло хорошо у него. Он захотел учиться по этой специальности, поступил в Тимирязевскую академию, но там узнали как-то, что он был из нашей толстовской коммуны. Это сочли за великий грех, его исключили, чуть ли не лишили голоса, вообще исковеркали жизнь парню.

Проходило через коммуну еще много людей.

Если первые годы наша коммунальная жизнь шла, можно сказать, стихийно, то со временем начала появляться у коммунаров потребность осмыслить и ясно выразить, почему, зачем мы живем коммуной, и высказывались мнения, не всегда совпадавшие одно с другим. Приходилось иногда слышать среди нас мнение, что в коммуну надо идти ради духовных целей, ради духовного единения, что в коммуне единомышленников лучше условия для духовного совершенствования, что в коммуне отпадают собственнические инстинкты и так далее.

Я не был согласен с таким мнением, я думал:

1. Стараться соединяться со всеми людьми в хорошем мы можем и должны всегда и везде, не только в коммуне. Единение же только с членами коммуны есть сектанство, значит, не это приводит людей свободных в коммуну.

2. Мы не сторонники монастырей, ухода от жизни со всем ее злом и добром, страданиями и радостью. Именно среди потока жизни должны мы стремиться быть лучше, быть людьми, так что не лучшие условия совершенствования привлекают нас в коммуну.

3. Собственность, хотя и коммунальная, остается все же еще собственностью, и вступить в коммуну — это еще не значит, что мы уже перешагнули эту черту.

4. Я думал, что идея коммуны не христианская идея, не в том смысле, что она противоречит христианству, а в том, что человек, живя или не живя в коммуне, остается все тот же, с теми же слабостями, какие у него есть, и с тем же стремлением быть лучше, и коммуна в смысле духовной жизни значения не имеет. Не это собрало нас здесь. Мы собрались вокруг земли, вокруг труда, вокруг хлеба.

Нести каждому человеку свою долю тяжелого, но необходимого физического труда по добыванию хлеба, постройке жилища, добыче топлива и одежды есть естественный закон жизни.

Кропоткин и другие подсчитывали, что для того, чтобы обеспечить себя всем этим, самым необходимым, людям достаточно работать три-четыре часа в сутки, а остальное время можно отдавать и наукам, и искусствам, и спорту, и ремеслам, чему угодно, без уродливой непропорциональности: один сидит за шахматной доской или пишет романы о труде, не зная труда, а другой весь век ворочает землю и бревна, не имея времени не то что играть в шахматы и читать романы, а просто отдохнуть по-человечески. И много теряет в жизни не только тот, кто тяжело трудится, но и тот, кто не знает тяжелого труда.

Я уже говорил, что нам приходилось слишком много работать. Это начинало сказываться. Не раз раздавались среди нас голоса: «Мы собрались здесь не ради хозяйства, а ради братской жизни», «Работай, работай как вол, даже почитать некогда, разве это жизнь? разве затем мы собрались здесь?», «Коммуна «Жизнь и труд» — труд-то есть, а жизни нет», — и на эти справедливые замечания мы отвечали себе так: да, мы собрались не для одного труда, но и для жизни, но жизни без труда не может быть, трудиться надо. Хозяйство нужно. И, налаженное, в нормальных условиях, оно будет занимать немного времени, не будет тяжким бременем.

Сельское хозяйство, а особенно при организации коммуны (обычно из нитяго), требует много сил и труда. Не желаешь видеть, что все рушится, зарастает, распадается, не ладится,— работай не жалея сил, и все наладится. Работай не ожесточенно, а с любовью и желанием, это ослабит тяжесть труда.

И мы работали не жалея сил.

И это было видно со стороны.

И это нас, очевидно, спасало.

Наступил 1927 год. Времена начали меняться.

Постановлением государственных органов была ликвидирована Тайнинская сельскохозяйственная артель в Перловке. Поводом послужило якобы слабое хозяйство. Но повод всегда найдется. Когда шел разговор о ликвидации Новоиерусалимской коммуны имени Л. Толстого, им ставили в вину то, что они не брали кредитов,— «финансовая замкнутость»; когда хотели ликвидировать нашу коммуну, нам ставили в вину то, что мы когда-то брали кредит на покупку коров. После ликвидации «Перловки» к нам прибавилось оттуда несколько новых членов — Вася Лапшин, крестьянин из-под Епифани, Миша Дьячков — бывший рабочий Тульского оружейного завода. Часть членов перешла в Иерусалимскую коммуну.

Но в 1929 году была ликвидирована и Новоиерусалимская коммуна. Хозяйство там было хорошее, но нашлись другие причины, по крыловской басне «Волк и ягненок». Оттуда к нам прибавилось еще несколько членов — Кувшинов Проккоп Павлович с женой Ниной Лапаевой и детьми, братья Алексеевы — Сережа, Шура, Лева, Катя Доронина, Зуев Ваня, Ромаша Сильванович, Павло Чепурной, Ваня Свинобурко с женой Юлией Рутковской и с детьми, Миша Благовещенский, Вася Птицын, Петя Шершенев, Фаддей Заблотский, Вася и Аля Шершеневы, Ульянов Коля, и с ними же приехал жить с нами Попов Евгений Иванович. Жизнь в коммуне пошла полнокровней, больше людей, больше разных интересов, больше детей.

К этому времени мы построили большой коммунальный дом с водяным отоплением, общей кухней и столовой и десятью жилыми комнатами и еще две летние комнаты на втором этаже.

Питание было хорошее. Работали весело и уже не так напряженно. Так текла наша жизнь, пока вокруг нас по деревням не началось сплошная коллективизация. Ревели сведенные в одно место коровы. Ревели бабы.

Однажды меня, как председателя совета коммуны, вызвали в Кунцево в райисполком к председателю. Я явился. В кабинете кроме председателя райисполкома Морозова было еще несколько человек.

— Ну, доложи нам, что там у вас за коммуна,— сказал Морозов.

Я кратко рассказал об уставе, о хозяйстве, удобности, урожайности и так далее.

— Ну ладно, это все хорошо,— сказал Морозов.— Вы уже несколько лет живете коллективно, освоились, а теперь мы начинаем всю деревню переводить на коллективные рельсы, нам нужны опытные люди, руководители. Становитесь во главе соседних сел, помогите им организовать в колхоз.

Я наотрез отказался.

— Почему? Ведь вы тоже за коллективный труд.

— Да, мы за коллективный труд, но за добровольно коллективный, по сознанию, а они — против своего желания. Потом у нас уклад жизни очень отличный от их уклада в отношении питания, вина, ругани, признания церкви и ее праздников и всяких обрядностей. Мы жили до сих пор коммуной и дальше думаем жить так, но сливаться в один коллектив, а тем более руководить этим делом мы не будем. Ничего из этого не выйдет. Что касается нашего опыта, то мы охотно будем делиться с теми, кому это будет нужно.

Морозов был очень рассержен.

— Тебе давно пора районом руководить, а ты со своей коммуной возишься. Иди! Да зайди к начальнику милиции.

Я вышел, и хотя шел мимо милиции, но предпочел туда не заходить — сообразил, в чем дело.

Вскоре райисполком вынес постановление о роспуске нашей коммуны и передаче всего имущества и хозяйства группе крестьян из села Тропарева. Дальше события стали развиваться быстрее и напряженнее. Раз я возвращался из Москвы в ком-

муну. Пройдя длинную березовую аллею, я подошел к нашей конюшне. Ворота были открыты, там ходила какая-то незнакомая баба. Напротив конюшни через дорогу у нас стояло аккуратно сложенное между четырех высоких столбов сено с подъемной крышей. Сено было сброшено, и на нем с ногами стояла незнакомая лошадевка и ела его.

- Чья это лошадь?— спросил я.
- Наша,— ответила женщина.
- А что вы тут делаете?
- Мы теперь будем здесь работать, нам отдали все.
- А нас куда?
- А я не знаю.

Я понял. Что-то горячее подкатилось к сердцу. Я пошел к дому. Едва открыл дверь в нашу столовую, как мне ударила в нос едкий запах махры, по комнате ходили клубы сизого дыма, за столом сидели человек двенадцать мужиков, знакомых и незнакомых, они оживленно разговаривали и, когда я вошел, замолчали и оглянулись на меня. Я тоже стоял молча среди комнаты. Внутри меня все было напряжено до предела. В голове бегали мысли: зачем здесь эти люди? чего им надо? они люди, но ведь и мы люди! как же они могут так делать? наступать на горло таким же рабочим людям? Я оглянулся кругом, недалеко стояла табуретка, на секунду взор задержался на ней, потом я обернулся к мужикам и сказал не очень громко только одно слово: «Вон!»

Безмолвно все поднялись и один за одним, цепочкой вышли в дверь на улицу. В открытую дверь потянулись за ними клубы синего табачного дыма. В опустевшую залу стали выходить из своих комнат наши коммунары. Они рассказали: «Пришли люди, предъявили бумагу — постановление Кунцевского райисполкома о роспуске нашей коммуны и о передаче всего хозяйства новому коллективу. Потребовали печать, и Прокоп отдал ее. Затем они ходили по дому и распределяли комнаты, кто в какой будет жить».

Мы решили отстаивать свои права.

В приемной М. И. Калинина я был принят заместителем Председателя Президиума ВЦИК — П. Г. Смидовичем. Я рассказал все. Через несколько дней пришел за ответом. Смидович сказал, что постановление райисполкома отменено, мы восстановлены в правах. Соответствующую бумагу он заклеил в конверт и, подписав «председателю Кунцевского райисполкома Морозову», дал мне вручить лично.

Я поехал в Кунцево. Морозов ходил сильно возбужденный по кабинету. «Ну что?» — неласково спросил он, увидав меня. Я молча подал пакет. Он посмотрел штамп ВЦИКа на конверте, молча надорвал, прочел, буркнул что-то и опять сказал зайти к начальнику милиции.

Я почему-то на этот раз решил зайти. Зашел, и был арестован, и водворен в кутузку. Я требовал объяснения — что за причина? Но мне ничего не отвечали. Тогда я сказал, что объявляю голодовку, а сам зашел за угол печки, чтобы меня не было видно дежурному, достал из кармана батон и от волнения с большим аппетитом съел его. Это была моя единственная в жизни «голодовка». К вечеру я услышал, как дежурный несколько раз звонил куда-то по телефону и спрашивал, что же со мной делать: «Он ведь голодовку объявил... У меня же нет никаких оснований на его арест...» И меня выпустили.

Печать наша находилась все еще в сельсовете. Там уже было известно об отмене решения райисполкома, и когда я пришел туда и, подойдя к секретарю, сказал: «Давай печать», — он, ни слова не говоря, ее отдал. В комнате было много мужиков, были и те, которых я выгнал. «Пожили в коммунарском доме», — сказал один из них, добродушно посмеиваясь.

Жизнь коммуны пошла внешне своим чередом, но чувствовалась какая-то напряженность, что так все не кончится.

Вскоре против пятерых из нас — меня, Клементия, Кати, Маруси и Александра Ивановича — было возбуждено судебное дело. Повода к этому не было, но на то и юристы учатся, чтобы находить статью к любому человеку. Нас судили в Кунцево. Когда нас стали обвинять в отсутствии счетоводства, Клементий (ведший его у нас) не вытерпел, вскочил с места и высоко поднял над головой связку конторских книг, предусмотрительно взятых с собой.

— А это что?— воскликнул он под смех зала.

Были и свидетели из числа тех, кого я выгнал. Один из них сказал: «Мазурия выгнал нас из дома». «Как выгнал?» — спросил судья. «А так, сказал «вон» — мы и пошли». — «А сколько было вас?» — «Двенадцать». — «А Мазурия?» — «Один». Судья и публика засмеялись.

Защитником у нас был член коллегии защитников Кропоткин, кажется, племянник П. А. Кропоткина. Он сказал: «За что же их судить? Они ведь действительно жили коммуной, а не болтали об этом, как некоторые». «Кто это некоторые?» — взъялся судья, и было составлено частное определение суда, и Кропоткин впоследствии был удален из коллегии защитников.

Осудили нас по какой-то совсем незначительной и расплывчатой статье, что-то вроде халатности. Двоим дали по два года, остальным — меньшие сроки. Дело, конечно, было не в вине и не в сроках, а в том, что нас надо было удалить из этой местности. Но чем мы мешали, чем наша коммуна могла мешать другим — я этого не пойму и до сих пор. Областной суд отказал нам в нашей жалобе. Но хотя мы и оставались на свободе, вставал вопрос: как жить дальше коммуне? Как ни невиновен ягненок, волк все равно съест его, потому что хочет есть.

И тут встал вопрос о переселении.

Во всех краях стравы были единомышленники Л. Толстого, большинство из них жили на земле, кто работал коллективно, кто — единолично. И почти у всех у них возникали трения с представителями местной власти. Кто просился в колхоз, а его не принимали как толстовца. Кто не хотел идти в колхоз, а его тащили. Кто вступил, но столкнулся с разными сторонами колхозной жизни, идущими вразрез с их убеждениями.

И тут возникла мысль — единомышленникам Л. Толстого, желающим работать на земле, собраться и переселиться в одно место для совместной коллективной жизни и труда. Владимир Григорьевич Чертков сообщил эту мысль нам. Мы чувствовали, что на старом месте у нас уже будет не жизнь, а борьба. И наша коммуна стала организационным ядром переселения.

Заявление во ВЦИК было подано от имени В. Г. Черткова. И вот 28 февраля 1930 года состоялось постановление Президиума ВЦИК, протокол 41, параграф 5, о «переселении толстовских коммун и артелей».

И мне и другим коммунарам приходилось неоднократно бывать по делам переселения у Смидовича, а раза два беседовать и с Михаилом Ивановичем Калининным, приходилось бывать и у В. Д. Бонч-Бруевича, и всюду мы встречали хорошее к нам и терпимое к нашим убеждениям отношение. В первый же разговор со Смидовичем я сказал, что для успеха переселения надо бы составить какую-то инструкцию для представителей местной власти о некоторых особенностях наших убеждений, чтобы они не относились к ним, как к чему-то злонамеренному, и считались с ними. Смидович просил меня написать примерно то, что нам казалось нужным.

Вот что я написал и подал ему:

«1. Переселяющиеся не могут принимать участия ни в каких повинностях, кампаниях, займах, связанных с военными целями, и, самое главное, отказываются брать оружие в руки.

2. Переселяющиеся — вегетарианцы и не могут принимать участие в мясозаготовках и контрактации скота на мясо и вообще в действиях, связанных с убоем скота.

3. Переселяющиеся по своим убеждениям не могут участвовать в органах государственной власти и производить в них выборы представителей.

4. Переселившиеся коллективы могут входить в систему сельскохозяйственных кооперативных объединений при условии невмешательства во внутренние распорядки и быт переселившихся.

5. Не препятствовать переселенцам самостоятельно организовать школу для обучения грамоте своих детей.

6. Переселяющиеся считают коллектив жизненным только тогда, когда все члены одних взглядов, и поэтому никакое административное укрупнение и слияние с людьми других взглядов недопустимо, а также недопустимо и административное вмешательство во внутренний уклад жизни коллективов.

7. Направление и способы ведения хозяйства определяются общим собранием каждого коллектива...»

Смидович сидел за большим столом в кожаном кресле и читал эту мою записку, читал про себя и только по временам гмыкал и приговаривал потихоньку:

— ...Оружия не брать... будем судить... будем освобождать... мясозаготовки не можем... можно заменить чем-нибудь другим... в выборах не участвовать... Так, значит, у вас советской власти не будет?

— У нас есть совет коммуны,— вставил я.

— Школа? Да, школа,— проговорил он в раздумье.— Не будете посылать в государственную — будем штрафовать родителей... Подумаем,— заключил он.

Очевидно, какие-то нам неизвестные указания на этот счет на места давались, но какой-либо цельной, официальной инструкции дано не было, по крайней мере мы ничего об этом не знаем. Из ВЦИКа дело перешло в Наркомзем, которому было поручено оформить практически наше переселение в порядке плановых переселенцев. Начинать надо было с выбора и закрепления участка. Выдал нам Наркомзем ходоческий билет. Тогда еще были в местах малозаселенных, где имелись свободные земли, переселенческие управления, которые встречали ходоков, давали им приют, снабжали продуктами, давали адреса и планы свободных участков и закрепляли выбранный ходоками участок согласно их ходоческому билету.

Нам указали большой район — Казахстан и Западную Сибирь. Можно было бы и в Восточную, но мы что-то туда не решились, далеко уж очень.

Ходоками были избраны я и Ваня Зуев от нашей коммуны и Иоанн Добротолов от сталинградской общины «Всемирное братство». В мае 1930 года ходоки тронулись в путь. Всего мы проехали не менее пятнадцать тысяч километров. Побывали в Ташкенте, Аулие-Ате, Фрунзе, Алма-Ате, Семипалагинске, Усть-Каменогорске и вверх по Иртышу чуть не до озера Зайсан, затем — Новосибирск, Щегловск (ныне Кемерово), Новокузнецк, в районе которого и закрепили за собой переселенческий участок на реке Томь, километров двадцать вверх по течению от Старого Кузнецка. Сколько мест мы осмотрели, сколько людей встречали, сколько событий. Ездили на поездах, на лошадях, шли пешком.

Ходоки вначале было остановились на участке в степном левобережье Иртыша, километрах в ста от него, в большом треугольнике между казакскими станицами Буконь, Баты и Чешлек. Только потом я понял, что это было бы большой ошибкой. Что стали бы мы делать в этой степной, безлесной местности? Конечно, там можно было бы заняться богарным зерносеянием и животноводством, но ведь большинство из нас стремились, как вегетарианцы, к овощному и даже садоводческому направлению хозяйства. Иоанн, знакомый с овцеводством, говорил, что здесь замечательные условия для разведения овец. Вдоль по речушке Чегилек растянется поселок. Можно будет отводить воды Чегилека на низменные места, прилегающие к реке, и развести хорошие поливные огороды. Может быть, все это было бы так, но кругом на сотни километров никакой промышленности, нет путей сообщения, куда же сбывать продукты, где брать средства на разные необходимые расходы? Но все же мы тогда решили остановиться на этом участке. Иоанн затесал кол, забил его и сказал: «Здесь будет город заложен».

Согласие местных властей было дано. Оставалось только на другой день сделать последние формальности, но, видно, кто-то «более политически развитый» подсказал им — и нам отказали. Сказали: «Переселенцы нам сюда нужны, но здесь недалеко граница, и нам нужны здесь люди боевые, а не вы». И, к нашему счастью, мне думается, мы покинули те места. Опять пароход вниз по Иртышу. Пыльный Семипалагинск. Поезд на север, на Сибирь. Ночью и наутро в окна нам глянули уже не пески и колючки, а березовые рощицы и зеленая травка, все такое близкое, родное, русское.

— Вот это нам подходит,— единодушно согласились три ходока.

Нас потом спрашивали: неужели вам в таких просторах и попались всего эти два участка — Кузнецкий да на Чегилеке,— неужели вы не могли подыскать место, пригодное для садоводства?

Да, не получилось тогда.

В благодатную Киргизию мы заезжали, но в том году переселение туда было закрыто. В Алма-Ате нас приветливо встретил начальник республиканских земельных органов: «Я слышал, что толстовцы хорошие хозяева, и мне хочется, чтобы вы работали у нас». И он предложил нам под самой Алма-Атой целый поселок с готовыми домами, с плодоносящими, хорошими садами, близ города, сбыт хороший, трудностей

почти никаких, одним словом — заходи, и живи, и ешь яблоки. Заманчиво было нам это предложение, но мы отказались. Из этого поселка недавно были вывезены его жители как зажиточные и не вступившие в колхоз.

От другого участка в Казахстане мы отказались, испугавшись ведения неизвестного нам поливного хозяйства, а главное, из одного источника должны были поливаться и земли переселенческого участка и земли местных жителей — казахов. Воды было не в изобилии, и мы не захотели споров.

В июне ходоки вернулись домой. Коммуна стала готовиться к ликвидации хозяйства. Но на нас висел приговор суда, нас могли лишить свободы, и я пошел опять к Смидовичу. Смидович при мне взял телефонную трубку и вызвал какого-то прокурора.

— Там у вас имеется дело таких-то... Они сами уезжают далеко в Сибирь... Я полагаю, дело это можно прекратить...

И на этом дело с судом кончилось.

Хозяйство свое мы сговорились передать психиатрической больнице имени Кащенко. Эта больница по окрестным деревням практиковала так называемый патронат, то есть спокойных душевнобольных раздавали на прожитие крестьянам за соответствующее вознаграждение, и на месте нашей коммуны они решили сделать как бы небольшое отделение больницы, ведающее делами таких больных. Всего они уплатили нам 17 тысяч. А Ворона нашего, уже тридцатилетнего, который из вороного стал седым и был еще крепким, купил за 100 рублей оди́н крестьянин и еще работал на нем.

Наркомземом нам как плановым переселенцам был предоставлен льготный тариф на проезд людей и на вагоны для скота и багажа. В марте 1931 года начали мы подвозить груз — сельскохозяйственный инвентарь, семена, продовольствие, картошку, личные вещи, фураж и так далее на станцию Канатчиково Окружной железной дороги. Лучших коров, телят и лошадей мы также увозили с собой. В отдельном вагоне, прицепленном к скотским, везли сено и корма на длинную и долгую дорогу. Дружно кипела работа по погрузке, чувствовался какой-то подъем. Коммуна бодро переходила к новому этапу своей трудовой жизни.

И вот 22 марта 1931 года и сами коммунарки погрузились в вагон поезда, следующего с Ярославского вокзала через Вятку, Пермь, Свердловск, Омск, Новосибирск, Болотное, Новокузнецк.

От станции Новокузнецк наши вагоны с грузом по веточке подали к самому берегу Томи и выгрузили все под открытым небом. Было начало апреля, таял снег. Дальше, километров двадцать, надо было перевозить все на лошадях. Лед на реке сначала вспучило посередине, а у берегов вода стояла по льду, а потом и по всей реке, поверх одряхлевшего уже льда, разлилась вода.

7 апреля погрузили на сани остатки багажа и тронулись через реку. Жутко было ехать по широкой реке, по воде, а под водой венадежный лед, промоины и трещинки, но наш обоз благополучно стал выезжать на правый берег Томи в Топольниках, и только последняя подвода провалилась сквозь лед, но было уже близко к берегу, неглубоко, и ее вытащили.

Так, благополучно, не растеряв ничего ни из материального, ни из духовного, закончила коммуна «Жизнь и труд» свое переселение из-под Москвы в Сибирь.

Безвозвратно.

Часть вторая

СИБИРЬ

Апрель 1931 года. В природе победно идет весна — сияющая, быстротечная, сибирская. На пустынный, не заселенный дотопе берег Томи стали группами и поодиночке съезжаться переселенцы. Открывалась еще одна страница истории русского народа, страница небольшая, но яркая и полная обнадеживающего смысла и силы.

Еще в августе 1930 года приехала сюда рабочая дружина из нашей коммуны — несколько человек. Они сколько смогли подготовили условия для переезда остальных. Вместе с ними зиму 1930/31 года жила группа членов сталинградской общины «Всемирное братство». Наша дружина построила один дом да три дома купила, накосила сена и просодержала зиму молодяк скота, привезенный из-под Москвы. Эти дома с приездом нашей коммуны и начавшимся массовым притоком переселенцев быстро заполнились до отказа. И сени, и чердаки, и навесы — все было занято, а народ продолжал прибывать с разных концов страны.

Приехали уральцы (по месту их последнего места жительства) — давно сжившаяся сельскохозяйственная артель, украинцы из разряда сектантов-субботников. Следует сказать, что эти субботники раньше жили с толстовцами и усвоили многие взгляды последних. Общее количество приехавших достигало нескольких сотен, весна быстро сгоняла остатки зимы. Почти все приехавшие были крестьяне, и первой их мыслью было — как скорее взяться за землю.

Тем временем встала другая не терпящая отлагательств задача: надо было как-то оформить взаимоотношения всех съехавшихся и их хозяйственную организацию. Как сейчас помню — под чистым небом на бревнышках и на траве разместились переселенцы, собравшиеся обсудить один вопрос: как будем жить? Было внесено предложение — всем составить одно целое с общим хозяйством и общим имуществом; однако, поразмыслив, пришли к другому решению — что не надо стеснять друг друга. Опыт жизни наших дружинников, их разговоры и высказывания говорили за то, что лучше объединиться не в одну, а в несколько организаций, объединяющихся по своим склонностям (коммуна, артель) и в зависимости от тех или иных руководящих убеждений каждой группы.

Было решено: уральцы составят сельскохозяйственную артель «Мирный пахарь» и поселятся по Осиновской щели с землями к западу от ручья Осиновка. Сталинградцы составят общину «Всемирное братство» и поселятся по щели Каменушке с землями к востоку от ручья Каменушка. И, наконец, подмосковная коммуна «Жизнь и труд» так и осталась коммуной с поселком на Томи и с землями в центре всего переселенческого участка. Это были три основных ядра, уже ранее, до переселения, сжившихся вместе, а все остальные переселенцы по мере прибытия знакомились с этими организациями и присоединялись свободно к какой-либо из них, смотря по своим склонностям.

Постепенно организовались еще группы: барабинцы, примкнувшие к общине, омские и внутри коммуны малеванцы, ручники.

В это первое лето 1931 года численность нашей коммуны «Жизнь и труд» достигла 500 душ, «Мирного пахаря» — до 200 и общины «Всемирное братство» — до 300 душ.

Рельеф нашего участка был очень волнистый. Одной из граней его с юга была река Томь с чистой, голубой, холодной водой, текущей с гор по каменистому дну, а к Томи с севера на юг тянулись щели (лога) с ручейками Зыряновка, Осиновка, Алмаатинка, Каменушка-первая, Каменушка-вторая, а далее, уже за гранью нашего участка, начиналась Горная Шория, и при впадении речушки Сухая Абашева в Томь стоял шорский улус (поселок) Абашево. А между щелями гривы с крутыми склонами, поросшими буйной травой, которую мы косили, и только вершины грив и пологие склоны шли под пашню. По логам и склонам кое-где рос лес — осинник, березы, а еще кое-где — сохранившиеся от прошлых столетий отдельные могучие корявые сосны. В логах, где пониже и посуше, травяная растительность достигала роста человека и выше, с разнообразными красивыми цветами.

Красота природы, нетронутость ее, тишина первозданная восхищали нас. А когда выйдешь наверх, на гриву повыше, то открывался вид, захватывающий дух: внизу, причудливо извиваясь, блестела светлая Томь, за ней на много километров растянулась ровная, покрытая кустами тала, черемухи, калины пойма реки, а дальше начинали подниматься все выше и выше одна за другой горы, покрытые синеющей тайгой, а на востоке в хорошие дни на самом горизонте иногда четко вырисовывались хребты и вершины Горного Алатау, покрытые снегом.

Старинная крестьянская бездорожная, без механизмов и машин глухая Сибирь, где даже обыкновенная телега далее, при подъеме в горы, уже становилась непригодной, а надо было садиться верхом и ехать тропой. А далее на восток по Томи к ее притокам Усе, Мрас-су, к далеким поселкам и золотым приискам ехали и везли грузы на долбленных лодках, на шестах, так как на веслах нельзя было преодолеть быстрое течение бегущих с гор рек. На запад от места нашего поселения до Старого Кузнецка, если идти под горами, не встречалось ни одного домика, а если идти низами, по реке, то было только одно большое селение Феськи (ныне Бойдаевка). Лето в 1931 году выдалось для этих мест на редкость сухое и жаркое, но настоящей засухи все же не было, а по утрам бывали такие обильные росы, будто дождик прошел. Первое время на дороге и по лугам было много змей.

Мы жили как бы на краю света. Вечерами, выйдя на гору, на западе можно было видеть зарево от огней новостроек Кузнецкстроя, а на востоке и юге — глушь и тьма. Там безлюдная, нежилая, непроходимая тайга по горам на сотни километров. Забегая вперед скажу: среди переселившихся оказались и такие, кого после возникновения первых трений с местными властями поманила эта глушь. Им захотелось уйти еще дальше, оторваться от мира с его суетой и основать новое поселение, где бы никто не мешал. И вот трое из сталинградцев — брат Иоанн и с ним двое других — отправились искать удобное место в тайге. Проходили они несколько дней и вернулись. Все с интересом слушали их рассказ. Сначала наткнулись они кое-где на пасеки, а еще дальше — никого, но по тайге, по крутым склонам, пробираться очень трудно. Внизу в логах травы могучие, духота, топко, а на горах тайга и тоже воды, родники, ручьи. Удобных для сельской жизни мест они не нашли, и эта мысль отпала.

По тайге бродили только охотники да золотоскателя.

От всех этих мест, от всей природы, жителей, уклада жизни веяло еще стариной, глухой Сибирью, но населенной крепким, бодрым, предприимчивым народом. Такая жизнь продолжалась при нас недолго, лет семь-восемь. На нашем участке открылось несколько больших угольных шахт. Провели от города к шахтам железную дорогу, появились мосты через Томь. Конный транспорт постепенно вытеснялся машинами, по бездорожью стали пролагать шоссейные дороги. На полях появились тракторы. Вошли в быт горожан электрический свет, радиовещание. По другую сторону Томи от Старого Кузнецка вырос большой современный город Новокузнецк (Сталинск). Но все это в дальнейшем.

А пока в далекую суровую Сибирь, под открытое небо, со скромным запасом продовольствия, а кто и вовсе без всяких запасов, почти без средств, кто в одиночку, а кто с семьями и малыми детьми, без всякой помощи от кого бы то ни было, а скорее окруженные каким-то любопытством и недоверием, съезжались в большинстве своем не знакомые раньше друг другу люди.

Кто были эти люди? Что влекло их сюда на большие лишения и труды, на жизнь, полную опасностей? Слово «толстовец» появилось от фамилии Толстой, но не в смысле выделения личности Толстого и не в смысле всеобщего признания его великим художником слова, а в смысле признания идей и учения Льва Толстого.

Шел сеятель с зернами в поле и сеял;
И ветер повсюду те зерна развевал.
Одни при дороге упали...

Сеятель сеял, ветер развевал, зерна падали в разные места, на разную почву, но эти зерна были живые, и они принимались и давали ростки и плоды.

Так появились толстовцы.

Движение это молодое, в нем нет традиций, устоявшихся веками. Сюда попадали и бывший «барин», появивший весь стыд и безнравственность своего положения и поставивший крест над своей прошлой жизнью; и забитый нуждой мужик, придавленный церковью, поработанный властью и вдруг осознавший свое человеческое достоинство и с благодарностью устремивший глаза и сердце к Толстому, открывшему ему правду; и студент, подходивший к диплому, обеспечивавшему ему уважаемое положение, но резко бросивший все и перешедший к главному и несомненно нужному труду — земледельческому; и солдат, обмывавший и погибавший в окопах мировой войны в утлуду могучим властителем и императором, вдруг познавший в себе человека, рожденного не для того, чтобы быть тупым военным рабом, а для блага и своего и общего, и решительно и бесповоротно воткнувший штык в землю и вернувшийся к мирной, трудовой, человеческой жизни; и рабочий оружейного завода; и эсер, и анархист, делавший бомбы, и командир бронепоезда, и красный партизан, и следователь ЧК, под влиянием идей Толстого ухודившие от своей политической деятельности и бравшиеся за плуг; и сектанты различных течений, появившие разумный и свободный дух толстовского учения и ушедшие от рабства библейской буквальности и дикости; и учительница казенной школы, отшатнувшаяся от губительной штамповки и калечения детских душ государством и с радостью принявшая идеи Толстого о свободном и нравственном воспитании детей.

Когда был жив Лев Толстой, нити от искавших правды людей тянулись к нему. После смерти Толстого остались его единомышленники, ученики и друзья. Общность стремлений влекла их друг к другу и сохраняла единение.

...Было так: ранее приехавших уже затягивали текущие хозяйственные дела, стройка, поле, сенокос, а переселенцы все подъезжали и подъезжали к нам. Всем им уделялись какое-то внимание и помощь. Снимали с пахоты лошадей, посылали привезти семью, имущество, если было, или давали совет — встать где-либо пока на квартиру в окрестностях, чтобы было где голову притулить.

Большим препятствием была Томь. Там, где теперь мост в Топольниках, тогда был паром, приводимый в движение лошадиной силой. Посреди парама стоял вертикальный вал с четырьмя водилами, как в конной молотилке, и четыре лошади ходили по кругу, вращая вал, передачи и колеса с плицами, сгребавшими воду. Быстрое течение реки сносило громоздкий паром, и, чтобы точно причалить к припаромку, погонщик нещадно бил кнутом по очереди бедных лошадей, рассекая им спины рубцами до крови. У парама часто было «завозно», и ждать очереди приходилось иногда по целому дню, а то и заночевать.

Некоторые привозили с собой кое-что из крестьянского имущества: повозку, плуг, корову, ульи, и даже несколько лошадей прибыло к нам, но большинство были налегке. Вновь приехавший обычно приходил ко мне, бывшему тогда председателем совета коммуны. Знакомились: чей? откуда? где семья? дадим лошадей, имущество есть? хлеб? деньги?

Далее разговор продолжался в таком духе:

— Зайди к Ульянову Коле (это был наш счетовод), запиши все; деньги ему, хлеб в кладовую. Вот где разместиться? Смотри — или здесь как сумеешь, или пока на квартиру.

— Питание?

— Общее.

Все у нас было просто. Никаких устоявшихся традиций еще не было. Некоторых, привыкших к другим формам жизни, это, возможно, несколько как бы ошарашивало. Я помню, приехал с Кавказа Никон Щелкунов с женой, горского вида женщиной, дочкой и сыном. Он приехал как раз к обеду и попал за стол, еще не повидавшись со мной. Щелкунов человек пожилой, выходец из какой-то секты, степенный и серьезный. Он с некоторым удивлением оглядывался на с шумом и смехом усаживавшихся за стол коммунаров. Он, может быть, ждал молитвы перед едой или хотя бы большего «благочиния» — этого не было. Он сидел через два человека от меня, и я слышал, как он спросил соседа: «А как же мне увидеть Бориса Мазурина?» «А вот же он», — указал на меня его сосед, и надо было видеть, какое удивление выразилось на его лице, когда он увидел молодого, ничем не отличающегося от всех остальных человека. Он, наверно, все же ожидал другого. Да, были и такие, и Щелкунов недолго прожил в коммуне, уехал обратно на юг, попал там в голод 1932 года, и все они умерли. В живых остался только один из его детей.

Хлеб у нас пока был привезенный с собой, одежда тоже была пока, а вот жилище стало главной заботой. Прекрасная, сухая, жаркая погода никого не обманывала. Быстро промелькнули летние месяцы, а впереди долгая, суровая сибирская зима. Надо думать, надо делать. У всех, во всех группах об этом шел разговор. Предлагалось много разных способов, как быстрее и легче построить жилье.

Бывшие жители лесных мест думали о лесе, но настоящего строевого леса на участке было мало. Везти издалека не устраивало, слишком трудоемко, нет транспорта. Бывшие жители южных мест говорили о глине, но и это было отвергнуто: сильно влажный климат этих мест был против. Уральцы делились своим опытом переселения с Украины в безлесные степные места Южного Урала. Они там запрягали в плуг несколько пар лошадей, прикрепляли нож-резак и по вековечной целине отваливали ровную длинную ленту крепкого пласта. Резали его лопатами на кирпичи и из них делали дом, сводя сверху сводом, при наименьшей затрате леса. К этому дому впритык (экономилась одна стена) строился другой и так далее. Получался быстро, из местного материала, теплый, длинный, многоквартирный дом. Этот способ привлек общее внимание. Сталинградская община применила его, и они жили в таких домах. Однако у нас в коммуне этот способ отвергли. Земля в наших местах оказалась хотя и черноземная, но рыхлая, рассыпчатая. Пласт получался некрепкий, разваливался. Таким способом, и то не сводчатый, был у нас построен один дом.

Выручило другое. Поселок наш вырос в основном все же бревенчатый. Шел тридцать первый год, будоражила в Сибири крестьянскую жизнь коллективизация. Многие крестьяне уходили из села на производство, уезжали в другие места, на золотые прис-

ки, кто куда, и продавали по деревням, и недорого, много построек. Вот и отправляли человек четырех с деньгами и топорами куда-нибудь вверх по Томи, в Буравково, в Безруково, в Атаманово. Покупали дом или амбар. Размечали, разбирали, подвозили к Томи, делали плот, садились на него и плыли к коммуне.

Здесь их уже ждали, встречали. Бревна вытаскивали, и дня через три-четыре стоял уже дом на нашей новой улице. Потом появлялся другой дом в линию, но отступив метров пять-шесть. А потом вспоминались уральские длинные дома, и пространство между двумя домами забирали двумя стенами, подводили под одну крышу, и получался трехквартирный барак.

Рубили лес и на своем участке, строили и из него. Применялся, особенно успешно для строительства скотных дворов, и третий способ: делался каркас из толстых бревен, а стены забирались кое-какими жердями. Между жердями густо выкладывалась глина, замешанная с длинной соломой. На эту глину клали следующую жердь, крепко пристукивали ее кувалдами и так далее. Глина с соломой сильно выступала на обе стороны, а когда она начинала затвердевать, женщины обмазывали еще слоем глины, выравнивая стены по-украински, и получалась плотная стена. Скотные получались хорошие, теплые. Работа кипела. Но форма этой работы наплась не сразу. Сначала было собрание, на котором решалось, как же будем строиться: сообща ли? или как уральцы — каждая семья себе?

Разговоров было много, но решили все же: раз коммуна — значит, сообща. Создали бригаду, благо плотников было много, и к зиме все вошли под крышу. Но как вошли? В каждом доме жили по нескольку семей. Сплошные койки, а некоторые одиночки, как Миша Благовещенский, ради экономии места ухитрялись подвесить свою койку на проволоке под потолком. Скученно было очень, но дружно. Помогло нам в стройке и то еще, что в тот год так называемый молевой сплав по Томи был произведен не по-хозяйски. Много бревен оставалось по берегам, в кустах, и вмерзало в лед. Весной этот лес был обречен на гибель, он все равно ушел бы со льдом в Ледовитый океан.

Нашлись свои пильщики, и одна-две пары распускали бревна на тес, на плахи. Пилили Вася Птицын, Ваня Сурин, Алексей Шипилов и я, Егор Епифанов, и Егор Иванов, и Василий Шинкаренко, и другие. Еще жилья было мало, а у молодежи родилась мысль построить дом, где они могли бы собираться, проводить свой досуг, заниматься. Обнаружили на Томи один заливчик, куда течением нагнало полно бревен. Зимой все это сковало льдом, а весной, когда лед на реке ушел, в заливе остался целый склад бревен. Взяли лошадей, цепи и за один день вытянули на берег штук до восьмидесяти прекрасных бревен. Распустили их пилой на однорезки и построили из них большой дом в центре поселка. И... сейчас же он всплошную заполнился койками, ведь жить-то надо было где-то!

Прибывшей с Киевщины большой группе малеванцев захотелось жить вместе в отдельном доме. Они облюбовали на дальнем краю участка место в сосновом лесочке. Народ все мастеровой, трудовой, и они быстро соорудили большой, длинный, многокомнатный дом, по-украински его вымазали и побелили. Потом они все же перешли в поселок коммуны — жить на отлете было скучней.

Другая потребность — одежда — пока еще не так давала себя знать, обходились тем, что было. Фаддей Заблотский как-то сказал: «Я пришел к убеждению, что в одном пиджаке можно проходить всю жизнь: где получится дыра, поставь заплатку, а на заплатке дыра — еще заплатку». Но вот третья, главная потребность — хлеб — вставала перед нами во всей своей остроте. Бывало, вечером, когда уже замолкнут все работы, придет ко мне кладовщик Коля Слабинский.

- Ну как у тебя с хлебом?
- Ой, плохо, всего дня на три осталось, как тает.
- Это хорошо, — скажу я.
- Чем же хорошо?
- Значит, люди здоровы, аппетит отменный...

Так пошутить, а потом ночью лежишь думаешь: а где же брать хлеб? Ведь семья-то не маленькая, 500 душ, коммуна, каждый делает свое дело и, проработавшись, придет к столу в уверенности, что кто-то позаботится, как и чем его накормить. А что тут можно придумать? Своего хлеба посеяли мало и засуха. Собрали всего 300 пудов пшеницы и ссыпали в амбар как неприкосновенный фонд — на семена на предстоящий

год. Картошки, овощей собрали, правда, достаточно, но и хлеб был нужен. Помощи мы и не просили и не получали ни от кого и никакой.

В других группах было еще труднее. Барабинцы собирали съедобные травы, сушили, толкли в муку и пекли лепешки. Попробовал я одну — горечь.

Как и в прошлый раз, когда надо было решить — как быть с жильем, — так и на этот раз собралось общее собрание (пришли все решить вопрос — как же быть дальше с хлебом?). И если на первом собрании были еще слышны голоса: «Пусть каждая семья строит для себя», то на этот раз таких голосов не было. Не было сомнений, что этот вопрос надо решать сообща. Коммуна ведь!

И выход нашли. Постановили: все взрослые трудоспособные мужчины уйдут на заработки. К этому, кстати, были благоприятные условия. Строился Кузнецкстрой, рос при нем город Новокузнецк. Жизнь там была трудная, и, чтобы привлечь и удержать рабочую силу, продовольственные карточки выдавались не только самому рабочему, но и на всю его семью.

И вот артель, человек 30—40, ушла работать на галечный карьер в Абагуре, грузить гальку на вагоны, конечно, тогда еще вручную, лопатами. Вторая такая же артель — плотники — ушла в тайгу по речке Сухая Абашева, на урочища Сиенка, Узунцы и другие строить бараки для спецпереселенцев, которых ожидал леспромхоз для заготовки леса. Меньшие группы и в одиночку расселись кто куда: и на Кузнецкстрой, и в садово-парковое хозяйство, и так — кто где. В этом стеснения не было, но было общее решение — на себя тратить только на необходимое питание, а весь заработок, а главное — все продовольствие, полученное по карточкам на семью, сдавать в кладовую коммуны. С этой целью каждую субботу высылались подводы — одна в тайгу, другая на Абагур, третья в город, и возвращались они нагруженными в основном печеным хлебом.

Вот так и жили зиму 1931/32 года, лето 1932-го и отчасти зиму 1932/33 года. В выходные дни приходили мужики, то есть работники, и делалось полно, весело и многолюдно, а на буднях оставались одни женщины да трое-четверо взрослых мужчин.

Летом 1932 года посеяли побольше и собрали больше хлеба, можно было всем возвращаться домой, к своему любимому труду. Надоело жить в отрыве от семьи, от своего общества.

К тому же и на работе стали обращать на коммунаров внимание. Давали себя знать некоторые особенности наших убеждений.

В тайге нашей бригаде приказали разобрать два дома в шорском селе Абашеве. Пришли, а оказалось, что это дом раскулаченного, в доме живет вся его семья и выходить из дому не хотят.

— Как же разбирать? — спрашивают наши.

— Разбирайте, да и все.

— Да ведь там живут!

— Разбирайте!

Наши посмотрели, постояли, повернулись и пошли. Разбирать не стали. Само собой разумеется, начальству такое поведение коммунаров не понравилось, и оно взяло их на заметку.

На Абагуре нашу бригаду очень ценили по труду — работали быстро, безотказно, в любое время, без пьянства, без прогулов, но подошла подписка на какой-то заем, кажется, на укрепление обороны. Наши подписываться не стали. Свой отказ от подписки на заем они мотивировали так:

— Во-первых, как мы можем давать займы, когда сами бьемся, чтобы только прокормиться самим и прокормить наши семьи. А во-вторых, мы не можем давать средства на военные дела.

Однако заемные деньги с них удержали при выдаче зарплаты. Облигаций наши не взяли. Тогда их пачкой принесли в барак и оставили. Наши запечатали их в конверт и отослали по почте обратно. Новая заметка, на этот раз большая.

Пора бы уж и закончить описание жизни коммуны, связанное с отхожими заработками, скажу еще только, что никто из коммунаров, бывших на заработках, не соблазнился остаться там, все вернулись, и никто не нарушил общего согласия — сдавать весь заработок в общую кассу, кроме одного молодого парня Фесика-младшего, купившего себе ботинки.

Надо коснуться еще одного важного вопроса: был ли состав коммуны вполне

однороден в смысле сознательного, идейного влечения к коммуне? Нет. Было довольно много людей, попавших в коммуну не по идейному стремлению, а в силу сложившихся обстоятельств, например, некоторые жены, дети подростки, но не захваченные этой идеей. Но это серьезное обстоятельство сглаживалось у нас тем, что большинство были крестьяне по жизни, и это совпадало с крестьянским уклоном толстовских убеждений.

Мы все любили крестьянский труд. Всю пытливость своего ума, жажду знания и творчества направляли на то, как лучше обрабатывать землю, в какое время и какими семенами сеять, как ухаживать за растениями и как вести уборку, чтобы труд давал хорошие плоды.

Помню, как однажды подошел ко мне, почти подбежал до крайности взволнованный тульский крестьянин Дмитрий Киселев.

— Борис, Борис! Да что же это делается? Да это же как нарочно вред делается! Да разве так убирают сено?! Да ведь у нас пройдешь прокос, а назад идешь окосьем, вал растряхиваешь, чтобы сохло скорей; днем поворочаешь, если день хороший, к вечеру в маленькие копешки, а на другой день их раскидаешь тоненько да за день раза два-три поворошишь, а к вечеру в копешки побольше, а потом смотришь по погоде, по траве — или в копнах доходит, или еще раз раскидаешь, досушишь. Так ведь сено-то — что твой чай! Как чай! А здесь что делают? — шумел он.

Я знал, что говорил Дмитрий; у нас под Москвой так же убирали сено, но сибирский климат, сибирский травостой нарушали привычное и делали его ненужным.

— Пойдем, — позвал я его.

Мы вышли недалеко за поселок, где по крутому, почти в 45 градусов, южному склону лежали сверху вниз скошенные два дня тому назад валы травы. За нехваткой времени их ни разу не переворачивали, не растрясали, а трава под горячими лучами солнца, быющего в упор, высохла. Высохла так, что ворочать ее дальше было бы только во вред, оббивать листья. Правда, сено было не такое душистое, как у нас на родине, но это уж от того зависело, что травы здесь были другие, подтаежные.

Дмитрий ворочал валы, шупал, мял и молчал. Нет, он еще не согласился, еще не отказался от своего, выработанного веками его предками способа уборки сена. Но... но он молчал: сказать было нечего.

Такие стычки происходили первое время часто. Надо было видеть, с какой пронырией смотрел житель средней России, какой-нибудь смоляк, как житель Средней Азии крепил косу к откосью длинным ремнем.

— Да разве так крепят? Мотай, мотай, а у нас кольцо, клин, быстро, крепко..

Затем шла проверка в работе. Оказывалось, и так хорошо и так.

Почти каждый привез с собой в мешочках, узелочках свои лучшие семена. Многие было испробовано в первое же лето. Так, посаженная у нас на южном склоне бахча дала хорошие арбузы, чего мы никогда не могли бы вырастить под Москвой. Мы радовались, но оказалось, что это помогло исключительное лето, в дальнейшем от посева бахчевых пришлось отказаться.

Южане предлагали сеять мак. Пятидесятипроцентный выход масла! Да какое масло! Но мак не сеяли — отпугнула трудоемкость. А вот волжане привезли семена горчицы, она требовала очень мало затрат труда и давала хорошие урожаи и хорошее масло. Так же хорошо созревали подсолнухи, только сорта пришлось подбирать. Привезли мы с собой из-под Москвы семена озимой пшеницы. Нам говорили, что в Сибири она нейдет. Но мы упорно года три сеяли ее, собирая совсем ничтожный урожай, пока не убедились на опыте, что нейдет она здесь.

Обо всем этом думали, думали еще тогда, когда и жилья-то еще не хватало. Думал и принимал к сердцу каждый труженик полей, а не как сейчас — один наемный агроном, на которого обычно возлагается вся эта работа, а непосредственно работающим на земле остается только более или менее добросовестно выполнять, что им велют. И даже если агроном попадаетея знающий, любящий свое дело, и то он зачастую не может самостоятельно делать так, как считает нужным, а должен выполнять директивы и обязательные рекомендации сверху.

Нет, мы шли не сверху вниз, пирамидально, наверху один, а вниз все шире и шире, а уж в самом низу, в основании — рабочие люди земли, — мы начинали снизу, от каждого, кто работает на земле сам. Но это не значит, что мы чурались агрономии, науки о земле, что мы не ценили трудов тех, кто работал в этом направлении; наоборот, мы искали их и обращались к ним. Так, послали Гитю Тюрка и еще кого-то в Омск на зерновую опытную станцию, и они привезли много разных сортов пшеницы, овса

и ячменя, и уже на второе лето нашей жизни в Сибири у нас было свое опытное поле, разбитое на аккуратные делянки. Уход за полем мы поручили Ивану Прокопьевичу Колесникову, воронежскому крестьянину-опытнику и садоводу. Я и Савва Блинов съездили в Барнаул, на Алтайскую опытную станцию масличных культур, и привезли семена горчицы — белой и черной, подсолнуха скороспелого «пионер Сибири», рыжика, льна.

Сергей Алексеев, любивший огородничество до такой степени, что даже говорил: «Огород — моя религия», эсперантист, писал своим заграничным друзьям, и нам присылали семена огородных культур из Болгарии и других стран.

Северяне держались за любимую ими брокву, незнакомую южанам, которая, кстати, дала богатый урожай и вместе с картошкой сильно помогла нам в питании первое время, когда с продуктами было трудно.

Сильно выручала нас первые годы гречиха, которую мало сеяли в Сибири, но которая прекрасно родилась, и мы ее сдавали в хлебозаготовки, тем более что сданный пуд гречихи засчитывали более чем за пуд пшеницы.

С первого же года или со второго были сделаны теплица и парники. Мы были пионерами разведения клубники, неизвестной ранее в этих местах, а теперь так распространенной вокруг Новокузнецка.

Мы не только выписывали семена, но с первых же лет завели у себя семенной участок. Это дело было поручено аккуратнейшему Ване Зуеву, и он вел его с большим успехом. Один раз, правда уже значительно позже, он вырастил на нашем семенном участке 80 килограммов первосортных семян лука-чернушки, в то время очень дефицитного; в возможность выращивания чернушки в Сибири агрономы не верили. Сибиряки вообще раньше мало занимались огородничеством. Бывало, вывезем на базар подводу огурцов — зеленых, некрупных, — подойдет какой-нибудь сибиряк и просит: «Ты мне выбери какой покрупнее, пожелтее, поспелей, похрустче...»

Наша огородная продукция имела неограниченный спрос в Новокузнецке — и на базаре и в столовых для рабочих Кузнецкстроя. Сдавали мы овощи и в столовые для иностранных специалистов — строителей, которые боялись Сибири и для предупреждения цинги перед обедом обязательно грызли сырую капусту. Под огороды мы распахали, выкорчевав редкие кусты, ровную площадь под горами, по пойме реки. Земля была пелинная, черная, рыхлая, овощи росли замечательно, да еще и семена попадались хорошие — болгарские, и урожай были огромные.

В Новокузнецке, не помню, в каком году, примерно в 1933-м, была районная сельскохозяйственная выставка. Наша коммуна приняла в ней участие. Наши коровы заняли первое место по удоюности; первое же место занял наш жеребец Овсадай, гордо проводимый по кругу Артемом Колесником, нашим конюхом. Наши овощи и клубника заняли также первое место, об этом писали в местной газете, но премией нас обошли. Нам было понятно почему — толстовцы. Мы были обижены и решили больше участия в выставках не принимать.

Свободный дух предприимчивости, не капиталистической, а коллективной, крестьянской, гаснет там, где работают за зарплату и по указке свыше. В коммуне не было директоров, прорабов, титульных списков, проектов, банковских счетов, ассигнований, смет, перечислений, проблемы кадров, норм выработки, разрядов, экономистов, целого взвода бухгалтеров, бюллетеней (больничных листов)... Не было всего этого громоздкого, скрипучего, бюрократического аппарата, убивающего любую живую инициативу рабочих и тормозящего дело.

Бывало обычно так. Возникла потребность в мельнице. Собираемся на производственное совещание. Помимо совета коммуны приходят все, кому интересно. Вопрос ясен — мельница нужна. Выдвигаются разные предложения, иногда самые фантастические.

— Томь бы запрячь! Вот сила!

— А как ее запряжешь?

— Давайте плот закрепим на якорях, а колеса чтобы течением крутило..

Заманчиво. Какое-то время это предложение обещается, но затем отвергается.

— Движок бы!

— А где он?

Поднимается Михаил Полбин.

— Помогите мне найти только шарик стальной, и через неделю будет мельница.

— Давай!

И действительно, он быстро соорудил небольшую мельничушку с вертикальным валом, вращающимся силой воды ручья Осиновки. Вода из ручья была пущена по другому, выкопанному выше руслу с менее крутым падением, постепенно отходя от старого русла в гору, затем падала в старое русло, но уже с высоты двух метров и силой падения вращала вал.

Хорошо росли у нас масличные культуры: подсолнух, горчица, рыжик.

— Вот бы маслобойку!

— А где ты ее возьмешь?

И сразу находились люди, знающие это дело.

— А у нас на Киевщине сколько их валяется, пропадает после раскулачивания!

— За морем телушка полушка...

— Пошлите меня, я привезу,— говорит Марко Бурлак.

— А кто тебе вагон даст?

Снова — стоп, но дело очень заманчивое, мозгуется всеми. И вот находится выход: использовать переселенческий билет замешкавшегося, еще не выехавшего к нам переселенца.

И появляются у нас и маслобойка и крупорушка, чего нет во всей округе.

Воду в поселок подвозили на лошади, бочкой, с Томи. Воды надо много, а возить ее порой было и грязно и тяжело.

Раз старичок Евгений Иванович Попов, гуляя с палочкой, наткнулся в щели выше поселка на хороший родничок. Подал мысль — отсюда недалеко и удобно сделать водопровод в поселок, вода пойдет самотеком. Родник расчистили, сделали срубик, доставили в городе, на складе утиля, трубы, и вскоре на нашей кухне, в пекарне, у парников стояли колонки с кранами. Вода была чистая, вкусная.

Направление нашего хозяйства создавалось огородное. Продукции было много, сбыт хороший, но дело упиралось в транспорт. Лошадей и так было мало для работы внутри хозяйства, а до города двадцать пять километров проселочной дороги, да еще через Томь, где паром часто создавал заторы.

Надо было искать выход, и его нашли. Мысль подали сталинградцы — использовать водную дорогу по Томи. Конечно, это было не ново, каждый день мы видели нагруженные лодки, идущие на шестах вверх по течению и плывущие вниз налетке по течению. Но лодка, даже большая, поднимала меньше полтонны. Сталинградцы подали мысль делать карбуза, род лодки, но гораздо больше и размерами и грузоподъемностью. Коммуна и завела два таких карбуза, каждый грузоподъемностью до шести тонн. Подводы с овощами заезжали прямо в воду к карбузу, и загружали его обычно с вечера. Два матроса часа за четыре доплавали его до места — левый берег Томи, против Топольников. Там мы сделали домик и при нем конюшню на две лошади. В домике постоянно жили сторож, он же и повар, и два возчика, они же и экспедиторы, которые развозили овощи по столовым, магазинам и на базар. Так же возили зерно, картофель и овощи на сдачу государству. Это было большим облегчением для коммуны, экономило много сил и средств.

Внешне, для постороннего глаза, наш поселок выглядел небольшой деревушкой с небольшими бревенчатыми и комбинированными — дерево с глиной — домиками Немного в стороне, ближе к Томи,— скотные дворы. По щели, откуда шел водопровод (ныне Капустный лог), расположились мельница, пекарня, сушилка, кузница, баня, амбар, овощехранилище. Немного выше над поселком, где теперь дорога на кладбище, стояло еще несколько домиков — горная улица.

На горе, над поселком, на голом взлобке начали мы и кладбище. Первым поселенцем там стал Еременко Андрей Павлович, мы же посадили там, на своих первых могилах, березки, которые сейчас разрослись уже в небольшую рощицу. Много дорогих могил оставила там коммуна, но, пожалуй, не меньше коммунаров покоится в безвестных могилах, рассеянных по бескрайним просторам Севера.

Если внешне наш поселок ничем не отличался от тысяч ему подобных русских деревень и если в нем жили люди такие же, как и во всех русских деревнях, с теми же достоинствами и слабостями, все же было в нашей жизни и что-то особое, свое. Это, не побоюсь сказать так,— дух Толстого.

Это не выразилось чем-нибудь внешне, как нередко недоброжелательно описывают первых последователей Толстого,— длинные бороды, умышленное опрощение в одежде, лапти и подделка под народный говор: «каво», «чаво». Нет, ничего этого не было, или, вернее сказать, все это бывало: и бороды у некоторых, и простая одежда,

и даже изредка и в лаптях бывал кое-кто, и некоторые говорили даже не только «каво», а иной раз выговаривали даже вместо «могила» «мутыла» и так далее, но во всем этом не было ни малейшей нарочитости.

Люди были искренне такие, какие они были.

Так же и в отношении религиозности. Напрасно было бы искать в нашей жизни признаки религиозности в том смысле, как это понимают церковники и безбожники: никаких обрядов, никакого культа, никаких молитвенных собраний — ничего этого не было. И даже если взять глубже, не было никаких догматов, катехизисов, программ, авторитетов, непререкаемых каких-либо писаний. Было свободное принятие того понимания и пути жизни, которое так сильно и ярко выразил Л. Н. Толстой, и это было не потому только, что так сказал Толстой, а и потому, что каждый чувствовал это в большей или меньшей степени и в себе, в своем сознании, в своей душе. Отсюда вытекала и терпимость ко взглядам всякого другого.

На наших собраниях можно было слышать иногда песни, не отражавшие толстовского мировоззрения, а сектантского содержания. Тут были песни и евангелистов (баптистов), и молоканские (духовных христиан) псалмы, и так называемые хлыстовские, или мормонские (на редкость музыкальные!), духовные стихи, и песни малеванцев, и добролюбовские, и многие другие. Все это, на мой взгляд, было своеобразной данью прошлому, откуда эти люди вышли. Вместе с тем у нас можно было услышать и теософскую песню, и индусский гимн Вивекананды, и излюбленную песню народовольцев «Медленно движется время...», и столь же известное стихотворение «Колодники».

Собственно толстовских песен было сравнительно не так много: «Слушай слово, рассветает...» и «День свободы наступает...» А. К. Чертковой, «Нам жизнь дана, чтобы любить...», «Счастливы тот, кто любит все живое...», «Учитель он был во французском селе...» Ив. Ив. Горбунова-Посадова. Пели и «Мирную марсельезу» А. М. Хирьякова, и некоторые стихи, сложенные самими переселенцами. Были некоторые песни от Евгения Ивановича Попова, любителя и собирателя народных мелодий («Нива моя, нива...»). Что же у нас не пелось совсем? Это были песни типа разинских («Выплывали... остроудые челны...»), затем «Когда б имел золотые горы...» и прочие.

Петь у нас любили и пели много, иногда с большим воодушевлением, но надо признать, что не очень-то складно. Лучше пели уральцы, но особенно хорошо — барабинцы.

По воскресеньям мы отдыхали, но и будни заполнялись не одним трудом. По понедельникам бывали производственные совещания. Все свободно принимали участие, и часто эти собрания превращались в живую, интересную и нужную беседу. По вторникам пели, разучивали песни. По средам — философский кружок, по четвергам — учительское собрание, на которое приходили и родители. По субботам — молодежная спевка, музыка. По воскресеньям — большие общие собрания, на которых кроме пения проводились чтения и беседы на самые различные темы. Зачитывались письма от друзей-единомышленников по нашей стране, а иногда даже из-за рубежа — от духоборов из Канады, из Болгарии из коммуны единомышленников. Один раз из бюллетеня пацифистской организации «Интернационал сопротивляющихся войне» (в Англии) мы узнали об одном итальянце, отказавшемся участвовать в шедшей тогда войне итальянцев против Абиссинии и присужденном за это к смертной казни. Мы послали ему от общего собрания коммуны приветствие и сочувствие. Не знаем, дошло ли наше приветствие и какова судьба этого мужественного человека.

В ту пору в письме нашему другу Ване Баутину, заключенному в Соловках и очень интересовавшемуся ходом нашего переселения, я писал: «Наша жизнь сейчас не надуманность, а живой поток вопросов, каждый день становящихся ребром и требующих ясного разрешения их, и последствия решений такие жесткие, суровые, что решать приходится серьезно. Особенно дорого единство, которое наблюдается во всех важных случаях, несмотря на многочисленные трения в мелочах».

Некоторые говорили: «Это вас нужда сбила в кучу, не будь коллективизации, не было бы и вашего переселения и вашей коммуны». Однако несостоятельность подобного воззрения ясна каждому непредубежденному человеку.

Первые коммуны в Самарской губернии зародились еще в 1918 году, а наша коммуна «Жизнь и труд» возникла в 1921 году. И многие, многие из переселившихся сюда к нам, в Сибирь, еще раньше объединялись для общего труда и общей жизни. А сколько после февральской революции 1917 года возникло коммун не на религиозной, а на

политической основе. Были коммуны и из вернувшихся в Россию американских ре-эмигрантов, которые, кстати, привезли с собой из Америки и инвентарь и сельскохозяйственные машины. Многочисленные факты говорят как раз о том, что мощный толчок к возникновению самостоятельных сельскохозяйственных коммун (как на политической, так равно и на религиозной основе) дала вовсе не коллективизация, а февральская революция. На мой взгляд, на долю коллективизации выпало нечто обратное — свести все эти подлинно самостоятельные коммунистические организации на нет, заменив инициативу в них узкими рамками казенного колхозного устава.

Я приведу здесь далеко не полный список известных мне подобных объединений: Тайнинская сельскохозяйственная артель — Перловка Московской области.

Сельскохозяйственная коммуна имени Л. Толстого — Воскресенск Московской области.

«Бодрая жизнь» — коммуна в Калужской области.

«Селещина», «Братская жизнь» — Полтавская область.

«Берег» — Крым.

Алма-Атинская община — Алма-Ата.

«Всемирное братство» — Царицын.

«Царство света» — Украина.

Поселок «Всемирное братство» — Самарская область.

«Единение» — Тульская область.

Община в селе Раевка — Башкирия.

Коммуна Дм. Моргачева — Орловская область.

«Кривница» — Геленджик, Черноморское побережье.

«Брезки» — Московская область.

Клинская коммуна — Клин.

Много коммун и общин на Смоленщине, во Владимирской и Ивановской областях, в Брянской, Саратовской, Харьковской. Сюда следует причислить малеванские объединения на Киевщине, самостоятельные артели «Братский труд», «Знамя братского труда» в Самарской области и много, много других.

Отношения наши с внешним миром, с органами местной власти и отдельными ее представителями складывались с первых же дней и даже ранее, со дня приезда рабочей дружины, не гладко. Кончая тридцатым годом, порядок был такой: переселенцы на время данных им льгот (нам — три года) находились в ведении переселенческой администрации, а не сельских и районных Советов. Отводило нам участок переселенческое управление, а когда мы приехали в тридцать первом, его уже не существовало и мы попали сразу в ведение райземотдела и сельсовета. Они, конечно, знали, что нам как плановым переселенцам предоставлены льготы в отношении хлеба и прочих поставок, в отношении налогов, трудовых повинностей. Но вот прилют на район цифру заготовок, район распределит на сельсоветы. Требуется много, собрать трудно, почас непосильно для молодых колхозов. А в Есаульском сельсовете мы, переселенцы, составляли большую часть населения, — соблазн большой! — давайте дадим и толстовцам нагрузочку. И давали, и брали. Мы протестовали, обращались выше, оттуда указывали, но... все же ежедневно мы имели дело с теми, кто был рядом, с местными представителями властей. Им указывали, но им, конечно, было больше доверия. И они из двух зол — не выполнить план заготовок или нарушить какие-то переселенческие льготы, да еще данные каким-то толстовцам, — понято, выбирали меньшее.

Еще в первую зиму 1931/32 года с нас потребовали сена. Мы ответили, что мы плановые переселенцы и вам даны льготы на три года, и сено не повезли.

Один раз у нас было воскресное собрание. В столовой собралось много народа, все взрослые. Вдруг вбежал взволнованный Андрей Самойленко:

— Там приехал целый обоз из города и накладывают наше сено.

Все были очень взволнованы: не дать! Но все же, несмотря на возмущение, было принято разумное решение — никому не выходить, продолжать собрание. «Это их дело, наше — не раздувать зла». И когда мимо окон столовой поехали один за другим воза, нагруженные нашим зеленым трудовым сеном, с особым воодушевлением зазвучали в зале слова песни:

Буря грозная настанет,
то предвестие зари.
Пред властями и царями
не склоняйте вы главы.

Мощно звучали голоса, и по спине бежали мурашки от наплыва чувств. Ни страха, ни жалости об отнятом; не озлобление, а спокойная, твердая решимость — быть на своем, не становиться на путь взаимной злобы.

Увезли сено. Сено было пробным камнем. Никто не остановил их, никто не указал на незаконность. И так пошло и далее и далее — непрерывная цепь недопониманий, трений, требований, которые мы как плановые переселенцы не должны были выполнять, заданий посевов, превышающих количество пахотной земли, которая за нами числилась. Задание давалось, а дальше дело шло автоматически — поступало в канцелярию. Согласно заданию посева давалось задание на поставки продуктов, райфинотдел выписывал налоги, и все это уже имело силу закона: не выполнять нельзя, выполняй и доказывай свое законным путем через соответствующие инстанции. И мы шли и доказывали. Но в районе этими инстанциями были как раз те, кто дал незаконное задание. Писали в край, а в ответ или молчание, или — «выполняйте!».

Обращались выше, в Наркомзем, там жались: «Обращайтесь во ВЦИК, там вашим делом ведают, нам неудобно, вам самим удобнее туда обратиться». Обращались во ВЦИК, там разбирались, понимали, давали на места указания, но тут продолжалось то же.

Много было столкновений из-за лесозаготовок. Ежегодно осенью присылались нам (как и всем колхозам) предложения выслать на лесозаготовки столько-то людей, столько-то лошадей, заготовить столько-то кубометров. Лошадей у нас остро не хватало летом, но и зимой была им полная нагрузка — вывозка сена и соломы по глубоким снегам и горам, подвозка топлива, вывозка навоза к парникам и так далее, без конца. Весной с лесозаготовок лошади возвращались вконец вымотанные и не успевали набраться сил для предстоящих весенних работ. И мы отказывались ехать на лесозаготовки и давать лошадей. Лошадей у нас забирали сами, помимо нашего согласия.

Раз осудили у нас несколько членов совета коммуны за невыполнение лесозаготовок. Общее собрание командировало меня в Москву добиваться правды. Добрался я до Сольца, занимавшего тогда высокий пост и о котором шла слава как о старом большевике, очень внимательном и справедливом. Он прочитал наше заявление о невиновности наших осужденных товарищей, что не совет коммуны решал вопрос о лесозаготовках, а общее собрание и что доводы наши вот такие и такие. Он прочитал, написал какую-то резолюцию и сказал: «Идите в кабинет такой-то». Я пошел было, подошел к нужной двери, но что-то меня удержало; я отошел в сторону, к окну, и прочитал, точно не помню, но смысл такой: им мало дали, надо пересмотреть и увеличить срок. Я сунул бумагу в карман и уехал в Сибирь.

Я не буду перечислять все эти стычки, слишком их много было, да и не могу, позабылось уже многое, но все это привело к тому, что Кузнецкий райисполком поставил — нашу коммуну ликвидировать.

Прислали бумажку, но она не произвела на нас никакого впечатления, слишком нелепо это было. Мы продолжали так же жить и трудиться, как жили и до этого. Но вот приехал представитель от райисполкома с предписанием — отобрать у нас печать и устав.

В небольшой комнатке собрались совет коммуны и много членов коммуны. Настроение было очень возбужденное. Представитель тоже горячился, стучал по столу кулаком, требовал подчиниться — отдать ему печать и устав. Наконец сказал: «В последний раз спрашиваю — отдадите печать?» «Нет!» И тут случилось неожиданное: он совсем другим тоном, спокойно и даже дружелюбно, крепко пожав мне руку, как председателю коммуны, сказал:

— Ну ежели так, то так и держитесь крепче, только так чего-нибудь и добьетесь. Видно, простой и искренний рабочий человек понял в нас таких же людей и почувствовал. Спасибо ему.

Нашлись в коммуне свои Несторы-летописцы, которые записывали все события, протоколы, документы, факты. Во время «сабантуя» 1937—1938 годов все это погибло. Чудом уцелели только кое-какие отдельные бумажки. Вот одна из них:

«Кому: т. Смидовичу П. Г., Западно-Сибирскому крайисполкому и Кузнецкому райисполкому, Наркомзему РСФСР.

Выписка из протокола № 38.

Заседание от 2 марта 1932 года

Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов.

С л у ш а л и: Постановление Кузнецкого райисполкома Западно-Сибирского края от 23 ноября 1931 года о роспуске толстовской коммуны «Жизнь и труд».

Постановили: 1. Обратить внимание Западно-Сибирского крайисполкома на нарушение Кузнецким райисполкомом постановления Президиума ВЦИК от 20 июня 1931 года о поселении толстовской коммуны и сельскохозяйственных артелей в Кузнецком районе Западно-Сибирского края.

2. Предложить Западно-Сибирскому крайисполкому:

а) немедленно отменить решение Кузнецкого райисполкома от 23 ноября 1931 года о роспуске коммуны «Жизнь и труд»;

б) рассмотреть хозяйственные вопросы, связанные с восстановлением и укреплением коммуны «Жизнь и труд», и принять необходимые меры.

3. Предоставить коммуне «Жизнь и труд» на общих основаниях установленные законом льготы для переселенцев.

Документ ясный, но его значение сказалось только в том, что постановление райисполкома о роспуске коммуны было отменено, но указание о предоставлении нам переселенческих льгот так и осталось невыполненным.

Но в отношении военного учета и воинской обязанности, очевидно по указанию из Москвы, с нами считались.

Летом 1932 года пришли повестки — явиться для зачисления на военную службу Леве Алексееву, Феде Катруху и Егору Гурину.

Егор не пошел совсем, а Лева и Федя явились и заявили о своем отказе служить.

В октябре 1932 года состоялся показательный суд. Лева дали пять лет и Феде четыре года заключения.

Коммуна обратилась в Президиум ВЦИК с заявлением, в котором говорилось, что мы никогда не скрывали своего отрицательного отношения к военной службе, что многие из нас еще в царское время носили каторжные цепи за это же и мы просим почитаться с искренностью наших убеждений и заключенных освободить.

И они были освобождены примерно через полгода.

Вспоминая первое время нашей жизни на новом месте, хочу остановиться на двух представителях местной власти, с которыми приходилось иметь дело. Первый — Садаков, начальник районного земельного отдела. У нас был существовавший тогда примерный устав сельскохозяйственной коммуны, но мы в него добавили несколько слов о том, что членами коммуны могут быть единомышленники Л. Н. Толстого, отрицавшие насилие человека над человеком. Садаков никак не хотел регистрировать такой устав, но один раз я как-то сумел его убедить, и он поставил свою подпись и печать райисполкома. Но вскоре он опомнился, что это могут ему посчитать за большой политический промах, и всячески старался заполучить этот устав обратно, но это ему не удалось. Так он и жил у нас, этот устав, и козыряли мы им не раз на судах, когда нас обвиняли, что коммуна наша незаконная.

Садаков (или сам взял на себя, или ему это было поручено) старался переубедить, перевоспитывать нас. Роста немного ниже среднего, со светлыми, торчащими вихрами, в серой кепчонке на затылке, просто одетый, в кирзовых сапогах, а главное — своим характером, убежденным и настойчивым, простотой в отношениях он напоминал хорошего большевика первых лет революции, еще не успевшего подернуться начальственным и бюрократическим налетом. На его горячие речи он выслушивал наш — не менее горячие — и, кажется, начинал немного понимать нас.

Второй, кто вспоминается, был Попов, начальник кузнецкого НКВД. Вел себя просто, но чувствовалось, что это не садаковская простота, а напускная. Со мной, как с председателем, он и вовсе взял тон дружеский, запанибратский. Бывало, увидит где-нибудь в городе на улице, издали кричит: «Здорово, Мазуриц!» Раз был он у нас в поселке, сидели на бревнышках, беседовали. Я ему и говорю:

— Ты не думай, что мы считаем тебя за какого-то начальника.

— А за кого же? — спросил он.

— Да за такого же человека, как и все.

Он согласился:

— Это, конечно, так...

«Когда тебе что-нибудь надо, заходи ко мне запросто», — говорил он мне. И вот такой случай представился. Один наш, еще подмосковный, коммунар Фаддей Заблотский отбывал ссылку где-то на Севере, и с ним там же отбывал ссылку один духовбор из Канады по имени Павел. Больше мы о нем ничего не знали. И вот этот Павел, по окончании срока ссылки и не имея в России никого из родственников, узнал от

Фаддея, что есть такая коммуна, взял и поехал к нам. Но он не доехал — его арестовали.

Узнав, что он в Кузнецке в милиции, я пробрался под окошко камеры и попросил позвать к окну Павла. Он подошел, я сказал, что я из коммуны, немного поговорили, и я обещал ему похлопотать за него. Пошел я на улицу Свободы, попросил пропуск к Попову. Сразу дали. Зашел в кабинет, он встретил меня очень радушно:

— В чем дело?

Я рассказал о Павле и добавил, что человек этот, хотя несколько странный и резкий на словах, но во всяком случае очень мирный и неплохой человек, и попросил опустить его жить к нам.

— Эх, вот досада! — воскликнул Попов. — А мы только вчера дали ему еще пять лет!..

С тех пор о Павле мы больше ничего не слыхали.

На этом случае, пожалуй, и закончились наши приятельские отношения с Поповым. Потом пошли другие...

Дошел до этого места и просто даже не хочется писать дальше.

Что ждало нас впереди?

Аресты, суды, заключения, тюрьмы, этапы — все такое постылое, дикое и ненужное.

Какое же это счастье «жить вовсю»! Какую полноту жизни создавала «жизнь вовсю», то есть никого не давить и ни перед кем не пресмыкаться, говорить открыто правду и поступать так, как хочешь, с тем только непременным условием, чтобы не повредить другому; жить радостно, без озлобления и без малейшего страха.

Помню, как уже много позднее, в лагерях, мне стало больно, когда я услышал по своему адресу от одного жулика:

— Прищуренный...

Это выражение на его языке означало, что я уже утратил способность «жить вовсю», быть свободным человеком даже в неволе. Такой обиды я не переживал еще ни от каких ругательств, ни от какой клеветы, как от этого слова «прищуренный». А может быть, оттого мне было так больно, что я почувствовал в этом какую-то долю правды?

Так вот это и было главным содержанием нашей жизни тогда в коммуне — жизнь с глазами и сердцем, широко открытыми на весь Божий мир, «жизнь вовсю», без «прищуря».

Я уже говорил, что мы решили сделать водопровод, и вот от этих водопроводных труб и начались события, о которых я расскажу сейчас. Димитрий Моргачев, уполномоченный коммуны по закупкам и сбыту продукции, нашел в утильскладе Кузнецкострой нужные нам трубы. Оплатил и оформил документы, взял двух лошадей и одного мальчика в помощь и поехал за ними. Но к вечеру назад вернулся один мальчик с двумя пустыми подводами.

— А где Димитрий? А где трубы?

Оказалось, на обратном пути их нагнал Попов с милиционером, трубы свалили в феськовском колхозе, а Димитрия забрали.

На другой день я поехал искать Димитрия. Дня три ходил то в милицию в Старом Кузнецке, то в Первый дом, к Попову, но и тут и там мне говорили: «Моргачева у нас нет. «А где он?» — «Не знаем».

Я растерялся: как же так? И гут, в ожидалке Первого дома, я увидел людей с узелками. Оказалось, это с передачами для заключенных в камере предварительного заключения при Первом доме.

Приготовив небольшую передачку, я на другой день подал ее в общем порядке: «Моргачеву». И... получил в ответ маленькую записочку: «Все получил, спасибо. Моргачев».

Так мне стало обидно на Попова: врет в глаза, а зачем?

На другой день я опять иду в Первый дом, а на душе чувую: «Не ходи». Но идти надо, не покидать же товарища в беде!

Опять беру пропуск к Попову. Опять такой же любезный встречает меня в своем кабинете.

— Ты что опять, Мазурин?

Я молча достаю бумажку с подписью «Моргачев» и кладу ее на стол.

Попов покраснел весь.

— Подожди, я сейчас! — и вышел.

Потом вошел другой, незнакомый мне военный и сказал:

— Пойдемте со мной!

Мы спустились в первый этаж и пошли длинным коридором, по обе стороны которого были глухие двери с волчками. Потом я слишком хорошо узнал эту КПЗ.

В конце коридора одна комната была открыта, и в ней сидел один военный, и мне сказали: «Посидите здесь».

— За что арестован? — спросил меня дежурный.

Я понял все, но согласен с этим не был и ответил, что я не арестован, что я человек свободный.

— Ну да? — недоверчиво сказал дежурный.

Вскоре подошла смена. Старый дежурный сдавал, новый принимал заключенных, отпирая двери камер и считая заключенных, которые становились в ряд лицом к двери. Когда открыли дверь камеры против дежурки, заключенные встали там в ряд, а оба дежурных и еще двое из охраны стали их считать, стоя ко мне спиной, я не долго думая тихими шагами прошел сзади их спин и пошел по коридору. Они не заметили. В конце длинного коридора, у выходной на улицу двери, сидел на табуретке часовой с винтовкой и штыком, на который были наткнуты пропуска выходивших из этого дома. У меня, конечно, никакого пропуска не было, но я шел решительным шагом, не обращая внимания на часового. Он приподнялся и сказал: «Пропуск». «Без пропуска», — отвечал я не останавливаясь, и он сел, а я взялся за ручку выходной двери. Там улица, свобода, но сзади по коридору послышался тяжелый топот бегущих ног и крики: «Держи, держи!»

Меня схватили, конечно не очень деликатно, так что рубаха затрещала, и заперли в уборную. Я достал свою записную книжку, вырвал адреса, какие были, чтоб никого не замешивать, и спустил все в уборную. Вскоре пришел комендант.

— Который тут власти не признает? — И повел меня опять наверх, в кабинет начальника НКВД (Попов тогда был уже помощником).

Начальник сидел за столом, там же был и Попов.

— Как же это ты задумал бежать?

— А я не бежал, я ушел, как человек свободный.

— Какой ты свободный! — дико заорал Попов, с матерной бранью засучивая рукава и подсакивая ко мне — бить.

Я стоял спокойно, повторяя: «Я человек свободный». Попов все же не решился меня ударить, высоко занесенная рука опустилась.

В камере было очень тесно и несметное количество клопов. Я нашел себе место под нарами, там было попросторнее, и мне хотелось быть одному. Успокоиться. Утром и вечером происходили проверки. Все выходили в коридор и строились в две шеренги.

А на шута мне эта комедия! И я не стал выходить на проверку. Меня вытащили из-под нар за ноги и вывели в коридор, а потом в карцер.

На другой день привели в кабинет начальника арестного дома. За столом сидел, опустив голову, большой, крепкий человек с серьезным, суровым и немного грустным лицом. Он поднял голову, пристально посмотрел на меня и спросил тихо:

— Почему на проверку не становитесь?

— А почему я должен становиться перед вами? Что мы, не одинаково родились на этот свет? Не одинаковые люди?

— Это верно, — все так же тихо сказал начальник, — но видишь, мы тут работаем, нам надо сосчитать всех, а в камере тесно, сосчитать невозможно. Я тебе советую — становись на проверку.

— Хорошо, — неожиданно для самого себя ответил я. Не знаю, почему так получилось. Наверное, потому, что он говорил серьезно, тихо и просто, по-человечески.

А в коммуне в это время произошло вот что: к вечеру приехали на ходке два человека и попросились переночевать. Их пустили. Встали они рано, запрягли ходок и подъехали к крыльцу дома. В это время на крыльцо вышел Клементий. Один из ночевавших неожиданно повалил Клементия в ходок, вскочил на него верхом и наставил на него револьвер. Другой вскочил на козлы и пустил лошадь вскачь по улице. Было рано, улица была пуста, но случайно оказавшаяся там Нина Лапаева схватила Клементия за ногу и так бежала с ходком рядом и громко кричала:

— Клементия украли! Клементия украли!

Так его увезли, и он оказался в арестдоме; я узнал об этом, услышав в коридоре голос, вызывавший фамилию «Красковский».

В это время в сталинградской общине Иоанн Добротолобов, Эммануил Добротолобов и Василий Матвеевич Ефремов были у реки, смолили лодку. К ним подъехали и арестовали. Они полегли, как это в свое время делал Сережа Попов в подобных случаях: когда его арестовывали и предлагали следовать, он не подчинялся, ложился и говорил: «Дорогие братья, я не хочу развращать вас своим повиновением». Их уложили на подводу, как они были, без шапок, босиком, налегке. В Первом доме они объявили голодовку и дней десять не принимали пищу в знак протеста. Так прошло недели две. Моргачева отпустили домой. Трубы наши увезли в коммуну. Водопровод сделали.

Нам, пятерым, вели следствие. Следователь по фамилии, кажется, Веселовский, молодой, приятный человек. Раз я сидел у него в кабинете, он что-то записывал, и я ему сказал:

— Бросили бы вы заниматься этим ненужным делом. Сами время зря проводите и людей от труда отрываете...

— А что же мне делать? — спросил Веселовский.

— Мужик здоровый, шел бы сено косить, пользы больше было бы...

Веселовский громко и искренне захохотал. В это время в кабинет вошел Попов.

— Попов, Попов,— продолжая весело смеяться, воскликнул Веселовский,— ты послушай, что он нам предлагает. Бросить наше вредное дело и идти сено косить!

Попов кисло скривился и вышел.

— Нет, Боря,— перестав смеяться, сказал Веселовский,— я человек уже испорченный и не гожусь уже сено косить...

Раз как-то, часа в четыре дня, меня и Клементия вызвали из камеры в коридор. Там уже стояли, прислонившись к стене, бледные и худые после десятидневной голодовки, Иоанн, Эммануил и Василий Матвеевич, все так же босые, без шапок, в длинных рубахах враспояску. Мы поздоровались.

Куда это нас? Оказалось — на суд. По позднему времени, по тому, что не было никого из коммуны, мы поняли, что нас хотят судить гайком, чтобы не было лишнего шума, как и арестовали нас без всякого основания. Нас это возмутило, и мы тут же решили, что принимать участие в этом суде не будем.

Суд в то время находился в одном из барakov, длинных, низких, дощатых, какими тогда (1932) временно был застроен Сталинск. Перед дверями суда мы остановились и дальше не пошли. На все вопросы: «Почему?» — мы молчали. Двое взяли меня под руки и повели, так же повели и Клементия. А сталинградцы полегли на землю. Их брали двое за руки, а третий за ноги и так тащили по узким проходам к дверям барака. Случайная публика с недоумением смотрела на эту необычную картину, происходившую серьезно, в полной тишине. Наконец нас усадили на скамью подсудимых. В пустом зале собралось несколько человек, заинтересовавшихся происходящим, и охрана.

— Встать! Суд идет! — раздался громкий возглас. Вошли судьи, мы сидели.

— Встать! — закричал судья.— Вы что, глухие?

Мы молчали. Судьи постояли, переговорили о чем-то между собой и сели.

— Вам известно, в чем вас обвиняют? — Молчание.

— Как ваша фамилия? — спрашивают первого. Молчание.

— А ваша? — Молчание.

Молчали и третий и четвертый. Я сидел пятый.

— Ваша фамилия? — Молчу.

— Снимите фуражку! — Молчу и не шевелюсь. Сзади кто-то подошел, снял с меня фуражку и положил рядом.

Говорить — надо делать усилие, но насколько же труднее молчать и насколько силен и красноречив этот язык!

— Так вы хотите знать, в чем вас обвиняют? — Молчание.

Зачитали обвинительное заключение, какие-то надуманные, незначительные, слабые обвинения.

Опять опросили всех по очереди, не желает ли кто сказать по предъявленному обвинению. Все молчали. Молчали подсудимые, полная тишина была в зале, только говорили судьи — то спокойно, то теряя самообладание, явно нервничая.

— Вызвать свидетеля!

Вошел Фатуев, председатель Есаульского сельсовета. Он стал говорить, что мы,

толстовцы, агитируем население, что Красковский давал ему книжечки Толстого о войне и государстве.

И тут Клементий не выдержал.

— Что ты врешь? — воскликнул он, вскочив с места. — Ведь ты же сам просил дать тебе почитать что-нибудь из Толстого!

— Подождите, подождите, подсудимый, вам сейчас будет дано слово! — обрадованно воскликнул судья.

Молчаливое напряжение, царившее в зале, было прорвано, в публике тоже послышались облегченный вздох и легкий смех. Клементий понял свою промашку, сел и опять замолчал.

Так и закончился суд. Больше никто из нас не сказал ни слова. Приговор был — мне и Клементию, как членам коммуны, имевшей зарегистрированный устав, дали, кажется, 109 статью, должностную, заключение сроком на полтора года, а сталинградцам, как не имевшим официального устава, дали 61-ю — невыполнение государственных заданий, сроком по два года каждому.

Арест был незаконный. Обвинение дутое. Приговор легкий — лишь бы удалить «головку» от обманутой массы, как думали они.

Суд кончился. Судьи ушли. Мы сидели и молчали. Ко мне подошел Веселовский.

— Пойдем, Боря! — сказал он мягко.

Я встал и пошел. Пошел и Клементий. А тех троих из суда выносили таким же способом, как и заносили.

Коммуна, конечно, обратилась в Москву во ВЦИК. Приговор был отменен, и мы, пробыв месяцев шесть-семь в заключении, были освобождены. Но мне и Клементию было запрещено проживать в коммуне.

Кстати скажу, и раньше, и на этот раз, и после, когда кто-либо из членов коммуны бывал в заключении, им всегда помогали. Посылали специальных людей, которые ехали, привозили передачи, деньги, одежду и целую кучу писем из коммуны, которые передавались, конечно, как-нибудь тайком. А потом с восторгом читались где-нибудь у костра в тайге.

...А жизнь в коммуне шла своим чередом. Мы с Клементием вернулись, но над нами висело запрещение проживать.

Осенью 1933 года мимо поселка коммуны проехал большой обоз порожняком по направлению к общине сталинградцев. Подъехали к их поселку и приказали собираться и грузить вещи.

Куда? Зачем? Оказалось, есть постановление (не знаю чье) об их выселении. Они не шли. Но все же их погрузили, и их земляной поселочек опустел.

Осенью, без средств, всех — и старых и малых — оторвали от их жалких хижин и повезли в неизвестность, на новые, пустые места суровой Сибири.

Выселяемых переправили на другой берег Томи. Длинная процессия вступила в поселок Абагур. Они шли медленно и все цели, а по сторонам все нарастала и нарастала толпа жителей поселка.

Привезли их к Абагурской гавани. Туда подали состав товарных вагонов, все погрузились, и вновь песни. Поезду давно уже надо было трогаться, а машинист стоял у вагона и, как только кончалась одна песня, просил:

— Ну спойте еще одну!..

В Новосибирске всех погрузили на баржи, и под звуки песен баржи поплыли вниз по Оби. Высадили их на пристани Кожевниково и поселили в местности, называемой по имени протекающей там речки — Тека.

И там они не пропали. Первую зиму прожили по избам местных крестьян, а с весны стали возводить себе землянки и домики на новом пустом участке и разделять землю ручным способом, так как скота у них уже не было.

Каковы же были причины этого выселения с нашего участка, выселения, которое, надо думать, было санкционировано кем-то свыше? Дело в том, что наша коммуна и артель «Мирный пахарь» имели уставы, зарегистрированные в земельных органах, община же «Всемирное братство» и примыкающие к ней группы отказывались иметь устав и регистрировать его. Они не желали становиться на учет в сельском Совете, называть свои фамилии представителям власти, принимать и выполнять какие-либо обязательства и платить налоги.

Многим из наших переселенцев это казалось более последовательным с точки зрения чистоты идей Толстого, вольной, безгосударственной жизни. Привлекала и вы-

звала сочувствие та твердость, с какой члены общины принимали репрессии за свою жизнь и свое поведение, и позднее на новое место их поселения уже добровольно, по своему желанию, уезжали некоторые и из нашей коммуны и из артели «Мирный пахарь».

Нам понятны были их побуждения, и мы сочувствовали им, но все же мы стояли на той точке зрения, что хотя мы и не разделяем в идеале форм жизни государственной, но должны считаться, что все вокруг живут в этой форме, должны находить какой-то общий язык и налаживать человеческие взаимоотношения, тем более что мы и сами обращаемся часто к ним. Мы видели, что мы и сами далеко еще не свободны от тех же недостатков, какие присущи и окружающим, и нам не следует слишком гордиться и отгораживаться, надо поступаться некоторыми своими интересами, но крепко держаться того, что было наиболее главным и уже прочно усвоенным нами, от чего мы уже не могли отступить.

Эта точка зрения была менее привлекательна, но более соответствовала нашему не надуманному, а действительному нравственному уровню.

Общину «Всемирное братство» от нас вывели, но на нашем участке организовалась еще одна уставная сельскохозяйственная артель — «Сеятель». Она образовалась из членов коммуны. Жить они остались на нашем же поселке. Им выделили пропорциональную часть скота, хлеба, построек, имущества. Земля им отошла в основном та, которой пользовалась ранее ликвидированная община. Их отделение произошло мирно и спокойно. Оно не противоречило основной установке, что все переселенцы объединяются свободно, по своему желанию и склонностям в сельскохозяйственные объединения. Отношения остались хорошие, разрыва между людьми не получилось, но все же мне было больно, когда я узнал об этом по возвращении из Москвы, где я вновь добился разрешения жить в коммуне. Идею расхождения не было, причины были чисто материальные. Прошло уже два года жизни на новом месте. Хозяйство наше крепло, но личное благосостояние членов коммуны было еще очень скромное, даже в питании. Люди указывали:

— Посмотрите, вон «Мирный пахарь», вместе с нами приехали, а уже у каждого своя коровка есть, значит, и молоко, и сметана, и масло, и курочки, и яички, а у нас — молоко все еще в первую очередь детям, а нам, взрослым, рабочим людям, не всегда, а о сметане, о масле и говорить нечего: борщ да картошка, картошка да борщ.

Это было верно, но они забывали то, что в артели вся забота была сосредоточена на благосостоянии своей семьи, от остальных они отгораживались, а коммуна не замыкалась, шла навстречу тем, кто нуждался в помощи и ничего не имел, кроме больших семей с малыми детьми, а часто еще и без главы семьи. Так было принято к нам несколько семей из бывших субботников. Они были прежде знакомы и жили с уральцами, но они попросились в коммуну. Почему? Да потому, что у артельцев каждый сам вытягивал жилы, чтобы свою семью улагодворить, и не было ни сил, ни средств принять к себе многодетные, совершенно неумирующие семьи, а в коммуне приняли: садись за общий стол, получай угол и вливайся в общую жизнь на равных со всеми правах. Так же были приняты некоторые одинокие, старые люди, которым некуда было голову преклонить. Алеша Воронов, Агафья Серебrenникова, казалось бы, им ближе по взглядам в «Мирный пахарь», но туда они не пошли, что-то тянуло их к нам.

Едоков в коммуне, особенно «мелочи», прибавлялось, а стадо коров росло медленнее; значит, опять надо поделиться, и наши люди психологически уже стали уставать от этого, и это можно было понять. На этой почве было даже отказано в приеме некоторым хорошим людям, которые желали вступить к нам, но многие уже ворчали, и их не принимали. Конечно, этим отказом мы обидели людей, ущемленных жизнью и нуждой и ждавших от нас, от людей, которые были им близки и которым они верили, братской помощи. Это были такие, как Я. Т. Яковлев, Т. Ф. Хмыз, и другие.

Коммуна принимала на себя еще многие другие дела и заботы общественные, считая их не менее важными, чем личное, семейное благополучие. В массе члены коммуны были согласны с тем, что и мы своим путем придем к материальному достатку не меньшему, чем артельцы, но не перешагивая и не отмахиваясь от тех общественных нужд, что встречались на пути сегодня.

Кроме артели «Сеятель», был еще отлив рабочей силы в ручники. Их было не так много. Они оставались членами коммуны, но они взяли себе отдельный участок, накопили себе там землянки и работали самостоятельно. Мы понимали ручников, нам понятны были их побуждения — работать без помощи скота, мы сочувствовали их

идее и интересовались их работой. Среди нас жил такой сторонник интенсивного ручного земледелия, как Евгений Иванович Попов, интереснейшая книга которого «Хлебный огород» была издана «Посредником». Мы знали опыты ручного земледелия Павла Петровича Горячего, достигавшего своими старческими силами высоких урожаев и высокой производительности труда, и притом труда не одуряющего, а творческого, увлекательного и радостного. Все это было так, но в ручники ушли одинокие здоровые мужчины, которые много могли бы сделать для общества в коммуне, а теперь их доля труда ложилась на плечи оставшихся коммунаров.

Были еще южане. Их тянул юг. Они звали на юг. Они говорили: мы вегетарианцы, самое наше занятие — садоводство. Какое же садоводство в Сибири? Надо ехать на юг. Мы почти все были согласны с ними, так сказать, идейно, но на практике не могли принять это. Как сдвинуть и перебросить целую коммуну? На какие земли? Кто даст? Где средства? Нарушать то, что уже было достигнуто не только в хозяйственном отношении, но и как практическое утверждение ячейки общества, основанного на новых началах, мы не могли. А отдельные горячие головы уезжали. И получилось так, что здесь они ослабили общие усилия, а там, на новых местах, им сделать ничего не удалось.

Случайно сохранились у меня следующие краткие данные.

Весной 1933 года в коммуне было населения 300 душ, из них трудоспособных — 110, детей — 190. Школа, на летнее время детский садик, ясли.

Лошадей — 27. За 1932 год (второй год переселения) сдано свыше 8 тысяч пудов овощей на Кузнецкстрой. Зимой 1932 года работала теплица, сдано свыше 3 тысяч штук свежих огурцов.

Заключен договор с Плодоовощем на контрактацию овощей с 15 гектаров огорода.

Несмотря на постановление ВЦИКа и крайисполкома о землеустройстве коммуны не позднее весны 1932 года, коммуна до сих пор не землеустроена, и часть земли, первоначально входившая в наш участок, отрезалась для окружающих организаций, и у коммуны весной 1932 года не хватало земли для выполнения плана сева.

Заведующий краевым земельным управлением товарищ Минаев дал телеграмму в Кузнецкий райисполком о немедленном предоставлении земли или же снижении плана сева до фактического наличия земли, но от РИКа ничего не последовало, и коммуне было вручено обязательство на сдачу зерна государству в 1933 году на 400 центнеров, в соответствии с завышенным планом сева, тогда как в это время мы еще должны были пользоваться переселенческими льготами и быть совсем освобождены от всяких поставок.

Выборы. Точно не помню, в каком году, но в эти же годы были назначены выборы в органы государственной власти. Приехал и к нам из города представитель провести собрание. Народу собралось много. Пришли и «Сеятель» и «Мирный пахарь» — полная столовая. Представитель сделал сообщение.

Общее собрание от участия в выборах отказалось, записав в протокол: «Мы, будучи единомышленниками Льва Толстого, отрицаем насилие и устройство общественной жизни людей путем насилия государственной власти, и поэтому подчиняться и выполнять то, что от нас требуют, не противоречащее нашей совести, мы еще можем, но сами принимать участие в организации этого насилия мы не можем».

Представитель попросил проголосовать оба предложения. За участие в выборах не поднялось ни одной руки. В большом зале было полутемно, лишь на столе президиума горел фонарь «летучая мышь», задние ряды было не видеть. Председатель встал на скамейку и поднял фонарь повыше, чтобы осветить задние, и еще раз повторил: — Ни одной руки...

Тем дело и кончилось.

В жизни нашей коммуны несколько особо по своей важности стоит вопрос о нашей школе — школе внесударственной.

Вопрос о школе возник в коммуне с первых же дней переселения. Учить детей было надо, в этом не было разных мнений. Но все мы понимали, что школа, кроме обучения грамоте, еще является и воспитателем, а это, пожалуй, не менее важно, чем грамота и образованность. Мы знали, что и грамота и всякие научные познания могут стать и во вред людям, если нет настоящего воспитания детей, прививающего детям человеческие свойства — разумные и добрые, благодаря которым человек, соб-

ственно, и становится человеком; тогда и знания в его руках становятся орудием, служащим на благо всех людей. Поэтому мы решили, что учителями наших детей должны быть члены нашей коммуны, разделяющие взгляды Л. Н. Толстого, общие всему нашему обществу.

Сейчас я дам место отрывкам из одного документа, случайно где-то и как-то сохранившегося в те бурные годы. Называется он «Краткая история школы им. Толстого коммуны «Жизнь и труд» за 1931—1934 годы».

Автор этих записок, вероятно, Митя Пащенко.

«Первый год обучения 1931/32-й.

Весной 1931 года, когда переселенцы-коммунары только что начали съезжаться на Алтай, когда коммуна насчитывала всего несколько изб и люди принуждены были жить в невероятной тесноте, спать на полу, вповалку на чердаках, когда люди гибли под тяжестью труда, с одной стороны, спеша с посевом огородных и зерновых культур, с другой — с устройством хотя бы минимума помещений для прибывающих каждый день поселенцев, — в это время было уже положено основание будущей школы коммуны.

Медленно, бревно за бревном, строилось здание школы. К осени 1931 года она была готова.

Необычно рано для не привыкших к сибирским холодам людей пришла осень с холодными дождями и ранними заморозками. Люди, занятые спешными огородными работами, не успели обстроиться, между тем на чердаках стало холодно, и к началу учебного года школа оказалась занятой — 44 человека ютились в ней в самой невозможной тесноте.

В печальном положении оказались дети. Их насчитывалось 50 душ, которые нуждались в учении. Были и учителя, некоторые опытные, со стажем, были у нас кое-какие учебники, немного бумаги, но помещения не было. Тогда-то, приблизительно в первых числах октября, и началась наша «бродячая школа» из хаты в хату, день в одной, день в другой. Пускали везде охотно, теснились, терпели неудобства от шума и грязи, производимых детворой, но пускали. С раннего утра дети уже толпой стояли у дверей учителей и добивались: «Скоро ли? В какую хату пойдем учиться?» — и гурьбой со скамейками, столами, книгами и прочими школьными принадлежностями шли школьники за учителем по коммуне в поисках себе приюта, где за недостатком столов приходилось писать и на окнах и на сундуках.

В эту пору посетил нас инспектор народного образования т. Немцев. На созванном по этому случаю общем собрании коммуны он заявил протест против такой нашей самостоятельной школы, назвал ее нелегальной, объявил ее закрытой и предложил коммуне открыть другую школу с программой точной, общеобязательной для всех школ, с учителями, приглашенными от гороно.

На это предложение общее собрание коммуны ответило, что программы точной коммуна принять не может, а лишь постольку, поскольку она не противоречит взглядам в духе Л. Н. Толстого (то есть без военизации и без возбуждения в детях духа вражды к кому бы то ни было и без внушения детям законности насилия).

Тогда т. Немцев окончательно объявил школу закрытой, а учителей предостерег, что они подвергнутся судебной ответственности.

Коммуна подала заявление в Наркомпрос с просьбой дать ей возможность продолжать свою школу с теми своеобразными, указанными выше особенностями, присутствующими ей как школе в духе идей Л. Н. Толстого.

Было ли это результатом этого заявления, но школа наша без особых внешних давлений продолжала свое существование вплоть до окончания учебного года. В конце ноября (1932) школьники занимались уже в освобожденной от жильцов школе, но едва ли можно было назвать сносными и теперь условия занятий: в школе, представлявшей одну большую комнату, занимались три группы до обеда и две — после обеда; все за тем же недостатком помещения в школе находились сапожная, шорная мастерские, верстак, точило, ларек для раздачи хлеба и аптечка.

Второй год обучения — 1932/33-й.

Осенью, перед самым началом занятий, в коммуны приехал т. Нортович (зав. школой в соседнем селении Фесках) с предложением «увязать» нашу школу с отделом народного образования в г. Сталинске и предложил кому-нибудь из учителей съездить к заведующему гороно.

Свидание и разговор по этому поводу с заведующим гороно т. Благовещенским

показали совершенно отрицательное отношение к нашей школе: никакой своей школы у нас не должно быть, программа должна выполняться полностью, без всяких изменений, с военизацией, пионердвижением; учителя из членов коммуны не допускаются.

И вот в ноябре прибыла к нам заведующая школой, командированная Сталинским горно. По поводу ее приезда было созвано общее собрание, которое принять новую заведующую не согласилось.

Занятия в нашей школе в это время были на полном ходу, в составе пяти групп, с количеством учащихся 80 с лишним человек. Занятия, в общих чертах, велась по программе обыкновенной школы. Помещение школы было от всего постороннего освобождено, оно разделялось теперь на три класса дощатыми щитовыми перегородками, снимавшимися для проведения общих собраний.

21 марта 1933 года школу посетила комиссия из трех лиц: представитель от крайоно, зав. Сталинским горно т. Благовещенский и зав. Феськовской школой т. Нортович. Прежде всего т. Благовещенский сообщил, что отношение к нашей школе, в связи с его поездкой в Москву, меняется, а именно:

во-первых, нам разрешается школа с учителями из наших же членов, во-вторых — без военизации,

в-третьих — из программы по обществоведению нами может быть исключено все то, что противоречит нашим убеждениям, о чем, однако, должна быть договоренность с горно.

В остальном наша школа должна иметь вид обыкновенной школы, по примеру остальных школ Советского Союза.

В мае нашими учителями была просмотрена программа Наркомпроса за четыре года обучения.

«Выписка из протокола учительских собраний в мае 1933 года.

Материал по обществоведению. По всем предметам предлагаемый для обучения материал (например, материал для задач, для грамматических примеров и т. п.) близко увязан с социалистическим строительством СССР, включающим пятилетний план, классовую борьбу и военное дело. В школе же коммуны «Жизнь и труд» материал этот будет использован лишь в той мере, в какой он не противоречит принципам учения Л. Н. Толстого.

Материал по естествознанию. Материал по изучению животноводства, охоты, рыбного промысла, согласно программе изучаемый в целях массового избивания животных для питания и технических и научных целей, — в школе им. Л. Н. Толстого может быть использован не для практического применения его, а лишь для ознакомления в направлении привития альтруистических чувств к животным.

О религии. Мы избегаем навязывать детям какие бы то ни было сектантские религиозные понятия, но считаем необходимым сообщать им правильные понятия о жизни и вытекающем из них нравственном руководстве (правила нравственного поведения), а также считаем своей обязанностью вести выяснительную мирную работу в смысле освобождения от религиозных и прочих суеверий.

Материал, предлагаемый для внеклассного чтения, а также для изучения пения, может быть использован постольку, поскольку он не внушает враждебных чувств к кому бы то ни было.

Общее направление школы. В нашей школе мы надеемся внушить детям дух деятельного коммунизма, то есть дух равенства, справедливости, трудолюбия, взаимной помощи, миролюбия и трезвого, скромного поведения».

Третий год обучения — 1933/34 учебный год.

К началу этого учебного года был произведен основательный ремонт школы, были сделаны стены между тремя классами, сделана прихожая, раздевалка, приобретены парты. Школа работала в составе пяти групп при наличии 105 человек учащихся, занимались в две смены.

Кроме общеобразовательных предметов учащиеся 4-й и 5-й групп проходили начатки ремесел — столярное, токарное, бондарное, сапожное, кузнечное, кройка и шитье.

Работа школы направлялась и регулировалась при помощи собраний: 1) ученических — по классам и общешкольных, 2) учительских — деловых и методических, 3) родительских, 4) общих — всех членов коммуны.

В школе производились и внеклассные кружковые занятия. Работали:

1. Стенографический кружок — руков. Е. И. Попов
2. Художественный кружок — » И. В. Гуляев
3. Певческий кружок — » А. С. Малород
4. Украинский кружок — » А. А. Горяинова

По вечерам для школьников устраивались чтения (не менее двух раз в неделю). Один раз в неделю им показывались световые картины по курсу географии и естествознания.

Один раз в неделю школьники имели «вечер свободных игр»; кроме того, не менее раза в месяц в школе устраивались ученические литературные вечера (пение, стихи, чтение), ученические доклады (темы: Пушкин, Некрасов, Тургенев — их биографии и творчество), ставились спектакли: «Чем люди живы» Толстого, «Недоросль» Фонвизина, «Порченный» Семенова, «Приключения доисторического мальчика».

Экскурсии. Преподаватели с учащимися старших групп провели несколько экскурсий в г. Сталинск, посетили образцовую школу, мастерскую при ней, музей, театр, кино.

При школе существовал кружок по ликвидации безграмотности. Занятия проводились по вечерам.

27 апреля 1934 года, когда в школе заканчивался учебный год, коммуну посетил командированный горно т. Благовещенский со следующим извещением от Сталинского горсовета:

«Постановили: 1. Считать совершенно недопустимым дальнейшее существование частной школы, как не входящей в государственную сеть.

2. Предложить зав. горно т. Шляханову:

а) школу коммуны «Жизнь и труд» немедленно включить в государственную сеть школ, подведомственных горно, и выделить из местного бюджета потребные средства на ее содержание;

б) укомплектовать школу проверенными и обладающими достаточным педагогическим опытом советскими педагогами, проводя обучение детей в полном соответствии с программой Наркомпроса.

3. Утвердить по совместительству зав. школой ФЗО № 12 т. Благовещенского зав. школой коммуны «Жизнь и труд».

4. Предупредить родителей толстовцев, что в случае попытки с их стороны не допускать детей в школу, а также в случае попытки организации групповых занятий на дому по обучению детей к ним будут применены предусмотренные законом о всеобщем обучении меры административного воздействия.

5. Коммуне «Жизнь и труд» выделить квартиры педагогическому персоналу школы.

Председатель Сталинского горсовета А л ф е е в .

Общее собрание членов коммуны — вначале 1 мая, а потом 20 июня — не согласилось с решением Сталинского горсовета и постановило поставить перед ВЦККом вопрос о действиях местных властей и возбудить ходатайство об оставлении нашей школы в прежнем положении».

Записки Мити Пащенко о школе кончаются 1933/34 учебным годом, но наша школа существовала еще 1934/35 и 1935/36 годы. В этот период школа опять стала «бродячей», как и в первое время, когда не было еще помещения. Теперь помещение было, были парты, оборудование, но мы не могли им пользоваться, его опечатали, повесили замок представителя районной власти.

Когда это случилось, это вызвало большое возмущение среди членов коммуны. Раздавались голоса:

— Сбить замок, да и все.

— Нельзя, — возражали другие.

— Почему нельзя?

— Это насилие.

— Да какое же это насилие? Ведь это замок, а не человек...

Но все же решили, что заирать не надо, но свое дело продолжать. И продолжали, хотя вновь были угрозы, что опять опечатают помещение, а учителей арестуют.

Помню один разговор о создавшемся напряженном положении со школой с Евгением Ивановичем Поповым.

— А ведь борьба за школу,— сказал Евгений Иванович,— пожалуй, начинает носить политический характер. Стоит ли?

Я не согласился с ним.

— Что же тут политического? Мы же не выходим за пределы интересов и дел нашей коммуны.

Я шел по улице поселка, навстречу мне шли Анна Степановна Малород, заведующая нашей школой, и ее муж Павел Леонтьевич. Мы остановились, я сказал им о предупреждении и спросил ее:

— Что будем делать?

Анна Степановна опустила голову, задумалась и некоторое время молчала.

— Ну как же? — спросил я ее вновь.

Анна Степановна подняла голову, посмотрела мне прямо в глаза и сказала тихо и улыбаясь:

— Ну что ж, будем продолжать!

Эта кроткая, не крепкая здоровьем, робкая женщина нашла в себе силы так решить. Так же решили и остальные учителя, никто не попятился, никто не бросил нужное дело.

А тем временем события в коммуне все назревали — и на другом помещении школы повесили замок, перешли в третье помещение, на пасеке. Стали появляться на уроках чужие учителя — тогда наши учителя и ученики уходили из класса.

И вот 11 апреля 1935 года состоялся суд.

Судили из коммуны учителей — А. С. Малород и Клементия Красковского — и членов совета коммуны — Блинова Савву, Слабинского Николая и Наливайко Афанасия. Из артели «Сеятель» Гурина Гришу, Андреева Ивана Ивановича и Сильвановича Ромашу и от артели «Мирный пахарь» Фата Петро. Учителей наших обвиняли в преподавании в нашей школе религиозных предметов, а всех членов совета коммуны и правлений артелей — в отказе от лесозаготовок.

В город на суд пошло полкоммуны. Суд состоялся в том же длинном, низком, дощатом бараке, где судили в 1932 году и нас, но тогда тайком, а сейчас зал суда был переполнен нашими коммунарами и артельцами, принесшими с собой загар полей, белые платочки женщин и вольный дух коммуны — дух веселых и дружных людей, верящих в свою правоту. Не обошлось и без комического момента. Учитель горно Жук, желая доказать вину А. С. Малород в преподавании в школе религиозных предметов, сказал:

— Малород разучивала в школе с учениками религиозную песню «Крейцерову сонату» Толстого.

В ответ дружный смех всего зала и улыбки самих судей.

Но все же Анну Степановну осудили на один год заключения. Другой учитель, Клементий Красковский, был оправдан. Я, как свидетель, сказал:

— Мой сын, восьми лет, учится в первом классе, где преподает Красковский. Я вижу, что они учатся писать палочки, кружки, всякие закавычки, учат буквы. Какие религиозные занятия могут быть для таких малышей?

Судья сказал: «Это верно» — и Клементия оправдали.

Савве Блинову и Коле Слабинскому дали по два года, Афанасию Наливайко — один год.

Осужденных повели в арестный дом, и все остальные пошли вместе с ними. Когда открылись ворота тюрьмы и туда стали заходить наши друзья, кто-то крикнул:

— Идемте все с ними!

— Идемте! — дружно ответили много голосов и пошла бы, если бы их не оставили более спокойные.

Как известно, начиная с первых дней революции, по всему Советскому Союзу было много сельскохозяйственных коммун. С 1934—1935 годов их начали переводить на устав сельскохозяйственных артелей. Неоднократно заговаривали об этом и с нами, но мы не соглашались.

Раз приехал в коммуну председатель горсовета товарищ Лебедев — большой, румяный, сильный человек. Он попросил созвать общее собрание. Когда собрались, Лебедев сказал, что уже все коммуны по всей стране переведены на устав сельскохозяйственной артели, и предложил нам перейти на устав колхоза.

Мы отвечали, что пришли к уставу коммуны по сознанию и по влечению к такой форме жизни, привыкли так жить, эта форма нас удовлетворяет и дает нам хорошие хозяйственные результаты и что мы не видим никаких оснований отказываться от коммуны.

Тогда Лебедев выпустил главный козырь:

— Товарищ Сталин сказал, что в настоящее время в коммунах могут жить или дураки, или религиозные аскеты.

На это Лебедеву ответили:

— Пусть будет так, пусть мы будем дураки, пусть будем религиозные аскеты, но мы хотим продолжать жить коммуной и в словах товарища Сталина прямого указания о запрещении коммуны нет.

И общее собрание единодушно отказалось от перехода на колхоз.

Причиной к отказу от устава коммун выставлялось то, что в настоящее время еще не созрели экономические условия для существования коммун. Но мы понимаем, что это было не главное: Главное было в том, что колхоз был чисто хозяйственной организацией, там были правления, коммуна же захватывала круг подлежащих ей вопросов в деятельности гораздо шире, в коммуне было не правление, а совет, решающий не только хозяйственные вопросы, но и вопросы всей жизни нашего общества.

По существу, при существовании таких коммун и советов коммун отпадали бы уже Советы как органы государственной власти, так как наступил бы уже коммунизм безгосударственный, как это и сказано в программе партии; но, очевидно, в настоящее время это считалось несвоевременным.

На этом собрании Лебедев настаивал, ему горячо возражали, и были резкие замечания в адрес самого Лебедева. Он обиделся и возбудил дело о привлечении к суду большой группы коммунаров.

26 апреля было воскресенье, хороший весенний день. Шло наше обычное собрание — беседа, пение, чтение писем от друзей. Я зачем-то сходил домой к себе на гору и возвращался обратно. Меня встретил Коля Любимов и сказал:

— У Мити Пашенко обыск, он арестован.

Я пошел туда, хотя и почувствовал, что это и меня не минует. Перед столовой я увидел несколько человек в белых полушубках и фуражках НКВД. Ко мне подошел один из них.

— Вы Мазурин?

— Да.

— Пойдемте к вам, мне надо с вами поговорить.

— Пойдемте.

И дальше все пошло, как полагается. Обыск до полуночи, так что ребятишки уже послули и не видали, как меня увели.

Ночевали в школе на полу: я, Митя Пашенко, Дмитрий Моргачев, Клементий Красковский, Егор Епифанов, который тогда был председателем совета коммуны. Не помню, кто еще был взят в первый день, но в следующие два дня были взяты еще Гитя и Гутя Тюрки, Анна Григорьевна Барышева, Оля Толкач, Иван Васильевич Гуляев и еще некоторое время спустя Драгуновский Яков Дементьевич, работавший ручником, но присоединенный к нашему делу.

Наутро нас повели в Старый Кузнецк в тюрьму. Провожала нас вся коммуна с пением песен. Уже за поселком, на берегу Томи, спели последнюю:

Вперед, товарищи, ступайте,
день славный наступил для вас,
оружье вдребезги ломайте,
убийц не будет среди нас!

И вот все остались, а мы пошли дальше, перепрыгивая через весенние ручьи, стекавшие в Томь. По Томи шел лед.

...Коммуна, конечно, была взволнована арестом такого большого количества своих членов и обратилась к Калинин. Из Москвы был прислан прокурор товарищ Волобуев. Он беседовал с некоторыми членами коммуны, особенно долго с Ваней Зуевым, в присутствии местных прокуроров, председателя горсовета. Он, очевидно, дал указание — с нами обращались вежливо, не ограничивали в передачах, не вызывали на допрос ночью.

Следствие вел Ястребчиков Степан Ильич. Его горбатый нос соответствовал его ястребиной фамилии. Не могу сказать ничего плохого о том, как он вел следствие, но, конечно, он был скован предвзятой установкой — обвинить нас в контрреволюции.

Один раз я его спросил:

— Вы взяли всю мою переписку, мои записки. Где вы видите в них контрреволюцию?

Он достал клочок бумаги, на котором я когда-то в 1932 году в одиночном корпусе тсмской тюрьмы начал писать стих, оставшийся незаконченным, и прочитал:

Из стен тюрьмы глухой,
задавлены камнями,
мы молча вам кричим
и призываем вас
к восстанью...

— Это что, не контрреволюция? — жестко, повысив голос, спросил он.

— Степан Ильич, — сказал я, — зачем вы так делаете? Читайте дальше.

И он прочел дальше:

К восстанью без штыков,
к восстанию без крови,
к свержению всех оков,
опутавших наш разум...

— Ну вот, — сказал я, — где же тут контрреволюция?

Ястребчиков ничего не ответил, но я не уверен, что в деле так и осталось, как он прочитал сначала, создавая превратное понимание моей мысли.

Так прошло семь долгих месяцев.

Все это описать — была бы большая книга, но ведь моя цель — рассказать о коммуне, и то очень кратко, а тут на пути это препятствие. Нет, это приходится оставить в стороне, но все же хоть немного, хоть несколько случаев расскажу.

Яков Дементьевич Драгуновский придерживался того мнения, что тюрьма ему не нужна и добровольно он в нее заходить не должен. Когда его вызывали и выводили из тюрьмы, он шел, когда же его приводили вновь к воротам тюрьмы (например, с допроса), он не шел, ложился и говорил:

— Мне туда не надо...

И как сейчас вижу: ясный летний день, окна камер открыты на тюремный двор (козырьков тогда еще не было), внимание всех привлечено к проходной, где слышны какое-то движение и шум. И вот во дворе появляется процессия. Двое надзирателей — Бурундук и еще кто-то, — скрестив руки, несут сидящего на них Драгуновского. Изю всех оков слышны хохот и приветствия. Яков Дементьевич улыбается, сидит, как царь на троне, положив руки на плечи надзирателей, борода развевается, и он тоже приветственно машет руками, надзиратели также улыбаются. У Якова Дементьевича все это получалось как-то добродушно, он и сам не напрягался и не ожесточался, и такое же настроение создавалось у окружающих.

Яков Дементьевич все время писал из тюрьмы огромные письма, целые статьи на имя Калинина и других видных тогда деятелей партии и правительства. О чем же он писал, этот не слишком грамотный смоленский мужик? Нет, не о себе лично и не о своей тяжелой судьбе — о себе он не думал. Он писал о несоответствии государственного устройства с идеалами коммунизма, о бесполезности и вредности средств насилия на пути к коммунизму. О тяжелом положении крестьянства. О значении нравственности и жизни духа. Он не спорил, не упрекал, но взывал к человеческому сознанию правителей. Куда попадали эти письма — не знаю.

Совсем по-другому получалось у Анны Григорьевны. Она также говорила и действовала прямо и смело, но при этом она вся горела негодованием, почти ожесточенностью, и это настроение передавалось и окружающим.

Как-то по какому-то поводу Анна Григорьевна предложила нам начать голодовку. Передала мне записку. Я высказался против. Мне всегда были непонятны голодовки, применявшиеся политическими, а последнее время и всеми. Нам и так приносят вред, лишая свободы, здоровья. Так зачем же мы сами будем еще содействовать этому? Наше стремление должно быть противоположное: сохранить здоровье, силы, бодрость, спокойствие, а протестовать, если в этом есть надобность, разумными словами и поступками. И вот развернулась целая дискуссия — записками. Надо было ознакомить всех, узнать мнение всех. К записке Анны Григорьевны присоединилась моя и пошла дальше

и дальше, пока не обошла всех. А потом ведь надо было нашим запискам пройти и обратный путь, чтобы все узнали мнение всех. Сверточек записок получился довольно солидный, и раз, когда Гитя передавал их мне, нас «попутали», отобрали записки, и потом вся эта переписка попала к следователю, в дело.

Голодовку отвергли. Поддержал Анну Григорьевну один Егор Епифанов.

Судила нас с 20 по 24 ноября 1936 года выездная сессия спецколлегии записибкрайсуда. Председательствовал Тармышев, члены Рошиков и Прокопьев, секретарь Григорьева, прокурор Гольдберг.

Нет ничего интересного описывать всю процедуру суда. Никто из нас виновным себя в контрреволюционной деятельности не признал.

Зачитали приговор.

1. Епифанов Егор — освободить.
2. Пащенко Дмитрий — освободить.
3. Тюрк Гюнтер — освободить.
4. Толкач Ольга — освободить.
5. Гуляев Иван — три года (58.10.1, поражение в правах три года).
6. Моргачев Дмитрий — три года (58.10.1, поражение — три года).
7. Мазурин Борис — пять лет (58.10.1, поражение — три года).
8. Драгуновский Яков — пять лет (58.10.1, поражение — три года).
9. Тюрк Густав — пять лет (58.10.1, поражение — три года).
10. Барышева Анна — десять лет (58.10.1, поражение — пять лет).

Мы искренне радовались, что хоть четверо из нас пошли домой. Мы знали, что коммуна не оставит нас — будет хлопотать. И правда, был послан в Москву Ваня Зуев, которому удалось — правда, где-то уже на ходу — перехватить спешившего куда-то Михаила Ивановича Калинина и сказать ему о нас. Ваня теперь уже умер, и я не могу точно вспомнить, что ему ответил Михаил Иванович, но наступивший 1937 год повернул события на другую путь.

Днем и ночью, в одиночку и «пачками», без суда и следствия, а часто даже без ордера на арест стали брать ни в чем не повинных людей. Брать и увозить бесследно туда, откуда никто из них уже не вернулся, а только на руках у родных, хлопотавших за них, оказались бумажки о том, что никакой вины за ними не обнаружено, что они полностью реабилитированы.

Бумажка есть, а человека нет.

Нашлись и у нас, как, наверное, во всяком обществе, во всяком движении, свои иуды. Чтобы сберечь себя, свою шкуру, они помогали губить невинных людей. Иван Рябой, Онуфрий Жевноватый, Иван Иваныч Андреев и еще некоторые другие ослабевшие, жалкие, запуганные люди. Но все же это были единицы.

Темной жутью повеяло в коммуне от этих арестов. Некоторые были спокойны, некоторые содрогались и спали по ночам не дома — кто же хочет неволи? И они уходили от нее.

В это время, когда были взяты десятки мужчин, глав семейств, многие, опасаясь всего, стали жечь письма, записки, книги.

В это же время наша школа стала государственной, не стало даже учителей.

После суда над нами районные власти перестали считать коммуны коммуной, а вроде как колхоз.

Присылали всем членам коммуны извещения на налоги, на всякие поставки — на яйца, молоко, мясо, шкуры и так далее, хотя ни у кого в коммуне не было ни своих усадеб, ни скота, ни огородов. Понятно, никто ничего не платил, канитель углублялась.

1937 год

Приведу здесь фамилии тех, кто был взят у нас в 1937 году. Список жуткий, но ведь одни фамилии мало что говорят. За каждой стоял живой человек со своей жизнью, мыслями, мечтами, убеждениями. Человек с близкими ему родными — женой, детьми, родителями. Надо бы хоть кратко описать каждого, но эта задача мне сейчас не под силу.

1. Чекменёв Семен Иванович.
2. Бормотов Василий.
3. Бормотов Костя (сын).
4. Головки Василий.
5. Головки Лева (сын).

6. Горяинов Николай Алексеевич.
7. Кувшинов Прокопий Павлович.
8. Красковский Клементий Емельянович.
9. Свинобурко (Рутковский) Иван Адамович.
10. Каретников Петр Иванович.
11. Шипилов Сергей Семенович.
12. Рогожин Иван Степанович.
13. Лукьянцев Иван Михайлович.
14. Малюков Коля.
15. Катруха Федя.
16. Катруха Миша.
17. Коноваленко Мефодий.
18. Моргачев Тима.
19. Благовещенский Миша.
20. Чернявский Иван Андреевич.
21. Фомин Анатолий Иванович.
22. Гурин Григорий Николаевич.
23. Малород Павел Леонтьевич.
24. Красинский Николай Денисович.

Из этих двадцати четырех никто не вернулся — все погибли.

В лагере в 1937 году погибли и Яков Дементьевич Драгуновский и Анна Григорьевна Барышева.

Из вернувшихся трое после десятилетнего пребывания в лагерях, с подорванным здоровьем, умерли:

1. Овсюк Миша.
2. Тюрк Гитя.
3. Епифанов Егор.

Кроме погибших, еще много членов коммуны и по суду и без суда были взяты из коммуны — кто ненадолго, кто на десять лет, а кому пришлось отбыть по восемнадцати лет (десять лет заключения и восемь лет ссылки).

Хотя насильно вывезенные от нас в 1933 году в Кожевниково и не были членами коммуны, но, поскольку они относились к нашему толстовскому переселению, приведу здесь, может быть, и не полный список взятых в 1937 году и почти всех погибших:

1. Тройников Миша.
2. Кадыгроб Стефан.
3. Цыбинский Иван.
4. Цыбинский Василий Иванович.
5. Кудрявцев Александр Федорович.
6. Безуглый Ефим.
7. Черниченко Дмитрий.
8. Нестеренко Онисим.
9. Неделько Евгений.
10. Фесик Евдоким.
11. Фесик Иван.
12. Караченцев Сидор.
13. Караченцев Степан.
14. Гвоздик Федор.
15. Попов Иван.
16. Кобылко Гавриил.
17. Викалюк Дмитрий.
18. Тимченко Иван.
19. Савченко Артем.
20. Недяк Сергей.
21. Булыгин Сергей Михайлович.
22. Балахонов Платон.
23. Балахонов Афоня.
24. Балахонова Юля.
25. Фесик Петр.

Не раз нам приходилось слышать при откровенных беседах от коммунистов, и высокопоставленных, и рядовых, и следователей, и просто рабочих людей:

— Это все хорошо, что говорите вы, толстовцы. Все это будет — и безгосударственное общество без насилия и без границ, и трезвое, и трудовое, и без частной собственности, но сейчас это несвоевременно, сейчас это даже вредно...

Но мы этого не понимали. Жившее внутри нас «царство Божие» властно толкало нас на путь немедленного, без откладывания, осуществления нашего жизненного идеала. Откладывание реализации этих идеалов на какое-то неопределенное будущее казалось нам удивительно схожим с учением церковников, которые предлагали здесь терпеть и сносить лишения и беды с тем, чтобы там, за гробом, в какой-то будущей жизни обрести желанное блаженство.

Вот уже более полувека прошло со дня революции, а желаемое всеми будущее не только не приближается, но, наоборот, все отдаляется и отдаляется, на первый же план продолжают выдвигаться все новые и новые формы насилия и несвободы. А сомневающиеся снова, как и вчера, успокаивают:

— Сейчас это несвоевременно. Вот придет время...

Думал ограничиться сухим списком друзей, безвременно погибших в 1937 году, но мысль неотступно возвращается к ним, и хочется хоть по несколько слов сказать хотя бы о некоторых из них.

Сеня Чекменев — белокурый, сильный, тихий, трудовой человек. Из самарских молокан, когда-то переселившихся в оренбургские степи (село Раевка). Под влиянием проповеди Александра Добролюбова Чекменев и его друзья отошли от буквального сектантского понимания многих вопросов жизни. На Семена не было ордера на арест. Взяли его старшего брата Алексея, который еще в царское время, в 1916 году, за отказ быть солдатом был приговорен к двенадцати годам каторги и освобожден революцией из казанской тюрьмы. Но когда Алексея посадили на машину, то увидели, что у него одна рука болтается парализованная и шея не гнется (он переболел энцефалитом), а в это время вышел на крыльцо Семен. Алексея сняли с машины (куда такого?), а Семена взяли.

Бормотов Вася, тоже из Раевки, из добролюбовцев. Так же, как и Алексей Чекменев, в 1916 году был приговорен к двенадцати годам каторги. В годы гражданской войны в Оренбуржье правил какой-то правитель (много их было!), кажется Дутов, у которого, как и у всех правителей, были свои законы, утверждающие беззаконие. Так же и мужики были по этим законам «повинны» выполнять всякие повинности. И вот с их общины в селе Раевке потребовали лошадей для армии. Они отказались и сказали:

— Для войны мы не можем дать.

Вскоре разнесся слух: в Раевку едет карательный отряд. Что делать? Все оделись почище, женщины в белых платочках, собрались на площади и стали петь свои добролюбовские песни.

Вадали показались конные казаки. Подъехали, остановились. Общинники, не обращая на них внимания, продолжали петь. Казаки слушали, потом один за другим стали снимать шапки. Постояли молча и, ничего не сказав, уехали.

Костя Бормотов, совсем еще юный, попал случайно. Он был возчиком на подводе, отвозившей арестованных в город. Там и его оставили.

Василь Головка — полтавский крестьянин, могучего телосложения, говорил не спеша. У него была способность к механике. На Украине он сам сделал себе ветряную мельницу, чем и навлек на себя всякие нажимы, хотя работал он сам и никаких рабочих не нанимал. Его пытались донять всякими налогами. Он не платил.

— А за что мне тебе платить, — говорил он налоговому агенту, — хйба ж ты мене дуешь?

А сына его, Леву, совсем почти мальчика, не знаю, за что и взяли. Как-то на сенокосе поручили Леве варить обед. Суп варился в большом котле на костре и основательно пропитался и припахивал дымом.

— А суп-то у тебя задымка, — сказал, смеясь, Филимон.

Так долго и оставалось с Левой прозвище Задымка.

Горяинов Николай Алексеевич — сухощавый, высокий старик с белой бородой. Он был одним из самых старых по возрасту коммунаров. Еще задолго до революции он с несколькими друзьями, желая помочь крестьянам в сбыте их продукции на кооперативных, артельных началах, в вологодской глуши организовал сливной пункт молока и переработки его на масло. Продукцию сплавляли на плотках по рекам до промышленных

центров, где и сбывали. Работал одно время в общине «Криница» на Черном море. Он был одним из пионеров культурного плодводства на Кавказе, где также устраивал кооперативы по сбыту фруктов. Помню, когда он приехал в коммуну и мы вышли с ним на гору, на наши поля, откуда открывался захватывающий дух вид на горы, покрытые темной тайгой, на извивающуюся блестящую ленту Томи и широкую, поросшую кустами пойму за ней, он воскликнул:

— Вот где надо бы нам поселок строить, красота!

— Да, красиво,— сказал я,— а с водой как?

— Э, вода,— ответил он, улыбаясь,— воду можно заставить, и сюда пойдет...

Чувствовалось, что этот человек не только красоту любит, а и предприимчивости и изобретательности у него хоть отбавляй. В день, когда забирали других, он вышел к колодцу за водой. Его увидел: заметный человек, весь белый.

— Давай и этого сюда!

Кувшинов Прокоп — невысокий, корявый, из нижегородских мужиков, на вид суровый, с густыми нависшими бровями, говорящий на «о», опытный огородник. Хорошо разбирался в сельскохозяйственных машинах. Справедливый и добрый человек. Принимал участие в рабочих волнениях в 1905 году и носил на память об этом вечный глубокий рубец на голове — знак казацкой расправы.

Ваня Свинобурко по жене принял фамилию Рутковский. Из беспризорных сирот, оставшихся от войны 1914—1918 годов. Вырос в детских трудовых колониях под Москвой, в которых тогда работали воспитателями многие наши молодые единомышленники. Когда же эти колонии прибрал к рукам Наркомпрос, чиновники, нашим пришлось отсюда уйти. Они организовали коммуну имени Л. Толстого недалеко от города Воскресенска. Ваня пошел с ними и стал членом коммуны. Он очень любил лошадей и вообще крестьянскую работу, и все у него как-то особенно ладилось. Большой, сильный, немногословный, тихий, но всегда веселый.

Каретников Петр Иванович из Поволжья. Родители его были из торгового сословия, но Петр Иванович удался не в них. Ни в характере, ни в его убеждениях не было ничего от торгового мира. Он искал только правды, много читал, любил книги, любил сельское хозяйство, особенно огородничество.

Ваня Лукьянцев — вечно улыбающийся, как будто иногда излишне веселый, он иногда впадал в обморочное состояние, и тогда он разговаривал сам с собою примерно так:

— Господа правители, не трогайте меня, я же лежу не на вашей земле, я лежу на дороге, на дороге ведь можно лежать всем...

Он приехал к нам из Алма-Атинской общины единомышленников Толстого. Белезнь его началась, вероятно, с того времени, о котором он мне рассказывал. Когда в Сибири был Колчак, Ваня работал железнодорожником при станции Омск. Колчаковцы уже чувствовали свою гибель и свирепствовали. Двести железнодорожных рабочих арестовали и повели за город на расстрел. Ваня был в их числе. Была ночь, морозило. шел густой, крупными хлопьями снег. Партия остановилась, чего-то долго ждали. Все замерзли, сбились в кучу и затихли. Вокруг стояли солдаты — конвой. Ваня заметил, что один солдат вроде задремал, опершись на штык, и тихо-тихо прошел мимо него. Затем скатился с высокого железнодорожного откоса и, проломив еще не толстый лед, искупался в воде железнодорожного кювета. Весь обмерзший, обессилевший, дошел он до дома знакомого рабочего, постучал и свалился без чувств. Его втащили, спрятали, а потом вместе с этим рабочим они скрывались в штабелях шпал, наблюдая оттуда, как уходили последние эшелоны колчаковцев, и видели, как приподнялся и ружнул мост через Иртыш, взорванный уходившими.

Миша и Федя Катрухи еще совсем парнишками приехали в коммуну с матерью и старшим братом Гришей. В коммуне они подросли, стали разбираться в жизни, увлеклись ручничеством и стали жить отдельно от коммуны в землянке в долине Радости. Мишу взяли, когда он пришел в коммуну к сестре, 20 октября 1937 года в четыре часа утра. Он ночевал у других, утром пришел, а его уже ждали. Федю нашли в долине Радости. Он отказался идти. Его запылили в матрац, завязали, привязали к хвосту лошади и так выволокли по снегу из долины, а наверху положили его в сани и так привезли в коммуну. Потом мне один из охранников Первого дома рассказывал, что Федя не ходил на допросы, его носили на руках на третий этаж, а оттуда тащили с лестницы за ноги. Он на каждой ступеньке стучался головой и молчал.

Коноваленко Мефодий — из киевских малеванцев. Очень тихий парень, спокойный, мягкий и твердый.

Тима Моргачев — старший сын Дмитрия Моргачева, хороший парень, еще не женатый. Умер в лагерях на Севере от истощения.

Фомин Анатолий Иванович не был нашим переселенцем. Он как-то узнал о коммуне и приехал к нам позднее. Он говорил, что он из канадских духоборов-свободников, но не природный духобор, а примкнул к ним идейно. Он вел беседы с членами коммуны, уясняя свое мировоззрение, но я не мог понять его, его слова казались мне туманными, не идущими ни в какое сравнение с ясными, глубокими мыслями Толстого. Но некоторым его беседы нравились. Один раз Клементий во время беседы-доклада Анатолия о чем-то спросил его, выразил свое несогласие. Анатолий тогда сказал:

— Я объявляю голодовку до тех пор, пока Клементий не извинится...

Клементий, обеспокоенный, пришел ко мне посоветоваться, как быть.

— Но ведь ты же его не оскорбил?

— Нет, я только сказал, что не согласен с ним.

— Так зачем же извиняться?

— Так ведь он голодает...

— Ну и пусть себе голодает, это его дело,— сказал я.

Анатолий голодал недолго. Мне было непонятно и чуждо такое поведение — угроза голодовкой, обида из-за разногласия во мнениях. Все это не имело ничего общего с тем духом, какой был в коммуне,— простой, дружеский, свободный.

Гурин Гриша — из Тульской губернии. Из большой крестьянской семьи — семеро братьев. Во время первой мировой войны был в плену у немцев. Там их обильно снабжали литературой евангельского (баптистского) направления, которая его затронула. Потом, уже в России, он приблизился к толстовским взглядам. Горячий по натуре, он был горяч и в работе. Гриша рассказывал, как в плену он попал к одному хозяину в работники. Тот велел ему вспахать участок земли. Грише давно уже не приходилось работать по крестьянству. Пара лошадей попалась добрая, плужок легкий, хорошо налаженный, и Гриша, что называется, поднажал ото всей души. Когда хозяин пришел посмотреть, как работает пленный, не спит ли,— участок был уже весь вспахан. Хозяин схватился за голову:

— Что ты делаешь? У нас так не работают, так нельзя...

Когда от коммуны отделилась артель «Сеятель», Гриша был ее председателем.

О Драгуновском Якове Дементьевиче я уже упоминал. Он был из крестьян Смоленской губернии. Один раз на собрании он рассказал нам свою биографию, как он пришел к Толстому. Мне запомнилось — в первую мировую войну его взяли в солдаты. Он тянул солдатскую лямку, как и все, но один раз во время ночной атаки его чем-то оглушило. Когда он очнулся, кругом было тихо, он никак не мог понять, где он, куда идти. И долго бродил в темноте по пустынному полю, натываясь на обломки орудий и трупы... И тут он начал думать: «Зачем я здесь? что мне здесь надо? и на что мне эта винтовка? и зачем, за что убивать мне этих немцев?»

Он начал думать, а еще Фридрих II, прославленный немецкий солдафон, сказал как-то: «Если бы мои солдаты начали думать, ни один бы из них не остался в войске». И Яков Дементьевич с тех пор перестал быть солдатом, а стал мыслящим человеком.

Во время гражданской войны за отказ от оружия он и вместе с ним еще несколько единомышленников перенесли большие мучения. От смерти его спасло только то, что, узнав об их положении, В. Г. Чертков обратился лично к В. И. Ленину, и Ленин освободил их.

Барышева Анна Григорьевна. Отец ее был крестьянин. Во время войны 1914 года она была сестрой милосердия. Потом учительствовала. Как человек в общезжитии она была спокойной, ровной, но когда разговор заходил о государственном несправедливом устройстве жизни, о войне, о тяжелом положении крестьян, она вся напрягалась, говорила резко, даже как-то со злобой. Она много раз подвергалась судам, заключениям, ссылкам.

Малород Павел Леонтьевич был из кубанских казаков, но, усвоив толстовские убеждения, он порвал с их образом жизни и с их традициями. В коммуне он отошел от нас, пожелав жить ручным трудом.

Здесь же помяну еще некоторых бывших членов коммуны, уехавших когда-то на Украину и погибших уже совсем в других условиях и от других рук. Дело было уже в немецкой оккупации.

Евдокия Тимофеевна Белоусова, наша бывшая учительница, и там учительствовала, и была сожжена немцами живьем в школе.

Илюша Павленко был растерзан немцами как партизан.

Очень хотел переселиться к нам Борис Непомнящий и даже приезжал к нам в Сибирь, но его жена никак не хотела ехать в коммуну, и вся семья погибла в Одессе как евреи.

Эпидемия уничтожения невинных людей не была принадлежностью или изобретением какой-нибудь одной страны. Она широко разлилась по всему миру, стало быть, и причины ее не узкоместные, а гораздо шире.

Причина была в том, что понимание людьми смысла жизни, их религия были почрочны, неверны, не соответствовали основному закону человеческой жизни — добру.

1937 и 1938 годы коммуна уже не могла жить полной жизнью — слишком многих своих членов она потеряла. Люди еще крепились, оставались сами собою, но коммуна уже доживала свои последние дни. Наконец, 1 января 1939 года коммуна была переведена на устав сельскохозяйственной артели — колхоз. Грустные расходились люди с этого собрания, как будто потеряли они что-то большое и дорогое.

Сереза Юдин тогда сказал:

— Коммуны больше нет, теперь каждый может поступать кто как хочет...

Распределили дома, распределили часть скота — кому телку, кому корову на два хозяйства, кому выделили определенную сумму денег. Люди за долгие годы жизни в коммуне уже отвыкли от таких понятий, как «мой дом», «моя корова» и так далее; все было «наше». И вот теперь новым уставом они опять были отброшены назад, к старому, с которым когда-то добровольно и сознательно решили порвать.

Зачем это?

Петис Литвинова, Алексея Шипилова и Леву Алексеева осудили как последних членов совета коммуны. Одним из предъявленных им обвинений была помощь «врагам народа», то есть тем коммунарам, которые были в заключении. Фаддея Заблотского направили по суду на принудительное лечение в тюремную психиатрическую больницу. Пете Литвинову и Лева Алексееву пришлось отбыть по десять лет заключения и по восьми лет ссылки в Красноярском крае.

Общественная и трудовая жизнь в колхозе «Жизнь и труд» стала переходить на другие рельсы. Стали вливаться в состав колхоза люди со стороны, совсем других убеждений. Вошли в обиход трудовни, нормы выработки и многое другое, чего мы в коммуне не знали.

Одна женщина, прожившая в коммуне более пятнадцати лет и привыкшая относиться к общественному хозяйству как к своему, работать добросовестно, как можно лучше, рассказывала мне:

— Пошли в колхозе мы, бабы, вязать рожь. Ну вяжу я, как всегда раньше вязала,— снопы большие, тугие, чисто, а на другой день смотрю: моя фамилия на черной доске, а другие бабы — на красной. Потом я стала присматриваться, как работают те, кто на красной доске, и сама так стала, кое-как, лишь бы побыстрее да побольше, да и приврещь еще бригадиру, когда придет считать снопы, выработку. Гляжу, и моя фамилия появилась на красной доске!

И еще одна рассказывала, как стали жить в колхозе:

— И стали мы все, бабы, ворами, вся жизнь стала на воровство. Мужиков нет, детей кормить, растить надо, общей столовой, как в коммуне было, нет, а на трудодень дадут по двести граммов озадков, вот и живи! Ну и тащишь все. Идешь с работы, тащишь картошку, свеклу, капусту, где что работаешь, да еще и ночью к кучам на огород сходишь. А корову тоже прокормить надо, она главная кормилица семьи. Целый день, с темна и до темна, на колхозной работе, а в «свободное» время и вари, и стирай, и коро-ве коси. Ну и будишь ночью своего мальчика и идешь по глубокому снегу на ток с сачочками, озираешься, как вор,— мякины или соломы привезешь... Вот так и жила. Вот поэтому-то я и не хотела, чтобы дети в колхозе оставались, приучались к воровству, а я-то уж ладно — куда денешься?

Коммуны не стал. О чем же продолжать рассказ? Все? Кончать надо?

Нет! Были еще десятки верных, преданных ей членов, коммунаров без коммуны, разбросанных по лагерям и тюрьмам Сибири, осваивавших ее необжитые, суровые просторы, удобрявших ее своими костями.

Я бодро переносил заключение, все невзгоды и нелегкий труд в тайге. Уже срок перевалил на вторую половину и пошел вниз, уже зашевелилась в сердце надежда увидеть семью, родных, друзей, но из далекой Коми меня везут этапом опять в Сталинск. Зачем?

Провожая, лагерные друзья поздравляют:

— На пересуд!

— Освобождение...

Но они ошиблись. Я опять в строгой одиночке. И вот я в кабинете следователя — новый, незнакомый. На мой вопрос, зачем меня привезли, он сказал:

— Приговор отменен прокурором республики Рогинским.

— Почему?

— За мягкостью, — резко, озлобившись и с ударением сказал он.

Я понял все. Прощай надежды! Статья осталась та же — 58-я, но часть уже вторая, которая гласит: «расстрел», «при особо смягчающих обстоятельствах не ниже...» и так далее. Появились пункты четырнадцатый и одиннадцатый. Четырнадцатый — саботаж государственных мероприятий, по этому пункту почти все проходили через смертную камеру, и пункт одиннадцатый — групповой, что еще отягощало и без того тяжелые пункты.

Теперь вышка, решил я. Кому-кому, а мне в первую голову.

Если бы такой приговор был сразу в тридцать шестом году, мне было бы легче, а то забрезжила вдали свобода, и вдруг...

Наш приговор был опротестован еще в 1937 году «за мягкостью» и с указанием — вынести строгое наказание. Но к этому времени мы, приговоренные, уже рассеялись по далеким местам, и затерялись там в огромном потоке заключенных, и ничего не знали об этом, пока нас (более двух лет) разыскивали для пересуда и собирали опять всех в Первый дом города Сталинска. А наших оправданных — Олю Толкач, Егора Епифанова, Митю Пашенко и Гитю Тюрка — товарищей вновь взяли вскоре, и они более двух лет ждали, пока нас всех соберут, и им, бедным, пришлось хлебнуть горя за эти два года больше, чем нам в лагерях. Мы все же работали среди тайги, хоть свободный ветер обвевал нас, а они томились в тюрьме и тридцать седьмой, и тридцать восьмой, и тридцать девятый годы, когда тюрьмы были невероятно переполнены, так что люди нередко теряли сознание от тесноты и духоты в жаркое время. Бывало и так.

Вскоре после освобождения Епифанов и Гитя Тюрк умерли от болезней, да и с Пашенко получилось что-то неладное.

Второй суд над нами состоялся весной 1940 года, когда уже не было ни коммуны, ни предгорсовета Лебедева, возбудившего против нас дело, не было секретаря горкома Хитарова. Все они стали жертвами того же непонятного, не охватываемого мыслью тайфуна, в который они пихали нас.

Время смягчилось. Если бы нас пересудили в 1937 году, когда был отменен приговор, если не всем, то многим из нас был бы конец. На суде нам дали разные сроки — от пяти до десяти лет, но фактически все сравнялись, все отбыли по десять лет, так как в то время по окончании срока 58-ю статью не освобождали «до особого распоряжения».

Когда после суда нас развели по камерам, сразу застучал ко мне Егор Епифанов:

— Как хорошо!

— У меня как праздник! — отстучал я ему.

Хорош праздник — десять лет неволи!

И снова нас разнесло, как ветром листья, по лагерям.

А тут вскоре еще новое несчастье — война и в связи с ней жестокая проверка наших убеждений — нельзя убивать.

Еще в 1936 году произошел в коммуне один случай, глубоко взволновавший всех. Двум пьяным шорцам, проезжавшим по нашим полям, понравилось срывать и скатывать с высокой горы вниз росшие там тыквы.

К ним подошел Савва Блинов и спросил их:

— Что вы делаете? Зачем?

Вместо ответа один шорец выхватил нож и глубоко всадил его Савве в спину. Прибежал народ. Молодые, здоровые ребята схватили разбушевавшихся шорцев, связали и заперли в амбар. Савву увезли в больницу, не вынимая ножа из раны.

Все население поселка в большом волнении собралось у амбара.

Раздавались разные голоса:

— Судить! В милицию! Что пользы в том?

Все же шорцев никуда не сдали. Утром, когда с них сошел хмель, они стали просить прощения, проситься домой. Их отпустили. Они ушли к своим семьям. Не знаю, какие следы оставил в их душах этот случай, но не сомневаюсь, что если бы их осудили по закону, держали в неволе, добрых чувств это у них никак бы не вызвало. К тому же такие наказания бьют не столько по преступнику, сколько по семье, малым детям, старикам.

Рана у Саввы, к счастью, оказалась не опасной, он поправился.

Призванный во время войны на военную службу, он не отказался. У нас не было обязательных постановлений на этот счет, да и быть не могло, каждый поступал свободно, так, как мог, по состоянию своей души, своего сознания. Он пошел, но ввиду его уже пожилого возраста, а может быть, посчитались и с его убеждениями, но только он попал в хозяйственную команду, развозил горячую пищу солдатам в окопы и на передовые позиции. Он был убит уже в 1944 году прямым попаданием снаряда. Был Савва, и нет его. И следов не осталось от этого большого, сильного, необыкновенно мягкой и доброй души человека. Был убит, и вокруг него не возникло горячих споров — как поступить с убийцами. Ведь здесь был не кустарный нож пьяных людей, а снаряд — хитрая выдумка высококвалифицированных специалистов науки убивать, результат многолетних продолжительных опытов и математически точных расчетов. За убийство на войне юридические законы не судят, не судят за это и постановления церковных соборов. Осуждает эти убийства на войне, так же как и всякие другие убийства, тот неписанный закон, который живет в человеческой душе и проявляет себя совестью и любовью к людям.

Не могу точно сказать, но вероятнее всего в 1938-м или 1939 году в коммуне были осуждены несколько молодых людей за отказ от военной службы. Приговоры были не так суровы — от трех до пяти лет. Но из тех, кто отказался в войну, наверно, только один получил пять лет, а остальные — расстреляны.

Свою искренность они еще раз подтвердили своею смертью, на которую пошли с открытыми глазами.

Вася Кирин, человек с большой семьей, когда пошел заявлять об отказе, его жена Мария сказала ему:

— Ведь тебя убьют!

— Пусть меня убьют, лишь бы я сам не убивал никого, — спокойно ответил он и ушел.

Погиб Сережа Юдин, тот, кто сказал:

— Коммуны нет, теперь каждый может поступать так, как желает...

И он поступил так, как был убежден и как верил.

Отдал свою молодую жизнь Ваня Моргачев, тихий, внимательный. Погибли Афанасий Наливайко, Филимон Кузьмин, Вася Лапшин, Аватолий Шведов, Петя Шпилов, Ромаша Сильванович, Ерофей Котляр, Коля Павленко, Андрей Совин, Алексей Попов, Семен Третьяков.

Такая же судьба постигла бывших членов коммуны — Поликарпа Куцего на Украине и Степана Похилко в Узбекистане.

То же было и в Кожевникове. Там погибли: Иван Бобрышев (отец), Алексей Бобрышев, Григорий Бобрышев, Николай Смоляков (отец), Даниил Смоляков, Василий Смоляков, Максим Андрусенко (отец), Сергей Андрусенко, Степан Андрусенко, Корней Андрусенко, Иван Таракан, Владимир Халеев, Петр Власенко, Петр Пискун, Виктор Вельдин, Владимир Гвоздик (отец), Василий Гвоздик.

Из «Мирного пахаря» — Костин Александр.

Это был последний удар по единомышленникам Льва Толстого. Осталось мало, да и те уже без прежних сил и энергии. И кто осудит их за это?

Судит только собственная совесть за свои слабости.

Рассказал я о судьбе коммуны вкратце, то, что не стерлось из памяти за десятки лет, прошедших в условиях не легких, а иногда едва выносимых. Конечно, в памяти много еще всяких подробностей, много личного и своего и о других, но я не в силах уже все это собрать и связать в стройное целое.

Ограничусь этим.

В заключение хочется сказать еще немного о тех мыслях, которые у меня вызвало воспоминание о коммуне.

Как хорошо, что Л. Н. Толстой не создал никакой церкви, никакой партии, никакой секты, не дал никаких догматов.

Он указывал людям путь жизни, какой считал истинным.

Он делился своим опытом на этом пути, давал направление и оставлял за каждым то, что и должно принадлежать каждому, — самостоятельно мыслить, самостоятельно принимать решения и жить, руководствуясь своим разумом и своей совестью, согласно силам и требованиям души.

Только такая жизнь стоит на прочной основе и дает силы и удовлетворение человеку и прочность обществу.

Никаких программ построения форм жизни у нас наперед не было. Все складывалось само, так как это вытекало из наполнявших душу убеждений.

Все было настоящее, не надуманное.

Мы считали, что основное в человеке — его духовная сущность, но знали, что проявляется она в делах и во внешних формах.

Так же и для жизни общества его духовная сущность выливается в какие-то внешние формы, но это не значит, что эти внешние формы являются целью, чем-то основным. Мы никогда не преклонялись перед программами, формами и не приносили им в жертву жизнь человека — основную ценность.

Мы испытали счастье жить в обществе, основанном на свободном, разумном согласии, без принуждения; общество без чиновничества — этой могилы всего живого, свободного и самостоятельного; общества без «моего», а где все наше — общее.

Мы счастливы тем, что узнали радость труда не по найму, не из расчета, а вольного, радостного труда.

Теперь, когда все это отошло в прошлое и становится историей, напрашивается еще один важный вопрос.

Оправдали ли собравшиеся в коммуны имя Льва Толстого, с высокими идеями которого они связали свою жизнь? Достигли ли они в своей жизни высоты и полноты того учения, которое они приняли?

Нет! Конечно, нет.

Слишком тяжел еще был груз прошедших недобрых веков в нашем сознании, слишком много было у нас человеческих слабостей.

И второй вопрос.

Стремилась ли мы достичь?

Да, стремились! Стремление было горячее, очень сильное, искреннее, честное, смелое — не пада своей жизни.

Из бушующего, необъятного океана жизни людской, их стремлений и судеб, бесконечно разнообразных, вдруг какую-то часть могучим водоворотом объединило в одно, оторвало от остальной массы.

Вынесло на пенный гребень волны. Затем мощным порывом подняло вверх, в воздух, к солнцу, со страшной силой ударило о скалы. Разбило на тысячи брызг, засверкавших всеми цветами радуги и упавших обратно в океан, слившихся с ним.

И этого нет.

И кажется, что и не было ничего.

Но это было!

И память об этом живет в душе переживших это как о чем-то светлом, большом, нужном и радостном.

9 ноября 1987. Тальжино.

Воспоминания Б. В. Мазурина предложил журналу и подготовил к публикации А. Б. РОГИНСКИЙ.

С. С. АВЕРИНЦЕВ

★

ВИЗАНТИЯ И РУСЬ: ДВА ТИПА ДУХОВНОСТИ

Статья вторая*

ЗАКОН И МИЛОСТЬ

Попробуем сказать о вещи очень важной и очень трудной: о типах религиозного отношения к власти и сопряженной с ней практике насилия.

Начнем, однако, издали: не с государей и государевых слуг, а с людей, у которых предполагается власть совсем иного рода,— со святых. Идеал христианской святости в любом вероисповедном и культурно-национальном варианте неизбежно включает два полярных аспекта — строгость и милость. Сам евангельский Иисус, «кроткий и смиренный сердцем», прощающий грешницу, вообще допускающий к себе и принимающий в свою любовь тех, кого уважаемые члены общества и за людей не считают,— это отнюдь не «женственный призрак», как его почему-то назвал Блок и каким его представляло размягченное воображение стольких живописцев и литераторов. Привычки говорить всем без разбора «добрый человек», как у булгаковского Иешуа, у него тоже нет как нет, и злых он видит насквозь (сравним, например, Евангелие от Иоанна, 2, 24: «Сам Иисус не верял Себя им, потому что знал всех»). Нищие уверял в своем «Антихристе», поздней книге, написанной на черте безумия, будто Иисус — это психологический казус, характеризующийся неспособностью сказать кому бы то ни было «нет»; странно, до чего даже в сознании этого отпрыска пасторской семьи евангельский образ оказался без остатка вытеснен ренановским. Ярость, с которой Иисус изгоняет торгующих из храма, поистине испепеляющие слова, с которыми он обращается к фарисеям,— ничего себе «женственный призрак»! Мы должны признать правду: не только полный благодати лик рублевского Спаса, но и суровые, испытующие, огненные лики более ранних византийских и русских изображений Христа — одно название «Спас Ярое Око» чего стоит! — в равной степени навеяны евангельскими текстами. То и другое — по-своему правомочные «отображения первообраза», как это называется на языке византийской традиции.

То же, в общем, и со святыми. Скажем, Иоанн Богослов в молодые годы не очень похож на девически-сентиментального мечтателя, каким его слишком часто представляло новоевропейское искусство: Христос, недаром давший ему вместе с братом Иаковом прозвище Сыны Грома, должен был их удерживать и вразумлять, когда они, уязвись обидой, нанесенной Учителю, вздумали по ветхозаветному примеру молитвой низвести с неба на грешное селение пожирающий огонь (Евангелие от Луки, 9, 54—55). Но это именно он, Иоанн, учил позднее о «совершенной любви», которая «изгоняет страх», а на последнем пределе дряхлости, уже теряя способность речи, только и твердил, по древнему преданию: «детушки, любите друг друга». Другой святой Иоанн — греческий проповедник IV—V веков, прозванный за свое красноречие Златоустом, — ставил деятельное милосердие выше чудес, будучи в то же время непреклоннейшим обличителем из обличителей, за что, собственно, ему и пришлось умереть в ссылке...

Таково общее правило, и о нем больше говорить не нужно. Если чуть вдуматься, никаких недоумений оно не вызывает. Но индивидуальный случай не сводим к

* Статью первую см. «Новый мир» № 7 с. г.

общему правилу. Совершенно естественно, что одни представители христианской святости, и как реальные личности, и как персонажи повествовательной традиции — для нужд нашего рассуждения различие между тем и другим не важно, — воплощают сильнее один полюс антиномии, а другие, соответственно, другой. Совсем просто, по-человечески, на глаз видно, как в одном случае преобладает суровость, в другом — ласковость. К одним святым страшно подступиться, к другим — не страшно.

Для Западной Европы мы можем со всеми необходимыми оговорками констатировать, что смягчение облика святости идет параллельно убыванию варварства и приращению цивилизованности. Само собой понятно, что в эпоху переселения народов самому человеколюбивому святому вроде Северина из Норика (V век) именно ради его человеколюбивых целей необходимо было нагонять страху на варварских главарей и для этого походить на кудесника, только более эффективного, более грозного, чем языческие жрецы и колдуны. Но прогресс социальной жизни идет своим чередом: рыцарь цивилизованнее своего предка-варвара, а человек позднесредневековой культуры, уже не только замковой, но и городской, — еще цивилизованнее. Лишь на этом, третьем этапе возможна фигура Франциска Ассизского, знаменующая изменение очень глубокого свойства в эмоциональном климате западной духовности. Как бы ни преувеличивала это изменение либеральная историография на исходе прошлого века, она его не выдумала. В XIII веке еще не существовало слово «аджорнаменто»¹, но феномен аджорнаменто очень четко выявил свои черты; с тех пор история католической церкви идет под знаком периодичности совершенно сознательных и централизованно осуществляемых актов усвоения новых форм цивилизации. Еще продолжаются крестовые походы, но Франциск, не говоря против них ни слова, подает будущим, пока еще не близким временам пример миссионерского путешествия в Египет — с султаном лучше поговорить, чем воевать. Если верить легенде, он разговаривал также с волком, причем успешнее, нежели с султаном. Но поведение Франциска, сколько бы оно ни предстало перед нами в романтической дымке корудствующей непрактичности, есть не просто плод его чисто личной доброты, но находится в согласии с движением цивилизации; по сути дела, оно было куда практичнее, чем крестовые походы. Будущее было не за крестовосцами, а за миссионерами. Филиппо Нери (1515 — 1595) действовал в Риме во время очередной волны аджорнаменто; его попытки обратить на пользу церкви неискоренимую склонность итальянцев на лету подхватывать полюбившуюся мелодию дали облик и название музыкальному жанру — оратории; римское престонорадьё прозвало его «добряк Пешпо», и он удостоился похвалы от Гёте, не любившего католических духовных лиц, но имевшего вкус к итальянской жизни. Разумеется, отнюдь не все западные святые последовавших столетий были «добряками» в стиле Нери — какое там; но все жесткое в самых неумолимых ревнителях контрреформации было не то чтобы смягчено — с русской точки зрения (ярко выраженной у Достоевского) это может восприниматься совершенно наоборот! — а «темперировано» цивилизованностью. «Мягко по образу действия, твердо по существу действия» (*leniter in modo, fortiter in actu*) — гласит одна из максим иезуитского ордена. Кто захочет, сможет, конечно, в насмешку перевести ее на русский — мягко стелют, да жестко спят; но это не единственная русская ассоциация, которая здесь приходит на ум. Когда известный Владимир Печерин, русский эмигрант герценовской генерации, вздумал пойти в послушники к редемптористам, то есть в конгрегацию, родственную иезуитам, его чрезвычайно поразила возведенная в принцип вежливость старших к младшим, начальников к подчиненным.

Здесь стоит задуматься. Почему, собственно, редемптористская вежливость была для него столь неожиданной? Надо полагать, по контрасту с тем, что он знал о русских монашеских нравах. Его знания, несомненно, были весьма поверхностными; с другой стороны, монастыри, подавшие повод к таким представлениям, могли быть просто плохими. Но существа дела ни первое, ни второе не затрагивает. За обличительным «имиджем» длинноволосого и длиннородого, вероятно, неопрятного — не комильфо — православного монаха, который говорит послушнику «ты» и немилосердно им помыкает, стоит слишком многое Восточный тип аскетического воспитания, широко известный в православии, но также за пределами христианства, например,

¹ Термин поры Второго ватиканского собора (1962); приспособление внешних форм католической религии к нуждам текущего дня.

в суфизме или дзэн-буддизме, применяет озадачивающие оскорбления и утеснения не только как способ испытать новичка, но и как своеобразную шоковую терапию. Симеон Новый Богослов, один из самых тонких мистиков Византии, принуждал своего любимого ученика на глазах у чужих людей вкушать нарочито скоромную пищу, после чего корил его при тех же свидетелях за чревоугодие; это не просто тривиальная выработка смирения, но нечто отчасти похожее на дзэнские коаны — неразрешимые загадки, загоняющие в тупик старое сознание и помогающие родиться новому. Но дело даже не только в том, что плохой мовак может быть груб, а великий аскет может быть суров и даже прибегать к мучительным для пациента приемам глубинно-психологического зондирования. И там, где ничего подобного нет, а есть, напротив, изливающаяся на всех без разбора, «на праведных и неправедных», как сказано о дожде небесном в Нагорной проповеди, теплота ласки — как у преподобного Серафима, обращавшегося к каждому с приветствием: «Радость моя!» — тоже нет ни малейшей возможности заговорить о вежливости. Для описания такой теплоты слово «вежливость» — слишком холодное. Слова этого вообще не представлял себе ни в одном русском духовном трактате. Слов в то время как еще Франциск Ассизский рекомендовал своим ученикам чуть куртуазно окрашенную учтивость (и сам, как известно, практиковал ее даже с бессловесными тварями Божиими), между тем как соименный ему Франциск Сальский (1567—1622) специально посвятил вопросам вежливости и обходительности целую пространную главу своего классического «Введения в духовную жизнь», породившего в католической пастырской литературе большую традицию. Сказанное никак не означает, что католическая духовность непременно связана с деликатными манерами и внешним блеском (совсем недавно, в середине нашего века, о противоположном напомнил итальянский священник пад-ре Пио, имевший у народа прочную репутацию чудотворца и прозорливца, — уж он-то говорил каждому проходящему «ты» и держался без оглядки на светские приличия); но принципиально важно, что вопрос о соотношении между святостью и цивилизованной социальностью был поставлен, и не по ходу дела, а как проблема нравственной теологии, на теоретическом уровне.

Прослеживаемый нами контраст — не контраст между культурой и ее отсутствием, как и не контраст между полным обмирщением и духовностью. Это контраст между двумя культурами и, соответственно, двумя типами духовности. Вежливость, которая уже не есть архаическое вежество, которая имеет специфический смысл, от эпохи к эпохе проясняемый западной культурой, — это отмеренная дистанция между индивидами в пространстве внеличного закона. То есть, разумеется, для верующего западного христианина источник закона — личный Бог, но сам по себе закон внеличен, нейтрален по отношению к индивидам, которых он объемлет как нейтральное по отношению к телам ньютоновское пространство. Здесь позволительна аналогия пространственным построениям прямой линейной перспективы. Индивиды — «падшие», грешные, и потому их надо защитить друг от друга; вокруг каждого должна быть зона дистанции, создаваемая вежливостью, а их отношения регулируются договором. Когда читаешь католические книги по моральной теологии, поражаешься, как подробно там оговариваются границы права ближнего на свои личные секреты, не подлежащие разглашению под страхом греха, и тому подобные загородочки вокруг территории индивидуального бытия, — и насколько часто там употребляется одно важнейшее, привычное для нас отнюдь не в сакральных контекстах слово: «договор», по-латыни — «контракт».

Ведь даже идея «общественного договора» как источника полномочий власти, сыгравшая памятную всем роль у Руссо и в идеологии Великой французской революции, восходит, как известно, к трактатам отцов-иезуитов XVI—XVII веков — оппонентов учения о божественном праве королей. Далеко не случайно Достоевский не навидел самый дух морали контракта, в котором угадывал суть западного мироощущения, считал его безнадежно несовместимым с христианской братской любовью и даже поминал в связи с ним весы в руке третьего апокалипсического всадника — образ скаредной меры, отмеривающей ровно столько и не больше. (Уже за пределами православия можно вспомнить типично русские издевки Цветаевой над Западом-Гаммельном: «мера и савтиметр...», «только не передать...»). Но католическая теология со времен схоластов зрелого средневековья неукомно учила, что «закон справедливости», он же «естественный закон», описанный еще Аристотелем и стоиками, — это необходимый по условиям грешного мира нижний этаж для верхнего

этажа «закона любви»: как без договора, без контракта, имеющего санкцию в Боге, защитить падшего индивида от чужой и собственной греховности?² Таково то многократно упоминавшееся в русской полемической литературе свойство католицизма, которое принято называть его юридическим духом. Юридический дух и здесь, как везде, требует, чтобы ради ограждения одного личного бытия от другого субъекты воли (какими для него прежде всего иного являются личности) были, подобно физическим телам, разведены в «ньютонском» моральном пространстве, где их отношения регулируются двуединой нормой учтивости и контракта, не допускающей ни эксцессов суровости, ни эксцессов ласковости. Конечно, это — только один уровень, уровень поверхностности. И у западной духовности — иначе она вовсе не была бы духовностью — имеется другой уровень, более глубокий и более существенный: тот уровень, на котором субъект воли отрекается от своей воли, на котором держатель прав добровольно жертвует ими, на котором отношения между учителем аскезы и его учеником настолько серьезны, что наличие или отсутствие вежливости со стороны учителя перестает иметь какое-либо значение. Если брать этот уровень изолированно, абстрагируясь от всего иного, западная и восточная духовность будут представлять больше всего черт сходства³. Но на Западе глубинный уровень выступает со времен Фомы Аквината и тем более со времен Франциска Сальского в систематически проводимом и теоретически узакониваемом опосредовании и поверхностным уровнем учтивости и контракта. На Востоке опосредования несравнимо меньше, и когда оно имеется, оно не систематично и не узаконено. Теория его не признает и не делает ему уступок; на практике же здесь усматривается проявление немощи человеческой.

После этого затянувшегося, но необходимого отступления вернемся к нашему «детскому» вопросу о святых грозных и святых ласковых. Перед лицом византийской традиции он и впрямь слишком «детский»; византийских святых невозможно классифицировать по эмоциональным критериям. Атмосфера византийской духовности определяется, во-первых, общеправославным и очень строго проводимым императивом «трезвения», во-вторых, некоторой эмоциональной суховатостью, которая присуща давным-давно созревшей цивилизации. Еще у Иоанна Златоуста, упомянутого в начале нашей статьи, такой суховатости нет; у более поздних церковных витий она появляется. Ее нет в ранних рассказах о словах и делах египетских и палестинских аскетов, собранных в «Отчечнике», «Лавсаике», «Луге духовном»; но она торжествует в расчерченных как по циркулю житийных схемах Симеона Метафраста. Византийцы не могли не быть очень умными и умственными даже тогда, когда решительно зарекались от интеллектуализма. Суховатость, о которой мы говорим, никоим образом не исключала самого огненного горения духа, скажем, в поздневизантийской мистике — одни гимны Симеона Нового Богослова чего стоят; но если разматывать нить метафоры, можно сказать, что сухое дерево жарче горит.

² Имеются уходящие в схоластическую традицию корни у попыток западных теологов новейшего времени подвести богословский фундамент под эгалитарно-демократические принципы, аргументируя не от невинности человека, как Руссо, а, напротив, от его греховности. В своей сущности, говорят они, жизнь иерархична, однако эта нагая сущность, подобно нагоде плоти после грехопадения прародителей, нуждается в принципе равноправия как аналоге покрова стыдливости. Во всех глубинных межличностных отношениях — подлинном единстве, подлинной любви, — пока райский миг длится, никто не спрашивает о равенстве прав; однако последнее необходимо, потому что в падшем мире подлинное сейчас же грозит выродиться в неподлинное. Поэтому человеку нельзя давать неограниченную власть над человеком; из христианской любви к носителю власти не нужно вводить его во искушение. Никто из людей не достаточно чист, чтобы за него не надо было бояться.

³ Здесь не место обсуждать различия в установках восточной и западной аскетики. Различия эти очень резко акцентированы в «Аскетических опытах» Игнатия Брянчанинова. Если бы, однако, не было существенной общности, афонский монах, составитель «Добротолюбия» Никодим Святогорец не смог бы при помощи совсем немногих изменений приспособить для православного читателя аскетическое руководство католика Скупполи, монаха-театинца XVI века, «Невидимая брань» (книга была переведена на русский язык с греческого и получила широкое хождение среди стремящихся к духовной жизни монахов и мирян). Вообще же соотношение православной и католической мистики — зона острых споров. Характерно, что влиятельнейшее в католицизме «Подражание Христу» (XV век) вызвало со стороны двух русских духовных авторитетов — Дмитрия Ростовского и того же Игнатия Брянчанинова — диаметрально противоположные оценки.

О таких вещах, как суровость и ласковость, которые мыслятся более или менее безотчетными и наивными, в применении к византийским святым и говорить недовольно. Этой паре противоположностей там отвечает другая, чрезвычайно характерная для лексики православной Греции: акривия — икономия. Слово «акривия» буквально означает точность; имеется в виду неуклавно, непреклонно, неумолимо применяемое к себе и к другим требование соблюдать заповеди Бога и уставы Церкви по всей, что называется, строгости закона. Это не эмоциональный порыв гневного энтузиазма — это ровно и бесстрастно проводимый максималистский принцип. Другое ключевое слово — «иконмия» — буквально означает домоводство (в традиционном церковнославянском переводе — домовоительство); в расширительном смысле это целесообразная система действий, направленная на осуществление замысла, в частности, замысла Бога спасти людей через воплощение и крестную смерть Сына («домовоительство спасения»); в лексике, касающейся религиозного поведения, это готовность вовремя поступиться акривией, если это целесообразно в видах спасения ближнего или интересов правой веры. И здесь — не порыв прощать, а продуманный умысел, тактика и политика, хитроумное «художество». Вспомним, что и аскетику греки называли «художеством» («техни» — одного корня с нашей «техникой»). Подход византийца «техничен». Акривия и икономия различаются как две тактики — наступательная и оборонительная.

Русская святость, будучи православной, имеет предпосылки, общие для нее с византийской святостью. Но эмоциональная ее окраска иная: она отвечает впечатлительности молодого народа, куда более патриархальным устоям жизни, она включает специфические тона славянской чувствительности. И поспешим вернуться к нашей теме: контрасты «кроткого» и «грозного» типов святости здесь не опосредованы цивилизацией, как это в возрастающей мере происходило на Западе, и не транспонированы в «умственную» тональность, как в Византии, — они выступают с такой потрясающей обнаженностью и непосредственностью, как, может быть, нигде. Если святой грозен, он до того грозен, что верующая душа может только по-детски робеть и расстилаться в трепете. Если он кроток, его кротость — такая бездна, что от нее, может быть, еще страшнее. Притом типы эти не включившись в схему исторической последовательности — сначала, мол, характернее одно, затем преобладает другое; их не прикрепишь к одному или другому периоду. Да они и не могли бы сменять друг друга, вытеснять друг друга, потому что они не могут друг без друга обойтись. Это два полюса единой антиномии, лежащей в самых основаниях «Святой Руси». За ними — очень серьезный, недоуменный, неразрешенный вопрос. Вопрос этот многое определяет в русском сознании, в русской истории. Его скрытое воздействие не прекращается и тогда, когда о православной традиции и не вспоминают.

На одном полюсе — попытка принять слова Христа о любви к врагам, о непротвлении злу, о необходимости подставить ударившему другую щеку абсолютно буквально, без оговорок, без перетолкований. Под удар подставляется не только ладница, но и голова; насильник не получает не только отпора, но и укоризны, мало того, жертва обращается к нему с ласковым, особенно ласковым словом. «Братия моя милая и любимая» — так называет своих убийц Борис, и Глеб, когда наступает его час, разговаривает с ними в том же тоне. Собственно, новозаветные примеры — самого Христа и затем Стефана Первомученика — учат молиться о палачах; они не обзывают к такой ласке; но именно она вносит ноту ни с чем не сравнимого лиризма, выделяющего древнерусские сказания о Борисе и Глебе среди всей сколько-нибудь аналогичной литературы. Пусть религиозное почтение к пролитой царственной крови, чуждое, как мы отмечали в предыдущей статье, Византии, не было чуждо Северу Европы; однако сходство канонизированных убиенных королей Скандинавии и Британии с четой сыновей Владимира Святого весьма ограничено. Святые Олаф Норвежский, Эрик Шведский были убиты в сражении с оружием в руках, как приличествует викингам; если бы крещение не открыло им христианского Рая, они бы вполне заслужили Валгаллу. Святой Эдмунд, король восточных англов, был убит, попав к неприятелю в плен после програнной битвы, продолжая и в плену отстаивать территориальную целостность своего королевства (за мученичество в данном случае был сочтен героический отказ уступать христианскую землю язычникам-датчанам). Во всех этих случаях отсутствует крайне важный для сказаний о Борисе и Глебе мотив непротвления, добровольной обреченности, экстатического слезного

восторга в самой бездне ужаса. Ближе, конечно, славянская параллель — образ святого чешского князя Вячеслава (Вацлава), который тоже гибнет от козней брата, тоже мог бы дать вооруженный отпор и отказывается сделать это («но не хочу»); специалисты давно обсуждают вопрос о соотношении «вацлавской легенды» и «борисоглебской легенды» — генетическая связь сомнительна, но типологическая совершенно несомненна. И все же повествования о святом Вячеславе не дают такого акцента на идее жертвенности; чешский князь предстает как религиозный и политический деятель, а в смертный час, отказавшись защищаться во главе дружины, он все же оказывает некоторое сопротивление. Борис и Глеб с самого начала — не в деятельной, а в страдательной роли. Страдание и есть их дело, сознательно принятое на себя и совершаемое с безукоризненным «благообразием» обряда, что выражается хотя бы в поведении перед убийцами. «Очищенная от морально практических приложений, даже от идеи мужественного исполнения долга <...>, идея жертвы, отличная от героического мученичества, выступает с особой силой» (Г. П. Федотов).

Мы вернулись к тому, чем кончалась предыдущая статья: к феномену русских «страстотерпцев», которых никак нельзя назвать в обычном смысле мучениками за веру, но которые описываются традицией как мученики непротивления злу и, кроме того, как неповинные жертвы за грешный мир. От них требуется особого рода безответность, даже беспомощность, которая вовсе не обязательна для мученика, с силою исповедующего и проповедующего свою веру. «Страстотерпец» ведет себя как дитя, и чем больше этой детскости, тем чище явление жертвы. Здесь русская традиция продолжает ветхозаветную тему «анавим» — «нищих Господних», «тихих людей земли»: «душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди» (псалом СXXX, 2). Сила «страстотерпца» — только в полном бессилии, в соединении детской невинности с детской виноватостью. Как лирический герой XXXVII псалма, он не имеет во устах своих обличения. Мы уже видели, что Борис и Глеб не могут и не хотят укорить своих убийц; казалось бы, почему? Стефан Первомученик молился за палачей, но перед этим обличал их. Обличение само по себе может быть проявлением любви — но не той детской любви, к которой призвана жертва.

Для русской традиции очень характерно почитание умученных, обиженных, попавших в беду детей — от царевича Димитрия до мальчика «в людях» Василия Мангазейского. Иногда гибель исходит не от людей, а от стихии, как в случае Артемия Веркольского, но она все равно является знаком жертвенного избранничества. Молния знает, кого поразить — либо самого виновного, либо невинного из невинных.

Кротость так уж кротость: тише воды, ниже травы. Когда Сергий Радонежский, уже давно игумен, слышит прекословие своего брата по крови и по иночеству, он безмолвно, беззвучно уходит из обители, даже не зайдя в свою келью. «Не рех ничтоже», — подчеркивает Епифаний Премудрый. Преподобный Серафим, повстречавшись с разбойниками, кладет на землю топор и с поклоном подставляет себя под удары, которые хотя не умертвят его, как Бориса и Глеба, но изувечат на всю жизнь; и если для этого поступка самого по себе, вообще говоря, имеются параллели и в греческих патериках, и в западной агиографии, то при выяснении русской специфики необходимо учитывать, насколько черта непротивления и жертвенности подчеркнута и усилена в конкретном облике Серафима всей его детской, чуть юродивой ласковостью, «благоуветливым гласом» его словес, звучащих как лепет. «Радость моя!» — это его обращение к знакомым и незнакомым мы цитировали выше. Русская литература прошлого века не прошла мимо этого типа святости; вспомним «бегнебие» старца Памвы из «Запечатленного ангела» Николая Лескова.

Таков один полюс; а вот и другой. Грозной святости по преимуществу ожидают от «святителей» — епископов, наделенных церковной властью, которую трудно отделить от политической. Власть должна внушать страх. О властном новгородском архиепископе XV века святом Евфимии известный агиограф Пахомий Логофет замечает, что Бог его «страшна к непокоривым показа». Современником Евфимия был святой Иона — первый московский митрополит, признанный законным без утверждения Константинополем; когда другой русский святой, игумен Пафнутий Боровский, позволил себе (вообще говоря, с достаточным основанием) усомниться в каноничности подобной практики, Иона подверг его побоям и бросил в темницу. Суровым, грозным, непрощающим остался святитель в памяти русских людей; чудеса, о которых повествует его житие, все больше чудеса карающие — умирает человек, не

поверивший в его власть сотворить чудо, умирает другой, узревший его в видении после смерти, но не поведавший об этом, не исполнивший поручения.

Есть русское слово, обозначающее специфически русский вариант жесткости, а потому непередаваемое, как все лучшие слова в любом языке,— «крутой». На Западе — своя жесткость ревнителей веры: возможно, что Бернард Клервосский, глашатай крестовых походов и преследователь Абеяра, был более яростным, чем суровые святые русской истории; несомненно, что магистр Конрад, духовник Елизаветы Венгерской, доводивший подопечную до совершенства весьма безжалостными приемами, был более и зощренным. Но святитель Иона — тот был именно по-русски крутеек, как крут был преподобный Иосиф Волоцкий, на свой лад не менее характерный представитель русской духовности, чем безответные страстотерпцы и ласковые ко всем милостивцы. Его аргументация в пользу того, что «подобает еретика и отступника не токмо осужати, но и проклинати, царем же, и князем, и судием подобает сих и в заточение посылати, и казнем лютым предавати», поражает своей пугающей глубиной и подчас неожиданной находчивостью. А, вам нравятся благочестивые истории, в которых чудо Божие само собой карает виновных и прекращает обмен лжеучителей? Так разве вы не видите, что смерть по молитве святого гораздо страшнее и горше, чем смерть «от оружия», от обычной человеческой расправы? Иосиф проникнут настроением ветхозаветных преданий — например, о том, как пророк неожиданно велел избить себя, и того, кто отказывается это выполнить, пожирает вышедший на дорогу лев (III Книга царств, 20): «Богу повелевающу, не достоин испытovati естество бываемых, но повиноватися точию». В послании княгине Голеиной преподобный объясняет вдове, потерявшей детей, что если те умерли в юности, значит, Бог предвидел, что они будут жить «житием злым и лукавым», — сами виноваты, хотя ничего еще не успели сделать; и от этой темы он переходит к сугубо деловому разговору о плате за панихиды — «даром священник ни одное обедни, ни понафиды не служит».

Все отнюдь не просто: мы должны быть очень осторожны, чтобы не увидеть вместо реального Иосифа Волоцкого — карикатуру на него, к чему наше, что называется, «интеллигентское» сознание естественным образом склонно. Тот же самый преподобный Иосиф, чьей жесткости мы готовы ужаснуться, в лихолетье был, подобно ветхозаветному Иосифу, заботливым кормильцем сотен голодающих, попечителем детей, брошенных родителями; он распорядился — пусть обитель залезает в долги, «дабы никто не шел с монастыря не ядши». Будь он «нестяжателем» в духе преподобных Нила Сорского и Максима Грека, а не крутым хозяином, без малейшего намека на чувствительность обращающим во благо финансам обители горе несчастной княгини, — ему не на что было бы осуществлять столь широкую благотворительность. Социальный момент присутствует в сознании Иосифа Волоцкого гораздо сильнее, чем в сознании «нестяжателей»: тут он уговаривает боярина по-человечески относиться к зависимым людям, причем не бьет на жалость, а упирает на пользу для самого боярина как в этом мире, так и на Страшном суде; там велит князю запретить повышение цены на хлеб... И этот народный печальник — тот же самый человек, который требует смертной казни не только за ересь, но за недосеение о ереси: «аще и правоверни будут сами, и уведавшие же еретики или отступники, и не предадут судиям, конечную муку подымут». Важно понять, что никакого противоречия здесь нет: мировоззрение Иосифа очень цельно.

Важно понять и другое — старцы Кириллова монастыря, спорившие с посланием Иосифа Волоцкого об осуждении еретиков, не были либералами. Перед нами не идеологи толерантности, а пророки непостижимой для рассужда любви Бога; они учат не «терпимости», а терпению — терпению ко злу, ибо они нисколько не сомневаются, что ересь есть действительное зло. Пусть еретики не лучше разбойников; но ведь Христос простил и разбойника. Они не ближе к рационализму, а дальше от него, чем иосифляне. Против ветхозаветной логики Иосифа они апеллируют к парадоксам Нового завета. Их довод — превосходящая понимание готовность апостола Павла самому принять на себя проклятие, лишь бы испросить прощение для не уверовавших иудеев (Послание к римлянам, 9, 3): «видиши ли, господине, душу свою полагает за соблазнившуюся братью, дабы спаслися, а не молвил им, дабы их огонь пожег, или земля пожерла, а могли сия от Бога приати».

Как кажется, полемика между иосифлянами и «нестяжателями» о возможности ответить на ересь казнями — явление уникальное. Во-первых, очень важно, что обе

спорящие стороны остаются не только в пределах ортодоксии, но и на платформе средневекового мировоззрения. На Западе этого не было; конечно, там и в средние века находятся люди, в их числе как иерархи, так и святые католической церкви, которым претит практика репрессий, но теоретически ее оспаривают разве что еретики; а когда дело доходит наконец до систематических возражений, возражения эти устремляются в русло поднимающейся новоевропейской идеологии либерализма. Во-вторых, важно, что спор о насилии и отказе от насилия переплетается со спором о «стяжательстве» и «внестяжательстве». Этого на Западе тоже не было: как раз нищенствующие ордена, чью «внестяжательную» жизнь ставил в образец православным русским монахам Максим Грек, поставляют деятелей для инквизиции.

Еще раз: оппоненты иосифлянства отстаивали не право на инакомыслие, а радикально понятый евангельский запрет судить и осуждать. Это — другая тема, чем свобода мысли. На чем основывать совместную жизнь людей — на «грозе», на крутой строящей воле, не знающей границ, или на долготерпении, тоже не знающем границ? «А Я говорю вам: не противься злему» (Евангелие от Матфея, 5, 39) — это слова Христа, и для того, для кого они не значат ровно столько, сколько значат, они вообще не имеют смысла. От них ничего нельзя отнять. Чтобы осуществить их, нужно добровольно сделать себя безответной жертвой — как Борис и Глеб, как предподобный Серафим, как лесковский старец Памва и князь Мышкин Достоевского. Но ведь слова о «начальнике», который «не напрасно носит меч», поскольку есть «Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Послание к римлянам, 13, 4), — это тоже новозаветные слова, сказанные, впрочем, о язычнике, не связанном обязательствами перед Нагорной проповедью; христианин во времена апостола Павла не имел шансов быть «начальником». Как совместить, как «вместить» все это?

Речь идет, вообще говоря, о дилемме, общей для христианства в целом. Как христианину прикоснуться к власти над людьми? Вот и на Западе папа Целестин V сложил с себя сан и ушел в пустыню; католическая церковь причислила его к лику святых, но Данте отправил в Ад — когда добрый человек отказывается от власти, он навлекает на себя ответственность за то, что ее возьмут злые. Но все-таки Запад облегчил для себя отношение к больному вопросу, даже сделал его «почти» — лишь «почти» — разрешимым; пусть читатель вспомнит то, что сказано выше об одосредовании духовности этикой учтивости и контракта. Расставшись с чистым августинизмом во времена Аквината, католическое мировоззрение делит бытие не надвое («свет» и «тьма») — а на трое: между горней областью сверхестественного, благодатного, и преисподней областью противоестественного до поры до времени живет по своим законам, хотя и под властью Бога, область естественного. Государственная власть принадлежит именно этой области; только еретик способен видеть в ней устройство дьявола, но попытки неумеренно сакрализировать ее тоже неуклонно осуждались. Если сосуществование природного, как еще-не-благодатного, с благодатью — а к о н и о, дело теологии — урегулировать отношения между той и другой областью, выяснить их границы. Это значит, что качественное различие между насилием и ненасилием оказалось сведено к количественной проблеме меры, к арифметической задаче, которую всегда можно попытаться решить. Интересно, что по-латыни есть слово, играющее важную роль в католическом нравственном богословии, но совершенно непереводаемое на русский язык. Это слово — *clementia*; его нельзя переводить, как это обычно делается, словом «милосердие» хотя бы потому, что «милосердие» — точная калька другого латинского слова — *misericordia*. *Clementia* — это именно не милость и не жалость, не движение сердца, а нечто иное; недаром Фома Аквинский совершенно основательно видит в ней частный вид добродетели «умеренности». Имеется в виду такой случай, когда носитель власти какого-либо рода, практикуя эту власть, иначе говоря, практикуя насилие, ограничивает это насилие пределами абсолютно необходимого, щадя каждого, кого он может пощадить без урона для своей власти, ограждая себя от безудержности, от того, что Августин назвал похотью власти. В этом больше выдержки, самоуважения, чувства меры, чем доброты. Разумеется, слово *clementia* характеризует по католической системе область «естественного», лежащую между адом жестокости и благодатью христианской любви. У любви нет меры, мера любви есть безмерность, как сказал Бернард Клервоский; но самое существо «кlemenции» — в исчислимой мере.

Более чем понятно, что по-русски такого понятия нет. Русская духовность делит мир не на три, а на два — удел света и удел мрака; и ни в чем это не ощущает-

ся так резко, как в вопросе о власти. Божье и Антихристово подходят друг к другу вплотную, без всякой буферной территории между ними; все, что кажется землей и земным,— на самом деле или Рай, или Ад; и носитель власти стоит точно на границе обоих царств. То есть это не просто значит, что он несет перед Богом особую ответственность,— такая тривиальная истина известна всем. Нет, сама по себе власть, по крайней мере власть самодержавная,— это нечто, находящееся либо выше человеческого мира, либо ниже его, но во всяком случае в него как бы и не входящее. Благословение здесь очень трудно отделить от проклятия.

Нет ничего более странного, чем публицистика начальных времен русского абсолютизма. Кого ставит в пример самодержцу Иван Пересветов? Турецкого султана Мухамеда II, не только «нехристя», но и специально разорителя православной византийской державы, которого повесть Нестора-Искандера о взятии Царьграда иначе не называла как «окаянным» и «беззаконным». Другой, еще более шокирующий прототип самодержца — валашский воевода Дракула. Сказание о нем рекомендует его такими словами: «греческия веры христианин воевода именем Дракула влашеским языком, а нашим диавол»,— кажется, нигде больше во всей древнерусской литературе слова «христианин» и «диавол» не оказываются в такой скандальной близости. Кто же он на самом деле, этот каратель, отправляющий на казнь всякого встречного и поперечного? Похоже на то, что у автора (или перелагателя) повести были двоящиеся мысли. В одном месте сказано: «И толико ненавидя во своей земли зла, яко кто учинит кое зло, татбу или разбои или кую лжу или неправду, тои никак не будет жив». Значит, все же защитник правды? Но в другом месте: «Никтоже не увестъ сделанного им окаанства, токмо тезоименитый ему диавол!» В этом же ряду — предание о том, что регалии православного царства происходят не откуда-нибудь, а из Вавилона, библейского символа всякой скверны... Что хочешь об этом, то и думай. И рядом с этим — торжественные слова Ивана Грозного в начале послания к Курбскому: «Отец и Сын и Святыи Дух, ниже начала имеет, ниже конца, о Нем же живем и движемся, Им же царие величаются и силнии пишут правду».

Так вопрос о власти не ставился со времен Ветхого завета. Как известно, в I Книге царств намерение Израиля избрать себе царя расценивается как богоотступничество — Яхве сам должен был бы царствовать над священным народом. «И собралысе все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: <...> поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. <...> И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли; но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам: так поступают и с тобою» (8, 4—8). Это с одной стороны; а с другой — обетования династии Давида в «царских» псалмах. Там тоже был неразрешимый вопрос. Он был разрешен лишь на ином уровне — в евангельском образе Царя, который действительно Царь, но Царь «не от мира сего».

Для русских антиномии, заключенные во власти над людьми, в самом феномене власти, оставались из века в век — чуть ли не с тех пор, как Владимир усомнился в своем праве казнить,— не столько задачей для рассудка, сколько мучением для совести. Так сложился культурный тип, с неизбежной приблизительностью и все же, как кажется, достаточно верно описанный Волошиным:

Мы нерадивы, мы нечистоплотны,
Невежественны и ущемлены...

.....
Зато в нас есть бродило духа — совесть
И наш великий покаянный дар,
Оплавивший Толстых и Достоевских,
И Иоанна Грозного. В нас нет
Достоинства простого гражданина,
Но каждый, кто перекипел в котле
Российской государственности,— рядом
С любимым из европейцев — человек.

Наша опасность заключена в вековой привычке перекладывать чуждое бремя власти на другого, отступаться от него, уходить в ложную невинность безответственности. Наша надежда заключена в самой неразрешенности наших вопросов, как мы

их ощущаем. Неразрешенность принуждает под страхом моральной и умственной гибели отыскивать какой-то иной, высший, доселе неведомый уровень (как у Ахматовой: «Никому, никому не известное, но от века желанное нам»). Неразрешенные вопросы обращены к будущему...

К этой статье приложен перевод ветхозаветных псалмов, отобранных православной богослужебной традицией в так называемое Шестопсалмие. Целью переводчика было создать символ преемства между древнееврейской, эллинистической и русской культурами. Поэтому настоящий перевод (в отличие от других моих библейских переводов) намеренно держится греческого текста, хотя и с оглядкой на еврейский подлинник, и стремится удержать музыкальный ритм церковнославянских каденций.

ПСАЛОМ 3

Господи, как умножились теснящие меня!
 Многие восстают на меня,
 многие глаголют к душе моей:
 «Нет в Боге спасения для него»,
 Но Ты, Господи,— защита моя,
 Ты — слава моя, Ты возносишь главу мою.
 Гласом моим воззвал я ко Господу,
 и услышал Он меня от святой горы Своей.
 Я уснул, и спал, и восстал,
 ибо Господь защищает меня,
 Не усташусь множеством людей,
 отовсюду обступивших меня.
 Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой!
 Ты поражаешь всех супостатов моих,
 сокрушаешь зубы грешников.
 От Господа — спасение,
 и на людях Твоих — благословение Твое.
 Я уснул, и спал, и восстал,
 ибо Господь защищает меня.

ПСАЛОМ 37

Господи! не в ярости Твоей обличай меня,
 и не во гневе Твоем наказывай меня;
 ибо стрелы Твои вошли в меня,
 и отяготела на мне рука Твоя.
 Нет целого места в плоти моей
 по причине гнева Твоего,
 нет мира в костях моих
 по причине грехов моих;
 ибо беззакония моя превысили главу мою
 как бремя тяжкое, гнетут меня;
 смердят и гноятся раны мои
 по причине безумия моего.
 Согбен я и безмерно поник,
 весь день, сетуя, кожу,
 ибо недугом полны чресла мои,
 и нет целого места в плоти моей.
 Я изнемог и сокрушен весьма,
 вопию от стеснения сердца моего.
 Господи! пред Тобою все желание мое,
 и воздыхание мое от Тебя не сокрыто.
 Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя,
 свет очей моих — и того нет со мною.
 Други мои, сотоварищи мои
 отступили от беды моей
 и ближние мои встали поодаль.
 Но ищущие души моей ставят сети,
 желающие мне зла глаголют словеса убийства,
 готовят ковы целодневно.
 Я же, как глухой, не слышу,
 как немой, не отверзаю уст моих;
 да, я был как тот, кто не слышит,
 и не имеет отповеди во устах своих.
 Ибо на Тебя, Господи, уповаю;
 Ты услышишь, Господи, Боже мой!
 И сказал я: да не порадутся обо мне враги мои,
 да не похвалятся передо мною,
 когда оступится стопа моя!

Ибо я на раны готов,
и скорбь моя всегда предо мною,
я возвещаю беззаконие мое
и печалюсь о грехе моем.
Меж тем враги мои живут в силе великой,
и умножились ненавидящие меня безвинно,
воздающие мне злом за добро,
враждующие на меня за то, что ищу добра.
Не оставь меня, Господи, Боже мой!
Не отступи от меня!
Поспеша на помощь мне,
Господи спасения моего!

Не оставь меня, Господи, Боже мой,
не отступи от меня,
поспеша на помощь мне,
Господи спасения моего!

ПСАЛОМ 62

О, Боже, Ты — Бог мой,
Тебя взываю от ранней зари.
Тебя возжаждала душа моя,
по Тебе томится плоть моя
в земле пустынной, и сухой, и безводной.
О, когда бы во святилище узреть Тебя,
видеть силу Твою и славу Твою!
Ибо милость Твоя лучше жизни,
и восхвалят Тебя уста мои.

Буду благословлять Тебя, пока длится жизнь моя,
о имени Твоем вознесу руки мои:
словно тучам и елею, насытится душа моя,
и гласом радости восхвалят Тебя уста мои,
когда вспомню о Тебе на постели моей,
поутру помыслию о Тебе;
ибо Ты — помощник мой,
и под сенью крыл Твоих я возрадуюсь.
Прильнула к Тебе душа моя,
и держит меня десница Твоя.
А те, кто уловляют душу мою,
сойдут в преисподнюю земли,
преданы будут силе меча,
достанутся в добычу шакалам.
Царь же возвеселится о Боге,
прославлен будет всякий, кто клянется Им,
ибо заградятся уста
глаголющих неправду.
Поутру помыслию о Тебе,
ибо Ты — помощник мой,
и под сенью крыл Твоих я возрадуюсь.
Прильнула к Тебе душа моя,
и держит меня десница Твоя.

ПСАЛОМ 87

Господи, Боже спасения моего!
Во дни и в ночи вопию пред Тобою.
Да увидет пред лице Твое молитва моя,
приклони ухо Твое к молению моему;
ибо насытилась бедами душа моя,
и жизнь моя подошла к преисподней.
Я причислен к нисходящим в могилу,
я стал, как человек изнемогший,
оставленный посреди мертвых,
подобный убитым во гробе,
о которых Ты более не вспомнишь,
и которых руна Твоя отринула.
Ты низвел меня в ров преисподний,
во тьму и в тень смерти;
на мне отяготела ярость Твоя,
и все волны Твоя навел Ты на меня.
Ты удалил от меня ближних моих,
сделал меня мерзостью для них,
заточил меня, мне не выйти на волю.

Очи мои истомились от горести;
 я взывал к Тебе, Господи, весь день,
 простираю к Тебе руки мои.
 Или над мертвыми Ты творишь чудеса?
 Или умершие восстанут и восславят Тебя?
 Или в гробнице возвещается милость Твоя,
 и верность Твоя — в месте тления?
 Или во мраке познают чудеса Твои,
 и правду Твою — в земле забвения?
 Но я к Тебе, Господи, взываю,
 и поутру молитва моя — пред Тобою.
 Зачем, Господи, отвергаешь Ты душу мою,
 отвращаешь лице Твое от меня?
 Нищ я, и в скорбях от юности моей,
 несу бремя ужасов Твоих и изнемогаю.
 Надо мною прошла ярость Твоя,
 устрашения Твои смутили меня,
 всякий день окружают они меня, как вода,
 обступают меня все совокупно.
 Ты удалил от меня друга и сотоварища,
 и ближних моих не видно, как во тьме.
 Господи, Боже спасения моего,
 во дни и в ночи вопию пред Тобою.
 Да увидит пред лице Твое молитва моя,
 приклони ухо Твое к молению моему.

ПСАЛОМ 102

Благослови, душа моя, Господа,
 и все, что во мне, — имя святое Его,
 благослови, душа моя, Господа,
 и не забывай всех деяний Его.
 Он прощает все беззакония твои,
 исцеляет все недуги твои,
 избавляет от истления жизнь твою,
 венчает тебя милостью и щедротами,
 насыщает благами желание твое;
 как у орла, обновится юность твоя.
 Милость творит Господь,
 защищает право всех утесняемых.
 Он открыл пути Свои Моисею,
 сынам Израилевым — деяния Свои.
 Щедр и милостив Господь,
 долготерпелив и многомилостив,
 не до конца прогневается,
 и не вовек враждует;
 не по беззакониям нашим сотворил нам,
 и не по грехам нашим воздал нам.
 Как высоки небеса над землей,
 сильна милость Его к боящимся Его;
 как отстоит восток от запада,
 отдалил Он от нас беззакония наши.
 Как милует отец сынов,
 милует Господь боящихся Его.
 Ибо знает Он состав наш,
 помнит, что мы — персть.
 Человек — дни его подобны траве,
 как цвет полевой, отцветают;
 повеет над ним, и нет его,
 и не узнает его место его.
 Милость же Господня от века и до века
 к боящимся Его,
 и правда Его на сынах сынов,
 хранящих завет Его,
 помнящих заповеди Его, чтобы творить их,
 Господь на небесах воздвиг престол Свой,
 и царство Его все объемлет.
 Благословите Господа, все ангелы Его,
 крепкие силою, творящие слово Его,
 внемля гласу слова Его.
 Благословите Господа, все воинства Его,
 слуги Его, творящие волю Его.
 Благословите Господа, все дела Его!

На всяком месте владычества Его
благослови, душа моя, Господа!

На всяком месте владычества Его
благослови, душа моя, Господа!

ПСАЛОМ 142

Господи, услыши молитву мою,
вонми молению моему во истине Твоей,
услыши меня в правде Твоей,
и не входи в суд с рабом Твоим,
ибо не оправдается пред Тобою
никто из живущих.
Ибо теснит враг душу мою,
втоптал в землю жизнь мою,
верг меня во тьму,
как умерших в давние дни.
И уныл во мне дух мой,
смятенно во мне сердце мое.
Вспоминаю дни древние,
размышляю о всех деяниях Твоих,
о делах руки Твоей рассуждаю,
простираю к Тебе руки мои;
душа моя — земля безводная и жаждет Тебя.
Скоро услышь меня, Господи!
изнемогает дух мой.
Не отвори лица Твоего от меня,
да не уподоблюсь сходящим во гроб.
Открой мне поутру милость Твою,
ибо на Тебя уповаю;
унажи мне путь, которым мне идти,
ибо к Тебе возношу душу мою.
Избавь меня от врагов моих, Господи!
к Тебе прибегаю.
Научи меня творить волю Твою,
ибо Ты — Бог мой.
Дух Твой благий да ведет меня
на землю правды.
Ради имени Твоего, Господи,
оживотвори меня;
ради правды Твоей
выведи из печали душу мою;
и по милости Твоей
истреби врагов моих,
и погуби всех утесняющих душу мою,
ибо я — раб Твой.

Услышь меня, Господи, в правде Твоей,
и не входи в суд с рабом Твоим.
Услышь меня, Господи, в правде Твоей,
и не входи в суд с рабом Твоим.
Дух Твой благий да ведет меня
на землю правды.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. ЧУДАКОВА



БЕЗ ГНЕВА И ПРИСТРАСТΙΑ

Формы и деформации в литературном процессе 20 — 30-х годов

Деяния Тиберия и Гая, а также Клавдия и Нерона, покуда они были всемогущи, из страха пред ними были излагаемы лживо, а когда их не стало — под воздействием оставленной ими по себе еще свежей ненависти. Вот почему я намерен... повести в дальнейшем рассказ о принцепате Тиберия и его преемников, без гнева и пристрастия...

К. Тацит, «Анналы», I. 1. (Перевод А. С. Бобовича)

Исторический взгляд на русскую литературу советского времени — это не только невыполненная задача науки, но, пожалуй, одно из напряженных ожиданий современного общественного сознания.

Разные поколения оглядываются сегодня на прошлое нашей литературы. Что там, в этом прошлом, кто его действователи? Одних писателей проходили в школе. Другие всплывали из небытия, когда школа была уже окончена, да так и плыли дальше рядом с этим «пройденным материалом». Третьи, напротив, постепенно погрузились в темные воды, не оставив и ряби на поверхности, безвестные для новых поколений. Но и здесь наше время приносит сюрпризы — кто канул на дно, а кто и выплывает вдруг на журнальные страницы в посмертной публикации, как Василий Ажаев с романом «Вагон»...

Поблескивает то один, то другой камешек, но не складывается мозаика. За многие истекшие годы не выпало времени, благоприятствующего историческому взгляду на первые наши десятилетия.

С первых же пореволюционных лет политизация общественного быта смыла границу между взглядом критика и анализом историка. След газетных кампаний потянулся далеко — изучение многих писателей (Замятин, Булгаков, Клюев, Есенин) деформировалось и, в сущности, заменялось перебором снижающих эпитетов, то с большим, то с меньшим накалом отражавших политические интересы.

С начала 30-х годов уходили из поля последующего исторического рассмотрения все новые и новые имена. Во второй половине 30-х годов, то есть в тот самый момент, когда появилась необходимая для та-

кого рассмотрения временная дистанция, эта утечка и изъятие стали каждодневными, катастрофическими. Тогда-то и начала активно формироваться мнимая, исходящая из наличествующих к этому моменту в публичном обиходе имен история советской литературы. Складывалось и закреплялось представление о магистральном пути развития и о периферийных фигурах. На эту периферию попали те значительные художественные явления, которые еще могли быть упомянуты. И без того достаточно округленная схема подверглась дополнительному упрощению в 1946 и последующих годах — отсечена была очередная группа имен и, соответственно, произведений.

Долгое бытование схемы дало свои плоды, и явившаяся в конце 50-х годов принципиальная возможность научного рассмотрения литературы послереволюционных десятилетий в совокупности со всплывшими со дна общественной памяти ее существеннейшими частями не была реализована. «Новые» имена были включены в иерархию, сформированную в их отсутствие, и отсланы на окраину литературного процесса, сильно его пополнив, но не изменив официально принятых контуров.

Между тем литературный процесс 20—30-х годов не был ни однородным, ни безусловно тяготеющим к главной магистрали.

В литературе описываемого времени прежде всего надо выделить тех, кто вошел в нее, уже неся с собой ядро своего художественного мира. У некоторых из них, как, скажем, у А. Платонова или М. Булгакова, оно быстро формировалось и отвердевало именно в момент революции и гражданской войны, у других — еще в предреволюцион-

ные годы. Но эволюция тех и других шла подобно онтогенезу — каким бы внешним воздействиям ни подвергался живой организм на разных стадиях своего развития, он с неуклонностью осуществляет заложенную в клетках его эмбриона программу этого развития. Организм может оказаться истощенным, под влиянием внешних условий он может развиваться медленно, но это будет та же птица, которая должна была вылупиться из данного яйца, а не что-либо иное.

Реакции этих писателей на испытываемое давление Булгаков сравнивал в романе о Мольере с поведением ящерицы, отламывающей свой хвост — и отращивающей новый (который, добавим, все-таки остается хвостом, а не приживленной на его место лапой).

Были и более сложные реакции на эти сигналы внешней среды. Для одних они выступали только в форме запретов и ограничений, для иных являлись в виде живого импульса к выработке нового литературного качества.

«Социальный заказ» — не синоним административного нажима. Речь идет скорее о том ощущении «нужности» или «ненужности» направления собственной работы, которое вызвано было событием революции. Для Зощенко этот заказ стал реальностью, пограничной с собственно литературой, стимулировав рождение его литературной новизны; далее вплоть до середины 30-х годов он не воздействовал напрямую на эволюцию писателя. Маяковский внедрил тот же «социальный заказ» в нутрь своей поэзии — а внедрившись, он стал развиваться, прорастая в тело его поэзии уже по собственным законам. В этом смысле творчество Зощенко было тем гибридом, который получается в случае, когда подвой и привой подобраны удачно. В случае с Маяковским «прививка», им самим по доброй воле произведенная, со временем оказала непредусмотренно сильное воздействие на самую жизнеспособность организма.

Немалое место в литературном процессе заняла группа писателей со сходными судьбами. Все они уже имели имя до революции, а в 1918—1920 годах успели прожить некий отрезок творческой жизни на Украине или Северном Кавказе — в областях, занятых Добровольческой армией, — или в Сибири под эгидой Колчака и воплощали увиденное на страницах тамошних газет. Осев после гражданской войны в Петрограде, Москве, они готовы были полностью отказать от «дореволюционного» своего опыта (и тем более от того багажа рево-

люционных лет, одна только информация о котором, дойди она до нынешней власти, могла теперь стоять жизни) и отдаться требованиям нового времени.

Подобно организмам, отнесенным к классу амёб, эти литераторы были способны принять любую форму. Амёбы передвигаются, перетекая с одного места на другое. И это амёбовидное движение прослеживается на протяжении всех послереволюционных десятилетий, позволяя увидеть и векторы этого направляемого движения, и сам его зафиксированный во множестве печатных изданий след. Представители описываемой группы не могли создать некую форму или закрепить — они могли лишь послушно подчинить свое тело неровностям почвы.

Разные поколения — и то, что уже участвовало в литературном процессе 900—910-х годов, и то, что только входило в процесс 20-х, — выделали, наконец, и таких литераторов, которые, чутко прислушиваясь к «социальному заказу», стремились найти для него адекватные формы, но притом не специфически индивидуальные (которые до середины 30-х годов производил, скажем, Зощенко), а скорее нормативные — такие, которые могли бы послужить образцом.

Это стремление к созданию образца, некоего «отправного» для новой литературы произведения, было, возможно, определяющим в работе Д. Фурманова над романом «Чапаев» (1923), А. Серафимовича над романом «Железный поток» (1924) и в наибольшей мере — А. Фадеева над «Разгромом» (1927).

Усилия каждого из этих писателей порождали несомненно живой и гораздо более сложный, чем амёбы, организм, который — конечно, условно — можно было бы уподобить кораллам. Кораллы находятся под сильным воздействием внешней среды, но они проходят свой сложный путь развития, прежде чем соединяются в прочную колонию. Весьма примечательно, что колонии эти образуются в результате не доходящего до конца почкования (то есть отъединения, превращения во вполне самостоятельную особь). Далее происходит обызвествление, омертвление — колония живых кораллов превращается в риф.

Движение литературы 20—30-х годов совершалось несколькими потоками, текущими рядом, то притягиваясь один к другому, то разъединяясь и отдаляясь, до тех пор, когда один из них потерял из виду другие, ушедшие под землю — в русло литературы, уже не выходявшей на «дневную поверхность» (Д. Лихачев) печатной жизни.

1

Подобно тому как перегной закладывает-ся в почву, чтобы служить будущему уро-жаю, или как остатки самых разных орга-низмов, от водорослей до моллюсков, ло-жатся в основание гигантских коралло-вых колоний — рифов и островов (атоллов), усилия многих литераторов первых поре-волюционных лет — еще до создания образ-цов, оказавшихся общезначимыми, — слу-жили будущей громадной постройке.

Заметная на карте первого пореволюцион-ного десятилетия группа состояла из тех литераторов, чей предшествующий жизнен-ный (и отчасти профессиональный) опыт, казалось бы, готовил естественный и легкий ответ на социальный запрос.

«Свой кров я находил в тюрьмах, поли-цейских участках, в ночлежных домах, в чайных и всякого рода притонах. Чаще же всего проводил ночи под открытым небом: в лесах, в оврагах, на улицах больших горо-дов, в садах, на бульварах, под мостами, в недостроенных домах. <...> Ярая револю-ционерка, живая свидетельница казни <...> Желябова, Перовской и др., Т. А. горела ненавистью к врагам рабочего класса и эту ненависть сумела влить в мое спавшее со-знание» (Алексей Иванович Свирский). «Как начал писать я? Еще в школе воображение мое пленила судьба земляков моих, ныне полузабытых, — Кольцова, Никитина. Соци-альное мое положение родило меня с «поэ-тами народной скорби». <...> Мне было четырнадцать лет, когда я <...> на первой странице вывел: „Проклятая судьба, ро-ман... в трех частях с эпилогом“» (Владимир Матвеевич Бахметьев). Характерной фигу-рой этого рода был, скажем, Семен Павло-вич Подъячев. «Родился я в 1866 году от крепостных — графа Олсуфьева — родите-лей, в селе Оболяново, Московской губер-нии, — писал он в 1926 году в автобиогра-фии. — Учился в сельской школе. <...> Ро-дители были «рабы» в полном смысле сло-ва, к тому же приучали и меня. Помню, отец говорил мне: «Семка! Так служи гос-подам, чтобы у тебя трепет к ним был». Но «служить» господам не пришлось мне, ибо я с детства питал к ним не то чтобы през-рение, а хуже этого — ненависть какую-то. <...> И пошел я мыкаться по «местам». Где только не был, вспоминать не хочу... Много бродяжил, служил наборщиком в ти-пографии, сторожем на железной дороге, рабочим в имении, дворником, работал на торфяных болотах, жил в монастырях в ка-честве рабочего и послушника. Много пил. Нужды, всякого горя и гадости видел и перенес несть числа. Кому охота знать мою

жизнь, пусть прочтет сочинения мои <...> Мне страшно оглянуться назад, страшно ду-мать, как я, ошупью, натываясь на деревья, спотыкаясь и увязая в грязи, шел <...> настойчиво и упрямо, думая только о том, как бы выйти, выбраться из темного леса, — на волю, на простор, на свет божий. Если писать о том, как я шел <...>, то получит-ся книга, которую можно озаглавить одним словом «Жуть». Книга с таким заглавием уже готова, написана в моей душе крова-выми, облитыми слезами буквами»¹.

Такому литератору, казалось, легко было в начале 20-х годов писать эту уже напи-санную в душе книгу — как бы ни был тяжел труд переложения ее на бумагу, он не был связан с переоценкой ценностей.

Литературой недавних лет, от пролет-культуровских сборников 1914—1916 годов до бытописателей «Знания», подготовлено бы-ло для нового этапа немало — например, представление о настоящем как преддвe-рии и подножии будущей прекрасной жи-зни всего человечества и о неизбежности мучительной жертвенной битвы за это бу-дущее; еще в 900-е годы формировался и укреплялся мотив революционной борьбы как важнейшего и прекраснейшего жизнен-ного дела и главное — до деталей был от-работан образ «жуткого» прошлого.

Однако в реальности складывающегося в первые пореволюционные годы литератур-ного процесса душевное единение такого писателя, как Подъячев, с провозглашаемы-ми в новой социальной жизни ценностями отнюдь не предохраняло его от того ма к е т и р о в а н и я новой литературы, которым занимались и те, кто вынужден был в от-личие от него претерпеть определенную идеологическую ломку. Средний литератор, стаскиваясь с идеологически близким ему «социальным заказом», отнюдь не стано-вился вопреки надеждам Пролеткульта и РАППа хорошим — и притом идеологически «полющенным» — писателем. На самом де-ле происходило то, что зафиксировал в одном из писем главный редактор литера-турно-художественных сборников «Недра» большевик-политкаторжанин Н. С. Ангар-ский. «Подъячева я прочел и Вам дня через два пошлю, — писал он 9 мая 1923 года сек-ретарю «Недр» П. Н. Зайцеву. — Много при-дется почистить. Талантливый писатель, меткий, сочный подлинный язык, наблюда-тельность редкая, но все это пустил на служение «заданиям» и пишет на разные темы даже с приписками и призывами. Чу-

¹ «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков». М. 1928, стр. 287—288, 41, 271—272.

дак не понимает,— пояснял Ангарский снисходительно,— что нам это, т. е. в такой мере, не надо» (здесь и далее разрядка в цитатах моя.— М. Ч.). Пробуя вразумить писателя, вернуть его к естественному литературному пути, он просит Зайцева спустя месяц, 5 июня 1923 года: «Напишите ему, что я советую ему писать как пишется, без всякой связи с «темами», и у него, поскольку он вышел из самой гущи мужицкой жизни, всегда будет то, что надо революции, и всегда будет художественно»². Эта редакторская утопия не смогла реализоваться в литературной практике С. Подъячева и тех, кто был близок ему по жизненному и профессиональному опыту, но она обозначила один из векторов литературного процесса 1918—1923 годов, вполне определенный, выраженный в издательской политике редактора очень заметного в те годы альманаха. В современном литературном море Ангарский ищет художества — и накладывает на предлагаемые ему рукописи транспарант с достаточно широкой рамкой проходимости. «Вот с цензурой горе,— сетует он в одном из писем того же года.— Мы не можем сейчас печатать ничего, что в основе своей идет против Сов. власти, а старички (Сергеев-Ценский и другие.— М. Ч.) именно эту основу-то и сшибают. Критикуй, но не основу». Из строк письма, кажется, явствует, что сам этот убежденный революционер готов бы (ради того же художества) тронуть и основу — до каких-то ему самому известных пределов. Характерно, что именно он печатает «Дьяволяду» и «Роковые яйца» Булгакова и долгое время пытается опубликовать «Собачье сердце». Позже Булгаков, недоумевая по поводу запретов некоторых своих произведений, возможно, мысленно примерял к ним широкую рамку Ангарского.

Но вернемся к тем, для кого литературная жизнь начиналась заново, так же как и социальная биография. Рассмотрим одну, но характерную писательскую судьбу. Сергей Абрамович Ауслендер, племянник Михаила Кузмина, с 1906 года печатался в журналах «Золотое руно», «Весы», затем в новооткрывшемся «Аполлоне». Первой книгой, «Золотые яблоки» (СПб. 1908), вошел, по определению историков литературы этих лет, в большую волну стилизаторства на рубеже XIX и XX веков, куда его включают вслед за Брюсовым, Сологубом, Кузминым, Б. Садовским. «На пространстве

215 страниц,— писал рецензент книги,— перед вами мелькают маркизы и их любовницы, напудренные слуги в камзолах и туго натянутых чулках. <...> Ауслендер перевоплотился в рассказчика XVIII века. <...> Возрожденная новелла Декамерона, Гептамерона, реставрированный робкий намек Поль де Кока <...>. Все эти подделки у Ауслендера сделаны с толком. Часто хорошо пойман стиль»³. «Может быть... это не дело, а хрупкая и драгоценная игрушка,— писал другой,— но ею, во всяком случае, нельзя не очароваться, и создать ее может лишь очень тонкая рука артиста»⁴. Его вторую книгу похвалил Гумилев, назвав его стиль «твердым и гибким, внимательно отмечающим все перипетии темы и радостно в себе уверенным», а его учителями — «Растрелли, Гваренги и других создателей дивных дворцов и храмов столь любимого им Петербурга...»⁵.

Когда в 1916 году С. Ауслендер выпустил третью книгу рассказов, назвав ее «Сердце война», он заслужил у критики упрек в «спекулятивности» заглавия, но, впрочем, и подтвердил уже сложившееся мнение: «Не громко, не ярко, но все же свое слово говорит Ауслендер в искусстве»⁶.

Что же происходило с этим негромким, но своим словом далее? В первый революционный год Ауслендер в Москве, годом позже попадает в Пермь, Казань и наконец в Омск, где в течение всего 1919 года печатает в газете «Сибирская речь» роман, статьи, очерки, посылая их, в частности, непосредственно из поезда адмирала Колчака, с которым ездил в качестве корреспондента. В январе 1919 года в № 1 «Сибирской речи» он обращал свои «поздравления и пожелания» к «нашим гостям», которым «мы не можем <...> создать обстановку комфорта и уюта в эти праздничные дни. Мы ведь сами на чужбине, сами лишены наших домов, семей, родины. Но мы верим, так же как вы, что мы еще увидим нашу родину, что мы еще встретим праздники, святой вечер сочельника и торжественный вечер Нового года в Москве, в Петербурге, где сейчас темно, жутко, там будут еще гореть праздничные огни». Встретить Новый год в Москве ему довелось не скоро и не в той обстановке, на которую он

² А. Измайлов. Помрачение божков и новые кумиры. М. 1910, стр. 92—93.

³ Рецензия Ю. Айхенвальда («Русская мысль». 1908, № 5, разд. III, стр. 97).

⁴ Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к «Ниве», 1912, № 11, стр. 485.

⁵ Борис Гу<сма>н, «Под чужой вывеской (Сердце война)» («Журнал журналов», 1916, № 44, стр. 11).

⁶ М. Чудакова, «Жизнеописание Михаила Булгакова» («Москва», 1987, № 8, стр. 28).

надеялся. В феврале 1922 года «Новая русская книга», выходящая в Берлине, в биографической справке об Ауслендере сообщила среди прочего: «Написал брошюру «Адмирал Колчак» <...> Перед самой сдачей Омска советским войскам он выехал на лошадях — дальнейшая судьба его неизвестна. В те годы следы человека надолго терялись, и даже осенью 1922-го, когда Сергей Ауслендер уже обсуждал вместе с М. Булгаковым в одном из московских литературных кружков новый роман Юрия Слезкина, альманах «Камены», вышедший в Чите, сообщал о его гибели во время эвакуации два с лишним года назад...

В Петрограде продолжали путь его старшие собратья по цеху — М. Кузмин, Ф. Сологуб, — Ауслендер же полностью разрывает литературные связи с прежним кругом и начинает как бы с новой страницы. Он пишет теперь о народолюбчестве, о событиях гражданской войны, но уже глядя на нее с иного берега, пропагандируя идею революционного преобразования жизни в среде своих новых читателей — детей. В 1924 году он сочиняет детскую повесть на модную тему — о борьбе против белых на африканском континенте. В конце 20-х годов Георгий Чулков писал об Ауслендере в своей неторопливо-раздумчивой мемуарной манере: «В революционные годы он как-то исчез на срок, а теперь снова завоевал себе имя в литературе, на сей раз детской. Он даже стал знаменитым в этой трудной области» («Годы странствий»).

Тот, кто занимал свое скромное и вполне органичное место в сложной, дифференцированной топографии литературы 900—910-х годов, теперь, под давлением «социального заказа», требующего поляризации и определенности, не имея творческих ресурсов для ответа на этот заказ, теряет литературно значимое место. Вызывая досаду даже некоторых из «заказчиков» (Ангарский), литераторы с биографией Подъячева, не за страх, а за совесть пустив свой опыт «на служение „заданиям“», движутся точно в том же направлении, что и литераторы типа Ауслендера, первые годы работающего, несомненно, «за страх». Для множества таких, как Ауслендер, «социальный заказ» осознается как диктат времени, сливаясь с потребностью самосохранения социального поведения. Используя технологически свой прежний опыт, они становятся адептами пропагандистской литературы, а те из них, кто работает в жанре «детской» беллетристики, прямым образом участвуют в формировании «нового» человека, усваивающего, в частности, из их

произведений новый, плакатный образ исторической действительности.

Автор предисловия к первому тому собрания сочинений Ауслендера писал: «Книги С. А. Ауслендера периода 22—27 гг. написаны для детей», но читают их все — «от советских служащих до крестьян и красноармейцев». Присмотримся к перечню качеств, определяющих, по мнению критика, читательский интерес: «...занимательность сюжета, заставляющая неотрывно читать книгу до конца, героическая настроенность главных действующих лиц, вызывающая сочувствие читателя, <...> наконец, легкость, простота, стройность языка и построения...» Подчеркивалось, что книги Ауслендера стали выходить в 1924 году, когда «наметился определенный поворот в области детской литературы» — одерживалась победа над течением, стремящимся увести ребенка в «страну чудес, красивых вымыслов, нарядной фантазии» (той самой «нарядной фантазии», в области которой Ауслендер, по мнению дореволюционной критики, добился известного успеха). Дети, удостоверая он, «хотя бы разобравшись в жизни, осознать ее, они ищут ответов на возникающие у них запросы, притом ответов не только таких, которые может дать политтрамота, но и ответов эмоциональных, которые потрясли бы читателя...» (обратим внимание — речь идет о той же политтрамоте, но оснащенной эмоциями), «вызывали бы его горячее сочувствие или страстную ненависть, заставили бы его во всем существом самоопределяться в одном, а не в другом из борющихся лагерей». Критик подчеркивал, что «дети Ауслендера действуют в разные времена и в разных странах, но есть у них у всех общая черта, которая придает особое значение книжкам этого автора, значение, я бы сказал, воспитательное» — это слово, как видим, еще пробует на слух, еще оговаривается.

«Воспитательная функция», зарождающаяся сначала в опыте писавших для детей или для красноармейцев, еще не совершила качественного и количественного скачка, не стала необходимой чертой произведения новой литературы. Это могло сделаться только усилиями литераторов иного разряда, чем Ауслендер, но и его разряд продельвал черновую работу переоборудования корпуса литературы. Сочувствующий критик вполне адекватно зафиксировал эти уловленные Ауслендером в социальном заказе и внесенные им в свои сочинения черты — те самые, которым суждены были вскоре преимущественное право и долгая

жизнь: автор заставлял читателя «поставить себя на место действующего лица и вместе с ним пережить ощущение героического подъема, самопожертвования в борьбе, горячей близости к своим, действительной ненависти к врагам. Эти волнующие ощущения дают для формирования «советских ребят» (кавычки автора предисловия — словосочетание еще несет печать новизны, неологизма! — М. Ч.) то, чего не могут дать никакие «беседы у костра» <...> Рассказы С. Ауслендера, чуждые казенного оптимизма, отличаются бодростью настроения <...> В этой здоровой, глубоко правдивой (! — М. Ч.) бодрости книжек Ауслендера <...> их ценность для наших ребят, так нуждающихся <...> не только в открытии перед ними определенных перспектив, но и в создании настроения, содействующего пониманию и восприятию этих перспектив»⁷.

2

Заказ был следующим этапом после «музыки революции», услышанной Блоком, — упорядочиванием музыкального хаоса в определенные, но пока еще позволявшие вариации «гармонии». Дыхания Блока, «всем существом» слушавшего эту музыку, хватало лишь на выдох «Двенадцати» — следующего вдоха не последовало. Но воздействие поэмы на литературу последующих лет невозможно переоценить.

«В этой героической поэме казалось все новым от идеи до слов, — писал Зощенко, еще не вошедший в литературу, в реферате 1919 года, прочитанном в студии издательства «Всемирная литература». — Тогда был большой переполох и смятение у одних, а другие немедленно предъявили претензию:

Он наш. <...> Раньше, до поэмы «Двенадцать», читая последнюю патентованную бездарь, я ужасно как сомневался и думал, что всегда найдутся этикие придворные поэты, воспевающие королевские прелести. И тогда очень думал, что поэты спешно исполняют заказ на знатного клиента.

Но Александр Блок...

Какой уж тут подряд...

Тут уже новые слова, новое творчество, и не оттого, что устарели совершенно слова и мысли и идеи наши, нет, оттого, что параллельно с нами, побочно, живет что-то иное, может быть и есть — пролетарское».

Еще в 1918 году на полях поэмы среди множества помет Зощенко — запись: «Две-

надцать заставили подозревать меня, что есть такая пролетарская поэзия». Поэма Блока была увидена Михаилом Зощенко как зеркало иной, не столько реальной, сколько предполагаемой, долженствующей быть литературы — и послужила сильнее-шим ферментом к усвоению социального заказа и катализатором этого усвоения.

В чем же, в самом общем виде, заключался заказ?

Прежде всего была ясна необходимость поляризации — четкого противоположения: они и мы. В пределах произведения предлагалось или высказаться против врагов новой власти, или проявить лояльность к ней самой. Выбор между этими двумя вариантами вплоть до конца 20-х годов был вполне возможен (так что те, кто подобно С. Ауслендеру обратился к жанру детской «революционной» повести, опережали время: говоря словами Ангарского, «в такой мере» этого еще не требовалось).

Во-вторых, были предложены темы — недавнее прошлое и современность — как предпочтительные. Постепенно их стали предлагать настоятельней: «уход от тем» современности или недавнего прошлого (как темы борьбы) становился саботажем — примерно с начала 30-х годов это стало уходом не только от темы, но и от ее освещения.

В-третьих, явилось требование доступности как непрременной обращенности литературы не к читателю, воспитанному XIX — началом XX века, а к тем, кто до той поры вообще не являлся читателем.

Зощенко не был против новой власти; он не относился к прошлому ностальгически — расчеты с прошлым завязались для него вместе с настоящим в важнейший узел собственной художественной работы; наконец, требование доступности предстало перед ним в форме живого ощущения нового читателя.

Сказ, к которому он обратился вместе со многими другими в первые пореволюционные годы, являлся на пересечении двух разных векторов — литературной эволюции (поскольку исчерпанность книжной, письменной речи, ощущение того края ее возможностей, до которого дошел виртуозно владевший нормативной русской речью Бунин, обнаружилось еще на рубеже веков, футуризм уже взывал к «языку улиц», а Ремизов — к богатствам древнерусской письменности) и социального заказа. Сказ как рассказ непрофессионала казался близким к социальным низам (поднявшимся теперь на арену общественной жизни), и при его посредстве решались

⁷ Б. Перес, «За пять лет» (С. Ауслендер. Собрание сочинений. М. 1927. т. I, стр. 7, 10, 11, 13, 18) В 1937 году С. Ауслендер был арестован и в 1943 году погиб в лагерях.

как бы сразу две задачи: а) писатель встал на точку зрения «народа», б) писал «доступно» для народа, поскольку почти на его языке.

Этого впечатления хватило лишь на сравнительно короткое время.

Зощенко был едва ли не единственным, кто не только принял всерьез факт появления в социальной реальности нового читателя, но и довел до логического (в пределах литературных действий) завершения выводы, отсюда следующие. Кроме того, именно он осознал до конца и взялся продемонстрировать возможности реализации требования, которое обращалось к литературе уже извне: сформировать (или рекрутировать) «пролетарского писателя», — и выдвинул на эту роль самого себя.

«Я — пролетарский писатель, — писал Зощенко в 1928 году. — Вернее, я пародирую своими вещами того воображаемого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. Конечно, такого писателя не может существовать, по крайней мере сейчас. А когда будет существовать, то его общественность, его среда значительно повысятся во всех отношениях»⁸.

Он строил собственную таблицу литературной современности, указывая на пустующие в ней клетки. Эти пустоты должны были отметить несоответствие «социального заказа», если толковать его буквально, культурно-исторической реальности: «пролетарский писатель» есть оксюморон, поскольку пока он «пролетарский» — он не может быть писателем, когда он становится писателем — он уже не пролетарий; для того чтобы воспринять настоящее писательство, его среда (то есть среда читателей) должна «повыситься во всех отношениях». Зощенко сам заполнял своей прозой — рассказами и повестями — эти пустующие клетки, «временно замещая» должностующих писателей.

В его прозу как составная часть ее стиля и смысла был включен и расчет со «старой» литературой — в наиболее ярких ее образцах, — и расчет с «опережающими» в кавычках, то есть декларируемыми вне связи с реальной жизнью художественного слова попытками «создать» литературу новую. Он объявляет и о смене читателя, и о смене героя литературы: «Дело в том, что интел-

лигентсы сейчас не характерны для нашего времени. Они меня не интересуют. Они были описаны и были представлены ярко в свое время». Одновременно должны измениться и темы: «У нас до сих пор идет традиция прежней интеллигентской литературы, в которой главным образом предмет искусства — психологические переживания интеллигента. Надо разбить эту традицию, потому что нельзя писать так, как будто в стране ничего не случилось». Хотя это писано в 1936 году, комплекс требований Зощенко к современному писательству сложился гораздо раньше — в его литературной практике 20-х годов.

Именно присутствие «заказа» на «пролетарского писателя» и читателя делало его форму ощутимой и яркой: она частично выплела, когда выплел сам заказ. Зощенко выстроил настолько сложные отношения между рассказчиком, героем, автором и читателем, что «вменять» ему что-либо было затруднительно — до тех пор, пока достаточным было отсутствие качеств недопустимых («критикуй, но не основу»). Он достиг при этом эффекта доступности: «новый» читатель, открывая книжку Зощенко, видел, что перед ним — свой брат, не какой-нибудь профессор Преображенский, узнавал панораму своей коммунальной квартиры. И только постепенно «бедность», вскрываемая ярким электрическим светом, зажженным автором (рассказ «Бедность»), вызывала стойкую тревогу.

Взаимосвязь с «социальным заказом» Платонова была иной. Доминанты его мироощущения брали свое начало в той самой почве, на которой всходило народное участие в революции. Социальное переустройство было его душевной мыслью. И встреча его с «социальным заказом» складывалась не так, как у тех, кто был подготовлен к ней главным образом своей решимостью (или легким согласием) расстаться с прошлым. Для него этот Заказ был двойником его бурно развивавшегося в первые пореволюционные годы художественного мироощущения — двойником, становившимся все более уродливым и все более властно вытеснявшим из социальной и литературной действительности его самого.

3

Как чуткий локатор, улавливая весь спектр социального заказа, ничего не отбрасывая, но тщательно komponуя, стремился А. Фадеев в середине 20-х годов воплотить этот заказ в формах того самого «красного Льва Толстого», прихода которого так опасались — хотя и по-разному —

⁸ Подробная историко-литературная интерпретация этого высказывания в нашей книге «Поэтика Михаила Зощенко». М. 1979 (глава III, «Нетождественность авторского слова»).

Зоценко и участники Лефа (С. Третьяков, О. Брик и другие).

«Недавно вышедший роман Фадеева не стал «событием», но он привлек к себе пристальное внимание читателя и критики», — писал А. Лежнев (вскоре он по праву мог бы добавить — и писателей) и призывал «приглядеться поближе» к этой вещи.

Что же можно было различить, приглядевшись?

В «Разгроме» объявился с несравненно большей, чем у кого-либо из современников, полнотой новый список ценностей. «Новый» гуманизм противопоставался «старому», борьба — мирной жизни, расположенной внизу этой новой ценностной шкалы. Классовая ненависть предстала как естественное и ценное чувство, борьба с оружием в руках во имя будущего — как наивысшее трагическое самоосуществление человека. Возникло новое — ставшее устойчивым — соотношение персонажей в поле литературного произведения. Герой-интеллигент внутренней готовностью к предательству выдвинулся на авансцену как антипод других героев и самого автора. Явилась череда «положительных героев» — Левинсон, Бакланов («Он как бы повторяет тот путь, который Левинсон уже прошел, и, таким образом, «воплощает» его первую фазу развития», — быстро разобралась критика и в онтогенезе и в филогенезе), Морозка, — со строго иерархичным, зримым и ясным набором качеств, заранее подготовленных для школьной адаптации.

Современная критика безошибочно подметила те последние колебания автора, которые были совершенно неуместны в им же принятой системе измерений. Она договорилась за него там, где он зашпунлся. Она достроила его поэтику, придав им самим заданным нормативам взаимоотношений героя и автора в новой литературе необходимую определенность: «Тон Фадеева по отношению к Мечкину неустойчив. Подходя к нему «изнутри», он принужден — хоть иногда — смотреть его глазами <...>. Мечик, несомненно, играет роль отрицательного типа: осуждение его автор произносит устами Левинсона. Это — беспочвенный, рыхлаый, никудышный интеллигент, лишний и мелкий человек. Для того чтобы выполнить свой замысел с наибольшей убедительностью, Фадеев должен был бы подойти к Мечкину извне»⁹. Это требование выполняли бесчисленное количество

во раз те, для кого «Разгром» стал текстом-посредником, текстом—трансформатором социального заказа.

Теперь был проторен путь, по которому можно было следовать.

Такая вожаческая роль, взятая на себя автором романа, зафиксирована современной ему критикой с гораздо большей прямотой и непосредственностью, чем позднейшими изучателями. Примечательно сопоставление Фадеева с А. Веселым — сам способ рассуждения: «Фадеев не обладает огромным художественным темпераментом Артема Веселого. Он уступает ему и в мастерском владении словом, цветной и яркой русской речью <...>. Литературная манера Артема Веселого сложилась, конечно, под определенными влияниями, но это уже — своя манера, и в каждой написанной им строчке чувствуется яркая писательская индивидуальность. Этого нельзя сказать про Фадеева. Его индивидуальность еще только начинает складываться. Его психологизм явно идет от Толстого, до того явно, что роман отдает бесхитростным ученичеством. И все-таки путь, выбранный художественно менее сильным и самостоятельным Фадеевым, оказывается — в данный момент, в данных условиях — более целесообразным. За Артемом Веселым некому и некуда идти. Его своеобразный путь — путь индивидуальных достижений. Он не открывает широких перспектив».

«Разгром» открывал перспективы. Особенно радовало, что эта «попытка вышла из среды пролетарской литературы...»¹⁰.

Не дожидаясь повышения уровня этой «среды» и «общественности», автор «Разгрима» вступил в ячейку, которую временно занимал «автор» зоценковской прозы.

Поддержанный разными средствами социума («руководящие» указания, критика, шксла), Фадеев прошел к читателю, обогнав многих, и стал его формировать. С 1929—1930 годов общественный контекст все более этому благоприятствовал. К тому же уже давали свои плоды неорганизованные усилия буквальных исполнителей социального заказа — условно говоря, от Ауслендера до Подъячева. После появления «Разгрима» эти усилия стали гораздо более собранными и целенаправленными. Их фокусировала критика — в те годы она окончательно приобрела ту роль, о которой самые радикальные публицисты прошлого века могли только мечтать. Критик стал политическим инструктором и писателя и читателя.

⁹ А. Лежнев. Современники. Литературно-критические очерки. М. 1927, стр. 173, 177—178.

¹⁰ Там же, стр. 167, 168, 169.

Забегая вперед можно констатировать, что к середине 40-х годов новый читатель сформировался — коллективные старания литературного цеха, где Фадеев уже давно лидировал, здесь не на последнем месте. И роман «Молодая гвардия», представляющий собой образцовую повесть для детей и подростков, был воспринят как «взрослый» — критикой, читателем и самим автором. Он был новым эталоном, с нужной, то есть образцовой, мерой «романтики», «героики», предательства, дружбы и любви. Отшлифовалась и поэтика — «ошибка» в построении отрицательного героя, допущенная в «Разгроме». Была исправлена: еданным жестом вся тогдашняя печатная литература отдирала отрицательного героя, как гусеницу, от лацкана авторского костюма и сбрасывала под ноги ему самому и читателю. «Психология» стала достоянием исключительно героев, близких (дорогих) самому автору; и учиться глубокому изображению героя, отличного от автора (такими героями населены, заметим в скобках, романы европейских или латиноамериканских писателей), нашей литературе приходится до сих пор.

Но вернемся еще раз к Фадееву. Критика, обрусенная на первую редакцию «Молодой гвардии» за недостаточный показ партийного руководства, направлена была сверху, но опиралась несомненно на его же собственный опыт — нормативы, с тщанием выработанные им в еще живой повествовательной ткани «Разгрома» и укрепленные многими воспроизведениями, обывательски вшившиеся к тому времени в неразрушаемую толщу, теперь обращались против него самого.

4

И снова перенесемся в 20-е годы.

«Русская проза тронется вперед, когда появится первый прозаик, независимый от Андрея Белого, — писал Мандельштам в 1922 году. — Андрей Белый — вершина русской психологической прозы, — он воспарил с изумительной силой, но только довершил крылатыми и разнообразными приемами топорную работу своих предшественников...» Автор статьи боялся, что в текущей прозе «психология и быт возобновят свой старый роман, роман каторжника с тачкой». Два прозаика в начале 20-х годов с одинаковой резкостью ушли и от Андрея Белого (впитав его, испытав его влияние с большей силой, чем его эпигоны!) и от «психологии с бытом», но ушли в полярно противоположные и равно, пожалуй, плодотворные стороны — Михаил Булгаков и Михаил Зощенко.

Один из них принес с собой слово, впи-

танное с молоком матери, другой же отказался от своего слова, заключив его в скорлупу чужих голосов; как пылинки вокруг магнитов, расположились в те годы вокруг этих именно полюсов разные конфигурации взаимоотношений авторов со «своим» словом.

Булгаков ставил себе осознанной задачей продлить ряд и продолжить род русских классиков — стать не «новым» классиком взамен «старого», а новым, то есть еще одним («Я новый... <...> Я неизбежный, я пришел!»).

Зощенко решал задачи иные, он был уверен, что заказ на «красного Льва Толстого» сделан разве что «каким-нибудь неосторожным издательством». (Время показало, что «неосторожное издательство» точно выразило диктат формирующегося общественно-государственного уклада.) Думая же об актуальной тенденции литературного процесса, складывающейся из сложных составляющих — имеющихся налицо традиций, назревающего отталкивания от них, «горизонта ожидания» (вольно употребляя термин теоретиков искусства) читательского авангарда, — Зощенко полагал, что «заказана вещь в той неуважаемой мелкой форме, с которой, по крайней мере раньше, связывались самые плохие литературные традиции. Я взял подряд на этот заказ. Я предполагаю, что не ошибся. В высокую литературу я не собираюсь лезть. В высокой литературе и так достаточно писателей».

Булгаков «полез» в самую что ни на есть высокую литературу, взявшись, в сущности, осуществить не осуществленный Достоевским замысел романа о Христе.

В первом же романе Булгаков отказался от «психологии» и «философии», того, что, по мнению и Зощенко, и Мандельштама, и опозовской критики, и отличной от нее лефтовской, перестало быть действенной частью «большой формы», устарело, перешло в достояние эпигонов. Булгаков не разрабатывал психологию героя — скорее он нас заставлял думать об авторе. Личность автора выступила вперед. Одновременно активизировалась личность читателя, причем того читателя, которого считали оставшимся за пределами данного литературного периода.

Для Зощенко, как и для таких литераторов, как Тынянов или Шкловский, когда они выступали как критики, «старый читатель» (Ю. Тынянов, «Промежуток») не учитываем, расчет на него литературы — неэффективен.

Булгаков обратился к «читателям, которых нет», которые ушли с поверхности общественной жизни и печатных ее проявлений. Он членил аудиторию, вводя в само

построение романа «Белая гвардия» и пьесы «Дни Турбиных» расчет на знание читателем и зрителем социального быта, ушедшего с исторической сцены, с силой и пафосом активизировал он память тех, кому было что вспомнить, и препятствовал своим словом размыванию этой памяти.

Остановить это размывание усилиями единичного художественного опыта было, разумеется, невозможно. Впечатления и размышления тех зрителей, которые падали в обморок на премьерах «Дней Турбиных», стремительно уходили в историческое небытие. Сохранился, однако, любопытный документ, их зафиксировавший, — письмо Булгакова неизвестного лица, подписавшегося «Виктор Викторович Мышлаевский».

«Уважаемый г. автор, — писал неведомый корреспондент. — Помня Ваше симпатичное отношение ко мне и зная, как Вы интересовались одиссеей моей судьбой, спешу Вам сообщить свои дальнейшие похождения после того, как мы расстались с Вами. Дождавшись в Киеве прихода красных, я была мобилизована и стала служить новой власти не за страх, а за совесть, а с поляками дрался даже с энтузиазмом. Мне казалось тогда, что только большевики есть та настоящая власть, сильная верой в нее народа, что несет России счастье и благоденствие, что сделает из обывателей и плутоватых богоносцев сильных, честных, прямых граждан. Все мне казалось у большевиков так хорошо, так умно, так гладко, словом, я видел все в розовом свете до того, что сам покраснел и чуть-чуть не стал коммунистом, да спасло меня прошлое — дворянство и офицерство. Но вот медовые месяцы революции проходят. Нэп, кронштадтское восстание. У меня, как и у многих других, проходит угар и розовые очки начинают перекрашиваться в более темные цвета.

Общие собрания под бдительным инквизиторским взглядом месткома. Резолюции и демонстрации из-под палки. Малограмотное начальство, имеющее вид вотяцкого божка и вождяющего на каждую машинистку. Никакого понимания дела, но взгляд на все с кондачка. Комсомол, шпионящий похода с увлечением. Рабочие делегации — знатные иностранцы, напоминающие чеховских генералов на свадьбе. И ложь, ложь без конца... Вожди? Это или человечки, держащиеся за власть и комфорт, которого они никогда не видели, или бешеные фанатики, думающие пробить лбом стену. А сама идея! Да, идея ничего себе, довольно складная, но абсолютно не претворимая в жизнь, как и учение Христа, но христианство и понятнее и краше».

Рисуя свое положение «у разбитого корыта», автор сетовал: «Но паршиво жить, ни во что не веря. Ведь ни во что не верить и ничего не любить — это привилегия следующего за нами поколения, нашей смены беспризорной». Поклонник Булгакова зывал к нему за ответом — реальность ли «чуть уловимые нотки какой-то новой жизни, настоящей, истинно красивой, не имеющей ничего общего ни с царской, ни с советской Россией», или «все это самообман и нынешняя советская пустота (материальная, моральная и умственная) есть явление перманентное?».

Корреспондент Булгакова, последовательно пережив несколько им же самим обозначенных в письме взлетов веры в будущее отечества, бесследно исчез, скорее всего уничтоженный физически. Но 60-е годы, когда наша литература переживала пик нового — второго — цикла своего развития, породила слой заместителей и этого и «подлинного» Мышлаевского — новых читателей, явившихся из той самой среды, которую он назвал нашей сменой беспризорной. Они прочли «Белую гвардию» (а равно и писавшийся в основном в 30-е годы роман «Мастер и Маргарита») как свою книгу. В этой возможности оживания и была динамичность «большой» — романной — формы, построенной Булгаковым.

5

Одному из собеседников Ахматовой в последние годы ее жизни запомнились слова о том, что «для поэта единственное, что имеет значение, — это прошлое, а более всего детство. Все поэты стремятся воспроизвести свое детство. Вещий дар, оды к будущему <...> — все это чистая декламация и риторика, попытка стать в величественную позу, устремив взгляд в слабо различимое будущее, — поза, которую она презирала» (И. Берлин, «Встречи: 1945 и 1956»).

В середине 20-х годов опоязковская критика много писала о трудностях создания русского романа. Затруднение общеевропейского порядка еще в 1922 году обозначил Мандельштам в статье «Конец романа», сказав о резко усилившейся после катаклизмов — мировой войны и революции — власти над судьбами частных людей не ими созданных обстоятельствах: «...композиционная мера романа — человеческая биография... Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз...»¹¹.

В России люди оказались выброшены не

¹¹ О. Мандельштам. Слово и культура. М. 1987, стр. 74.

только из своего настоящего и будущего, но и из прошлого. В дело замены «старой» России «новой» входила и необходимость зачеркнуть свое личное биографическое прошлое — тема детства, неминуемая для поэта, как напомнила Ахматова, в 20-е годы для многих оказалась запретной.

«Детство Никиты» Алексея Толстого странным островом стояло среди литературы тех лет, «оправданное» его возвращением, снисходительно помещенное в тот несовременный ряд, который открывался «Детскими годами Багрова внука»; «Детство» Горького было «оправдано» ужасами этого детства; «Детство Люверс» Пастернака было вызовом, почти загибнотизированно принятым критикой, — столь мощно переключался в повести прежний психологизм на психологизм иного толка; к тому же героиня была девочка, а не мальчик (значит, не возникало хотя бы мысли о недалеком будущем кадета или юнкера...), да еще не сразу поймешь — имя это или фамилия, да еще удачнейшим образом фамилия была нерусская — с «Детством Жени Оболенской», скажем, дело было бы намного сложнее.

Здесь одна из важных черт литературного развития первых пореволюционных лет; дерзко перейти ее, как это сделал Булгаков в «Белой гвардии», подчеркивавший связь героев со своим детством, своим прошлым, почти никто не решался. Беллетристы выхледили из положения иначе.

«Самой трудной была всегда для русской литературы большая форма на национальном материале, — верно фиксировал Тынянов историко-литературную ретроспективу. — Чтобы создать русский роман, Достоевскому нужно было мессианство, Толстому история...» Роман «экзотический» был назван им «самым легким путем для романа», и первым в ряду современных беллетристов здесь встал Эренбург, избравший экзотический материал похождения героя с экзотическим именем Хулио Хуренито: «...только поборов здесь Эренбурга, русский роман выйдет на большую дорогу»¹².

«Побороть» было особенно трудно потому, что обстоятельства литературные плотно переплелись с социальными.

Свой фельетон «О Шатобриане, о червонцах и русской литературе» Б. Эйхенбаум начал так: «Внезапно, как случается все закономерное, случилось так, что Россия стала страной переводов. Это началось еще в 1918 году. Русская литература уступила свое место «всемирной». Все русские писатели

стали вдруг переводчиками или редакторами переводов. Было совершенно неясно, почему во время революции нужна именно «всемирная литература» (название образованного Горьким издательства. — М. Ч.), но все чувствовали, что это должно быть именно так». За легкостью фельетонного стиля не должна укрыться точность диагноза — и даже прогноза: «Явилась тяга к чужому, хотя бы и в совершенно фантастическом воплощении. Нужно, чтобы звучало иностранно, чтобы было иное и странное. Какой-нибудь мистер Бобеш или мистер Ундергем (М. Козырев, «Неуловимый враг») оказывается более интересным материалом для русского беллетриста, чем русские Ивановы и Петровы, которые либо ищут службы, либо торгуют червонцами, — больше с них ничего не возьмешь».

И пожалуй, самое жесткое, хоть и смягченное фельетонностью, определение: «Теперь русскому писателю, если он хочет быть прочитанным, надо придумать себе иностранный псевдоним и назвать свой роман «переводом» <...> Вот Грину повезло — до сих пор, кажется, в точности не знают, иностранный это писатель или русский»¹³.

Отдадим себе отчет в том, что герой, связанный конями с национальной историей, в тот момент, когда прошлое было вышиблено из-под ног в качестве наследия царской России, стал возможен в поле романа лишь как объект развенчания. Писатель же, углубляющийся в эту историю, тем более демонстрирующий с ней кровную связь, попадал под подозрение. «Экзотический», то есть инациональный, материал оказывался легким путем не только благодаря «приключенческой» традиции, как бви публики к Нату Пинкертопу (хотя это нельзя не учитывать) — тут вмешивались и социальные обстоятельства (помимо только что отмеченных укажем и желание массового читателя отвлечься от всего отечественного с его не забывшимся кошмаром голода, боллезней и повальных смертей). И роман Эренбурга, над которым почти издевательски смеялись Тынянов и Эйхенбаум, был откликом на прямой «социальный заказ» замены материала национального.

Печатание «Чертухинского балакиря» Сергея Клычкова в «Новом мире» (1926, № 1, 3—9) сопровождалось специальной «подготовкой», по выражению И. Скворцова-Степанова. Он писал редактору журнала Вяч. Полонскому 5 апреля 1926 года: «С. А. Клычков находит, что его «Чертухинского балакиря» можно было бы резать несколь-

¹² Ю. Тынянов, «200 000 метров Ильи Эренбурга» (В. Эйхенбаум. О литературе. М. 1987, стр. 507).

¹³ Б. Эйхенбаум. О литературе, стр. 366, 368, 366.

ко меньше. <...> Если Вы руководствуетесь при этом соображениями о том, что нас обвинят в «содействии суевериям» и т. под., я опять повторю Вам: охотно возьму на себя полную ответственность перед партией за такую «религиозную пропаганду», прямо заявляю всем и каждому, что я настаивал, что я давил на Вас в таком направлении. На всякий случай я делаю «подготовку»: заставлял прочитать «Балакиря» Калинина, надеюсь заставить прочитать Енукидзе и т. д.»¹⁴. Отдельное издание романа вызвало возглас восхищенного изумления у Горького. «Вот — неожиданная книга! — пишет он Пришвину 17 октября 1926 года. — Это 1926 г. в коммунистическом и материалистическом государстве! А того неожиданнее — предисловие Лелевича». И резюмировал: «Да —

«Крепок татарин — не изломится!

А и живоват, собака, — не изорвется!»

Это я цитирую Илью Муромца в качестве комплимента упрямому россиянину»¹⁶.

Стоит подчеркнуть: речь не о том, «удачен» ли роман Клычкова. Сами оценки были далеко не так предсказуемы, как может показаться сегодняшнему впечатлительному идеологу-публицисту, Авангарский, например, в отличие от Сквордова-Степанова резко аттестовал в 1924 году в специальной «Записке» в ЦК (о предполагаемых им изданиях) «попытки» «народных» поэтов (Клычкова, Клюева, Есенина) «изобразить народ путем его стилизации под старину», говоря о «размазывании сусальным золотом» того, «что надо называть своим именем и просто», и нам уже приходилось высказывать предположение, что Булгаков, пожалуй, присоединился бы — в какой-то мере — к этим жестким идеологизированным оценкам.

Утверждать можно лишь одно: «слабый» роман на национальном материале был обречен на заведомо более резкую оценку критики, чем того же уровня роман, где, по слову Авангарского, «действие... происходит во всем мире» (что было ему антипатично — он тяготел, несмотря на только что приведенные оценки, к русскому материалу). «В нашу материалистическую, городскую и стремительную эпоху роман Клычкова, уводящий назад в мир старины, неподвижности и чудес, представляет собой

¹⁴ «Новый мир», 1965, № 5, стр. 212.

¹⁶ «Литературное наследство. Горький и советские писатели. Незданная переписка», М. 1963, т. 70, стр. 335. (Отметим, что на оба эти письма ссылается в «Краткой хронике жизни и творчества Сергея Клычкова» М. Нике в фототипическом издании романа Клычкова «Сахарный немец», осуществленном в 1982 году в Париже.)

попытку пойти наперекор «духу времени», плыть против течения»¹⁶ — вот характерный и бесчисленно повторенный в последующие годы отзыв критики.

И возвращаясь к Фадееву, можно бы специальным исследованием показать, какая точная взвесь «национального» и «социального» предложена в его романе.

6

Самые разные разграничивающие линии проходили в 20-е годы не там, где их ищут сегодня ретроспективно.

Друг драматурга Н. Эрмана М. Д. Вольпин передавал нам слова, которыми завершили Булгаков и Эрман один из своих разговоров 1938—1939 годов, когда второй приехал к первому из ссылки (недалеко от Москвы): «Если бы мы с вами не были литературными неудачниками — мы были бы по разные стороны баррикады». А между тем творческий путь того и другого оценивают нередко, исходя из конечных очертаний их судьбы.

Надо идти не с конца, а с начала, вглядываясь в структуру того ядра, с каким входил каждый из художников, которых зачисляем мы в ряд обладателей этого разрушаемого ядра-эмбриона, в литературный процесс первых пореволюционных лет.

Отношение к гуманистической культуре, к Европе и России, к прошлому и будущему, отношение к революции (грядущей и совершившейся), наконец, взаимоотношения с миром державным — все это были важнейшие постоянные величины, воздействовавшие на художественные результаты встречи с новыми социальными обстоятельствами.

Так, путь Мандельштама во многом был предопределен тем, что его первые религиозные переживания не только совпали, по свидетельству поэта в письме 1908 года (Вл. В. Гиппиусу), с периодом «детского увлечения» марксизмом, но были «неотделимы от этого увлечения». Здесь важно и само это «увлечение» (которое миновало, скажем, Булгакова), и его неотделимость от религиозных переживаний (без которых обошелся, по-видимому, Зощенко).

Мандельштам взирал с надеждой на новое общество — но он постоянно ищет в нем место для гуманистических и христианских ценностей, и потому его путь оказывается сложнее и драматичнее многих: широко распространявшееся в среде деятелей культуры 10—20-х годов представление о «кру-

шении гуманизма» (название статьи Блока) располагало огромное большинство литераторов в первые (и тем более последующие) пореволюционные годы к усвоению кардинально «новых» ценностей вместо общегуманистических.

Для Мандельштама прежние ценности неотменяемы и революция для него — возможность к их возрождению и расцвету. «Блок — духовный максималист и в принципе отрицает возможность компромисса между гуманизмом и «варварскими массажи», тогда как Мандельштам видит в этом культурный императив и стремится отождествить гуманизм и революцию: «те же идеи, но покрытые здоровым загаром и пропитанные солью революции» («Государство и ритм»)»¹⁷. Для Блока Европа — общество, проигравшее свои святые и неспособное к возрождению, его надежды (до поры до времени — до момента, с которого наступило молчание поэта, перешедшее вскоре в предсмертное) — только на новых «скифов». Для Мандельштама европейский мир, несмотря на катаклизмы, — живая, реальная культурная ценность, как и для Булгакова, столь отличного от поэта во многом другом.

Культурные узы, связывающие с миром европейской цивилизации, с ее историей, были теми узлами, которые не давали Мандельштаму оторваться от культурной почвы, раствориться среди тех, кому он был близок, казалось бы, по изначальному устремлению к революции, марксизму (главным образом как поэтическому предмету¹⁸), «коллективизму».

Весь путь Мандельштама советского времени — от стихов первых пореволюционных лет до воронежского цикла — глубоко органичный (но оттого, повторим, не менее драматичный), то есть его художественный мир развивается как живой организм, меняясь, болея и вновь оживая, но оставаясь самим собой, не перерождаясь и не деревенея. Это путь человека, в какой-то час

¹⁷ Е. А. Тоддес, «Статья „Пшеница человеческая“ в творчестве Мандельштама начала 20-х годов» («Тыняновский сборник. Третья тыняновские чтения». Рига 1988, стр. 198, 199).

¹⁸ «Согласно свидетельству Мандельштама в «Шуме времени», марксистские брошюры были для него в отрочестве «подателем сильного и стройного мироощущения», причем впечатление стройности производил, по-видимому, последовательный политэкономический подход (после чтения К. Каутского «я весь мир почувствовал хозяйством, человеческим хозяйством»). Это <...> проливает свет на явление, чрезвычайно важное для судеб русской художественной интеллигенции, — эстетизацию социально-политических и экономических категорий» (Е. А. Тоддес, «Статья...», стр. 204—205).

давшего «присягу чудную четвертому сословью», утверждавшего:

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел
исподлобья,
И ни крупницей души я ему не обязан,
Как я ни мучал себя по чужому подобию.

Это путь поэта, уверенного в необходимости союза мира и меча: «Никогда, никогда не боялась лира тяжелого молота в братских руках» («Актер и рабочий», 1920), — от чего не так уж далеко до желания Маяковского, «чтоб к штыку приравняли перо» (и близость становится все более очевидной, если представить себе, как чужды этому, скажем, Михаил Кузмин или Анна Ахматова, столь многим связанная с Мандельштамом).

Более того, это путь поэта, благословившего «кремневый топор классовой борьбы» (статья «Пшеница человеческая», 1922) — конечно, со своей особенной позицией, с которой кровь, текущая с этого топора, в 1922 году оставалась еще не увиденной. «Именно эта версия «нового мира» оказалась нужна поэту, — справедливо пишет тот же исследователь. — Она была утверждаемой ценностью, соответствующей «присяге четвертому сословию» (или пастернаковскому «труду со всеми соображениями»), и в этом ценностном, надполитическом качестве стояла выше того, что несла с собой реальная политика, которая могла вызвать антисталинские стихи»¹⁹.

Эпоха подает поэту все более грозные и страшные сигналы — он отзывается на них стихами, оцененными Пастернаком как «акт самоубийства». Но еще важнее, что когда давление превосходит допустимые пределы и он пишет в 1937 году в Воронеже совсем другие стихи о Сталине, надеясь пробить себе обратный путь из полубытия, то многие фрагменты этого стихотворения остаются поэзией именно потому, что все еще живет, возобновляется и варьируется юношеская тема желанного, да все никак не осуществляемого союза лиры с «тяжелым молотом».

Иной путь проходит Замытия, и здесь, быть может, самое важное то, что к моменту октябрьского переворота он более десятилетия — революционер, причем не только по мировоззрению, но по самой своей природе. «Да ведь это почти счастье! <...> Когда что-то подхватывает, как волна, мчит куда-то и нет уже своей воли — как хорошо! Вы не знаете этого чувства? Вы никогда не купались в прибое?» — вопрошал он

¹⁹ Е. А. Тоддес, «Статья...», стр. 207.

свою будущую жену в 1906 году, описывая владевший им подъем недавней революции.

Обращаясь в своей повести, а затем пьесе «Атилла» к временам доисторическим, он не столько стремился воссоздать картины далекой жизни человечества, сколько искал закономерности; оглядывая прошлое, он надеялся, мы думаем, выстроить нечто вроде периодической таблицы Менделеева, где будущие общественные формации с неизбежностью должны были заполнять вакантные клетки. Пока же он лишь констатировал наличие в истории цивилизации двух «законов» — энтропии и революции, которые, как излагал он в февральском докладе 1924 года, давая пояснения роману «Мы», оба «в равной мере подчиняют себе и молекулу и человеческое общество. Последней революции нет и не может быть. Безгосударственный строй явится результатом тоже какой-нибудь революции. Мечты об эволюционном пути к этому строю представляются <...> несомненной утопией» («Русский современник», 1924, № 2, стр. 275—276). Эта его мысль уже шла вразрез с идеологией укреплявшейся государственности, которая сворачивала «классические» рассуждения о безгосударственном строе как цели революции и исподволь приучала к буквальному истолкованию слов о «последнем и решительном бое», на протяжении нескольких десятилетий побуждавших к борьбе,— и литературное сознание большинства современников Замятина послушно следовало за этим веянием времени.

Для него же самого в центре его аналитической мысли оставалось далекое будущее того общества, что родилось и упрочивалось в результате революции.

Между тем в самом этом обществе, которое, казалось бы, именно на будущее ориентировали, стремясь интересам будущих поколений подчинить жизнь настоящих — и формирующаяся литература тому активно содействовала,— в этом именно обществе далекая перспектива развития, конкретный облик его вождеденного будущего постепенно выводился из обсуждения. Негласно узаконивался взгляд на происшедшую революцию как на последнюю. Будущее застывало, и идея этого оледенелого, недоступного аналитической мысли будущего соединялась с укрепившейся идеей самодостаточности дня настоящего. С поля литературы исчезали утопии, которых было не так уж мало в начале 20-х годов («Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» А. В. Чайнова, под псевдонимом Ив. Кремнев, 1920; «Грядущий мир» Як. Окунева, 1923; «Диктатор» Брю-

сова, 1921, правда, не случайно оставшийся в рукописи; роман «Мы»). Пафос Маяковского — с его отвращением к дню сегодняшнему, наполненному реликтами прошлого, и восторженным ожиданием грядущего — терял кредит как бы у всех сразу. Пьесы Маяковского о будущем, появившиеся в конце 20-х годов, недаром встретили трудности при постановке — строить будущее предполагалось, не заглядывая в него; продолжалась начатая десятилетие назад работа по расчистке места («...разрушим до основания, а затем...») для строительства по неизвестным чертежам. Замятин бесстрашно вглядывался в эти чертежи — и подавал свои «проекты» на необъявленный конкурс. В этом конкурсе в середине 20-х годов участвовали уже немногие — среди них московский беллетрист М. Козырев, роман которого «Ленинград», законченный в октябре 1925 года, остался в рукописи. Он повествовал о городе, увиденном в 1950 году глазами революционера, приведенного факиром в состояние анабиоза в тюремной больнице в 1913 году и очнувшегося через тридцать семь лет. В романе описывалось общество, жестко разделенное на сословия, где принадлежность к сословию передается по наследству независимо от рода занятий; где буржуазия занята изнурительным трудом, а пролетарии, являясь привилегированным сословием, работают только два часа в день, остальное время предаваясь безделью; где цензура приобрела изощренные формы и цензор поясняет герою: «Свобода печати существует. Каждый рабочий имеет право писать в газеты обо всех злоупотреблениях, обо всех замеченных им недочетах. Каждый рабочий имеет право написать любого содержания книгу и сдать ее в печать. Но для выпуска книги в продажу существуют некоторые вынужденные необходимостью ограничения — и вот тут-то приходит на помощь рабочему писателю главный цензурный комитет. Не желая лишить каждого права свободно высказаться в печати, он исправляет идеологическую сторону представленной книги.

— Ведь это не запрещение, как практиковалось у вас, а помощь автору, который делает ошибку по незнанию или по неумению высказаться.

Каждая рукопись поступает в особый отдел, где специалисты умело перерабатывают рукопись, достигая кристально ясной идеологии. В результате — ничто действительно ценное не пропадает..

— Но каково положение авторов? — спросил я.— Получить книгу и прочесть в ней черт знает что!

Цензор удивился моему непониманию:

— Авторы довольны. Ведь мы им платим высокий гонорар!

Только теперь я понял, почему так скучны и нудны все книги, которые мне пришлось прочесть, я понял, почему они все так бездарно пережевывают одни и те же навязшие в зубах истины, известные даже мне, человеку другой эпохи.

Называть это свободой печати!

М. Козырев конструировал в отличие от Замятина сравнительно недалекое будущее, отстоящее от момента писания его романа всего на четверть века, притом материал для этой конструкции он черпал непосредственно в настоящем. То, что тенденции, развиваемые в его романе, обозначались уже в 1925 году, подтверждается, в частности, тем, что роман остался в рукописи.

Как и Замятин, Козырев кончает роман поражением новой революции. Примечательно, что вдохновителем ее оказывается революционер 10-х годов. Ожидая казни в тюрьме, он пишет историю своего преступления: «Эту историю думают они напечатать в нескольких миллионах экземпляров, в качестве неопровержимого свидетельства бесплодности всех попыток к свержению существующего порядка».

Для Замятина, каким видим мы его к 1924 году, непреложны два по крайней мере им же самим выведенных закона. Укрепляемому в массовом общественном сознании представлению о будущем как застывающей в точку вечности он решительно противопоставил идею неперменного разрушения равновесия. Сложно воспринятый душевный и мыслительный опыт героев Достоевского (вспомним хотя бы героя «Записок из подполья» с его мыслью о том, что любую земную гармонию всегда кто-либо захочет спихнуть под откос), дополненный собственным умозрением, базирующимся на естественнонаучном знании, приводил его к мысли, что последней революции не бывает, что любое общество стареет, и, чтобы омолодить, его надо столкнуть «с плавного шоссе эволюции: это — закон!». Но кто-то, по мысли Замятина, должен заранее предвидеть это, пусть отдаленное, остывание пламени — «и уже сегодня еретически говорить о завтра. Еретика — единственное (горькое) лекарство от энтропии человеческой мысли».

Замятин оказался одним из немногих писателей 20-х годов, почувствовавших ответственность за совершенное — ответственность, продиктованную прежде всего его собственным революционным прошлым. Уже начавшемуся и быстро разворачивающемуся применению литературы к обстоятель-

ствам, принятым как данность, он противопоставил стремление отдать себе трезвый отчет в возможных последствиях происшедших событий. Еще в годы трагического блоковского молчания он повел свой разговор «о главном». Он призывал: «Сейчас в литературе нужны огромные... философские кругозоры, нужны самые последние, самые бесстрашные „зачем?“ и „дальше?“».

Для того чтобы убедить людей строить из последних сил — что же именно? уж конечно, что-то хорошее! — эти вопросы были излишни, даже опасны.

Тот неслышанный резкий отпор, который дает Замятину литературная критика с самого начала 20-х годов, не может быть понят современным читателем, если не принять во внимание, что отклонение от ортодоксии победившей революции оценивалось еще резче, чем изначально ей противостояние, и самым опасным стало то, что, по мнению собратьев-писателей, сделал Замятин: «...в романе «Мы» он описывает социализм и тот будущий протест против социализма, который явится выражением противоречий социализма и который означает, что социализм — это не конечный этап человечества» (Ю. Либедицкий, «Сегодня попутнической литературы и задачи ЛАПП». — «Звезда», 1930, № 1, стр. 179).

Борьба с бывшими единомышленниками становилась главным содержанием общественно-политической жизни. Были поставлены пределы политической мысли — и это нашло отражение в литературной политике. Нельзя было ни подвергать критике победителей, ни отклоняться от пролагавшихся — с учетом нового ветра — литературных маршрутов.

Изошренные расчеты такого рода совершались нередко интуитивно. Когда размышляешь над слагаемыми того, что привело в конце концов к резкому сужению русла литературы, яснее видишь многосложность роли Горького.

Слово «раповский» давно получило функцию универсальной отмычки к проблемам эпохи. Но функция эта мнимая — сегодня это слово чаще всего отделяет исследователя от предмета, ставит предел историко-социологическому размышлению там, где оно только должно начинаться, уплотняет толщу многослойного явления. Нередко упреки, обращенные раповцам, с равной обоснованностью могут быть адресованы Горькому. Им владела, несомненно, глубокая уверенность в том, что писательство есть только более высокая ступень всеобщей грамотности и ликбез — первый, но прямой шаг к тому, чтобы эта

профессия стала доступна самому широкому кругу лиц. Он писал о литературной работе, «которую у нас принято именовать туманным и глуповатым словом — «творчество». Я думаю, что это — вредное словечко, ибо оно создает между литератором и читателем некое — как будто существенное различие: читатель изумительно работает, а писатель занимается какой-то особенной сверхработой — «творит». Иногда кажется, что слово это влияет гипнотически и что есть опасность выделения литераторов из всесоюзной армии строителей нового мира в особую аристократическую группу «жрецов» или — проще говоря — попов искусства» («О прозе», 1933). Его воздействие на общественное сознание и литературный процесс было продолжительней и потому сильнее собственно рапповского. Когда с 1933 года он оказался на безвыездом положении, испытывая — вместе со всеми — усиливающееся давление политического прессы, его привычная учительская роль все более трансформировалась в роль передатчика этого давления (что несколько не умаляет значения его хлопот по поводу многих произведений, встречавших препятствия цензурирующих инстанций).

Характерно в этом смысле отношение к Замятину, примерно с 1924 года все более опасливое, притом что до самого отъезда Замятина Горький хлопотал за него перед Раскольниковым, Ягодой, Рыковым, Сталиным.

Первоначально Замятин был ему близок — как учитель литературной грамоты, как просвещенный педагог, как реализатор уже зародившейся у Горького, но, кажется, еще не названной так идеи «литературной учебной». Но идея эта не должна была вырываться за границы обучения тому, как искать свежие эпитеты и избегать столь не любимых Горьким неблагозвучных столкновений слогов на стыке слов. К этому обучению технологии сводилась и провозглашенная Горьким «учеба у классиков». В беседе с «молодыми ударниками, вошедшими в литературу» (1931), он следующим образом детализировал это обучение: «Прежде всего нужно использовать технику классиков. Что вы получите у Достоевского, кроме техники? <...> большинство его философских идей тоже нам чуждо, потому что с господом богом мы как будто уже рассчитались, я думаю, всерьез и навсегда, мы стали гораздо умнее богов, гораздо больше знаем. Так что в этом отношении Достоевский нам не интересен <...>. У Толстого можно научиться тому, что я считаю одним из крупнейших достоинств художественного творчества, — это пластика, изумительной релье-

фности изображения» (собрание сочинений в тридцати томах, т. 26, стр. 67—68). Из «классики», предлагаемой в качестве предмета или инструмента обучения, вместе с идеологией вычиталась и философичность. Вообще размышление, не стесненное какими-либо рамками, а за ним и простое здоровомыслие резко падали в цене. Любопытнее к слову, к той словесной фактуре, которую Горький действительно искренне ценил, над которой он порой в буквальном смысле плакал, умиляясь таланту автора, восхищаясь словесной вязью и полнокровной бытописью (в том числе и у раннего Замятина), приобрела постепенно законодательную силу. Эта ориентация на «мастерство», на «работу над словом» замечательным образом совпала с общественной тенденцией удерживания личности на краю свободного размышления над вопросами бытия. Все, что отдавало углублением мысли, отвергалось как нехудожественное философствование или отбрасывалось как «не новое». Взятые порознь, такие оценки могли быть отдельными суждениями, делом вкуса. Но когда все они сходились в нескольких точках и именно через них пролегла равнодействующая литературного процесса — приходится задумываться над телеологией (внутренней целенаправленностью) таких суждений.

В этом смысле и некоторые горьковские оценки Замятина представляются не только делом вкуса. Рассуждая об одержимости людей, преданных своему занятию, Горький пояснит в письме Федину (от 20 декабря 1924 года): «Нужно только различать два вида «одержимости»: внешнюю, от разума, ту, которая руководит, напр<имер>, Замятином, когда он пишет рассказы по Эйнштейну...» («Литературное наследство», т. 70, стр. 482). И повторит в другом письме — настойчиво: «Рассказ, написанный по Эйнштейну, как, напр<имер>, у Замятина, это уже не искусство, а попытки иллюстрировать некую философскую теорию — или гипотезу, — которую даже столь глубоко ученый человек, каков О. Д. Хвольсон, считает трудно усвояемой» (8 мая 1925 года, письмо Слонимскому. — Там же, стр. 388). Для Замятина это было программным — в перечне признаков современного искусства, каким он его видел, названы в докладе 1924 года «3) сгущение в символике и в красках... 5) ...в художественный организм вырастают элементы философии, широких обобщающих выводов» (там же, стр. 275). Это была одна из возможностей нормального литературного процесса, необходимая составная часть полноценной жизни тог-

дашней литературы; усилиями критики, при поддержке Горького (хотя он и не высказывался в печати персонально против Замятина) была уничтожена к началу 30-х годов и эта возможность. Пока мы не поймем, что дело было не в том, «правильный» ли рецепт литературы предлагал Замятин, и не отложим в сторону легкий хлеб упреков в «умозрительности», «рассудочности» и т. п., мы не сумеем осмыслить происшедшее в нашей литературе.

Дело было в том обывательстве, которое претерпел «социальный заказ», превратившись уже в урок, задаваемый сверху.

Это омертвление социальности, усиление ноты должностования с тревогой ощущалось всеми, кто стремился продолжать свой органический путь.

«Искусство отличается от ремесла тем, что оно само ставит себе заказ, оно присутствует в эпохе как живой организм, оно отличается от ремесла, которое не знает, чего оно хочет, потому что оно делает все то, что хочет другой. Наша бестолочь потому и происходит — и ею грешат большие люди, — что мы все говорим: надо то-то и то-то, и неизвестно, кому это надо. В искусстве это «надо» нужно самому художнику» (выступление Пастернака по докладу Н. Асеева «Сегодняшний день советской поэзии» 13 декабря 1931 года. — «Литературное наследство. Из истории советской литературы 1920—1930-х годов». М. 1983, т. 93, стр. 520).

Возражая Пастернаку, Асеев говорил, что их шестилетняя размолвка «шла по линии постоянных споров о том, что мы постоянно думали и продолжали утверждать, что разговор о стихе есть разговор о мастерстве, а Борис Леонидович предполагал, что вопрос о поэзии, о стихе — вопрос гениальности и удач. Тогда <исключается> возможность выращивания, возможность помощи тем кадрам, которые путаются в бесплодном <вер>сификаторстве, путаются в подражании...» (там же, стр. 521).

Возможно, невыраженная суть спора была в том, что уже с ранних революционных лет коллективное, студийное обучение стиху пло одновременно с передачей навыков определенной идеологической обработки материала, — это-то и смущало одного из спорящих, а другого, кажется, воодушевляло.

...В 1930—1931 годах Сталин сам проводил селекцию наличного состава литераторов — кому налево, кому направо. Булгаков остался дома; карта Замятина легла на Запад. Предполагают, что встреча Шолохова со Сталиным летом 1931 года обозначила на-

чало работы над «Поднятой целиной» (С. Н. Семанов).

Мы говорим о движении литературной жизни и об участии в этом движении разных литераторов. «Тихий Дон» оказал многообразное воздействие на это движение. Его критики решительно удостоверили роль проблемы социального выбора как главной в человеческом существовании и имеющей преимущественное право на изображение. Автор дал свой эталон художественности, и мощь лучших сцен романа переносила читателя через множество фрагментов политграмоты — но литераторы усваивали и этот пример. Эту «учебу» облегчали переиздания романа — с авторской нивелировкой — и сам путь писателя, в известной мере изолировавший явление «Тихого Дона».

Отъезд Замятина за границу в ноябре 1931 года стал одним из сигналов, отметивших завершение скачка 1929—1931 годов, когда насильственно сузилась спектр возможностей литературы и резко замедлилась литературная динамика. Появление таких произведений, как, скажем, «Зависть» Ю. Олеши, «Охранная грамота» Б. Пастернака или «Одиночество» Г. Блока, вышедших на рубеже десятилетия, стало невозможным в последующее десятилетие. Напротив — возможным стало появление произведений, немисляемых ранее. Скачки общественной эмоции — от надежды к ужасу и к новой надежде — начали теперь определять у тех литераторов, которых мы выделяли в группу обладателей неразрушаемого художественного ядра, не только их социальное поведение — они воздействовали уже на акты творчества.

7

1 января 1936 года в «Известиях» были напечатаны два стихотворения Бориса Пастернака. Появившиеся после четырехлетнего «периода лирического молчания», они обратили на себя внимание всей отечественной читающей публики. Несомненно, Булгаков пристально читывался в стихи того человека, который прошлой весной в гостях у Тренева с почти несветской настойчивостью предложил за Булгакова тост — как за явление «незаконное»... Несмотря на строки, оставшиеся невнятыми и для более искушенных ценителей поэзии («Но вечно наш двойня гремел соловьем»), оба стихотворения должны были навести его на размышления.

В стихотворении, озаглавленном позднее «Художник», поэт, в неподдельности творчества которого никто не мог сомневаться, проводил поражающую параллель.

Мне по душе строптивый норв
 Артиста в силе...—

начиналось стихотворение; речь шла о зрелом времени художника — том времени, когда

При жизни переходит в память
 Его признавшая молва.

Но главный интерес для Булгакова содержания, несомненно, вторая часть стихотворения:

А в те же дни на расстоянье,
 За древней каменной стеной,
 Живет не человек, — деянье,
 Поступок ростом с шар земной.

...Для поэта это было, видимо, продолжением его телефонного разговора со Сталиным в начале лета 1934 года, того разговора о Мандельштаме, после которого Пастернак остался недоволен собою еще в большей степени, чем Булгаков после звонка Сталина в 1930 году, и так же, как Булгаков, на грани неврастенического иступления желал новой беседы, надеясь досказать недосказанное.

Состояние отечественных интеллигентов в середине 30-х годов сегодня нуждается уже в специальной реконструкции, причем свидетельства современников далеко не всегда могут здесь помочь — нужен острый аналитический взгляд, которым обладали немногие из них. Некоторую объяснительную силу имеет, на наш взгляд, аналогия с гегелевским «абсолютным духом», которому уподобляло Сталина в середине 30-х годов восприятие философски образованных сограждан; Пастернак, как представляется одной из современниц, в момент разговора со Сталиным видел в нем воплощение «всемирно-исторической энергии» (Лидия Гинзбург) — это помогает понять и импульс, поразивший полтора года спустя стихи:

Судьба дала ему уделом
 Предшествующего пробел:
 Он — то, что снилось самым смелым,
 Но до него никто не смел.

Булгакова затронул, как мы предполагаем, в первую очередь исторический аспект, прочерченный крупным штрихом:

Столетия так к нему привыкли,
 Как к бою башни часовой,—

на эту встроенность в историю. зафиксированную ярким словом поэта, он мог отозваться.

Последние две строфы могли оказаться для Булгакова близкими, волнующими, подталкивающими к собственному творческому действию:

И этым гением поступна
 Так поглощен другой поэт,

Что тяжелеет, словно губка,
 Любою из его примет.

Сам Булгаков уже давно был насыщен «любою из его примет». Заключительные строки говорили будто о нем самом, о его ситуации:

Он верит в знанье друг о друге
 Предельно крайних двух начал.

Вера в это знанье была для Булгакова, пожалуй, в данный момент важнее всего; она же стала узлом, из которого вытянулись важные для его художественного мира нити: это противостояние и связь уже были заявлены в его романе как связь Иешуа и Пилата, Мастера и Воланда (причем Пилат воплощал историческое лицо, государственность, а Воланд — вневременное и внеисторическое: в отличие от Пастернака Булгаков уже увидел в Сталине и демоническое, несмываемо темное).

Стоит, пожалуй, принять во внимание, что «традиция» славословий Сталину была «образована не оригинальными русскими поэтическими произведениями, а переводом и литературных и «фольклорных» текстов с восточных языков окраины Советского Союза». Оригинальных русских стихотворений, посвященных этой теме, до Пастернака не было — его выступление «изменяло культурный статус и резонанс возниковавшего жанра»²⁰.

Мы допускаем, что мысль о литературе русской в связи с этой темой могла быть для Булгакова не последней; желание первым из русских драматургов — вслед за поэтом — написать о Сталине могло подогреваться слухами о работе Толстого над повестью «Хлеб».

Образ «артиста в силе» Булгакову, не оставившему почти никаких свидетельств своих вкусов в поэзии, мог оказаться, как нам представляется, близок — и показала заманчивой возможность померять свою «силу» на изображении того «крайнего

²⁰ Жанр обращенных к Сталину «индивидуальных поэтических славословий», выпущенных од, получивший широчайшее распространение в конце 30-х — начале 50-х годов, возник только в самом начале 1934 года, в канун XVII съезда, и связан был со специально предпринятой идеологической кампанией «культу его личности, начатой статьей К. Радека „Золчий социалистического общества“», — пишет этот же современный исследователь, опираясь, в частности, на анализ статьи Радека (напечатанной 1 января 1934 года в «Правде») в работе Р. Медведева «К суду истории, генезис и последствия сталинизма» (Л. Флейшман). Борис Пастернак в тридцатые годы Иерусалим, 1982, стр. 283—284, 150 и др.).

начала», в приближении к которому еще никому не удалось добиться литературной удачи. Первым таким примером могло, повторим, послужить стихотворение Пастернака.

Если переходить из плоскости историко-литературного рассмотрения в сферу творческой — и социальной — психологии, то неминуемо пришлось бы говорить об этом желании выполнить головоломный трюк, решить нерешаемую задачу — о феномене «соблазна», приобретавшем в те годы огромное значение и получившем уже свои наиболее мрачные атрибуты.

Так была распечатана «высокой» литературой тема Сталина.

В феврале 1936 года к мысли писать о нем пришел Булгаков. 6 февраля 1936 года Елена Сергеевна Булгакова занесла в свой дневник (на другой день после генеральной репетиции пьесы «Мольер» во МХАТе, проходившей с успехом): «Миша окончательно решил писать пьесу о Сталине. Мелик (Дирижер Большого театра А. Ш. Мелик-Пашаев, с которым Булгаковы подружился в конце 30-х годов. — М. Ч.) играл отрывок из «Валькирий». Весело ужинали».

Укрепление этой темы в литературе второй половины 30-х годов имело отнюдь не изолированное от всего литературного процесса тех лет значение. Начнем хотя бы с того, что оно воздействовало на разработку исконной для русской литературы и претерпевшей трансформации в литературе советского времени темы народа.

В известной книге Л. Фейхтвангера «Москва 1937» (вышедшая в конце 1937 года, она, по свидетельству современников, едва ли не через две-три недели была изъята из продажи; заслуживающая особого анализа, эта книга — конечно, удивительным образом вывалившаяся вдруг на прилавки московских магазинов — оказалась как бы непроизвольной фотографией момента, важным во многих отношениях свидетельством) было сформулировано: «Сталин действительно является плотью от плоти народа. Он сын деревенского сапожника и до сих пор сохранил связь с рабочими и крестьянами», «Сталин — поднявшийся до гениальности тип русского крестьянина и рабочего...» Повторять эти отождествления в такой свободной манере не решались, но они укоренились и воздействовали. В складывающейся с середины 30-х годов ситуации решение того или иного писателя «не упоминать» имени Сталина не могло быть изолированным — оно требовало выработки определенного «плана» своего художественного мира, где отсутствие этого имени не выгля-

дело бы демонстративным и вообще могло быть естественным.

Сегодняшние наиболее серьезные историко-литературные штудии сосредоточены главным образом на «линейном» освещении отдельных творческих биографий. В хронологии крупных судеб действительно одни поступки преодолеваются другими, сочинения предшествующие могут перекрываться последующими. Однако в реальности литературного процесса «преодоления» и «компенсации» осложнены — печатные акты необратимы. Поток культуры несет наши тексты безостановочно. Они оказывают свое, не отменяемое последующей эволюцией данной творческой личности действие.

В этом свете воздействие на литературный процесс стихов Пастернака о Сталине было, возможно, роковым (хотя сам поэт в том же самом году бесповоротно изменил свой взгляд на общественную ситуацию и ее главного манипулятора). Одновременно в поле литературного произведения изменилась взаимоотношенность таких важнейших его составляющих, как автор — герой — читатель. Теперь автор впадал во все большую зависимость от своих героев.

Он становился производителем героев, и герои начинали завязывать свои собственные отношения с читателем, как бы минуя автора (заметим, что ошеломительная, в сущности, по цинизму фраза Сталина в письме Биллю Белоцерковскому в феврале 1929 года о том, что в успехе «Дней Турбинных» «автор не повинен», пала на уже хорошо подготовленную почву и стала жадно усваиваться общественным контекстом).

Укоренение темы Сталина в литературе стало одним из ограничителей, сдерживающих ее развитие. Именно в 1936 году современная литература оказалась притиснута, с одной стороны, к классике, авторитет которой был вновь объявлен (с начала 1936 года) неукоснительным (как в гимназиях конца XIX века), и к переводной иностранной литературе хороших образцов, широко печатавшейся в журналах (прежде всего в «Интернациональной литературе»).

Гладкая, зеркальная поверхность классики, общечеловеческие ценности которой лишь чисто номинально были разрешены к хождению, и «тамошняя», не подлежащая «нашему» нажиму сложность переводной литературы были как бы вне нормативов. В отечественной же современности эти нормативы стали все жестче укрепляться.

Появилось также скрытое, но ощутимое представление об и с ч и с л и м о с т и необходимых народу представлений, образов.

Вскоре — начиная с 1937 года — эта стис-

нутость, этот уклон к уменьшению количества имен и произведений в современном литературном процессе были подкреплены тем, что один за другим исчезали из современности литераторы — вместе с «тетрадами своих стихотворений» (Заболоцкий) и книгами (во всей совокупности экземпляров): их больше не упоминали и не должны были читать (хотя они оставались в некоторых домашних библиотеках).

«Возвращение» к классике шло одновременно с поворотом к «реализму» (в изобразительных искусствах особенно), с упрощением, с обвинениями в формализме — любое отклонение от образца оказывалось обреченным.

Русская классика, в начале 20-х годов отброшенная в пределы «бывшей» России, теперь — без малейшего, в сущности, объяснения и, что ли, извинения — возвращалась обратно именно в виде полемического и ограничительного по отношению к современным литераторам хода.

То, что главным было стремление добиться унификации, и в этом смысле все действия носили характер именно нажима на литературу, силового приема, ограничивающего динамику «противника», хорошо видно по возвышению Сталиным имени Маяковского. «Живой» Маяковский даже в самом своем сглаженном периоде ни в каком случае не мог пригодиться для того суженного до предела спектра литературных возможностей, в который он теперь вдвигался. Возвращался в обиход со знаком отличия поэт не реальный, а «условный» — та «мертвечина», о которой он сам писал с ненавистью. Возвращался Маяковский отдельных строчек, «тем» и, главное, той приравненности литературы к лозунгу, воззванию, ораторской речи, побуждению к действию, которая для него была органичной, но приобретала иной характер, вменяясь теперь литераторам в качестве образца.

Повторим ставшие хорошо известными в последние годы, после двух изданий прозы Пастернака, фразы из его автобиографического очерка «Люди и положения»: «Маяковский стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен», — повторим, чтобы отчасти оспорить. В каком-то высшем смысле поэт, конечно, повинен и ответствен, если творчество его позволяет отслоить пласт за пластом столько пришедших ко двору цитат и, главное, саму идею прагматичности стиха как вполне «естественного» его свойства.

Одновременно этот орудийный, инструментальный характер ограничителя литера-

турного процесса приобрело в 1936 году — чтобы сохранить на долгие годы — и наследие «классиков» и наследие Маяковского, и в этом смысле строка Маяковского «После смерти нам стоять почти что рядом» несла мрачно-шутовскую достоверность. (Притом сами сочинения классиков, выходящие огромными тиражами, с участием лучших на тот момент гуманитариев, продолжают играть свою неунничтожимую роль в личном человеческом опыте миллионов отечественников.)

Итак, к началу 30-х годов картина отечественной литературы в значительной степени проявилась. Исчезло живое ощущение социального заказа как писательское ощущение читателя. 30 октября 1932 года, выступая на расширенном пленуме оргкомитета съезда писателей, М. Пришвин говорил: «Я всегда думал, что я работаю не только для тех читателей, которые существуют, но и для читателей, которых еще не существует. Посадите меня в тюрьму, в Лапландию — я все равно буду работать. И вдруг я начинаю чувствовать, что мне не хочется работать, не из-за чего работать и трудиться». Это — разложение живого тела социального заказа, выстроенного «для себя». В 20-е годы каждый, кто хотел, определял его для себя, отзываясь на голоса времени, продолжая литературу. «Социальный заказ, который я всегда в себе ношу...» — говорит об этом Пришвин. И поясняет: «...есть какой-то друг, которому я пишу, и радость от этого идет. <...> это одна радость, которую я знаю. Я не один, я кому-то пишу, кто-то мне поручает этот социальный заказ, через радость действую <...> и вдруг нет ничего. Я потерял читателя. Если кто-нибудь напишет письма, то потихоньку, вроде как в тюрьме, когда сижу там, а мне постукивают друзья, сидящие по другим камерам».

Необратимость трансформации литературного процесса запечатлело то же выступление Пришвина: «Ведь у нас охотничьи рассказы, маленькие рассказы прекратили писать. Стали писать романы». Второй широко распространившийся (добавим — не без прямого влияния, с одной стороны, Лефа с его литературой факта, а с другой — Горького) жанр — очерк. «Это — хорошая литература, Короленко писал, Горький писал великолепные очерки. Но как заказали очерки — так получился какой-то механический очерк. Вы сами знаете, что надоело писать очерки, надоела очерковая литература. Там есть и таланты, я ничего не говорю, тут все есть, но очерки надоели, просто читать нельзя стало. Как увидишь, что «по-

казались трубы завода», — ну, читать невозможно, потому что знаешь, что это — трафарет <...>. Теперь явилась литература романа. Роман — легче, чем очерк. Чтобы написать очерк, нужно проработать материал, а для романа не нужно. (Аллодисменты.) Чем бездарнее человек — тем легче написать роман. Укажите каждого любого человека на улице, я его научу писать роман».

Так в уродливом виде воплощали мечту многих — от теоретиков Лефа до Горького. Роман, став просто-напросто высшей степенью грамотности, позволяющей бесстрастно воспроизводить схему, со страстью впечатанную в «Разгром» его автором, вышел за пределы искусства.

Характерна одна из многих литературных неудач нового периода — неудача Б. Житкова, много поставившего на свой роман «Виктор Вавич». Пока он писал его — общая схема советского романа все более уяснялась: самим своим обращением к теме предреволюционной России он роковым образом въезжал в готовый тоннель, где главным камнем в замке свода нависала «Жизнь Клыма Самгина».

Мечась в этом все сужавшемся тоннеле, литература искала ниши — одной из них и был «охотничий рассказ», на который как на спасение указывал собратьям по цеху многоопытный Пришвин.

Стремление уйти не только от «полотен» красных Львов Толстых, но, кажется, и от самих египетских пирамид, брезжущих в уже наливающимся кровью туманном воздухе времени, видится в призыве Пришвина к малому, совсем маленькому, подобному крохотной собачке по имени Лимон в его одноименном рассказе жанру: «Чем проще рассказ, тем его трудней написать. Это — маленькая штучка, где не только на слове, но на полуслове, на намеке, на цвете, на вкусе этого слова извольте напишите штучку.

Пусть напишет — тут уж никакого сомнения. Это — гигиена, дезинфекция литературы, она есть игра, искра, радость. А вот этого у нас и нет. Мне вот пишут письмишко из редакции — не напишете ли нам маленький рассказ о собаках; или о чем-либо таком. Возвращаются что-то немножко, пахнет свободой какой-то. (Смех.)».

...А «Ювенильное море»? А воронежские стихи Мандельштама? А «Котлован»? А «Реквием»? А «Мастер и Маргарита», написанный в то самое, в то труднейшее для литературы время?..

Хочется ответить словами Алексея Турбина в «Белой гвардии»:

— Ох, как неразумны ваши речи, ох, как неразумны.

Об эпохе не судят по ее колоссам, хотя именно они ее метят («горит такого-то эпоха», по слову поэта). О ней не судят по корабельному лесу, по тем соснам, что выстоят (если их не спилят под корень) любые бури. Эпоху судят по следующей эпохе — по тому, как обошлась она с подростком, которому предстояло подняться или не подняться до полного роста в будущем.

От мачтовой сосны не родится другая такая же путем почкования — молодой лес должен подниматься постепенно, при правильном доступе влаги и света.

Плут прошел по полю культуры гигантским лемехом и закопал плодородный слой, выворотив наверх песок и комья глины.

И вглядываясь в литературу 60—80-х годов — выросший подросток, — в неуверенно поднявшиеся стебли злаков, мы наблюдаем и ее сегодняшнее, для многих явившееся неожиданным состояние. Расслабленность творческой воли, духовная оторопь, срывающаяся в истерику. Это сигнал трагической ситуации: исчерпаны соки, какие могла дать варварски перепаханная, насильственно истощенная земля. И мы начинаем понимать, что именно произошло в 20-е и 30-е годы.

СО Д Е Р Ж А Н И Е



ПОЛИТИКА И НАУКА

Андрей Василевский. Цвейг против насилия.

Политика и наука

ЦВЕЙГ ПРОТИВ НАСИЛИЯ

Стефан Цвейг. Статьи, эссе. Вчерашний мир. Воспоминания европейца. Перевод с немецкого. М. «Радуга». 1987. 448 стр.

Стефан Цвейг. Совесть против насилия. Кастеллио против Кальвина. Перевод с немецкого. М. «Мысль». 1986. 238 стр.

Стефан Цвейг. Очерки. Перевод с немецкого, М. «Советская Россия». 1985. 560 стр.

Выдержал ли Цвейг испытание временем? Вопрос этот, заданный критиком Д. Затонским в предисловии к «Вчерашнему миру», носит явно риторический характер. Критик, впрочем, тут же оговаривается: «Цвейг ли спустился на более скромное место — или же другие (австрийские и немецкие писатели. — А. В.) поднялись на более высокое?»

Как бы то ни было, этот писатель занимает прочное место в читательском сознании — пожалуй, еще с 20-х годов, когда у нас вышло практически полное на тот момент собрание его сочинений. Видимо, надо уточнить, что место писателя в историко-литературной иерархии и место его в нашем кругу чтения по разным причинам могут не совпадать: Музиль или Кафка явно выше Цвейга, но читаются ли они (я говорю только о нашей стране), как читается Стефан Цвейг¹? Правда, многое пе-

реиздается у нас несколько механически, но надо признать, что круг издаваемого и переиздаваемого все-таки расширяется: так, переизданы очерки о Диккенсе, о Месмере — открывателе так называемого животного магнетизма, о создательнице «Христианской науки» Мэри Бейкер-Эдди. Когда-нибудь, наверно, переиздадут и очерк Цвейга о его друге Зигмунде Фрейде.

Цвейг не любил победителей. «Поверженный судьбой — вот кто привлекает меня в моих новеллах, а в биографиях — образ того, чья правота торжествует не в реальном пространстве успеха, а лишь в нравственном смысле: Эразм, а не Лютер, Мария Стюарт, а не Елизавета, Кастеллио, а не Кальвин...» Книга о Себастьяне Кастеллио «Совесть против насилия» вышла сразу в двух переводах: С. Гаврильченко и А. Рыбиковой («Советская Россия») и Л. Миримова («Мысль»). Кастеллио — один из любимых героев Цвейга. Писатель полностью разделял позицию этого гуманиста XVI века, провозгласившего, что «ни одному человеку нельзя навязывать мировоззрение», что убийство человека за его идеи есть не защита учения, а лишь «убийство, убийство, убийство». Противником Кастеллио был Кальвин — один из крупнейших деятелей Реформации, завоевавший в Женеве абсолютную власть. Унифицируя живое общество до степени бездушного механизма, он никогда не усомнился в том, что, лишая людей свободы, он им помогает — ведь он требовал от них только «жить правильно». Что является правиль-

¹ См., например: собрание сочинений в четырех томах. М. 1982—1984; «Письмо незнакомки». Ташкент. 1985; «Новеллы». Минск. 1986; «Избранное». Минск. 1986; «Магеллан». Ашхабад. 1986; «Новеллы». Баку. 1986; «Нетерпение сердца». Иркутск. 1986; «Кристина Хофленер». М. 1986; «Новеллы». М. 1987; «Новеллы». Архангельск. 1987; «Новеллы». Минск. 1987; «Мария Стюарт». Саранск. 1987; «Мария Стюарт. Жозеф Фуше». Саратов. 1987; «Звездные часы человечества». Алма-Ата. 1987... Совокупный тираж только перечисленных изданий достигает 4 миллионов экземпляров! Можно с уверенностью сказать, что подавляющее их большинство находится в активном читательском обороте.

ным, решал сам Кальвин. Реформация началась как движение за духовно-религиозную свободу, но Кальвин — именем Реформации — отнял у людей как раз духовную свободу. С точки зрения кальвинизма, утверждающего, что между богом и человеком нет посредников, само понятие «еретик» абсурдно, но борьба за власть ведет Кальвина к уничтожению оппонентов — и логика тирании побеждает доктрину.

Цвейг несколько упрощает, спрямляет историю, жертвуя ее многосложностью ради большей выразительности, и достигает успеха. Он создает не только портреты исторических лиц, но и обобщенные образы Тирана и Гуманиста, способные вызвать у читателя самые разные, в том числе и не предусмотренные писателем ассоциации. Сам Цвейг подразумевал под тиранией в первую очередь нацистский тоталитаризм; в книге нет соответствующей конкретики, но умолчание диктовалось не страхом (книга писалась в эмиграции), нацизм был для писателя только актуальным примером из бесконечной череды прошлых и будущих тираний². Он пытается анатомизировать самое тиранию: захват власти, обман масс, уничтожение оппозиции, террор, регламентация не только общественной, но и частной жизни, и... появление гуманиста-одиночки (каким Кастеллио не был), бросающего тирании смелый вызов. Сила духа и совесть — против могущественного аппарата насилия. Могут ли они победить? Цвейг не обманывается: одиночкам не свалить диктатуру, а к движению масс он относился скорее настороженно, считая их питательной средой тирании. «После каждого наводнения вода идет на убыль» — только в этом надежда Цвейга. Он обращает внимание читателя на то, что «именно там, где религия Кальвина стала законом, реализовалась идея Кастеллио» (так оплот кальвинизма — Швейцария — стала всемирным политическим убежищем). Цвейг объясняет эти превращения тем, что живая жизнь сильнее любой доктрины: «Подобно мускулу, который не может непрерывно находиться в состоянии крайнего напряжения, подобно страсти, которая не может посто-

янно находиться в состоянии максимального накала, ни одна духовная диктатура не способна длительное время сохранять свой беспощадный, ни с чем не считающийся радикализм: чаще всего только одно поколение оказывается жертвой, ему одному приходится испытать на себе сверхдавление диктатуры духа».

Книга о Кальвине и Кастеллио вышла, как я сказал, двумя разными изданиями. Но что их роднит, так это многочисленные сокращения в тексте Цвейга. Издательством «Мысль» все купюры (их ровно сорок) честно отмечены, издательство «Советская Россия» просто уведомляет о них читателя. Подобная практика для нас, к сожалению, не новость, но в данном случае она приобрела фарсовый оттенок: сокращения не совпадают — многие места, сокращенные «Мыслью», оставлены «Советской Россией», и наоборот. При желании можно, положив перед собой обе книги, хотя бы частично восстановить текст Цвейга и попытаться понять логику (или антилогику) сокращений. Вот характерные примеры сокращений, сделанных в книге «Совесть против насилия». На странице 49: «А когда какой-либо доктрине удастся однажды овладеть государственным аппаратом, его средствами принуждения, она не задумываясь развязывает террор; тому, кто ставит под сомнение ее всеислие, она затыкает глотку, а чаще всего просто душист» («Очерки», стр. 312). На странице 65: «Политические идеологи вечно недооценивают сопротивление, заложенное в инертности человеческой природы, они полагают, будто решающие нововведения в реальном мире можно осуществить так же быстро, как в рамках их умственных построений» (там же, стр. 331). На странице 67: «Человечество, постоянно подвергающееся внешнему, никогда не подчиняется терпимым и справедливым, а всегда только великим одержимым, у которых хватало смелости провозглашать свою истину как единственно возможную, а свою волю — как основную формулу мирового закона» (там же, стр. 333). На странице 178: «...но стремление спрятаться за спиной цензуры всегда вернее всего обнаруживает душевную неуверенность человека или сомнительность учения» (там же, стр. 479). Это самые коротенькие купюры. А, скажем, на странице 47 «Совести против насилия» вычеркнуто место, занимающее в «Очерках» почти три страницы («Несомненно, в основе человеческой природы лежит таинственное стремление раствориться в общности, и неизбежимым остается извечное наше заблуждение, будто возможно отыскать не-

² «Так, в Вашей России Зиновьев, Камнев, ветераны Революции, первые соратники Ленина расстреляны, как бешеные собаки... — писал Цвейг Ромену Роллану 28 сентября 1936 года. — Вечно та же техника, как у Гитлера, как у Робеспьера: идеальные разногласия именуют «заговором»; разве не было бы достаточно применить ссылку?» (Т. Мотылева, «Друзья Октября и наши проблемы». — «Иностранная литература», 1988, № 4).

кую религиозную, национальную или социальную систему, которая, наконец, справедливости ради дарует всему человечеству мир и порядок...» и так далее).

В «Очерках» сокращения не отмечены, но мне удалось установить несколько таких мест. Вот одно из них. На странице 484 «Очерков» выпущен кусок, содержащий очень важные для мировоззрения Цвейга утверждения, поэтому цитирую его полностью: «„Убить человека никогда не означает защитить учение, нет, это означает лишь одно — убить человека“ — великопные в своей истинности и ясности вечные слова. Этой словно из бронзы отличной фразой Себастьян Кастеллио на все времена вынес приговор всем преследователям свободной мысли. Какой бы повод ни был инсценирован, какой бы повод ни был поднят — логический, этический, национальный или религиозный, — чтобы оправдать убийство человека, ни одно из этих оснований не снимает личной ответственности с человека, который свершил или приказал свершить преступление. В кровавых деяниях всегда виновен человек, и никогда не оправдать убийство мировоззренческими соображениями. Истины распространяются, но принудительному внедрению они не поддаются. Ни одно учение не станет более правильным, ни одна истина — более истинной, если носители их будут горячиться и кричать о них на каждом углу; ни одну истину нельзя возвысить насильственной пропагандой, нельзя сделать более значительной суть какого-либо учения. <...> И если Кальвину, догматику, человеку религиозной идеи, безразлично, как ради идеи, которую он считает непреходящей, гибнут бранные люди, то для Кастеллио каждый человек, страдающий и умирающий за свои убеждения, — невинная жертва. Но принуждение в вопросах мировоззрения для него не только преступление против духа, но и напрасные усилия. „Никого нельзя принуждать! Ибо принуждение никогда еще не делало человека лучше. Те, кто хочет принудить людей к какой-либо вере, поступают столь же противно здравому смыслу, как человек, насильно запикивающий больному еду палкой в рот“» («Совесть против насилия», стр. 181). Между прочим, отмеченное в середине цитаты сокращение принадлежит не мне, оно сделано издательством «Мысль». А уж что содержали места, вычеркнутые одновременно обоими издательствами, и какого они были объема — бог весть...

Гляжу на раскрытые передо мной книги

и испытываю одно чувство: как стыдно! Ну зачем это сделано? С полиграфической точки зрения выигрыш, наверно, не так уж велик, да и стыдно (повторю еще раз) экономить на Цвейге. С точки зрения цензурной что «страшного» в приведенных цитатах? Неужели все дело в боязни аллюзий? Но даже если они и возникнут — что с того? Боязнь аллюзий основана на неверии в способность читателя мыслить самостоятельно (а главное — в его право так мыслить). Читательское сознание не есть чистый лист, на котором некритически записывается все, что прочтется; но даже если бы это было так — все равно сокращения не достигают цели, потому что в тексте можно найти немало мест, где то же самое говорится другими словами, да и вся книга является носителем подобных идей, вся книга, а не отдельные абзацы. Да, у Цвейга много риторички, повторов; но если сокращения были направлены на удаление таких повторов, показавшихся и в самом деле лишними, то это явное нарушение авторской воли, стиля, манеры (Цвейг гордился своей страстью беспощадно вымарывать действительно лишнее). В данном случае сокращения не убивают книгу, но думаю, что трудно признать за кем бы то ни было моральное право «улучшать» текст покойного мастера.

Таким образом мы имеем сразу два издания книги о Кастеллио, но ни одного полного ее перевода (поскольку галочка уже поставлена, даже две галочки, то следующего издания книги можно ожидать не скоро). Как ни посмотри, это полное неуважение и к читателю и к писателю, и корни этого неуважения глубоки — оно основано не только на реальной независимости бюрократического издательского механизма от читателей и писателей, но и на привычной для нашего общества традиции духовного опекуновства, когда немногие решают за многих, что многим читать, что смотреть, что думать (давление этой традиции ослабевает, но не иссякает).

Особенно обидно вмешательство в книгу человека, идеалом которого были терпимость, уважение к суверенитету мысли, к личной свободе, в том числе и собственной. По признанию Цвейга, личная свобода была для него важнейшим делом на земле, но существенно, что либерально-гуманистический индивидуализм Цвейга был лишен агрессивно-эгоистической окраски. «Ты для себя лишь хочешь воли», — упрекали пушкинские цыгане гордого Алеко. Цвейг, этот настоящий баловень судьбы, искренне хотел бы для всех такой же

воли, какой он сам достиг. К своему пятидесятилетию (то есть к концу 1931 года) он действительно обрел все, чего только желал, и даже больше, чем надеялся обрести. «Я сохранил свободу, не зависел от службы и профессии, моя работа была мне в радость, и мало того — она доставляла радость другим!» — читаем в книге воспоминаний «Вчерашний мир», впервые изданной на русском языке (конечно, с сокращениями). Литературный успех Цвейга был огромен. Чего было ему бояться? Вот книги — кто может их уничтожить? Вот дом — кто может прогнать его отсюда? Вот друзья — разве он может их потерять? Он не мог вообразить, что очень скоро книги будут сожжены и запрещены, друзья будут бледнеть при случайной встрече, а сам он станет изгнаником. Воспоминания писались уже в эмиграции: тем привлекательнее выглядела оттуда родная (былая!) Австрия — Габсбурги казались явно лучше Гитлера. «Мир надежности» — так называется в книге воспоминаний глава о многонациональной австрийской империи. Она была рассчитана на вечность («Государство — высший гарант этого постоянства») и на глазах писателя сгинула без следа. Этот «вчерашний мир», несмотря на язвительное изображение Цвейгом, скажем, австрийской школьной системы или ханжеской сексуальной морали, имел свои положительные и до времени не ценимые стороны. Когда в Европе обыски, аресты, конфискации, высылки, вообще террор уже становились рядовым явлением, в Австрии сам факт домашнего обыска еще казался неслыханным оскорблением. Такой обыск, причем весьма корректный и поверхностный, стал для Цвейга знаком, что «мир надежности» рухнет, и подтолкнул его к скорому отъезду за границу. Мир забыл, каким святым делом были когда-то гражданские права, — скорбно констатировал писатель, вспоминая, как до 1914 года он путешествовал в Индию и Америку, не имея паспорта и даже не имея понятия о таковом, — «ехал куда и когда хотел, не спрашивая никого и не подвергаясь расспросам...».

В либерализме Цвейга много высокопарности, но в этой риторике есть своя притягательная сила, сила искренности, ибо писатель действительно верит во все, что говорит. Тут не пресловутая либеральная фраза, а либерально-гуманистический идеал, по мнению писателя, восходящий к Эразму Роттердамскому, которому Цвейг посвятил отдельную книгу (русский пере-

вод — в 1977 году, как вы уже догадались, с «незначительными сокращениями»). Цвейг называл Эразма своим учителем в другом столетии, а книгу об Эразме — замаскированным автопортретом. «Он осмотрительно отклонялся в сторону, покачивался, как тростник, — но лишь для того, чтобы не дать себя сломать и затем вновь выпрямиться» — это сказано писателем не только об Эразме, но и о самом себе, ибо идеал Цвейга кроме естественного уважения к личности, разуму, знанию, кроме признания права всякого человека свободно высказывать свои убеждения и самостоятельно распоряжаться своей жизнью включал также отказ от прямого, а тем более организационного политического самоопределения. В этом он был последователен до самого конца.

«Даже в бездне ужаса, из которой мы выбираемся ощупью, в потьмах, с растерянной и измученной душой, я снова и снова подымаю глаза к тем звездам, которые светили над моим детством, и утешаюсь унаследованной от предков верой, что этот кошмар (нацизм и мировая война. — А. В.) когда-нибудь окажется лишь сбоем в вечном движении Вперед и Вперед», — писал Цвейг в своих «Воспоминаниях европейца».

В феврале 1942 года в Бразилии Цвейг и его жена покончили с жизнью. Самоубийство это было не отречением от идеалов, а, напротив, своеобразным проявлением верности: идеалы не находили опоры в реальности — он ушел из такой реальности (замечу, что вряд ли зрелище послевоенного мира исцелило бы духовную рану писателя). Но не будем поспешно хоронить дух европейского либерализма, которому служил Цвейг. Вера либеральной Европы в непрерывный поступательный прогресс личной свободы, миролюбия, гуманности и терпимости кажется наивной, но, как писал Цвейг, «даже если это была иллюзия, то все же чудесная и благородная, более человечная и живительная, чем сегодняшние (40-х годов. — А. В.) идеалы...» И сегодня эта «чудесная и благородная» иллюзия не утратила свою привлекательность, более того, у нее может быть временное, но яркое возрождение, чреватое новыми драматическими коллизиями. Я сказал: новыми, но по сути — старыми, уже имевшими место в прошлом. И поэтому у то же надо читать Цвейга — европейца, либерала, гуманиста.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

О НЕКОТОРЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПУБЛИКАЦИИ «ТИХОГО ДОНА»

Во всех без исключения общих курсах по истории советской литературы и учебниках всех уровней «Тихий Дон» и «Поднятая целина» ставятся в один ряд и оцениваются как нечто равновеликое в любом смысле: идеологическом, эстетическом, историческом¹. Видимо, уже настало время оба эти произведения одного автора избавить от прямолинейного сопряжения и чересчур навязчивого уравнивания. Подробные разбирательства — дело будущего, а пока позволим себе кратко высказать одно предположение.

Восстановление целого по частностям издавна применяют искусствоведы, архитекторы, антропологи, палеонтологи и другие. Мы тоже попытаемся прибегнуть к подобно реконструкции — ввиду нехватки фактического материала и чрезвычайной важности вопроса.

Известно, что И. В. Сталин пристально и целеустремленно следил за советским искусством, а особенно — за литературой. Начиная по крайней мере с середины 20-х годов его воздействие на литературные дела быстро возрастало; применительно к началу 30-х его роль достаточно выяснена в судьбах таких крупных писателей, как Михаил Булгаков, Евгений Замятин, Осип Мандельштам, Алексей Толстой. Видимо, внимательно следил он за публикацией романа молодого тогда писателя Михаила Шолохова «Тихий Дон» (первая книга напечатана в журнале «Октябрь» в январе — апреле 1928 года). Об этом есть прямое свидетельство — письмо Сталина Феликсу Кону, старому большевику и видному партийному журналисту, в то время редактору влиятельной «Рабочей газеты». Копия письма была направлена Сталиным также Н. Н. Колотилову, члену ЦК ВКП(б), секретарю Иваново-Вознесенского обкома. Датировано письмо 9 июля 1929 года, но опубликовано в собрании сочинений Сталина в 1949 году (т. XII, стр. 112). Через несколько лет между автором письма и автором романа состоялась немаловажная встреча.

В последние годы в нашем шолоховедении подробно изучался вопрос о задержке с публикацией шестой части «Тихого Дона» (эта часть самая протяженная из восьми, по нашим подсчетам — 24,9 процента всего текста романа). Главная причина затруднений крылась, безусловно, в содержании: описывались всевозможные насилия над рядовыми казаками, бессудные расстрелы их, словом, все то, что получило название расказачивания, то есть свирепой попытки уничтожения целого социального слоя; ответом стало восстание, так называемое вешенское, с большой подробностью и точностью описанное в данной части. В трех номерах за январь — март 1929 года в «Октябре» появились первые двенадцать глав шестой части (всего их там шестьдесят пять, причем повествование в журнальной публикации даже не подошло к началу казачьего восстания). Неожиданно для автора и без всякого объяснения для читателей публикация «Тихого Дона» прекратилась. Задержка продолжилась без малого три года...

Об этом событии писали с различных точек зрения, но существенных различие-

¹ Цитат тут можно приводить множество, вот лишь одна из поистине «стабильного» учебника «Русская советская литература», по которому воспитывались миллионы школьников в 50—60-х годах. «Между «Тихим Доном» и «Поднятой целиной» много общего. И там и здесь рассказывается о донском казачестве... Но есть между этими двумя произведениями и существенные различия. В «Тихом Доне» речь шла о первом этапе революции о периоде гражданской войны... В «Поднятой целине» изображен другой важнейший переломный момент в жизни нашей страны — период коллективизации...»

ний у исследователей, в общем-то, нет². Перерыв в публикации «Тихого Дона» был связан с общими для страны политическими и хозяйственными потрясениями. Тут уместно процитировать «Краткий курс». Кто бы ни был в числе его авторов и редакторов, но точка зрения Сталина на освещаемые события проведена здесь с итоговой значительностью.

«В конце 1929 года... Советская власть... перешла к политике ликвидации, к политике уничтожения кулачества, как класса. Она отменила законы об аренде земли и найме труда, лишив, таким образом, кулачество и земли и наемных работников. Она сняла запрет с раскулачивания. Она разрешила крестьянам конфисковать у кулачества скот, машины и другой инвентарь в пользу колхозов. Кулачество было экспроприровано...

Это был глубочайший революционный переворот, скачок из старого качественного состояния общества в новое качественное состояние, равнозначный по своим последствиям революционному перевороту в октябре 1917 года»³.

Обратим внимание на последний абзац. Коллективизация и ликвидация кулачества ставились тут в один ряд с Октябрем 1917-го (напомним: то же говорилось и в «стабильном» учебнике литературы). Сама же Октябрьская революция, как определялось «Кратким курсом», «открыла новую эру в истории человечества...»⁴. Значит, коллективизация тоже открыла «новую эру». Вопрос был исключительно серьезный в смысле теории, которой Сталин официально придерживался. Вот почему он так ревниво относился к этой теме вплоть до последних лет своей жизни. Одержав после «года великого перелома» столько впечатляющих успехов, он тем не менее всегда упор делал именно на это свое достижение. Данное обстоятельство важно иметь в виду для дальнейшего изложения нашего сюжета.

Минуя подробности, выясненные многими исследователями, перейдем к итоговой картине. Состоялась встреча Сталина, Горького и Шолохова в июне 1931-го — точная дата неизвестна. К этому времени рукопись шестой части «Тихого Дона» уже более двух лет кочевала по разным учреждениям и не печаталась, над автором нависла угроза официального обвинения в «кулацком уклоне» со всеми вытекавшими отсюда зловещими последствиями.

6 июня 1931 года Шолохов обратился с письмом к М. Горькому о поддержке⁵. Тот был уже в курсе дела — читал основную часть текста шестой части и знал о затруднениях автора; это видно из письма М. Горького А. Фадееву от 3 июня, где дается в общем положительная оценка «Тихого Дона», хоть и не без оговорок⁶. Существует только одно свидетельство об интересующей нас встрече: позднейшие устные воспоминания Шолохова, сделанные сорок—пятьдесят лет спустя. Со стороны двух других участников беседы никаких свидетельств пока не обнаружено.

Первым опубликовал шолоховский рассказ об этой знаменательной встрече К. И. Прийма — ему было сообщено о том 30 сентября 1972 года, через девять лет запись была опубликована. Очень важно, что публикация была сделана при жизни Шолохова, причем близким ему человеком. Примерно то же о том же событии (только без подробностей) М. А. Шолохов рассказал мне в Вёшенской в марте 1981 года в присутствии некоторых лиц из его домашнего окружения. Подобный же рассказ был передан мне Ф. Ф. Шамагоновым, бывшим секретарем Шолохова, в январе 1986 года (записи сделаны с разрешения мемуариста). Никаких серьезных расхождений с приведенной Приимой записью нет. Правда, по мнению Шамагонова, встреча происходила не на даче Горького под Москвой, а в его московском доме, где сейчас музей. Нам это уточнение кажется вероятным. Еще Шамагонов добавил, что Сталин пришел в дом Горького один, без всяких сопровождающих, — это тоже представляется правдоподобным, учитывая значимость и тонкость разговора, который предстоял.

Поскольку примечательная публикация К. Приимы вышла в периферийном издательстве ничтожным по нашим меркам тиражом, то ее в основных положениях следует воспроизвести. Итак, встреча состоялась у Горького, в его гостиной, в присутствии хозяина, Сталина и Шолохова⁷.

² С. Шешуков. Неистовые ревнители. М. 1970; В. Гура. Как создавался «Тихий Дон». М. 1980; К. Прийма. С веком наравне. Ростов-на-Дону. 1981; С. Н. Семанов. В мире «Тихого Дона». М. 1987.

³ «История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс», стр. 291. Все издания книги идентичны.

⁴ Там же, стр. 214.

⁵ «Литературное наследство». М. 1963, т. 70, стр. 694.

⁶ В. Гура. Как создавался «Тихий Дон», стр. 159—160.

⁷ К. Прийма. С веком наравне, стр. 147—148.

«...И когда я присел к столу,— рассказывал Шолохов,— Сталин со мною заговорил... Говорил он один, а Горький сидел молча, курил папиросу и жег над пепельницей спички... Сталин начал разговор со второго тома «Тихого Дона» вопросом: «Почему в романе так мягко изображен генерал Корнилов? Надо бы его образ ужесточить!...» Я ответил, что в разговорах Корнилова с генералом Лукомским, в его приказах Духонину и другим он изображен как враг весьма ожесточенный, готовый пролить народную кровь. Но субъективно он был генералом храбрым, отличившимся на австрийском фронте. В бою он был ранен, захвачен в плен, затем бежал из плена в Россию. Субъективно, как человек своей касты, он был честен... Тогда Сталин спросил: «Как это — честен?! Раз человек шел против народа, значит, он не мог быть честен!» Я ответил: «Субъективно честен, с позиций своего класса. Ведь он бежал из плена, значит, любил родину, руководствовался кодексом офицерской чести... Самым убедительным доказательством того, что он враг — душитель революции, являются приводимые в романе его приказы и распоряжения генералу Крымову — залить кровью Петроград и повесить всех депутатов Петроградского Совета!»... Прервемся и читаемся в приведенный текст. Как видно, Сталин был подготовлен к беседе. Вопрос про Л. Г. Корнилова вызван тем, что в последних опубликованных частях романа ему уделялось много внимания. Но вряд ли этот сюжет мог иметь большое значение, ибо в шестой части, о которой велась речь, генерал упоминается лишь один раз, и то мельком. Главное же, «белое дело» давно потерпело поражение, а к 1931 году стало ясно — поражение окончательное, то есть политическое.

Продолжим цитирование: «Сталин... задал вопрос: откуда я взял материалы о перегибах Донбюро РКП(б) и Реввоенсовета южного фронта по отношению к казаку-середняку? Я ответил, что в романе все строго документально. А в архивах документов предостаточно, но историки их обходят и зачастую гражданскую войну на Дону показывают не с классовых позиций, а как борьбу сословную — всех казаков против всех иногородних... Троцкисты, вопреки всем указаниям Ленина о союзе с середняком, обрушили массовые репрессии против казаков, открывших фронт. Казаки, люди военные, поднялись против вероломства Троцкого, а затем скатились в лагерь контрреволюции... В этом суть трагедии народа!

Сталин подымил трубой, потом сказал: «А вот некоторым кажется, что третий том «Тихого Дона» доставит много удовольствия белоэмигрантской эмиграции»... Я ответил Сталину: «Хорошее для белых удовольствие! Я показываю в романе полный разгром белоэмигрантщины на Дону и Кубани!» Сталин снова помолчал. Потом сказал: «Да, согласен! — И, обращаясь к Горькому, добавил: — Изображение событий в третьей книге «Тихого Дона» работает на нас, на революцию!» Горький согласно кивнул: «Да, да...» За всю беседу Сталин ничем не выразил своих эмоций, был ровен, мягок и спокоен. А в заключение твердо сказал: «Третью книгу «Тихого Дона» печатать будем!»...

Вопросы Сталина о деятельности Донбюро и Реввоенсовета Южного фронта в начале 1919 года полны значения. Одним из руководителей Донбюро РКП(б) был тогда С. И. Сырцов, которым Сталин ко времени разговора был явно раздражен. В упомянутый Реввоенсовет входили в ту пору также лица, которые в начале 30-х могли интересовать Сталина: это Г. Я. Сокольников, бывший сподвижник Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева, А. Л. Колегаев, бывший член ЦК левых эсеров (Сталин впоследствии соединил их с «левыми коммунистами»), К. А. Мехошин, И. И. Ходоровский и ряд других. И еще: никто из ближайших сотрудников Сталина в тогдашнем руководстве Южного фронта не состоял⁸. Следовательно, осуждение кровавых мер Донбюро и Южфронта в отношении казачества могло показаться в какой-то мере полезным Сталину в его далеко рассчитанных планах (ну, например: троцкисты своими перегибами вызвали восстание среднего крестьянства, а он, Сталин, в период коллективизации своевременно остановил такие перегибы статьей «Головокружение от успехов»).

В пересказе шолоховских воспоминаний можно заметить некоторые фактические неточности, что говорит о необходимости критического к ним отношения. Скажем, идет речь о «приказах Духонину», которые отдавал Корнилов. Но в тексте «Тихого Дона» Духонин упоминается лишь однажды (часть 4, глава XX): приводится известное письмо от 1 ноября 1917 года Корнилова (тогда находившегося под стражей) к Духонину (тогда Главверху); письмо содержит ряд советов, они весьма напористы по тону, но никаких «приказов» Корнилов тогда отдавать не мог. В романе также нет никаких

⁸ «Гражданская война и военная интервенция в СССР». Энциклопедия. М. 1983, стр. 678.

«приказов и распоряжений» Крымову о повешении депутатов Петроградского Совета, да и не обнаружено пока таких приказов. Неуместно звучат для обстановки 1931 года слова Шолохова о том, что Корнилов «любил родину» — лишь через несколько лет подобные патриотические выражения стали произноситься в положительном смысле. Несколько странно и то, что Шолохов стал излагать подробности военной биографии Корнилова: о генерале в 1917-м вовсю шумела печать, и Сталин, политик и журналист того времени, обладавший цепкой памятью, не мог всего этого не знать. Впрочем, эти буквалистские мелочи порождены, очевидно, сорокалетним разрывом между событием и рассказом о нем. Гораздо существеннее другое.

На наш взгляд, в тексте опубликованных шолоховских воспоминаний есть некоторая благополучность, что ли. Как-то уж очень легко и просто молодой писатель, не имевший еще общенародного, а тем паче мирового признания, автор одного лишь незаконченного романа, оценка которого в критике была весьма высока, но не единодушна, — как-то слишком просто и быстро склонил он Сталина разрешить печатать очередную книгу «Тихого Дона». И какую книгу! Ту, где с сочувствием описывается восстание казаков-крестьян против насилий, и это во время «ликвидации кулачества как класса», когда миллионы ссыльных мужиков, с дряхлыми и малыми, заполняли сибирские просторы (в их числе и бывшие казаки). Получить разрешение на такую книгу, когда только что заткнули рот Андрею Платонову и тень нависла над крестьянскими поэтами! И ведь следует учесть, что третий участник встречи, хозяин дома, как уже установили исследователи, не слишком-то решительно поддерживал роман Шолохова...

Сталин был прежде всего политиком, и политиком крупным. Ради своих политических целей он, как правило, пренебрегал всем прочим: личными отношениями, традициями, законами и уставами, общепринятой нравственностью. При этом нельзя не признать за ним политического таланта. Глумливые поношения здесь могут вызвать только обратный результат. Такое уж бывало.

Так вот, Сталину в его ближних и дальних политических интересах несомненно была необходима книга о коллективизации, и с сугубо положительной оценкой, причем не на уровне какого-нибудь официального хулау-прихлебателя, а в высокохудожественном исполнении писателя, чей талант и честность очевидны и несомненны. Шолохов написал роман о революции столь талантливо и правдиво, что его произведение покорит со временем весь мир, так почему бы ему... ведь есть событие, равнозначное революции? А политика предусматривает соглашения, связанные со взаимными уступками ради общей пользы...

Наше предположение, повторяем, есть лишь реконструкция хода событий, не претендующая на обязательность. Однако рассмотрим под этим углом некоторые реальные обстоятельства в их историческом контексте.

Коллективизация на Дону началась относительно рано и происходила в острейшей обстановке. 18 июня 1929 года Шолохов писал из Вёшенской Е. Г. Левицкой: «А Вы бы поглядели, что творится у нас и в соседнем Нижне-Волжском крае. Жмут на кулака, а середняк уже раздавлен. Беднота голодает, имущество, вплоть до самоваров и полостей, продают в Хоперском округе у самого истого середняка, зачастую даже маломощного. Народ звереет, настроение подавленное, на будущий год посевной клин катастрофически уменьшится»⁹. Цитату из пространныго письма обрываем, и без того ясно, что оценка происходящих событий тут однозначна.

Позже Шолохов выступал с печатными очерками по вопросам коллективизации, самый известный из них — в «Правде» от 25 мая 1931 года, где описывался весенний сев на Дону. Тон очерка весьма оптимистичен: «Ты, товарищ, не сомневайся, — говорит автору казак-колхозник. — Мы все насквозь понимаем, как хлеб нужен государству. Ну, может, чуток приподнимся, а посеем все до зерна» — и т. п. Можно с уверенностью предположить: Сталин, всегда внимательно следивший за печатью, этот очерк Шолохова знал. В. Гура справедливо заметил, что в голосах казаков из очерка «теперь узнаются голоса будущих героев «Поднятой целины»...»¹⁰.

Однако нет безусловных данных, что до лета 1931-го Шолохов задумывал написать роман о коллективизации. Напротив, хорошо известно, как много сил и времени отдавал он продвижению в печать шестой части «Тихого Дона», а 2 апреля 1930-го писал Левицкой: «Работаю над 7 ч.»¹¹.

⁹ «Знамя», 1987, № 10, стр. 182.

¹⁰ В. Гура. Как создавался «Тихий Дон», стр. 156.

¹¹ «Знамя», 1987, № 10, стр. 188.

Положение дел резко изменилось ко второй половине 1931 года. 12 ноября Шолохов пишет из Вёшенской редактору «Нового мира» В. П. Полонскому о своем новом романе: «Размер — 23 — 25 печатных листов. Написано 16. Окончу приблизительно в апреле будущего года. Первую часть (5 п. л.) могу выслать к 1 декабря... Тема романа — коллективизация в одном из северных районов Северного Кавказа (1930 — 1931 гг.)»¹². О том же говорится и в частном письме к Левицкой от 19 ноября: «...пишу новый роман о том, как вёшенские, к примеру, казачки входили в сплошную коллективизацию в 1930 г. и как они жили и живут в колхозах. Уже написал 5 печатных листов вчистую и много „не вчистую“»¹³. Итак, «Поднятая целина» была написана за исключительно сжатый срок, ясно, что все прочие дела были автором оставлены.

В январе 1932-го одновременно в двух ведущих журналах начались публикации двух произведений Шолохова. В «Октябре» пошла в печать многострадальная шестая часть «Тихого Дона». Как установлено исследователями, редакторы и тогда пытались сократить некоторые особо острые сцены романа, но Шолохов с непреклонной настойчивостью добивался, чтобы все до единого эти сокращения были восстановлены. Так во время завершения «сплошной коллективизации» появилась не превзойденная доселе книга о трагической судьбе русского земледельца во время великой революции.

В течение того же 1932-го в «Новом мире», где прежнего редактора уже сменил (до 1937-го) И. М. Гронский, печаталась «Поднятая целина», книга первая. Не станем тут сколько-нибудь подробно рассматривать этот роман (не говоря уж о второй его части), но ответственность историка и литературоведа обязывает недвусмысленно заявить: насколько историческая и художественная достоверность «Тихого Дона» поражает всякого читателя и любого специалиста, настолько в «Поднятой целине» без труда заметны обстоятельства, которые автор, прекрасно знавший изображаемую жизнь, мог обнаружить не в этой самой жизни, а исключительно в сочинениях о судьбе Павлика Морозова... Когда-нибудь и кем-нибудь об этом будет рассказано полно и подробно.

Надо думать, оба гостя в доме Горького были достаточно проникательны и сдержанны, чтобы не произносить лишних слов, да еще в присутствии такого серьезного свидетеля. Не может быть, однако, никаких сомнений, что они поняли друг друга. Решилось ли дело прямым разговором (вряд ли), намеком ли, сам ли Шолохов догадался, чего от него ждут (скорее всего), — об этом мы не узнаем, видимо, никогда. Нам остается только делать предположения.

Под конец еще два кратких замечания. Сперва — сугубо фактическое: вот уже шестьдесят лет вокруг «Тихого Дона» кипят страсти, скрещиваются различные точки зрения, порой прямо противоположные, и конца этому не предвидится. Напротив, с первой публикации «Поднятой целины» вплоть до наших дней это произведение сопровождали только восторги — к сожалению, не очень исторически обоснованные и эстетически малооказательные.

И второе, уже чисто личное. Мне довелось в 1977—1981 годах неоднократно бывать в Вёшенской и вести неспешные беседы с Михаилом Александровичем Шолоховым. Утомленный жизнью и недугами, он с увлечением и подолгу говорил со мной о «Тихом Доне», живо интересовался неизвестными ему историческими подробностями, спрашивал и переспрашивал, охотно делился тем, что помнил и знал. Но он, человек необычайно приветливый, безупречно светский в самом точном смысле этого полузабытого слова, отвечал на вопросы о «Поднятой целине» очень скупой и без видимого желания продолжить беседу.

С. Н. СЕМАНОВ.

¹² В. Г у р а. Как создавался «Тихий Дон», стр. 158.

¹³ «Знамя», 1987, № 10, стр. 188.

КОРОТКО О КНИГАХ



ВИКТОР ВАСИЛЕНКО. Облака. Стихи. М. «Советский писатель». 1983. 151 стр.

ВИКТОР ВАСИЛЕНКО. Птица солнца. Стихотворения. М. «Современник». 1986. 216 стр.

РУССКИЙ СОНЕТ. Сопеты русских поэтов начала XX века и советских поэтов. М. «Советская Россия». 1987. Стр. 304—315.

В начале его поэтического поприща стоял Брюсов. Мастер благословил молодого поэта на трудный путь. И как в воду глядел: жизнь не поскупилась на испытания, среди которых — десять лет лагерей и десятилетия кропотливой литературной работы в стол. Первая книга стихотворений увидела свет, когда поэту перевалило далеко за семьдесят. Его учителя — Блок, Волошин, Гумилев, Ахматова, с которой познакомился в конце 50-х годов и был отмечен ее взыскательной дружбой. Анна Андреевна причисляла Василенко к поэтам-неоакмеистам за ясность мысли и выражения, остроту красок и звуков, сдержанность интонации. В сдержанности, почти аскетической, достоинство его поэзии.

Многие стихотворения Василенко написаны «сухой кистью», рельефные детали не застыли философского обобщения, суть которого открывается не сразу и, может быть, не с первого прочтения. Вот характерное: «Чернеют кипарисы одиноко». В стихах, обращенных к современности, угадывается традиционный классический мотив. «Среди обломков выщербленных, ржавых я выбрал незаметный черепок». Черепку — части целого — суждена долгая жизнь. Целого давно нет, но поэт по оставшейся крупице воссоздает красоту целого, его непреходящую ценность.

На протяжении всей своей жизни Виктор Михайлович Василенко занимается исследованием народного творчества. Упорная работа ученого, окрыленная интуицией поэта, сказывается у Василенко и прямо и опосредованно. Скажем, в стихах, посвященных русской игрушке и населенных скоморохами, кикиморами, домовыми, берегинями, драконами. Дух русской старины остался и в «Сполохах» — так назван цикл сонетов. Лапидарная форма не потеснила славянской неумности. Может быть, автор намеренно заковал ее в железные латы сонета, оставаясь верным своей поэтической натуре: сила — в сдержанности.

У него прекрасно развито чувство истории. Оно задает глубину философской и пейзажной лирике, которая читается, как правило, в контексте определенной эпохи. Щедрый словарь, безошибочно отобранные исторические реалии создают эффект присутствия, подлинное проникновение в ситуацию, в ее духовную атмосферу.

Изысканную легкость стиха он усвоил с юности. Порой стих бывает намеренно неровен, простоват, вместо привычного смелого полета вдруг захромает с одышкой... Или совсем «снизится» до верлибра. Но всякий раз это оправданно. Вот, например, то

состояние, которое поэт пережил в долгие беспросветные годы за Полярным кругом, окруженный монотонным пейзажем тундры, под пером Василенко более всего оказывается созвучно верлибру. Безыскусный, описательный текст:

Я мог часами следить
за собиравшимися тучами;
они сбивались в груды,
ложились между скал,
взмывали ввысь.

Равнинная — среднерусская или заполярная — горизонталь неожиданно рассекается вертикалью, движением, устремленным ввысь, сквозь облака или тучи за предел видимого и пережитого. Облака у него — частый символ свободы. Не случайно они дали название первой книге. Инстинктивный порыв, сдерживаемый врожденной и неистребимой культурой, ощущаем и в границах отдельного стихотворения, и в объеме всей книги, а возможно, и всего творчества Виктора Василенко.

Александр Зорин.



В. КАВЕРИН. Литератор. М. «Советский писатель». 1988. 304 стр.

«Мы вышли на Кронверкский, семь молодых людей, бесконечно далеких друг от друга по биографиям и характерам, наклонностям и вкусам. Но, как семь братьев пушкинских сказки, мы любили одну царевну — русскую литературу — и ради этой любви отправлялись в далекий трудный путь».

Символические строки в начале новой книги Вениамина Каверина помогают понять ее замысел в целом. Семь молодых людей, принадлежавших к литературной группе «Серрапионовы братья», весенним вечером 1921 года покинули квартиру М. Горького в Петрограде, отправляясь в далекий путь. Этот путь — история советской литературы.

По-разному в дальнейшем сложились судьбы «серрапионов», и причиной тому стали не столько различные характеры их дарованных, сколько жестокие черты эпохи. Разве не показательно в этом плане судьба Мих. Зощенко, художника редкой одаренности, однако прожившего поистине трагическую жизнь? Или не приковывает внимания неровный путь Константина Федина, выступившего в самых различных качествах: тоцкого писателя-реалиста, автора отдельных мемуаров и секретаря Союза писателей, литературного начальника и сталинского лауреата, — не раз изменявшего собственным представлениям о литературе, потерявшего лучших друзей, но до конца не изменившего трудолюбивой миссии художника? Разве не ошеломляет диапазон мучительных метаний В. Иванова, этого наименее изученного и понятого из «серрапионовых братьев»?

От виртуозной, игровой «гофманиады» ранних рассказов и филологических изысканий 20-х годов к сдержанной романтике

«Двух капитанов» и «Открытой книги», до сегодняшних сочинений в области эссеистической прозы — В. Каверин честно прошел с вой путь, кровно связанный с Временем. Прожившему долгую жизнь литератора, ему есть о чем вспомнить. Например, о том, как в 1956 году группа писателей добилась выпуска альманаха «Литературная Москва», во второй книжке которого появились знаменитые «Рычаги» А. Яшина. «Издание было запрещено. Среди множества отрицательных рецензий, которые на нас посыпались, были не только несправедливые, но и грубо оскорбительные. Одна из них называлась «Смертляшкины» и была напечатана в «Крокодиле»... Надо было внушить, и внушить навсегда, мысль, что выступать с критикой установившихся, освященных традицией правил поведения в жизни и литературе по меньшей мере вредно, а по большей преступно».

«Литератор» — по-своему итоговая книга автора. Он чувствует себя последним живым свидетелем времени, от которого, хотим мы того или нет, нас уже отделяет труднопроницаемая стена. Задача книги, как мне кажется, перекинуть мостик из этой эпохи в день нынешний. Отсюда значительный интерес представляют размышления В. Каверина о современности, его переписка с молодыми литераторами. Очевидец расцвета советской литературы в 20-е годы, он невольно сравнивает это время с сегодняшней ситуацией и, надо сказать, приходит к не очень утешительным выводам. Из литературной жизни выпал некий свободный духовный стержень, объединяющий писателей по принципу талантливости, а не по каким-либо иным, посторонним литературным принципам. Утрачено чувство общего дела, «когда бы Р. был огорчен, что П. стал хуже писать. Обратных случаев — много». «Впрочем, — замечает автор, задумываясь о будущем, — я всегда был неисправимым оптимистом».

Павел Басинский.



ИВАН КРАСНОВ. Джон Рид: правда о Красной России. М. «Советская Россия». 1987. 304 стр.

Мы становимся умнее, откровеннее, любознательнее. И Джон Рид для нас уже не просто покрытая полустершимся гляncем фигура, а человек, свидетельствующий о переломных днях нашей истории, представитель великой державы, одним из первых среди иностранцев увидевший всю грандиозность задуманного и сотворенного тогда, в октябре 1917 года.

Едва ли не каждая страница книги И. Краснова вызывает у читателя разнообразие ассоциаций, мгновенные проекции то в предоктябрьское прошлое, то в будущее вплоть до наших дней. В течение ряда лет автор внимательно изучал соответствующие архивы в СССР и США. Вместе с героем его книги мы совершим одиссею, приведшую его в Россию, когда ей еще только суждено было стать Советской. Маршрут

причудлив: Мексика — западноевропейский первой мировой войны — восточноевропейский фронт — Россия.

Поражает прозорливость Рида в отношении в общем-то совершенно неожиданной для него ситуации приближавшейся социалистической революции в малознакомой стране. Уже 16 (29) октября он отправляет в редакцию газеты «Нью-Йорк колл» статью, в которой пишет: «...русская революция безусловно приближается к кульминации... Керенский быстро идет к гибели...» Спустя два дня Джон Рид вместе с другим американским корреспондентом берет интервью у премьер-министра Керенского. Он спрашивает главу Временного правительства, чем, по его мнению, «кончатся нынешняя борьба между крайними радикалами и крайними реакционерами». Но Керенский мгновенно бросает: «На этот вопрос я отвечать не буду». Пройдет еще два года, и Джон Рид, вспоминая памятное интервью, выделит «пророческие» слова тогдашнего премьера: «Русский народ страдал от экономической разрухи и от разочарования в союзниках. Весь мир думает, что русская революция кончилась. Остерегайтесь ошибки. Русская революция только еще начинается...»

Рид и в дальнейшем тщательно и непредвзято анализировал события, свидетелем которых стал. Сейчас для нас на первый план выступают те, кого неумолимый голос Времени возвращает из небытия: Антонов-Овсеенко, Бубнов, Бухарин, Зиновьев, Рыков... Да, они ошибались, спотыкались, но поднимались и шли вперед. Они — часть нашего прошлого, и, как «вдарту» выяснилось, отнюдь не худшая его часть. В связи с этим удивляет почти полное отсутствие этих имен в книге И. Краснова. Ведь Джон Рид, не подзревавший, какой зигзаг сделает наша история спустя пятнадцать — двадцать лет после Октября, не делил ее главных действующих лиц на «чистых» и «нечистых». Наряду с другими часто упоминался в «Десяти днях...» Л. Троцкий, фамилию которого И. Краснов называет лишь один раз в связи с переговорами в Брест-Литовске. Да, не просто отрешиться от многолетней привычки переиначивать историю по сиоминутной мерке...

Напомню, что судьба книги Джона Рида в нашей стране была непростой. После XX съезда КПСС ее «реабилитировали» и впервые за много лет переиздали вместе с предисловиями, написанными еще В. И. Лениным и Н. К. Крупской. Затем еще два-три переиздания и... почти три десятилетия забвения. В планах издательства не находилось для «Десяти дней...» места вплоть до 1987 года. О превратностях отношения к прославленной книге в близкую к нам эпоху недавно напомнил В. Смехов в статье «Скрипка Мастера» («Театр», 1988, № 2). Спектакль, поставленный по ней в Театре на Таганке, был подвергнут в высоких кулуарах уничижительной критике «за грубый вкус и субъективное передергивание исторических фактов, за отсутствие на сцене руководящей роли партии в октябрьских событиях».

Сергей Бурин.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

М. С. Горбачев. Избранные речи и статьи. Т. 5. 576 стр. Цена 1 р. 20 к.

К. Дмитриук. Унаитские крестоносцы: вчера и сегодня. 381 стр. Цена 1 р. 20 к.

О коренной перестройке управления экономикой. 255 стр. Цена 35 к.

В. Сафонов. На крутом повороте. Рассказы о перестройке. 222 стр. Цена 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Бестужев (Марлинский). Ночь на корабле. Повести. Рассказы. («Классики и современники») 366 стр. Цена 1 р. 60 к.

Н. Думбадзе. Закон вечности. Романы. Повесть. Рассказы. Перевод с грузинского. 591 стр. с илл. Цена 3 р. 10 к.

Шолом-Алейхем. Собрание сочинений в 6-ти тт. Т. 1. 607 стр. Цена 2 р. 90 к. Т. 2. 575 стр. Цена 2 р. 90 к.

В. Ян. Огни на курганах. Юность полководца. Молодой бойцы. Исторические повести. 400 стр. Цена 2 р. 90 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Р. Вдовина. Высокая вода. Стихи. Л. 383 стр. Цена 1 р. 20 к.

Е. Мальцев. Белые гуси на белом снегу. Роман. Книга 1-я. 534 стр. Цена 2 р. 10 к.

А. Стреляный. Сенная лихорадка. Повести, рассказы, очерки. 592 стр. Цена 2 р. 20 к.

И. Чуковский. Высокое искусство. 349 стр. Цена 1 р. 10 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Ардамацкий. Возмездие. Роман. 556 стр. Цена 2 р. 30 к.

В. Белов. Кануны. Хроника конца 20-х годов. 463 стр. Цена 2 р.

Т. Гончарова. Эпикур. («Жизнь замечательных людей») 304 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Кузьмин. Падение Перуна. Становление христианства на Руси. 240 стр. Цена 50 к.

«РАДУГА»

Д. Митана. Конец игры. Роман. Перевод со словацкого. 255 стр. Цена 1 р. 90 к.

Неожиданный визит. Рассказы и повести писателя ГДР. 495 стр. Цена 3 р. 70 к.

А. Рембо. Произведения. Сборник стихов. Проза. На французском языке с параллельным русским текстом. 544 стр. Цена 2 р. 20 к.

Современная китайская проза. Сборник. 406 стр. Цена 2 р. 70 к.

ВОЕНИЗДАТ

Р. Малиновский. Солдаты России. 463 стр. Цена 2 р. 40 к.

В. Момыш-улы. За нами Москва. Записки офицера. 256 стр. Цена 1 р. 10 к.

Примирение невозможно. Повести, рассказы. Перевод с испанского. 304 стр. Цена 1 р. 80 к.

Старые фотографии. Повести, рассказы. Перевод с немецкого. 400 стр. Цена 2 р. 70 к.

«СОВРЕМЕННОСТЬ»

В. Гусев. Огненный ветер Юга. Зеленый шар. Романы. 318 стр. Цена 1 р. 50 к.

Лесной царем. Рассказы о природе Черноземья. 431 стр. Цена 1 р. 80 к.

Только час. Проза русских писателей конца XIX — начала XX в. 592 стр. Цена 3 р. 10 к.

Час России. Антология одного стихотворения поэтов России. 541 стр. Цена 2 р. 60 к.

«ИСКУССТВО»

И. Беленький. Дастин Хоффман. («Мастера зарубежного киноискусства») 224 стр. Цена 90 к.

С. Дяченко. Звезда Вавилова. Киносценарий. («Библиотека кинодраматургии») 96 стр. Цена 40 к.

Г. Стернин. Художественная жизнь России 1900—1910-х годов. 285 стр. Цена 1 р. 50 к.

Товарищество передвижных художественных выставок. Письма. Документы. 1869—1899. В 2-х книгах. Книга 1-я, 1—384 стр., книга 2-я, 385—668 стр. Цена 15 р. 30 к. (в футляре).

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

К. Грам. Ветер в ивах. Сказка. Перевод с английского. 287 стр. Цена 2 р. 50 к.

Ю. Дмитриев. Тринадцать черных кошек. 238 стр. Цена 70 к.

А. Кушнер. Как живете? Стихи. Л. 48 стр. Цена 35 к.

К. Циолковский. На Луне. Фантастическая повесть. 112 стр. Цена 60 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Вампилов. Стечение обстоятельств. Рассказы и сцены. Фельетоны. Очерки и статьи. Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство. 447 стр. Цена 1 р. 90 к.

Происшествие в Несучьем саду. Научно-фантастические повести, рассказы, пьеса, поэма. («Литературная летопись Москвы») М. «Московский рабочий». 528 стр. Цена 2 р. 70 к.

А. Сандлер. Узелки на память. Записки реабилитированного. Магадан. Книжное издательство. 95 стр. Цена 60 к.

Л. Строилов. Творчество Чингиза Айтматова в западноевропейской критике. Фрунзе. «Кыргызстан». 128 стр. Цена 30 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. А. Дедков, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крушин, Д. С. Лихачев, Д. Мулдагалиев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, И. Б. Роднянская, А. Я. Сахнин, М. В. Тимофеева, О. Г. Чухонцев**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 31.05.88 г. Подписано к печати 08.08.88 г. А 04934

Формат бумаги 70×108^{1/8}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.) 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 1.110.000 экз. (3-й завод 360.001—560.000 экз.). Зак. 1740.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрировано в ордене Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано в типографии «Красная звезда». 123826, ГСП, Москва Д-317, Хорошевское шоссе, д. 38.

*«Новый мир» в текущем и в 1989 году
предполагает опубликовать:*

Ч. АЙТМАТОВ — «Богоматерь в снегах» (роман), В. БЕЛОВ — «Год великого перелома» (роман), А. БИТОВ — «Япония как она есть» (повесть), И. ВЕЛЕМБОВСКАЯ — «Чужеземцы» (роман), Д. ГРАНИН — «Источник любви» (роман), В. КРУПИН — «Бумага» (роман-завещание);

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ С. Антонова, В. Астафьева, В. Быкова, Ф. Искандера, Р. Киреева, Ю. Нагибина, В. Распутина, М. Рощина, Вл. Солоухина, Т. Толстой;

ПОЭЗИЯ будет представлена новыми стихами известных, малоизвестных и неизвестных поэтов разных поколений, школ и национальных традиций;

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ Ю. Афанасьева, Ф. Бурлацкого, И. Клямкина, Г. Лисичкина, А. Нуйкина, В. Овчинникова, В. Селюнина, В. Цветова, Ю. Черниченко, Н. Шмелева;

ПУБЛИКАЦИИ И ОЧЕРКИ из истории отечественной общественной мысли первой половины XX века: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Д. С. Мережковский, В. С. Соловьев, П. Б. Струве, Н. В. Устрялов, Н. Ф. Федоров и другие — под общей редакцией членкора АН СССР С. С. Аверинцева;

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА М. Бабановой, М. Волошиной, Н. Клюева, Н. Кондратьева, В. Короленко, В. Набокова, М. Пришвина, Александры Толстой, В. Ходасевича;

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА: размышления о путях современной прозы, о литературной панораме 20—30-х годов, о социально-философской фантастике, о новых тенденциях в изобразительном искусстве и театре; статьи С. Бочарова — о В. Ходасевиче, И. Дедкова — о Вас. Гроссмане, Н. Коржавина — о творчестве А. Ахматовой;

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: Г. Газданова — «Вечер у Клер», А. Ремизова — «Взвихренная Русь», а также Ф. Абрамова, И. Бунина, М. Горького, Ю. Казакова, А. Платонова, В. Тендрякова, В. Шаламова, М. Шолохова;

ИНОСТРАННАЯ ПРОЗА: Д. Оруэлл — «1984».

Подписка на журнал «Новый мир» принимается в пределах тиража текущего года всеми предприятиями «Союзпечати» и отделениями связи. Подписная цена на год — 14 р. 40 к.